98 коп. Индекс 70331

В ПОСЛЕДНИХ НОМЕРАХ 1989 и в 1990 гг. В «ЗНАМЕНИ» ЧИТАЙТЕ:

Б. МОЖАЕВ. Изгой. Роман

Ф. ИСКАНДЕР. Око. Повесть

А. ПРИСТАВКИН. Рязанка. Роман

В. КАРПОВ. Маршал Жуков

Д. ШЕПИЛОВ. На трудном пути. Воспоминания

Э. ЛИМОНОВ. ...У нас была великая эпоха. Автобиографическая повесть

Р. ГУЛЬ. Азеф. Роман

А. ВАКСБЕРГ. Политический портрет Вышинского

В. НЕКРАСОВ. Из неопубликованного

М. ПОПОВСКИЙ. Куда девались толстовцы

Г. БЕЛЛЬ. Из наследия

Г. ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия. Роман

А. МАРЧЕНКО. Живи как все

ISSN 0130-1616. Знамя. 1989. № 10. 1—240

ЗНАМЯ 10 1989

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1989

Октябрь



ЗНАМЯ

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

10

ОКТЯБРЬ

1989

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Николай Панченко

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ НЕСПЕША...

●

Давайте разберемся неспеша
Сосед с соседом и народ с народом
Под этим помутневшим небосводом,
Поймем — ну, чем она нехороша? —
Вся эта жизнь,
что хуже с каждым годом.

Да тем, что мир становится заводом,
Фабричные мы — голь, портовый сброд,
Работные, солдаты и пираты.

Один на всех дымящийся завод.
С бельмом, подслеповатый небосвод.
На нежной коже кованые латы...

1980

●

Стеклянный корпус,
в нем большевики,
Отчаянные некогда ребята.
Жизнь прожита,
Как золото изъята —
Испуганные бродят старики.
Увы, по мановению руки
Плохая им (и нам) досталась доля.
Немногие из них вернулись с поля.
И чья на то (уж не господня ль?) воля,
Чтоб были их усмешки так горьки?
Живут они у Сетуни-реки,
И сетуют. и сетуют,
И ропщут...
Двадцатый век
кончается на ощупь,
Их сетованьям поздним вопреки.

1986

1946-й

(Из стихов о России)

Ночлег.
Черно, как в сорной яме.
Поземка стеклами звенит.
Мороз по ребрам
муравьями
ползет и сердце леденит.
Безмолвны дымные баракн.
Безмолвна зимняя езда.
Крест-накрест — черствые баранки —
безмолвно вносят в поезда,
разящие вином и луком.
Дома — без книжек и чернил —
Халупы! Дымные халупы!
Я в них любил и вшей кормил.
И спал под драным одеялом.
И в печке мылся — дочерна.
Россия —
домом постоянным
и гробом мне наречена...

1946—1951

Над могилой солдата Павлова

Запутался мужик...
Да и немудрено —
И те, и эти обещали землю.
И вот — могила,
с видом на гумно —
Ведь надо же такому быть везенью!
Анютиным глазком на желть зерна
Гляди и радуйся —
Нехай сыра квартира.
. . . .
Запутался мужик —
прошла война,
Хоть те и эти обещали мира.
Душа его бессмертная кричит,
И рвется сердце мертвое от боли:
Запутался мужик —
не получил
Ни воли, ни земли,
Ни лучшей доли...

1948
с. Ошитково

●

Мы портреты снимаем,
а Сталин живет.
Мы скульптуры ломаем,

а Сталин живет.
Сталин умер!
И все-таки Сталин живет:
Не отвык от владык наш степенный народ.

Где грибница густая —
много белых грибов,
А вожди вырастают
на плечах у рабов.

1961

●

Не в человека —
человеку
Я верю, если он не врет,
Когда ни горло и ни рот,
Ни взгляд не формируют речи.
А человек по-человечьи,
Увы, нечасто говорит —
Он словно и не говорит,
При этом явно существует:
Дуб о тепле не повествует —
Тепло, покуда он горит...

1987

●

Что-то в мире запустело —
От пустых ли это слов?
От бессмысленного дела?
От неправедных основ?

Отчего б ни запустело,
На последние гроши
Лепим тело,
Лечим тело —
Дом блуждающей души.

А ему темно и глухо,
Давит сердце пустота —
Знает дом: душа без Духа
В отчем доме — сирота...

1989

●

Вы не Бога убили,
Вы Бога убили в себе,
Это — самоубийство, страдающий род человечий.
Положи мне на плечи,
Пока не трубит на трубе...
(И от трубного гласа

Не гаснут наивные свечи.)
Положи мне на плечи
Простые сомненья твои —
В желатине пилюльки
Аптечнодвадцатого века.

Эти падшие ангелы,
Бывшие дети любви,
Эти — Бога убившие —
Ищут убить человека...

1972

●

Что, собственно, локоть? Кусай не кусай —
Одно безобразье в итоге.
А ну-на унылые вожжи бросай:
Не видишь, что сбились с дороги!
Не видишь: по брюхо увяз коренной,
Не сдвинется — тычется тяжко.
Кусай не кусай —
перед белой стеной
Встает вертикально упряжка.
Как в извести липкой застрял бубенец —
Дорожная зимняя птица.
Но, полно, возница,
еще не конец —
Лишь руки слиняли да лица.
Лишь тройка застряла.
Но свищет пурга,
Но крутится бойко планета.
И, верно, как радуга, встанет дуга
Над первой прогалиной света.

1978

Молитва

Не пророк, не иудей,
Не работал под мессию.
Господи!
Спаси людей
И особенно Россию.

Этих дельных мужиков,
Баб двужильных и дородных —
От разбоя и оков,
И порывов благородных.

Господи, прости врагов,
Развенчай невежд на троне,
И не дай растить рогов
Той и этой обороне.

Дай любить нам
и страдать,

Созидать плоды земные.
И иные...
И иные! —
Где пребудет благодать.

1986

●

Страна своих юродивых не слышит —
То словом их, то видом смущена
А зверь, догнав, уже в затылок дышит
Тебе,
Моя бесстыжая страна.

Ты вся обида
И ты вся потеря,
Твоим прелюбодействам нет числа.
Споткнешься вот —
и понесешь от зверя
На старости, как прежде понесла.
. . . .
Так возродись,
первостыдом пылая,
Тому ответь, кто истинно любил,
Моя единственная
И моя б ы л а я,
Поскольку я
Уже почти что — б ы л...

1989

Владимир Карпов

МАРШАЛ ЖУКОВ, ЕГО СОРАТНИКИ И ПРОТИВНИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ И МИРА

(ЛИТЕРАТУРНАЯ МОЗАИКА)

ВВЕДЕНИЕ

Это не предисловие к книге, я просто хочу ввести читателя в нее. Именно ввести, объяснить, о чем, почему и как она написана. Книга эта непростая, тем, кто ищет развлечения или отдыха, советую закрыть и отложить ее в сторону. Эта книга была трудна при создании, трудна она и для чтения. Поэтому приглашаю отправиться вместе со мной в этот нелегкий путь только тех, кто ощущает в себе достаточно сил для раздумий, горьких переживаний, а может быть, и разочарований. Но в целом, в итоге, надеюсь, мы достигнем определенного результата и проясним многие томящие нашу душу вопросы, поставленные недавней историей, да и нами самими, ее участниками. Участниками честными, но порой слепыми, не имевшими возможности обозреть, охватить происходящее вокруг, понять, что творим, движимые теми, в чьих руках были рычаги или, как говорится, бразды правления.

Тема книги — дела военные, выделенные из всех других дел и проблем XX века. Центром повествования, фигурой, объединяющей все, о чем я рассказываю, является человек, сыгравший необыкновенно важную роль в достижении нашей победы в Великой Отечественной войне, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, личность неоднозначная — и как полководец, и как общественный деятель, и как человек.

Одна из главных трудностей в работе над книгой проистекала из того обстоятельства, что в течение всей войны рядом с Жуковым был, или, вернее, Жуков был рядом с человеком, который являл собой своеобразный эпицентр всех происходящих событий на фронте и в тылу. Я имею в виду И. В. Сталина. Как историческая личность, как политический деятель и как человек, Сталин еще более сложен, чем Жуков. Я не берусь анализировать, а тем более оценивать всю деятельность Сталина, я намереваюсь описать его лишь как военачальника, как Верховного Главнокомандующего.

С другой стороны фронта Жукову противостоял, был его противником во многих сражениях и в войне в целом Адольф Гитлер, тоже личность сложнейшая — в нравственном, политическом и даже психологическом аспектах. Его обойти нельзя, он постоянное действующее лицо на протяжении всей войны и до нее. Значит, и он будет присутствовать в книге. И, конечно, будут названы и охарактеризованы те гитлеровские генералы, которые противостояли Жукову в конкретных сражениях. А на нашей стороне Жуков будет окружен своими боевыми соратниками.

Моя задача, с одной стороны, облегчается, а с другой — усложняется тем, что Жуков написал большую книгу «Воспоминания и размышления», в которой осветил почти всю свою жизнь. Казалось бы, что может быть точнее и достовернее этой книги? Но следует напомнить, что в то время, когда маршал ее писал, он был стеснен ситуацией тех дней, обстоятельствами, в силу которых он не все мог сказать о себе. При этом необходимо иметь в виду и известную скромность, присущую ему как автору. А кое о чем маршал, может быть, не хотел написать по другим причинам — несомненно, у Жукова, как у всех нас, грешных, было немало и таких моментов в жизни, о которых ему не хотелось бы вспоминать. Вот и получается: есть о чем рассказать, даже при наличии объемистых и содержательных воспоминаний самого героя предстоящего повествования.

Даже то, о чем он рассказал (например, какое-нибудь событие с совершенно определенным местом действия, точной датой и конкретными участниками), может быть порой проанализировано и оценено несколько иначе из-за того, что открылись какие-то новые, неизвестные ранее обстоятельства. А может появиться — и у меня, пишущего, и у вас, читающих,— желание чему-то возразить, высказать свое суждение и оценку, опираясь на те же самые факты и события, о

которых написал маршал. Маршал — полководец на поле сражения, а за письменным столом маршальские звезды сил не прибавляют. Чистый лист — проверка характера и уровня личности, пожалуй, не менее строгая, чем бой.

Задумывались вы, уважаемый читатель, над тем, как пишется история? По моим наблюдениям, она пишется дважды, трижды, и каждый раз события истолковываются по-разному.

Не вдаваясь в другие области, бегло взглянем на историю Великой Отечественной войны. Все в ней вроде бы детально известно: операции, даты, имена, цифры, рубежи. Но до 1953 года в наших исторических трудах был явный перекос в сторону преувеличения заслуг Сталина в достижении победы в целом и во многих операциях: был он назван «Великим полководцем всех времен и народов». Напомню еще про «десять сталинских ударов в 1944 г.».

А позднее, в пятидесятых годах? В шеститомном издании истории Великой Отечественной войны и во многих книгах того периода виден иной акцент. Имя Сталина вычеркнуто и там, где это было необходимо, и там, где нельзя; возникла другая крайность: его пытались заменить именем Хрущева.

А затем, в шестидесятых годах появился и разросся до невероятных размеров новый конъюнктурный бурьян о том, что наши победы главным образом вдохновлялись с «Малой земли» и были одержаны на том пути, где «вел» 18-ю армию политработник, полковник Брежнев. Писали об этом всерьез и так много, что он сам поверил в это и преподнес себе маршальское звание, пять геройских Золотых звезд и орден Победы. По статусу все это дается лишь за дела и подвиги, совершенные на поле брани, и полковнику, политработнику никак не полагается.

Вот такой неприглядный путь сложился у нас при написании истории Великой Отечественной войны. Стыдно нам будет перед потомками. Наверное, наследники будут пожимать плечами и поражаться нашей непоследовательности в оценке великих дел, которые мы смогли свершить, но не сумели достойно и правдиво описать.

Необходимо, мне кажется, сказать несколько слов и о том, как написана книга.

С необходимостью создания нового жанра, отвечающего задачам, которые стояли передо мной как писателем при создании документального, широкоохватного произведения, я столкнулся еще при работе над повестью «Полководец». И мне кажется, еще в той книге я нашел такой жанр. В предисловии к ней я назвал его мозаикой. Мозаика, складывающаяся, как известно, из отдельных плиточек, разноцветных кусочков, в целом создает определенное изображение, картину.

Очень интересную мысль (ободряющую меня!) высказал Белинский. Говоря о том общем, что есть между «вымыслами фантазии» и «строго историческим изображением того, что было на самом деле», он утверждает: «Кажется, что бы делать искусству... там, где писатель связан источниками, фактами и должен только о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты как можно вернее? Но в том-то и дело, что верное воспроизведение фактов невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна еще фантазия. Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание...» Отнюдь не претендуя на звание художника и на построение «изящного здания», хочу обратить внимание читателей на определение «камни» и «кирпичи». Кажется, Белинский чуть-чуть не произнес слово «мозаика»...

Важными составными компонентами моей литературной мозаики, ее «камнями» и «кирпичами», являются: архивный документ, цитата из книги, рассказ участника или очевидца события — словом, все то, что способно, на мой взгляд, убедительно и достоверно **показать** то, о чем идет разговор.

Я изучал военную литературу, советскую и зарубежную, мемуары опытных военачальников обеих сторон, работал в архивах, наших и заграничных, куда, конечно, не каждый из читателей имеет возможность обратиться. Я встречался со многими участниками войны, сослуживцами маршала Жукова, беседовал и записывал их рассказы. Еще раз перечитал и просмотрел многое написанное о войне. Авторы многих книг могут узнать в моем тексте «свои эпизоды», но я думаю, они меня правильно поймут и не посетуют за это, ведь работа, которую я взял на себя, огромна: я не считал нужным прятать или маскировать факты, цифры, документы, а порой и сцены, взятые из книг других авторов, я говорю об этом открыто, ибо без использования уже известных данных невозможно создать такую книгу. Некоторые ученые, изучающие Великую Отечественную войну и уже опубликовавшие исследовательские работы, могут отнестись к моей книге скептически и будут, возможно, правы. Но я и не претендую на научность: кни-

га моя — литературное произведение на документальной основе, и мне хочется, чтобы ее таковой и воспринимали.

Все названные выше компоненты мозаики, ее «строительный материал» объединены моими суждениями, объяснениями, комментариями; они-то и должны, как мне кажется, связать все в единое целое. Не помню, кому принадлежит мысль, но мне она кажется правильной: комментарий — это уже мировоззрение. Исходя из этого, думаю, у читателей могут возникнуть опасения, что мои описания в какой-то степени будут субъективными в силу того, что мне, как каждому человеку, свойственны свои взгляды, отношение к людям и событиям. Наверное, такое опасение закономерно. Но все же в самом начале хочу сказать, что я всячески старался избегать субъективности, стремился — в доступной мне степени — объективно излагать все то, что я нашел в своих поисках. Приглашаю читателей вместе со мною анализировать и оценивать сказанное в каждом отдельном случае.

Отшумели сражения второй мировой войны, раскрыты многие архивы и тайны генеральных штабов воевавших сторон, рассказаны и обнародованы ухищрения дипломатов, политических деятелей и военачальников. Казалось бы, пришло время узнать людям правду обо всем происшедшем. И вот начали эту правду излагать. Но, как это ни странно, правда опять разная в двух лагерях, так же, как это было в дни, когда гремели пушки. Оперируя теми же событиями, называя те же сражения, рубежи и фронты, приводя ту же численность войск, даты, имена полководцев и героев, обе стороны пишут историю на свой манер, толкуют так, как это выгодно каждой из них, причем самое любопытное, что все подтверждают свою точку зрения убедительными аргументами, документами, а в конечном счете приходят к своим, желаемым выводам.

Можно ли не поддаться этому пороку? Давайте попробуем.

Кинорежиссер Кармен создал для зарубежных зрителей прекрасный фильм «Неизвестная война». Работая над книгой о Жукове, пользуясь архивами без прежних ограничений и запретов, я обнаружил, что и нам самим эта война во многом неизвестна. Как ни странно, но это так! Не говоря уже о тенденциозности и прямой фальсификации, мы еще не знаем многие стороны и подробности войны потому, что есть целые материки материалов, которых мало кто касался. Назову два из них, которые мне довелось просмотреть. Жуков, выезжая на фронт, в действующие армии, ежедневно в конце дня, а чаще ночью или уже утром писал совершенно секретные донесения Сталину. Подчеркиваю — ежедневно! Эти донесения ввиду их большой секретности писались в единственном экземпляре лично Жуковым или под его диктовку генералом для особых поручений. На машинке донесения не перепечатывались. Их текст передавался Верховному Главнокомандующему шифром. Все, кому был известен текст, расписывались на донесении — начиная от Жукова и кончая шифровальщиками. Донесения эти собраны в несколько объемистых томов по пятьсот и более листов. Я прочитал и сделал выписки из всех этих томов, причем не из расшифрованного в свое время в Генеральном штабе текста, а из подлинных донесений, написанных и правленных Жуковым разными карандашами и чернилами.

Слова, буквы, строчки в каждом донесении разные. Даже сам почерк передает настроение, душевное состояние маршала. Если дела идут успешно, войска наступают или стойко обороняются, строки текста ровные, абзац к абзацу ложится прямыми строгими квадратами. Но если идет сшибка с контрударами, контратаками, вклинением противника и, не дай бог, отходом наших войск, текст на листах бумаги весь вкривь и вкось, с вставками и перечеркиванием, приписками сбоку и на обороте. Тут и карандаши разного цвета, и восклицательные знаки, иногда по три подряд. И порой, не выдержав жуковского темперамента, бумага местами оказывается прорванной энергичным росчерком. Представляю еще и какие восклицания звучали при этом: Жуков под горячую руку, как говорится, выпаливал, что накипело, громко и энергично.

Есть и другие, еще более объемистые залежи «неизвестной войны» — наверное, с ними работали ученые, журналисты, работники Министерства обороны и до меня; не претендую на роль первооткрывателя, но для меня это были действительно неведомые сокровища. Представьте себе 96 больших коробок, в каждой из них по 3—4 тома подлинных политических донесений из многих дивизий всех армий и всех фронтов! И в каждом томе более 500 документов. Здесь только 1941 год — каждый день войны — героические поступки, подлые предательства, партсобрания с приветствиями «вождю народов», пьянки и дебоши, сбор средств на вооружение, самоубийства и самострелы, оставленные и освобожденные города и села, радостные встречи соотечественников и их же помощь нашим врагам, перебои в снабжении, раненые, брошенные на произвол судьбы. Солдаты-герои и генералы-подлецы. Подлецы-солдаты и герои-генералы.

Вот где она, «неизвестная война»!

Я познакомлю читателей со многими из этих материалов, имеющих отношение к моей теме, к Жукову, к операциям, которыми он руководил. Но, повторяю, сотни томов и тысячи документов еще ждут отбора и публикации, да не только из этих коробок. Стоят на стеллажах, ждут своих первооткрывателей упаковки с делами управлений — оперативного, разведывательного, тыла и многих других. Ко всему этому прикасались пока одиночки. Все это еще по сей день «неизвестная война».

А у нас некоторые критики и литературоведы договорились до того, что считают: военная тема себя исчерпала! Нет, уважаемые коллеги, к военной теме понастоящему прикоснулись еще очень немногие. Большие открытия и успехи нашей литературы в создании правды о войне и о человеке на войне еще впереди.

Введение мое немного затянулось, но прошу учесть — оно написано ко всей книге, а не только к первой ее части, публикуемой здесь в сокращенном виде как журнальный вариант.

Эта первая часть охватывает события, действия людей и главного героя Жукова от начала XX века до Московской битвы включительно.

Вторая часть, над которой я теперь работаю, освещает сражения и роль в них Жукова, начиная от Московской битвы и до Дня Победы и принятия Жуковым капитуляции гитлеровской Германии.

Третья часть будет посвящена послевоенной службе и жизни Георгия Константиновича. Эта часть его биографии меньше всего освещена, и была она трудной, потому что сразу после победы, с 1946 года, и фактически по день смерти — двадцать семь лет он находился в опале.

И лишь в самые последние годы жизни судьба подарила ему большое счастье — любовь к прекрасной женщине и ее такое же сильное ответное чувство. Тем и завершается моя книга.

В моей мозаике описано далеко не все: события, личные поступки и качества людей рассмотрены мной преимущественно в военном аспекте: я писатель военный и стремлюсь не выходить за пределы моей компетентности. Возможно, есть в книге и огрехи. Поскольку это первая публикация, мне бы очень хотелось получить от читателей замечания, поправки и особенно какие-то новые факты, эпизоды из жизни Георгия Константиновича, которые оказались мне неизвестны при работе над книгой. Все это я учту с благодарностью.

НАЧАЛО РАТНОГО ПУТИ

Как это ни странно звучит сегодня, но будущий маршал, вступая в жизнь, даже не помышлял быть военным. И родители, назвав его при крещении Егорием, вовсе не думали о внесенном в святцы воине Георгии Победоносце.

Выстрел в Сараево 28 июня 1914 года, которым был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд и с которого принято считать начало первой мировой войны, перевернул судьбы не только императоров, но и деревенского парня, каким был Егор Жуков.

Я начинаю свое повествование с того дня, когда Георгий впервые, еще не надев военной формы, столкнулся, как сказали бы сегодня, с военной проблемой.

Произошло это так. С началом боевых действий, под влиянием, как мы говорим в наши дни, пропаганды произошел всплеск патриотических чувств, особенно у молодежи, быстрее других поддающейся романтическим мечтаниям: война, мол, это подвиги, геройство, награды...

К этим дням Жуков семь лет проработал в скорняжной мастерской. Из мальчика-ученика он уже стал мастером, получал «целых десять рублей!». И, как он сам вспоминает: «Хозяин доверял мне, видимо, убедившись в моей честности. Он часто посылал меня в банк получать по чекам или вносить деньги на его текущий счет. Ценил он меня и как безотказного работника и часто брал в свой магазин, где, кроме скорняжной работы, мне поручалась упаковка грузов и отправка их по товарным конторам.

Мне нравилась такая работа больше, чем в мастерской, где, кроме ругани между мастерами, не было слышно других разговоров. В магазине — дело другое...»

Нравилось! Глядишь, и вырос бы из Жукова не наш великий полководец, а купец или крупный коммерсант. Но вспыхнула война, взбудоражила юношей, захватила возможностью отличиться. Одним из таких был сверстник Георгия, 17-летний парнишка Александр Пилихин, он предложил

бежать на фронт. Но более рассудительный Георгий решил посоветоваться с самым авторитетным для него человеком — мастером Федором Ивановичем. Тот сказал:

— Мне понятно желание Александра, у него отец богатый, ему есть из-за чего воевать. А тебе, дураку, за что воевать? Уж не за то ли, что твоя мать с голоду пухнет? Вернешься калекой, никому не будешь нужен.

Так старый мастер преподал первый урок социального мышления на военную тему будущему полководцу.

Жуков на фронт не убежал, и, следовательно, первое его соприкосновение с делами военными было не в пользу ратной карьеры. Коммерческое будущее пока взяло верх. А незадачливый друг его все-таки бежал на фронт, и через два месяца его привезли тяжело раненного.

Георгий надел военную форму по призыву, 7 августа 1915 года, в городе Малоярославце Калужской губернии. И тем сделал первый шаг к маршальскому жезлу, который, как известно, находится в вещевом мешке каждого солдата.

Я не буду подробно описывать его боевые дела на фронте, да и нет о них подробностей, напомню только, что за храбрость и умелые действия Жуков был произведен в унтер-офицеры и награжден двумя Георгиевскими крестами.

В одной из бесед, которые в конце жизни маршал вел с Константином Симоновым, он так подводит итог началу своей военной биографии: «Я иногда задумываюсь над тем, почему именно так, а не иначе сложился мой жизненный путь на войне и вообще в жизни. В сущности, я мог бы оказаться в царское время в школе прапорщиков. Я окончил в Брюсовском, бывшем Газетном, переулке, четырехклассное училище, которое по тем временам давало достаточный образовательный ценз для поступления в школу прапорщиков... Но мне этого не захотелось. Я не написал о своем образовании, сообщил только, что окончил два класса церковноприходской школы, и меня взяли в солдаты. Так, как я и хотел.

На мое решение повлияла поездка в родную деревню незадолго перед этим. Я встретил там, дома, двух прапорщиков из нашей деревни; до того плохих, неудачных, нескладных, что, глядя на них, мне было даже как-то неловко подумать, что вот я, девятнадцатилетний мальчишка, кончу школу прапорщиков и пойду командовать взводом и начальствовать над бывалыми солдатами, над бородачами и буду в их глазах таким же, как эти прапорщики, которых я видел у себя в деревне. Мне не хотелось этого, было неловко.

Я пошел солдатом. Потом кончил унтер-офицерскую школу — учебную команду. Эта команда, я бы сказал, была очень серьезным учебным заведением и готовила унтер-офицеров поосновательнее, чем ныне готовят наши полковые школы...

Роль унтер-офицеров в царской армии была очень велика. По существу, на них лежало все обучение солдат, да и немалая тяжесть повседневного руководства солдатами, в том числе и руководство ими в бою. Среди царских офицеров было немало настоящих трудяг, таких, которые все умели делать сами и делали, не жалея на это ни сил, ни времени. Но большинство все-таки сваливали черновую работу на унтер-офицеров, полагались на них. И это определило положение унтер-офицеров в царской армии. Они были хорошо подготовлены, служили серьезно и представляли собой большую силу...

После Февральской революции я был выбран председателем эскадронного комитета, потом членом полкового.

Нельзя сказать, что я был в те годы политически сознательным человеком. Тот или иной берущий за живое лозунг, брошенный в то время в солдатскую среду не только большевиками, но и меньшевиками, и эсерами, много значил и многими подхватывался. Конечно, в душе было общее ощущение, чутье, куда идти. Но в тот момент, в те молодые годы можно было и свернуть с верного пути. Это тоже не было исключено. И кто его знает, как бы вышло, если бы я оказался не солдатом, а офицером, если бы кончил школу прапорщиков, отличился в боях, получил бы уже другие офицерские чины и к этому времени разразилась бы революция. Куда бы я пошел под влиянием тех или иных обстоятельств, где бы оказался? Может быть, доживал бы где-нибудь свой век в эмиграции? Конечно,

потом, через год-другой, я был уже сознательным человеком, уже определил свой путь, уже знал, куда идти и за что воевать, но тогда, в самом начале, если бы моя судьба сложилась по-другому, если бы я оказался офицером, кто знает, как было бы. Сколько искалеченных судеб оказалось в то время у таких людей из народа, как я».

Начиная свой жизненный и военный путь, Жуков, конечно, и предположить не мог, что именно он, Георгий Жуков, одержит блистательные победы над крупнейшими немецкими генералами и маршалами.

* * *

Очень часто в книгах о войне мы встречаем фамилии гитлеровских генералов, с которыми довелось сражаться в боях нашим полководцам. Но, как правило, на фамилиях все дело и кончается, а ведь каждый из генералов обладал определенным характером, имел свои приемы ведения боев и операций, и это все при встрече с нашими военачальниками, несомненно, сказывалось. И если в сражении доводилось одерживать победу или терпеть поражение, то, мне кажется, одно из объяснений успеха или неуспеха заложено и в личности генерала, с которым, как говорится, пришлось скрестить шпаги. Вот, исходя из этих соображений, я хочу в моей книге дать портреты будущих противников Жукова.

Я собирал эти материалы в нашей и зарубежной печати. А однажды представился случай познакомиться с личными делами гитлеровских генералов и фельдмаршалов. В немецкой армии, как и в других армиях мира, на каждого офицера велись в управлении кадров личные дела. У нас это папки с завязками, в которых постепенно, год за годом, накапливаются аттестации и другие документы, характеризующие службу офицера. В немецкой армии учет выглядит несколько иначе. У них на каждого офицера и генерала заполнялись карточки с однообразными для всех пунктами, что-то вроде нашей анкеты, только с меньшим количеством вопросов, сюда вносились конкретные биографические и служебные данные. Я снял копии с личных дел немецких военачальников, с которыми вам в книге, а Жукову на полях сражений придется встретиться.

Начнем с будущего фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. Почему с него? Потому, что именно Кейтель в мае 1945 года будет подписывать безоговорочную капитуляцию гитлеровской армии, которую положит перед ним на стол Жуков. Вот что написано в личном деле Вильгельма Кейтеля. Родился в 1882 году в семье среднего достатка, среднего класса, даже с антипрусскими традициями. Первое офицерское звание — лейтенант — он получил в 1902 году. В 1914 году он уже был капитаном и служил в военном министерстве. В годы первой мировой войны в качестве офицера генерального штаба работал в штабах нескольких кавалерийских корпусов и дивизий. В 1920 году — преподаватель в кавалерийской школе. Затем после мировой войны он служил в различных частях на штабных и командных должностях. В 1923 году получил звание майора.

Следующий из будущих противников Жукова, с кем надо познакомиться пораньше, как мне кажется, — Эвальд фон Клейст. Потому что фон Клейст будет первым гитлеровским генералом, с которым Жукову придется столкнуться на поле боя в первую же неделю войны, недалеко от нашей границы. Клейст в отличие от Кейтеля был родовит по военной линии, один из его предков был фельдмаршалом сухопутных войск при Фридрихе II. Следующий его предок тоже, еще в конце XVII века и в начале XVIII, отличился во многих войнах, за что получил звание графа, и вот с тех пор к фамилии Клейст стала прибавляться приставка «фон».

Эвальд Клейст родился в 1881 году. Звание лейтенанта получил в 1901 году, с 1910 по 1914 г. учился в академии. После окончания академии получил звание капитана (Жуков, как вы помните, в 1915 году только надел солдатскую форму). В годы первой мировой войны Клейст работал в штабах корпуса, а после был направлен на службу в генеральный штаб. В 1919 году — майор и работает референтом, завотделом в военном ведомстве.

Если с Клейстом Жуков только столкнулся в первые дни войны, но остановить его танковый таран не смог, то с фельдмаршалом фон Боком

он бился долго и упорно в сражениях под Москвой и одержал над ним, как известно, блестящую победу. Поэтому и за службой фон Бока давайте проследим заранее. По возрасту он ровесник Кейтеля и Клейста, родился в 1880 году, тоже потомственный прусский офицер в третьем поколении. На фронтах первой мировой войны дослужился до командира полка.

В те же годы начинали свои военные биографии и набирались образования и опыта почти все будущие противники Жукова: Гальдер, фон Манштейн, Гудериан, Гот, Паулюс, Рунштедт, Лист, Гёпнер и другие. У них очень похожие биографии, почти все они родились в конце прошлого века, потомственные служаки, окончили офицерские училища и военные академии, получили опыт на фронтах первой мировой войны. По ходу службы Жукова я буду знакомить читателей и с изменениями в биографиях его оппонентов.

* * *

В книге Жукова, в главе, которая называется «Участие в гражданской войне», изложена общая обстановка на фронтах, на востоке, на западе, на юге, но все это в очень крупных масштабах, и мало сказано о личном участии Жукова в боях. Из автобиографии в его личном деле и из отдельных эпизодов в воспоминаниях можно составить следующую короткую хронику его участия в гражданской войне.

В Красную Армию вступил добровольно в августе 1918-го. Службу начал в 4-м кавалерийском полку 1-й Московской кавалерийской дивизии. Полк формировался в Москве, в казармах на Ходынке. Был в этом полку рядовым, затем командиром отделения, помощником командира взвода.

Весной 1919 года возникла опасность для молодой Советской республики на востоке. Оттуда вел свою трехсоттысячную, хорошо вооруженную армию Колчак. Сюда, на этот фронт, и был брошен полк, в котором служил Жуков. Он вспоминает о прибытии в район боевых действий довольно живописно:

«Помню момент выгрузки нашего полка на станции Ершов. Изголодавшиеся в Москве красноармейцы прямо из вагонов ринулись на базары, купили там караваи хлеба и тут же начали их поглощать, да так, что многие заболели. В Москве-то ведь получали четверть фунта плохого хлеба да щи с кониной или воблой.

Зная, как голодает трудовой народ Москвы, Петрограда и других городов, как плохо снабжена Красная Армия, мы испытывали чувство классовой ненависти к кулакам, контрреволюционному казачеству и интервентам. Это обстоятельство помогло воспитывать в бойцах Красной Армии ярость к врагу, готовность их к решающим схваткам».

К середине апреля создалась реальная угроза соединения войск Колчака и Деникина, потому что Колчак находился в непосредственной близости от Казани и Самары. В этот критический момент командование южной группой войск Восточного фронта было возложено на М. В. Фрунзе. Умелым ударом по открытому левому флангу Фрунзе нанес белым поражение под Бугульмой, Белебеем и под Уфой. В этих боях участвовал, еще в небольшом звании, в должности помкомвзвода, и Жуков. Тогда же он впервые увидел Фрунзе. Конечно, он тогда стоял в строю, а Фрунзе был для него большой, недосягаемый начальник, но все же эта встреча навсегда запомнилась Жукову, он с большой теплотой отзывался о Михаиле Васильевиче.

В это время уже совсем определяется и политическое лицо Георгия Константиновича. До марта 1919 года он состоял в группе сочувствующих (тогда еще не было кандидатов партии), а 1 марта 1919 года его приняли в члены РКП(б). В партию Жуков вступал, как говорится, с открытой душой, полностью разделяя ее программу — социальное положение и жизнь крестьянина-бедняка сформировали его взгляды и чаяния, они совершенно соответствовали тому, что провозглашала и осуществляла партия. В своих воспоминаниях он, уже будучи пожилым человеком, с жаром пишет: «С тех пор все свои думы, стремления, действия я старался подчинять обязанностям члена партии, а когда дело доходило до схватки с врагами Родины, я, как коммунист, помнил требования нашей партии быть примером беззаветного служения своему народу».

И это действительно так. В сабельных рубках, в стычках с врагами Жуков был храбрым бойцом, что отмечали его товарищи и командиры. Во второй половине 1919 года его как человека, проявившего себя в боях и заслуживающего дальнейшего роста, намеревались послать на Курсы красных командиров. Но в эти дни в районе села Заплавное белые внезапно переправились через Волгу между Черным Яром и Царицыном, и полк вместе с другими частями был брошен на ликвидацию этого плацдарма, поэтому Жуков на учебу не отправлен. Да к тому же в этих боях он был и ранен. Это произошло в рукопашной схватке: недалеко от Жукова разорвалась ручная граната, и осколки впились в левую ногу и левый бок. Жуков был отправлен в лазарет.

После лечения он получил месячный отпуск на поправку. Поехал к родителям, в свою родную деревню Стрелковку. Здесь было голодно, жилось трудно. Сразу после отпуска Жуков явился в военкомат и попросил, чтобы отправили в действующую армию. Но военком, посмотрев на него, сказал, что он еще слаб, надо бы ему полечиться, и поэтому отправил его на кавалерийские курсы в Старожилово Рязанской губернии. Здесь скоро разглядели в нем задатки способного командира и назначили старшиной курсантской роты.

На курсах Жуков проучился до июля 1920 года, затем курсы в полном составе были доставлены эшелоном в Москву, в Лефортовские казармы, где их объединили с бойцами других курсов и создали 2-ю Московскую бригаду курсантов, которую направили на юг против Врангеля.

В составе курсантского полка Жукову пришлось рубиться с кавалеристами десанта генерала Улагая. В ходе этих боев, ввиду постоянной нехватки командиров, был произведен досрочный выпуск курсантов, отличившихся в боях. В их числе был и Жуков. Получил он назначение в 14-ю отдельную кавалерийскую бригаду, в 1-й кавалерийский полк, где стал командиром взвода. За короткое время Жуков завоевал авторитет у своих бойцов и у командования как командир, умеющий организовать учебу, да и как боевой командир, потому что занятия часто прерывались выходами для ликвидации многочисленных банд, появлявшихся в то время.

* * *

В конце 1920 года Жуков уже командует 2-м эскадроном 1-го кавалерийского полка. В этой должности он принимает участие в боях по ликвидации антоновского восстания. Это были крупные бои, у восставших сформировалась целая армия. Руководили боевыми действиями на Тамбовщине М. Н. Тухачевский, В. А. Антонов-Овсеенко и И. П. Уборевич. Вот здесь Жуков впервые познакомился уже с крупными военачальниками и видел их, как говорится, в боевых делах.

Разумеется, по своей должности командира эскадрона Жуков не заседал в высоких штабах и не участвовал в разработке крупных операций, он делал свое дело, сражался.

В одном из боев антоновец едва не зарубил Жукова, и мы бы могли в тот момент навсегда потерять этого талантливейшего человека, но боевой соратник, политрук Ночевка спас его.

Вот как сам Жуков своим энергичным языком рассказал об этом в беседе с Симоновым:

«Надо сказать, что это была довольно тяжелая война. В разгар ее против нас действовало около семидесяти тысяч штыков и сабель. Конечно, при этом у антоновцев не хватало ни средней, ни тем более тяжелой артиллерии, не хватало снарядов, были перебои с патронами, и они стремились не принимать больших боев. Схватились с нами, отошли, рассыпались, исчезли и возникли снова. Мы считаем, что уничтожили ту или иную бригаду или отряд антоновцев, а они просто рассыпались и тут же рядом снова появились. Серьезность борьбы объяснялась и тем, что среди антоновцев было очень много фронтовиков и в их числе унтер-офицеров. И один такой чуть не отправил меня на тот свет.

В одном из боев наша бригада была потрепана, антоновцы изрядно всыпали нам. Если бы у нас не было полусотни пулеметов, которыми мы прикрылись, нам бы вообще пришлось плохо. Но мы прикрылись ими, оправились и погнали антоновцев.

Незадолго до этого у меня появился исключительный конь. Я взял его в бою. И вот, преследуя антоновцев... я не удержал коня. Он вынес меня шагов на сто вперед всего эскадрона. Во время преследования я заметил, как мне показалось, кого-то из командиров, который по снежной тропке — был уже снег — уходил к опушке леса. Я за ним. Он от меня... Догоняю его, вижу, что правой рукой он нахлестывает лошадь плеткой то по правому, то по левому боку, а шашка у него в ножнах... и в тот момент, когда я замахнулся шашкой, плетка оказалась у него слева. Хлестнув, он бросил ее и прямо сходу, без размаха вынеся шашку из ножен, рубанул меня. Я не успел даже закрыться, у меня шашка была еще занесена, а он уже рубанул, мгновенным, совершенно незаметным для меня движением вынес ее из ножен и на этом же развороте ударил меня поперек груди. На мне был крытый сукном полушубок, на груди ремень от шашки, ремень от пистолета, ремень от бинокля. Он пересек все эти ремни, рассек сукно на полушубке, полушубок и выбил меня этим ударом из седла. И не подоспей здесь мой политрук, который зарубил его шашкой, было бы мне плохо. Потом, когда обыскивали мертвого, посмотрели его документы... увидели, что это такой же кавалерийский унтер-офицер, как и я, и тоже драгун, только громаднейшего роста. У меня потом еще полмесяца болела грудь от его удара...»

В тот жаркий день под Жуковым убили лошадь. Он из револьвера отстреливался от наседавших на него повстанцев, пытавшихся взять его в плен. Его спасли подоспевшие на выручку бойцы. В конце лета 1921 года отряды Антонова на Тамбовщине были ликвидированы. Жуков за геройство в этих боях награжден орденом Красного Знамени.

С 1922 года по март 1923 года Жуков командовал эскадроном 38-го кавалерийского полка. В его личном деле появились первые письменные аттестации.

На моем столе лежит копия личного дела Георгия Константиновича Жукова. Первая аттестация 1922 года, в ней написано: «Командир эскадрона с 10 ноября 1920 года. С 1 марта 1918 года все время на фронте. Кавалерийскую службу теоретически и практически знает хорошо. Общеобразовательная подготовка средняя, строевая и боевая хорошая, но иногда дерзко относится к политруку...»

Вот еще когда отмечалась его самостоятельность и несколько напряженное отношение к политработнику, в действиях которого он, как командир-единоначальник, замечал известное притеснение.

Командир полка написал в этой аттестации свое заключение: «По своим знаниям соответствует своему назначению и может быть повышен».

Аттестация 1923 года выглядит уже так (обратите внимание на любопытный стиль документов того времени): «Тов. Жуков вполне отлично подготовлен теоретически, вышколенно знает кав. службу, отлично воспитан, обладает широкой инициативой, хороший администратор — хозяин эскадрона. Дисциплинирован, но бывает иногда резок в обращении с подчиненными. Политически подготовлен удовлетворительно. В занимаемой должности пребывает достаточно для его повышения в пом. ком. полка».

Утверждая эту аттестацию, командир 7-й кавалерийской дивизии Н. Д. Каширин написал: «Допустить товарища Жукова к исполнению должности пом. командира полка 40-го кав. полка и возбудить ходатайство об его утверждении».

Дальше сам Жуков вспоминает, что вскоре его вызвал командир дивизии Каширин, побеседовал с ним, расспросил, как идут дела с обучением в подразделении и совершенно неожиданно для Жукова, которого это известие прямо ошарашило, сказал, что принято решение назначить его командиром 39-го Бузулукского кавалерийского полка.

Можно понять Жукова: должность командира полка высокая, ответственная и настолько самостоятельная, что не только представляет возможность командиру проявить себя, но и открывает ему огромную перспективу дальнейшей службы.

Жуков пишет по этому поводу: «Полк — это основная боевая часть, где для боя организуется взаимодействие всех сухопутных родов войск, а иногда и не только сухопутных. Командиру полка нужно хорошо знать свои подразделения, а также средства усиления, которые обычно придаются полку в боевой обстановке. От него требуется умение выбрать главное направление в бою и сосредоточить на нем основные усилия. Особенно это важно в условиях явного превосходства в силах и средствах врага.

Командир части, который хорошо освоил систему управления полком и способен обеспечить его постоянную боевую готовность, всегда будет передовым военачальником на всех последующих ступенях командования как в мирное, так и в военное время».

Жуков пишет о командире полка в военное время, но поскольку наш разговор пойдет о его назначении и работе в должности командира полка в мирное время, мне кажется необходимым подробнее сказать об этой работе.

Мне довелось командовать разными полками — горнострелковым, стрелковым, механизированным — около шести лет, в мирное время, после войны. Полк по своей организации имеет многие государственные атрибуты. Пусть не покажется странным, говорю об этом потому, что в полку, кроме самой армии, еще имеется руководство — штаб, это нечто вроде правительства; своя крупная партийная организация (партия) и еще политработники — профессионалы политической работы. В полку свое сложное, хорошо организованное снабжение, я имею в виду не только централизованное, но и свое полковое хозяйство: бывают свиные и молочные фермы и даже посевные площади, в горнострелковом полку нам доводилось сеять клевер и заготавливать сено для лошадей на зиму. В полку есть карательные органы, представители прокуратуры и даже своя тюрьма — гауптвахта. Есть учреждения культуры: библиотека, клуб, много комнат политической работы, так называемые «Ленинские комнаты», имеется, в конце концов, и торговля: свои магазины, кафе, буфеты, чайные. В общем, полк — это действительно нечто похожее на крошечное государство.

Вот на такую должность в конце апреля 1923 года был назначен Жуков, шел ему тогда двадцать восьмой год.

* * *

Каширин, назначивший Жукова на должность командира полка, в годы сталинских репрессий был расстрелян. А в те годы он был назначен с повышением в другое соединение, и на должность командира дивизии прибыл герой гражданской войны Г. Д. Гай. На первых же учениях, которые проводил с полком Жуков, он понравился опытному боевому командиру дивизии. А Жукову, в свою очередь, пришелся по душе энергичный, горячий Гай, и не только потому, что у него была славная боевая биография, он и в мирное время работал увлеченно, внимательно и заинтересованно относился к людям, что хорошо чувствовали все окружающие и за что его очень уважали.

В конце летней учебы 1923 года 7-я Самарская кавалерийская дивизия участвовала в больших окружных маневрах. И здесь Жуков тоже отличился своими быстрыми и энергичными действиями. Столкнувшись с «противником» во встречном бою, он опередил его в развертывании и лихим ударом во фланг практически, если бы это было в реальном бою, разгромил бы его наголову. За эти действия Жукова отметил и похвалил не только комдив Гай, но и командующий округом М. Н. Тухачевский, который наблюдал за форсированным маршем и стремительной атакой кавалеристов. Так впервые Жуков заслуживает высокую похвалу опытнейшего, великолепно разбирающегося в военных делах будущего маршала Тухачевского.

Однако, несмотря на свою довольно удачную службу и хорошее мнение о нем командиров, сам Жуков ощущал недостаточность теоретической подготовки. Он писал об этом: «В старой царской армии окончил унтерофицерскую учебную команду, в Красной Армии — кавалерийские курсы красных командиров. Вот и все. Правда, после окончания гражданской войны усиленно изучал всевозможную военную литературу, особенно книги по вопросам тактики.

В практических делах я тогда чувствовал себя сильнее, чем в вопросах теории, так как получил неплохую подготовку еще во время первой мировой войны. Хорошо знал методику боевой подготовки и увлекался ею. В области же теории понимал, что отстаю от тех требований, которые сама жизнь предъявляет мне как командиру полка. Размышляя, пришел к выво-

ду: не теряя времени, надо упорно учиться. Ну, а как же полк, которому надо уделять двенадцать часов в сутки, чтобы везде и всюду успеть? Выход был один: прибавить к общему рабочему распорядку дня еще три-четыре часа на самостоятельную учебу, а что касается сна, отдыха — ничего, отдохнем тогда, когда наберемся знаний».

Однажды полк посетил герой гражданской войны, легендарный В. К. Блюхер. Он провел с полком Жукова учение, внезапно объявив боевую тревогу. Поставленную по тревоге задачу полк выполнил, действовал быстро и организованно. После отбоя Блюхер дал высокую оценку и действиям полка, и Жукову лично. Георгий Константинович вспоминает: «Я был очарован душевностью этого человека. Бесстрашный боец с врагами советской республики, популярный герой, В. К. Блюхер был идеалом для многих. Не скрою, я всегда мечтал быть похожим на этого замечательного большевика, чудесного товарища и талантливого командующего».

Вот здесь Жуков сам приоткрывает нам свой идеал командира, к которому он стремился в те годы.

В июле 1924 года комдив Гай, ценящий своего талантливого командира полка, направляет Жукова на учебу в Ленинград, в Высшую кавалерийскую школу.

За время работы в должности командира полка Жуков заслужил следующую аттестацию: «Хороший строевик и администратор, любящий и знающий кавалерийское дело. Умело и быстро ориентируется в окружающей обстановке. Дисциплинирован и в высшей степени требователен по службе. За короткое время его командования полком сумел поднять боеспособность и хозяйство полка на должную высоту. В боевой жизни мною не испытан. Занимаемой должности соответствует. Командир 2-й бригады 7-й Самарской дивизии В. Селицкий».

К этой аттестации присоединился и Гай, командир и военком 7-й кав. дивизии: «С аттестацией командира бригады вполне согласен. Тов. Жуков теоретически и тактически подготовлен хорошо. За короткий срок поставил полк на должную высоту. Хороший спортсмен-наездник. Должности вполне соответствует».

Гай (настоящее имя его Гайк Дмитриевич Бжишкян) после командования 7-й Самарской кавалерийской дивизией, в которой служил Жуков, в дальнейшем стал командиром корпуса, работал в военно-педагогических заведениях, занимался научной работой. В 1937 году, в числе многих других, был расстрелян по ложному обвинению и по указанию Сталина.

* * *

Высшая кавалерийская школа находилась в Ленинграде. Жуков приехал в Ленинград впервые. Этот прекрасный город с его революционными традициями, с огромным количеством культурных и исторических памятников и учреждений, совершенно захватил Жукова, и он наслаждался, знакомясь со всем этим богатством. Высшая школа имела прекрасную учебную базу и размещалась в здании бывшей царской высшей кавалерийской школы, здесь были удобные классы, манеж, методические кабинеты, в общем, все способствовало тому, чтобы успешно учиться. Кстати, вскоре школа была переименована в кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (ККУКС), а срок обучения сокращен с двух до одного года, о чем Жуков очень сожалел, так как страстно стремился повышать свои знания.

Начальником курсов был В. М. Примаков, человек легендарной судьбы и сложной биографии. В 1915 году, еще будучи гимназистом, он вступил на путь революционера. Вернее, вступил он на этот путь раньше, а в 1915 году уже был арестован за распространение воззваний против войны среди войск Черниговского гарнизона. Поскольку это было в военное время, да еще среди войск, Примакову по приговору была определена пожизненная ссылка в Восточную Сибирь. Только после Февральской революции он освободился из ссылки и, прибыв в Петроград, участвовал в Октябрьском вооруженном восстании, возглавляя один из отрядов, штурмовавших Зимний дворец. Затем участвовал в разгроме мятежа Краснова, а в январе 1918 года сформировал 1-й полк Червонного казачества

на Украине. В дальнейшем полк вырос в бригаду, дивизию и Первый конный корпус Червонного казачества. Примаков сражался против войск Деникина, Врангеля, на польском фронте, отличался в боях исключительной храбростью, за что был награжден тремя орденами Красного Знамени.

Виталий Маркович Примаков был весьма эрудированным человеком. Об этом свидетельствует то, что после курсов его неоднократно назначали на дипломатическую работу: он был советником в Китае, военным атташе в Афганистане и Японии, затем зам. командующего войсками различных округов, увлекался не только военно-историческим творчеством, но и художественным — он автор нескольких художественных книг. Жизнь его, как и многих военачальников, закончилась трагически: в 1937 году он был расстрелян по ложному обвинению.

Примакову недолго пришлось командовать курсами, он получил другое назначение, а на его место прибыл тоже известный еще в старой русской армии кавалерист М. А. Баторский.

В наборе, с которым поступил Жуков, было более двухсот человек. Все молодые командиры, многие из них прошли такую же школу, как Жуков, большинство были командирами кавалерийских эскадронов. Однако набралось двадцать пять человек командиров полков, их выделили в особую группу, в нее вошел и Жуков. В этой группе были К. К. Рокоссовский, И. Х. Баграмян, А. И. Еременко и много других, в будущем крупных военачальников. Все они были по годам молодые, по опыту бывалые люди, и все они хотели учиться, получать знания, поэтому сразу установилась атмосфера какой-то энергичной состязательности, учились с желанием отличиться друг перед другом, тем более что кроме учебы были еще и настоящие соревнования, конно-спортивные или просто спортивные. Маршал Баграмян пишет в своих воспоминаниях: «Георгий Константинович Жуков среди слушателей нашей группы считался одним из самых способных. Он уже тогда отличался не только ярко выраженными волевыми качествами, но и особой оригинальностью мышления. На занятиях по тактике конницы Жуков не раз удивлял нас какой-нибудь неожиданностью. Решения Георгия Константиновича всегда вызывали наибольшие споры, и ему обычно удавалось с большой логичностью отстоять свои взгляды».

После войны, уже в 70-х годах, я бывал у Ивана Христофоровича, моего бывшего командующего фронтом в годы Великой Отечественной войны. Он многое мне рассказывал, показывал свои рукописи, позднее опубликованные. Жена Баграмяна, Тамара Амаяковна, ставила на стол свои неповторимые «фирменные» пирожки, а Иван Христофорович, вспоминая сослуживцев, так вдохновлялся, что я зримо представлял себе тех молодых, бравых командиров, о ком он рассказывал. О Жукове я его специально не расспрашивал, о чем теперь очень сожалею, но тогда я не думал писать эту книгу. Помню такую вот любопытную деталь из рассказа Баграмяна:

— Мы были молодые, и, вполне естественно, кроме учебы, нам хотелось иногда и развлечься и погулять, что мы и делали: уходили в город, иногда посидеть в ресторане, иногда ходили в театры. Жуков редко принимал участие в наших походах, он сидел над книгами, исследованиями операций первой мировой войны и других войн, а еще чаще разворачивал большие карты и, читая книги или какие-нибудь тактические разработки, буквально ползал по картам, потому что карты были большие, они не умещались на столе, он их стелил на пол и вот, передвигаясь на четвереньках, что-то там выглядывал, высматривал и потом сидел, размышляя, нахмурив свой могучий, широкий лоб. И случалось нередко так: мы возвращались после очередной вылазки, а он все еще сидел на полу, уткнувшись в эти свои карты...

У Жукова был не только талант, но и тяга к военному искусству. Бывает иногда и так: у человека есть талант, но он его не ощущает, не развивает, не живет тем делом, талант к которому подарила ему природа. У Жукова его природное дарование сочеталось со страстной любовью к своей профессии. Иногда у человека, даже увлеченного своей профессией, бывает, как мы сегодня говорим, еще и какое-то хобби. У Жукова все было сконцентрировано и устремлено на военное дело, это была и одаренность, и страсть, и увлечение, это был смысл всей его жизни.

В осенние и зимние месяцы слушатели овладевали довольно большой программой по тактике конницы и общевойсковому бою. Нагрузка была немалая, а в летнее время те же вопросы отрабатывались практически в поле на многочисленных учениях с выездом на конях. У каждого слушателя был свой конь, он с ним и приезжал на учебу.

Учеба закончилась, сданы экзамены, многие подружились на этих курсах на всю жизнь. Такая дружба здесь завязалась у Жукова с Рокоссовским. Все разъезжались по своим частям, а неугомонный Жуков и здесь придумал нечто неожиданное. Он и командир полка М. Савельев, командир эскадрона астраханского полка Н. Рыбалкин решили организовать конный пробег по маршруту Ленинград — Витебск — Орша — Борисов — Минск, чтобы возвратиться к месту службы таким вот необычным способом. Командование рассмотрело обоснованный, хорошо рассчитанный план пробега, но заявило, что не имеет возможности организовать в пути обслуживание и питание. Настойчивые командиры не отказались от своих намерений и решили пройти почти 1000 км за семь суток. Это было не просто, такого опыта еще не было.

И вот ранним осенним утром они тронулись от Московской заставы, их проводили представители командования курсов и друзья. У Жукова в первый день почему-то захромала лошадь Дира, она уже была немолодая. И поэтому ему частенько приходилось спешиваться и вести лошадь в поводу. Но в дальнейшем Дире стало лучше, и Жуков, не смалодушничав в первый день из-за неожиданного препятствия, до конца прошел весь маршрут. Преодолев тяжелый путь, участники пробега похудели каждый примерно на шесть килограммов, лошади потеряли больше десяти. Этот смелый пробег был отмечен премиями и благодарностью командования, он был засчитан и как своеобразный рекорд — раньше никто из конников не преодолевал такое большое расстояние за столь короткий срок.

За время учебы в ККУКСе Жуков основательно повысил свою теоретическую подготовку. Можно сказать, что, подобно Горькому, который, не имея высшего образования, путем самостоятельной учебы стал одним из образованнейших людей, Жуков благодаря упорному, настойчивому самообразованию, не имея академического диплома, стал одним из самых сведущих людей в военном деле. И не случайно в эти годы в очередной аттестации появляется такая строка: «Активный работник в области военно-научного дела».

После окончания курсов Жуков отправился в отпуск. Когда он вернулся, части переходили на новые штаты. В дивизии вместо шести полков теперь оставалось только четыре. Конечно же, командование отобрало в новые штаты лучших. Жуков был одним из первых. Он стал командиром вновь сформированного 39-го полка.

Весной 1925 года было издано директивное письмо ЦК партии «О единоначалии в Красной Армии». Жукова вызвали в штаб, где, кроме командира дивизии, были командир 3-го кав. корпуса С. К. Тимошенко и комиссар этого корпуса А. П. Крохмаль. Жукова спросили, готов ли он взять на себя обязанности командира и комиссара полка, то есть стать единоначальником. Жуков, подумав, ответил согласием. Через несколько дней был издан такой приказ. В 7-й кав. дивизии это был первый командир полка-единоначальник.

Вскоре после этого комдива К. Д. Степного-Спижарного сменил очень опытный и боевой комдив Д. А. Шмидт. Командиры дивизии менялись, а мнение о Жукове не менялось, вернее, с каждым годом все улучшалось. В 1926 году уже новый комдив делает о Жукове такую запись в его аттестации: «Блестяще справляется с должностью единоначальника. Полагаю, достоин быть командиром бригады».

Осенью 1927 года полк посетил С. М. Буденный, большой знаток кавалерии. Это был серьезный экзамен для командира. Буденный осмотрел расположение полка и, конечно, не мог обойтись без «выводки». Буквально через несколько минут, по сигналу, эскадроны выстроились и были готовы к «выводке». Этот красивый и очень своеобразный ритуал в настоящее время уже не существует в армии. Но я в свое время, еще в 1958—1960 годах, командуя горнострелковым полком в Туркестанском округе, нередко сам проводил «выводки» и делал их по требованию проверяющих. Все здесь рассчитано, очень продумано и, не боюсь этого слова, — красиво. Угодить Буденному, старому кавалерийскому служаке, было, конечно, трудновато, но «выводка» ему очень понравилась, и он поблагодарил красноармейцев и Жукова за отличное содержание лошадей, а у Буденного заслужить такую оценку было непросто!

Позднее полк посетил А. И. Егоров, один из самых серьезных теоретиков Красной Армии. В годы гражданской войны он командовал фронтами, известен в истории как полководец, разгромивший армии Деникина. Егоров был награжден четырьмя орденами Красного Знамени и почетным революционным оружием.

Он приехал в полк неожиданно и сразу же пришел на занятия, которые проводил Жуков. Разумеется, когда заранее известно, что будет проверять высокое начальство, то и занятия соответственно готовятся. Побыв на обычных, рядовых занятиях Жукова, Егоров высказал ряд замечаний и пожеланий, но в целом занятия оценил высоко. Как командир, обладавший высокой штабной культурой, Егоров пожелал не только посмотреть коней, но попросил познакомить его с разработкой мобилизационного плана полка. И в этих специфических штабных делах у Жукова все оказалось на должном уровне. Осмотрел Егоров склады и неприкосновенные запасы, здесь тоже все было в порядке.

В общем, Жуков в те годы встречался со многими замечательными военачальниками и командирами. К сожалению, почти все, кого я называю в этих главах, были впоследствии уничтожены во время сталинских репрессий.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

В тридцатые годы начинается новый этап в жизни Красной Армии, а, следовательно, и в жизни Г. К. Жукова.

С начала индустриализации, когда у нас появляются заводы, способные производить военную технику, мощно укрепляется оборонная база страны. Начинается важнейший процесс — перевооружение армии. В 1931 году вводится специальная должность начальника вооружений РККА, который станет заниматься именно вопросами технического перевооружения. На эту должность в том же 1931 году назначается М. Н. Тухачевский.

Как высоко Жуков оценивал Тухачевского, показывает такое его высказывание: «При встречах с ним меня пленяла его разносторонняя осведомленность в вопросах военной науки. Умный, широко образованный профессиональный военный, он великолепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических вопросах. М. Н. Тухачевский хорошо понимал роль различных видов наших вооруженных сил и современных войск и умел творчески подойти к любой проблеме.

Все свои принципиальные выводы в области стратегии и тактики Михаил Николаевич обосновал, базируясь на бурном развитии науки и техники у нас и за рубежом, подчеркивая, что это обстоятельство окажет решающее влияние на организацию вооруженных сил и способы ведения будущей войны».

Надо сказать, что наша наука, наша военная теория в предвоенное десятилетие имели передовой, абсолютно современный характер и в чем-то опережали теоретические изыскания гитлеровского генерального штаба. У нас было много высокообразованных, талантливых теоретиков, которые разрабатывали стратегическую доктрину защиты государства. Так, М. Н. Тухачевский написал специальную работу, посвященную начальному периоду войны «Характер пограничных операций». В этой работе он как бы предвидел ту обстановку, которая реально сложилась в 1941 году. Он писал, что пограничная зона стала слишком уязвимой со стороны авиации и мотомеханизированных войск противника, так как, учитывая летно-тактические данные самолетов, реальная глубина воздействия воздушных сил будет не менее 250 километров. В этой зоне авиация будет бомбить аэродромы, совершать налеты на железнодорожные и шоссейные

мосты, изолируя отдельные гарнизоны. Сочетание ударов авиации с действиями механизированных войск и, где возможно, посаженных на автомобили стрелковых войск создаст такую обстановку, которая сорвет или крайне затруднит плановую мобилизацию и сосредоточение в пограничной полосе не только главных сил, но и войск прикрытия.

Очень важным был доклад маршала А. И. Егорова в 1932 году Реввоенсовету СССР, где он изложил свою точку зрения на начальный период войны; вкратце ее можно сформулировать так: еще в мирное время враждующие стороны будут стремиться, используя скрытую мобилизацию, как можно раньше собрать наиболее подвижные и маневренные силы и средства (авиация, мотомех. части, конные массы), с тем чтобы в нужный момент вторгнуться на территорию противника и сорвать мобилизацию и сосредоточение его армий в пограничных районах. Егоров также утверждал, что сосредоточение войск будет под сильным воздействием двух основных факторов: количество и качество авиации и наличие механизированных соединений, сочетающих большую ударную и огневую силу с большой подвижностью.

Егоров предвидел широкий размах и высокую напряженность сражений сразу же, с первых часов войны, и массовое применение авиации, а также крупных мотомеханизированных частей, которые будут проникать глубоко на территорию противника. Но и тут Егоров шел дальше немецких военных теоретиков и говорил, что этими стремительными ударами, как бы мощны они ни были, все-таки исход войны не решается: «Необходимо учесть,— указывал Егоров,— что группы вторжения в состоянии будут создать лишь ряд кризисов, нанести ряд поражений армиям прикрытия, но не могут разрешить вопроса окончания войны или нанесения решающего поражения... главным силам. Это задача последующего периода операции, когда закончится оперативное сосредоточение».

Как видим, еще до того, как гитлеровцы стали осуществлять свои агрессивные планы молниеносных войн в Европе, наши военачальники, те, которых я назвал, и многие, которые не названы мной, уже предвидели и характер действий в будущей войне агрессивных армий, и то, как им следовало бы противодействовать. Но эти передовые взгляды наших военных теоретиков, к сожалению, не только не были учтены и использованы в подготовке к отражению агрессии, но даже преданы анафеме!

После ареста видных ученых и военачальников все, что они говорили, чего достигли в своих исследованиях, что внедряли в армейскую практику, стало считаться крамолой и вредительством. То, что было сделано, что уже можно было усиливать и пополнять, сводилось почти на нет. Расформировывались созданные механизированные корпуса. И это в преддверии войны, в которой именно механизированные и танковые войска решали судьбу сражений!

* * *

Не часто в жизни командира бывают специально изданные приказы, отмечающие его хорошую работу. Обычно, если строевого командира и поощряют, то объявляют благодарность устно, чаще же ему достаются упреки, назидания, взыскания, потому что опытный глаз начальника всегда найдет немало недостатков в работе. Но в жизни Жукова был такой приказ, отмечавший его выдающиеся заслуги:

«Командир-военный комиссар 39-го кавалерийского полка тов. Жуков Г. К. в течение семи лет командовал 39-м кав. полком. Годы мирной учебы требовали максимума знаний, сил, энергии и внимания в деле подготовки частей и воспитания бойца.

Высокие личные качества тов. Жукова, как командира и воспитателя дали ему возможность держать полк на высшей ступени подготовки и морального состояния.

К сегодняшнему дню 39-й кавполк считаю одним из лучших полков корпуса по боевой подготовке.

За хорошее руководство полком тов. Жукову от лица службы объявляю благодарность.

С назначением на новую должность надеюсь, что тов. Жуков еще больше приложит сил и внимания в деле подготовки частей и сколачивания целых соединений. Желаю успеха.

Командир-военный комиссар 111-го кав. корпуса Тимошенко
17 мая 1930 года.

гор. Минск».

Для подготовки к новой, более высокой должности Г. К. Жукова послали в Москву на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. На эти курсы направлялись наиболее перспективные командиры, показавшие себя на практической работе с самой лучшей стороны. Они жили в гостинице Центрального дома Красной Армии, а занятия проходили в Наркомате обороны, в оборудованных здесь учебных классах. Руководил этими курсами заместитель Блюхера — комкор Михаил Владимирович Сангурский. На курсах слушатели занимались военной теорией и оперативным искусством — проблемами более крупных масштабов, чем те, которые уже хорошо знал и применял на практике Жуков. Сам Георгий Константинович пишет: «Все мы увлеклись военной теорией, гонялись за каждой книжной новинкой, собирали все, что можно было собрать из литературы по военным вопросам, чтобы увезти с собой в части...»

По возвращении с высших курсов весной 1930 года, когда и был издан тот приказ, который я цитировал выше, Жуков был назначен командиром 2-й кавалерийской бригады.

Бригадой Жуков прокомандовал немного более года, и вдруг его вызвал в штаб командир дивизии К. К. Рокоссовский и сообщил приказ о назначении его на должность помощника инспектора кавалерии РККА. Это высокое назначение Жукова не обрадовало, штабной работы он не любил и даже, как выразился Рокоссовский в аттестации, «ненавидел ее». И Рокоссовский, и Жуков не были довольны этим новым назначением, но приказ есть приказ.

Мне хочется привести короткий разговор между Рокоссовским и Жуковым, показывающий, насколько служба строевого командира подчинена делу, которому он отдает свою жизнь. Гражданский человек, получая назначение, связанное с переездом в другой город, начинает что-то упаковывать, ликвидировать какое-то домашнее хозяйство. У военных все это происходит проще:

— Сколько вам потребуется времени на сборы? — спросил Рокоссовский.

— Часа два,— ответил Жуков.

И на следующий день, после прощального обеда с товарищами по службе, Жуков с женой Александрой Диевной и двухлетней дочкой Эрой выехал в Москву.

Инспекция кавалерии, как и другие инспекции и управления боевой подготовки Красной Армии, входила в состав Наркомата по военным и и морским делам СССР. Работая в этой инспекции, Георгий Константинович готовил проекты боевого устава конницы Красной Армии. Именно здесь он близко соприкасался с М. Н. Тухачевским, мог полнее оценить значение его деятельности.

Жуков, несомненно, очень расширил свой кругозор во время работы и над уставами, и вообще в инспекции, при всем том он очень томился без строевой работы. Окружающие это понимали. И когда однажды заместитель инспектора кавалерии И. Д. Косогов сказал Жукову, что есть возможность выдвинуть его на должность командира 4-й кавалерийской дивизии, Жуков немедленно согласился. Вскоре приказ о назначении Жукова был подписан, и его вызвал к себе Буденный. Семен Михайлович подчеркнул, что 4-я дивизия всегда была одной из самых прославленных дивизий Первой конной армии и что такой же она должна остаться — новое назначение налагает на Жукова большую ответственность.

Вот с таким напутствием Жуков возвращается на любимую им строевую работу.

Не случайно выбор пал на Жукова, одного из лучших кавалерийских командиров. Дело в том, что эта прославленная дивизия раньше размещалась в прекрасных условиях в Ленинградском военном округе, в бывших конногвардейских казармах, в Гатчине, Петергофе, в Детском селе. По

оперативным соображениям ее спешно передислоцировали в Белорусский округ, в город Слуцк, поближе к границе. Передислокация всегда дело сложное, отрицательно влияющее на ход боевой подготовки, а тут дивизия перешла на новое место, причем такое, где вообще не было необходимых условий. Ей пришлось самой строить казармы, конюшни, штабы, жилые дома, склады, всю учебную базу. В результате блестяще подготовленная дивизия превратилась в простую рабочую воинскую часть, что плохо отразилось на ее общем состоянии, боевой готовности.

Вот такой увидел эту дивизию весной 1933 года командующий Белорусским военным округом, командарм 1-го ранга Уборевич и доложил об этом наркому обороны К. Е. Ворошилову, чье имя носила дивизия. Ворошилов информировал С. М. Буденного о том, что ему доложил И. П. Уборевич, и предложил подыскать нового командира.

Этим командиром и стал Жуков, который прибыл к новому месту службы и, прямо скажем, попал в такие условия, из которых не так-то просто можно было найти выход. К тому же это был совершенно новый коллектив для Георгия Константиновича. А когда тебя не знают и ты никого не знаешь, трудности еще больше увеличиваются.

Хочу отметить характерный штрих, показывающий, как жили тогда наши военные даже такого высокого ранга, как командир дивизии. «Мне с семьей, — сказано в воспоминаниях маршала, — пришлось временно поселиться в 8-метровой комнате... Все мы понимали трудности с жильем, и никто не претендовал на лучшее, пока это «лучшее» мы сами не построим. Через полчаса я был уже в штабе дивизии...».

Вот так: два часа на сборы для переезда, 8-метровая комната для семьи, и через полчаса уже на работе и в действии. Это типично по-жуковски.

Командуя четвертой кавалерийской дивизией, Г. К. Жуков благодаря своей огромной работоспособности и требовательности вывел эту дивизию в число лучших в Красной Армии. Это было отмечено для тех времен, прямо скажем, небывалым образом — награждением всей дивизии и командира орденом Ленина. Получить в 1935 году такую награду — событие выдающееся!

О РЕПРЕССИЯХ

Это самая трудная глава не только в книге, но и в истории нашей страны и народа. В первой ее части имя Жукова не упоминается, но все, о чем пойдет разговор, касается судьбы Георгия Константиновича самым прямым образом. Эти события и годы, в которых он жил, служил, политическая атмосфера тех лет влияли на формирование его личности, в конце концов и сам Жуков чуть не попал в кровавый круговорот репрессий, и только счастливая случайность спасла его от гибели.

Но поведем рассказ по порядку.

И здесь невозможно обойти молчанием роль Сталина в нашей жизни, потому что в его руках оказались рычаги, которые приводили в движение миллионы людей, направляя их на различные большие и малые дела, ведшие к победам или провалам, а чаще заводившие в такие социальные дебри или тупики, что мы по сей день не можем разобраться, как и почему такое произошло.

Казалось бы, после XX съезда партии, где все прояснилось и получило соответствующую оценку, должно было наступить одинаковое понимание и отношение к делам и личности Сталина. Однако этого не произошло.

После публикации моей книги «Полководец», в которой тоже затронут этот сложный для нашей истории вопрос, я получил сотни писем от читателей разных возрастов, профессий. И взгляды на деятельность Сталина, оценки ее в них были очень разные.

Да и сейчас, когда официально развенчан культ Сталина, когда мы получили столько вопиющих доказательств его преступлений, есть много людей, которые не могут внутренне освободиться от газетных и журнальных стереотипов тех лет: Сталин — «вождь и учитель», «продолжатель дела Ленина», «корифей революции», «отец родной» и особенно — «великий полководец всех времен и народов». Ведь все это повторялось миллионы раз ежедневно, ежечасно в газетах, журналах, по радио, на плакатах, в кино, на собраниях, митингах, просто в разговорах, и это оказалось вбитым в сознание множества людей. С его именем связывались все наши трудовые свершения в мирные дни и победы в годы Великой Отечественной войны. Уж так повелось, так приучили мыслить людей — где Сталин, там победа, где ошибки или неудачи — там виноваты те, кто отошел от линии Сталина, не соблюдал его указаний. Те, кто высказывал малейшее сомнение по поводу заслуг или личности Сталина, исчезали немедленно и навсегда. Это отучило остальных не только говорить, но даже слушать «крамолу».

Беда началась в 30-х годах, она пагубно отразилась на всей жизни нашей страны. Сталин решил не только захватить всю власть в свои руки, но и войти в историю вторым после Ленина. А для этого надо было создать себе авторитет и соответствующее прошлое. Ему надо было доказать свою руководящую роль в революции, которой, как известно, он в действительности не играл. Осуществлял это решение Сталин сначала осторожно, не торопясь, оттеснял соратников Ленина не только с руководящих постов, но и в описании революционных событий — при создании учебников, при отработке официальных партийных документов.

Появились подхалимы, которые уловили желание вождя и начали, фальсифицируя историю, писать статьи, брошюры и даже целые книги, в которых роль Сталина в революции изображалась так, как ему хотелось бы. В этом особенно преуспел Ворошилов. Если в написанных им ранних работах о революции Сталин даже не упоминался, то в более поздней — «Сталин и Красная Армия» — Сталину уже полностью приписывается роль создателя Красной Армии и организатора почти всех побед в революции и гражданской войне.

Сталин взял на своеобразный учет всех соратников Ленина, участников революции и гражданской войны, которые в своих трудах почти не упоминали его и не говорили о какой-то выдающейся его роли в гражданской войне. Затем всех этих людей, знающих правду, он начинает истреблять.

Вот лишь несколько примеров для хотя бы приблизительного подсчета.

Известно, что после XVII съезда ВКП(б), состоявшегося в 1934 году из 1966 делегатов было уничтожено 1108 человек, был уничтожен почти весь состав ЦК: было избрано 139, репрессировано — 110 членов и кандидатов в члены ЦК, из них расстреляно 98 человек. Только в Московской городской и областной партийных организациях из 146 секретарей райкомов к 1939 году были арестованы и расстреляны 136.

Шло массовое истребление старых работников в аппарате ЦК. Были арестованы почти все наркомы, их заместители и руководящие работники наркоматов, видные ученые, дипломаты, писатели, конструкторы, деятели искусства, работники судов, прокуратуры, комсомола, профсоюзов. И все это не только в центре, но и во всех республиках, городах и селах страны.

Затем прокатилось несколько волн истребления работников НКВД, милиции; недавно в «Правде» было сказано: «В годы репрессий погибло более двадцати тысяч чекистов».

Истребив многих большевиков ленинской гвардии, Сталин с опасением поглядывал на армию. В ней служили многие участники гражданской войны, которые знали о нем правду. Об этом свидетельствовали опубликованные ими воспоминания, статьи к юбилейным датам, к годовщине Красной Армии, к годовщине Октябрьской революции и по другим поводам. Так, например, С. С. Каменев, который с 1918 по 1924 год был Главнокомандующим вооруженными силами республики, написал «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», М. Н. Тухачевский — «Первая армия в 1918 году» и «Курган — Омск», И. Э. Якир — «10 лет тому назад», Я. К. Берзин — «Этапы в строительстве Красной Армии», В. М. Примаков — «Борьба за Советскую власть на Украине», А. С. Бубнов — «История

одного партизанского штаба», В. К. Путна — «Пятая армия в борьбе за Урал и Сибирь» и «Кронштадт — 16 — 18 марта 1921 года», Е. И. Ковтюх — «Последний бой за Царицын», В. К. Блюхер — «Победа храбрых», А. И. Корк — «Взятие Перекопско-Ишуньских позиций войсками 6-й армии в ноябре 1920 года», П. Е. Дыбенко — «На подступах к Царицыну» и «Штурм мятежного Кронштадта», Г. Д. Гай — «Боевые эпизоды», Р. П. Эйдеман — «Об одном неудавшемся плане Деникина», А. И. Егоров — «Разгром Деникина, 1919 год».

Сталин писал и говорил в выступлениях, будто бы Ленин сам не занимался военными вопросами, а поручал это «молодым чекистам», то есть прежде всего ему, Сталину. Но в вышеупомянутых книгах выдающиеся командармы, вспоминая тяжелые годы гражданской войны, не приводят ни одного факта, подтверждающего этот вымысел Сталина. Наоборот, авторы, которых никак нельзя заподозрить в какой-либо предвзятости, писали, что у руля руководства Красной Армией стоял Центральный Комитет партии во главе с Лениным. Причем в этих работах не обсуждается специально вопрос, какова была роль Сталина, тогда ведь этот вопрос даже и не возникал, в них просто рассказывается о реальном ходе событий, о том, что и как произошло и каковы были итоги тех или иных операций, и кто и в какой степени принимал участие в них. Если Сталин там и упоминался, то совсем не так, как ему хотелось бы, а лишь в том качестве, в каком он действительно участвовал в том или другом деле.

Сталин искал, как подступиться к военачальникам, он побаивался их, потому что этот довольно организованный да к тому же вооруженный коллектив мог оказать сопротивление. И вот, действуя уже проверенными методами, Сталин начинает готовить удар по военным, в основном по руководящим кадрам Красной Армии.

Однако ему не сразу удалось подмять военных, особенно Тухачевского.

«ДЕЛО» ТУХАЧЕВСКОГО

Еще в 30-х годах Тухачевский предупреждал, что наш враг номер один — это Германия, что она усиленно готовится к большой войне и безусловно в первую очередь против Советского Союза. Он внимательно следил за развитием военной теории на Западе, изучал состояние и вооружение армий возможных противников, особенно Германии и Японии, соотносил, сравнивал с нашими вооруженными силами и промышленным потенциалом. Выводы были не в нашу пользу. Все это прямо и весьма обоснованно Тухачевский доложил генеральному секретарю партии Сталину. Сталин всегда относился к Тухачевскому настороженно, не доверял ему, видимо, втайне завидовал его таланту, интеллигентности и популярности.

Однако после доклада Тухачевского по военным вопросам на Политбюро было принято решение о модернизации Красной Армии с таким расчетом, чтобы вывести ее по оснащению техникой и вооружению на уровень передовых современных армий. Было также введено предложенное Тухачевским положение о воинских званиях. Все это происходило не без споров и дебатов. Об этих дебатах и настойчивом вмешательстве Сталина в военные дела Михаил Николаевич в кругу друзей рассказывал в юмористических тонах, но зачастую и с нескрываемой горечью. Особенно когда что-либо просто копировалось из того, что делалось у немцев.

Ниже я перескажу несколько фрагментов из книги дальней родственницы маршала Лидии Норд «Маршал М. Н. Тухачевский», опубликованной в Париже (издательство «Лев») и пока недоступной нашим читателям.

— Мне совершенно непонятно германофильство Сталина, — говорил он. — Сначала я думал, что у него только показной интерес к Германии, с целью показать «свою образованность»... Но теперь я вижу, что он скрытый, но фанатичный поклонник Гитлера. Я не шучу. Это такая ненависть, от которой только один шаг до любви... Стоит только Гитлеру

сделать шаг к Сталину, и наш вождь бросится с раскрытыми объятиями к фашистскому. Вчера, когда мы говорили частным порядком, то Сталин оправдал репрессии Гитлера против евреев, сказав, что Гитлер убирает со своего пути то, что мешает ему идти к своей цели, и с точки зрения своей идеи Гитлер прав. Успехи Гитлера слишком импонируют Иосифу Виссарионовичу, и если внимательно приглядеться, то он многое копирует у фюрера. Немалую роль, по-моему, играет и зависть к ореолу немецкого вождя... Как ни говорите, и «чином» Гитлер выше — все-таки был ефрейтором, а наш даже солдатом не был. Стремления первого лезть в полководцы оправданы — «плох тот капрал, который не мечтает стать генералом», а вот когда бывший семинарист хочет показать, что он по меньшей мере Мольтке, — это смешно, а при нынешнем положении вещей и очень грустно. И еще печальнее то, что находятся люди, которые вместо того, чтобы осадить его, делают в это время восторженные физиономии, смотрят ему в рот, как будто ожидают гениальных мыслей...

Модернизацией Красной Армии, как я уже говорил, поручили руководить Тухачевскому, причем и само решение о преобразованиях и все мероприятия, связанные с ними, Политбюро обязало всех держать в строгом секрете. И вдруг вскоре после этого поступили сведения, что иностранные разведки, а особенно германская, уже знают о принятом решении по модернизации и усиленно добывают информацию о том, как она осуществляется.

Тухачевский дал задание выяснить, где произошла утечка сведений о наших секретных мерах. В результате проведенного расследования выяснилось, что сведения были получены иностранными дипломатами от самого Сталина, который в полуофициальной беседе с чешскими представителями похвастался, что проводимая под его руководством реорганизация Красной Армии не только поставит советские вооруженные силы на один уровень с европейскими, но и превзойдет последние. Он хотел приписать себе и заслуги модернизации.

Узнав об этом, Михаил Николаевич пошел к В. В. Куйбышеву, занимавшему в то время пост заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и заместителя Совета Труда и Обороны. Куйбышев был, кроме того, и членом Политбюро. Выслушав Тухачевского, Куйбышев позвонил Г. К. Орджоникидзе, который был тоже членом Политбюро и зам. Председателя Совнаркома. Григорий Константинович, узнав о поступке Сталина, коротко сказал: «ишак». Он согласился с мнением Куйбышева, что вопрос о нетактичном поведении Сталина, о вмешательстве генерального секретаря партии в государственные дела без достаточной компетенции во многих отраслях, как, например, военной, да и научной тоже, надо поставить на закрытом заседании Политбюро. Валерьян Владимирович Куйбышев взял на себя подбор всех фактов, которые должны были быть поставлены в упрек Сталину. Тухачевский попросил Куйбышева и Орджоникидзе также ускорить постановление ЦК и Совнаркома о вводе новых воинских званий, так как он считал, что лучше объявить теперь о них официально, дабы пресечь разные слухи, которые будут пущены за рубежом.

Разговор Тухачевского с Куйбышевым и Орджоникидзе произошел в середине сентября 1934 года. В конце того же месяца на закрытом заседании Политбюро Сталину пришлось не только выслушать много неприятных вещей, но и вдруг почувствовать некоторую шаткость своего положения. Если бы Молотов и Енукидзе не воздержались при голосовании и не выступил бы с примирительной речью незлобивый Калинин, Сталину могли бы даже наложить взыскание.

Весьма возможно, что это заседание ускорило ход дальнейших событий. Сталин, наверное, решил, что не стоит подвергать себя подобной опасности в будущем.

Через месяц после злополучного заседания умер член Центрального Комитета ВКП(б) и председатель ОГПУ Вячеслав Рудольфович Менжинский. Менжинский до 1923 года был народным комиссаром финансов. Он был связан дружескими отношениями с Чичериным, Рыковым, Куйбышевым, Межлауками, Караханом, Луначарским и Бухариным. Надо полагать, что за одиннадцать лет работы в ГПУ, сначала заместителем Дзержинского, а после смерти последнего председателем этого учреждения, Менжин-

ский имел в руках немало компрометирующего материала о Сталине — о том, как он пробил себе дорогу к посту генерального секретаря партии, о методах борьбы партийного вождя со своими политическими противниками. Вполне возможно, что Менжинский согласился передать эти материалы потенциальным противникам Сталина. Теперь Сталин мог быть спокойнее.

На место Менжинского был назначен менее образованный, но более услужливый Ягода. Он не был ни соратником, ни другом тех, кого Сталин намеревался отправить на тот свет.

1 декабря 1934 года произошло убийство С. М. Кирова, одного из наиболее популярных в партии членов Политбюро. Само убийство, а главное, последовавшие сразу после него аресты людей, известных ветеранов революции, которых сразу же объявили заговорщиками и троцкистами, вызвало волнение и возмущение у некоторых членов Политбюро. В. В. Куйбышев открыто заявил, что подоплека убийства и методы ведения следствия вызывают сомнения. Он потребовал создания специальной комиссии от ЦК партии, которая имела бы право параллельно со следственными органами вести допросы убийцы Кирова — Николаева и других арестованных.

Это предложение было внесено на заседании Политбюро в конце декабря, а через месяц, 25 января 1935 года, Куйбышев скоропостижно скончался. Утром работал, а вечером принял лекарство и через полчаса умер. Официально было объявлено, что он умер от тромбоза. И уже через долгий промежуток времени, на процессе Бухарина, «вдруг выяснилось на следствии», что Куйбышев был отравлен, но вину, конечно, свалили на «зиновьевско-бухаринское охвостье».

Однажды Тухачевскому позвонил Поскребышев и сообщил, что «хозяин» хочет видеть Михаила Николаевича и будет ожидать его в Кремле к шести часам вечера.

— Какой хозяин? — возмутился Тухачевский. — Значит, выходит, что мы его холуи? Для меня он является генсеком партии, но в холуях я быть не намерен...

Поскребышев стал оправдываться, что это только шутливое прозвище, но больше никогда в разговоре с Тухачевским не называл Сталина «хозяином».

* * *

В 1936 году произошло событие, окончательно решившее участь маршала: в Испании началась гражданская война. Сталин предложил послать туда советские войска. Ворошилов, привыкший безоговорочно подчиняться, поддержал это предложение.

Тухачевский заявил, что не видит надобности посылать войска в Испанию, что, наоборот, это будет чревато неприятными последствиями в будущем, и наша армия еще вовсе не так богата квалифицированными кадрами, чтобы можно было без ущерба для нее посылать туда лучших летчиков, артиллеристов и танкистов. Сталин был явно недоволен, однако Михаил Николаевич был не из таких, кто обращает внимание на впечатление «начальства». Он продолжил свою аргументацию:

— Наша армия, в общей массе, пока еще не такая, чтобы ее можно было показывать Западу. У нас есть очень большие достижения, но наряду с этим и большие недостатки, которые сразу бросятся в глаза западным военным и снизят наш престиж. Пропаганда — это одно, а с действительностью тоже надо считаться...

— Так что же вы делали все эти годы, если не смогли поднять армию на нужный уровень? — грубо спросил Сталин.

— Из трех лет, запланированных на реорганизацию наших вооруженных сил, минимум полтора ушли на второстепенные и даже третьестепенные дела не по вине руководства армии, — возразил маршал, — и вам, товарищ Сталин, это известно больше, чем кому другому. Второе: наша армия непрерывно растет численно, и для такого роста у нас остро не хватает командного состава, особенно старшего и высшего. Из-за этого у нас слишком быстро идут повышения, и во главе отдельных частей оказываются хотя и способные люди, но недостаточно опытные. Во всех армиях военные кадры проходят военное воспитание и науки с детства, а у

нас больше сорока процентов старших командиров не имеют даже законченного общего среднего образования. Как они ни тянутся сами и как их ни тяни, а пробелы остаются пробелами. Для самообразования плюс усовершенствования военных знаний нужен большой срок...

— В гражданскую войну у нас семьдесят пять процентов старших и высших командиров не имели ни среднего, ни военного образования, а победили образованную кадровую царскую армию, состоявшую из офицерских частей, — с усмешкой заметил Сталин.

— Простите, это не совсем верно, — снова возразил Тухачевский. — В гражданскую войну помимо того, что во главе большинства дивизий и армий стояли старые военные специалисты со стажем и даже академическим образованием, при выдвинувшихся военачальниках-самородках были опытные начальники штабов, опять-таки в большинстве генштабисты. И нельзя нам всю жизнь ориентироваться только на опыт гражданской войны — кататься в карете прошлого, когда кареты уже сданы в утильсырье и вся Европа ездит в автомобилях последней марки. Военная стратегия, военная мысль не должны отставать от эпохи. Опыт гражданской войны хорош, но если мы будем воевать, применяя ту же стратегию в будущей войне со внешним врагом, то будем быстро разбиты наголову...

— Что же вы предлагаете конкретно, товарищ зам. наркома? — холодно перебил генсек.

— Конкретно я все изложил в сорока шести параграфах моего проекта, но из них пока утверждены только шестнадцать.

— И еще шестнадцать вы сумели уже провести без утверждения, — ядовито заметил Сталин. — Остается примерно четырнадцать параграфов. В одном из них вы предлагали еще восстановить и старую царскую армейскую форму с погонами?

— Да, предлагал и предлагаю, — спокойно подтвердил Тухачевский. — Форма удобная и красивая. И форма обязывает командира держаться соответственно. «Честь мундира» — это не пустые слова...

— И мундир с золотым погоном?

— Можно сделать его без погона, — вмешался Калинин. — Но в основном, мне думается, что товарищ Тухачевский прав... мундир надо бы ввести...

— Я считаю, — оборвал дискуссию Сталин, — что вопрос о форме мы можем обсудить потом. Сейчас у нас есть куда более важное дело — это помощь нашим испанским братьям... И меня просто поражает, как товарищ Тухачевский, коммунист, мог возражать против оказания им помощи?

— Я не возражал против оказания помощи испанским революционерам. Вполне согласен, что им надо помочь вооружением, медикаментами и прочим. Но я как военный учитываю, что посылка наших войск туда вызовет немедленную реакцию со стороны Германии и Италии, которые пошлют на помощь Франко свои силы. В этой ситуации, помимо того, что война эта может затянуться на годы и будет стоить нам больших жертв, существующие еще в нашей армии недостатки неминуемо вскроются перед глазами настоящих и будущих врагов. Это первое. Второе: реорганизация армии затянется на более продолжительное время, и армия, теряя лучших командиров на испанской земле, будет не крепнуть, а ослабевать. Я считаю, что если нужно будет помочь испанским борцам людьми, то у нас многие поедут туда в качестве добровольцев. Среди них найдутся и командиры запаса, как опытные, так и такие, которым полезно будет приобрести боевой опыт. Я полагаю, что запись добровольцев найдет широкий отклик среди советского народа.

Большинство согласились с маршалом.

В тот же вечер у Тухачевских собралась компания его сослуживцев: Егоров, Локтионов, Алкснис и другие. За ужином разговор, конечно, коснулся минувшего совещания. Все были согласны с Михаилом Николаевичем, что посылка частей в Испанию — это «авантюра хозяина», и порицали слабовольного Клима Ворошилова. Тухачевский чувствовал себя победителем, но Алкснис выразил опасение, что Сталин не сдаст так быстро своих позиций и будет еще настаивать на своем.

Все эти разговоры в своем кругу становились известны Сталину. В стране, во всех «нужных» местах, была установлена подслушивающая аппаратура, и все, интересущее Сталина, немедленно ему докладывалось.

До гигантских размеров выросла сеть осведомителей-стукачей. Люди, запуганные арестами, желая доказать свою лояльность, давали подписку о сотрудничестве без долгих уговоров: отказ означал сопротивление или принадлежность к вражеским элементам и тоже приводил к быстрому аресту. В те времена говорили: если разговаривают трое — один непременно стукач.

* * *

Репрессии все нарастали. В январе 1937 года начался очередной политический процесс. Одним из подсудимых был Карл Радек. Во время заседания 24 января он, когда его допрашивал Генеральный прокурор СССР Вышинский, произнес фамилию Тухачевского. Вышинский тут же «зацепился» и спросил: знал ли Тухачевский о контрреволюционной деятельности Радека?

Радек ответил:

— Естественно, Тухачевский не знал о моей преступной деятельности. — Но тут же, после небольшой паузы, добавил: — А вот Путна вместе со мной участвовал в заговоре.

После этих слов Радека на некоторое время в зале воцарилась напряженная тишина, потому что все присутствующие знали, что комкор Путна работал под непосредственным руководством Тухачевского, был его подчиненным, всем было понятно, какие последствия может иметь это заявление Радека. Путна в это время уже был арестован и находился во внутренней тюрьме на Лубянке.

Тут необходимо немного вернуться назад, вспомнить историю, чтобы была понятна связь дальнейших событий.

В 1922 году в Италии состоялась международная генуэзская конференция. Здесь ставился вопрос о выплате советской властью долгов царской России западным державам, о компенсации за реквизированные предприятия владельцам-иностранцам. В то же время представители Англии, Франции и других стран уже готовы были признать законность права Советской России на получение репараций с побежденной Германии. И вот когда это уже стало особенно четко проясняться, Германия решительно пошла на сближение с нами. И 16 апреля в Рапалло, в предместье Генуи, был подписан договор между Германией и РСФСР. По этому договору восстанавливались дипломатические отношения между двумя странами. Советская Россия отказывалась от претензий на репарации, а Германия, в свою очередь, отказывалась от получения старых долгов и от претензий на немецкую частную собственность, оставшуюся на территории Советской России. Германское правительство заявляло также о своей готовности оказать поддержку и помощь немецким частным фирмам в развитии их деловых связей с советскими организациями.

Вот этот последний пункт и имеет самое непосредственное отношение к возникновению «дела Тухачевского», к Путне и другим, кто был позднее осужден на процессах как немецкие шпионы.

Дело в том, что эти взаимные хозяйственные дела включали в себя среди прочего и заказы на военную технику со стороны Германии предприятиям России, ибо Германия по Версальскому договору не имела права на свою армию и на производство вооружения. А Россия, в свою очередь, заказывала немецкой промышленности нужные стратегические материалы и оборудование.

Руководил работой, касающейся военных заказов, Тухачевский. Как начальник Штаба РККА, он в 20-е годы встречался с иностранными офицерами и генералами, подписывал соответствующие бумаги, обменивался деловыми письмами. А его подчиненным, который непосредственно занимался этими контактами, был Витовт Казимирович Путна. Это был образованный бывший офицер царской армии, участник первой мировой войны, в которую он командовал батальоном; в революционное движение включился еще будучи на фронте, сразу же после революции вступил в Красную Армию. С сентября 1918 года по май 1919-го был уже комиссаром 1-й Смоленской дивизии. Затем командовал полком, бригадой и, наконец, дивизией. За успешные действия против Колчака на Восточном фронте награжден орденом Красного Знамени, за бои с белополяками получил второй, третий — за участие в ликвидации Кронштадтского мятежа. В 1923—1927 годах работал в Штабе и в центральных управлениях РККА. В эти годы он и выезжал несколько раз в командировки в Германию, занимаясь теми военными заказами, которые осуществлялись между двумя странами согласно Рапалльскому договору. С 1927 по 1931 год Путна был военным атташе в Японии, Финляндии и Германии, затем опять три года командовал корпусом, и в 1934—1936 годах, то есть до дня своего ареста, был военным атташе в Великобритании.

В общем, зацепка уже была и готовились улики для организации «дела Тухачевского». Путна подвергался истязаниям во внутренней тюрьме, из него выбивали показания против Михаила Николаевича.

Параллельно с этими событиями 16 декабря в Париже бывший царский генерал Скоблин передал представителю немецкой разведки «сведения» о том, что командование Красной Армии готовит заговор против Сталина и что во главе этого заговора стоит маршал Тухачевский. И еще: Тухачевский и его ближайшие соратники находятся в контакте с ведущими генералами немецкого верховного командования и немецкой разведывательной службы.

Эта информация поступила к шефу разведки гестапо Гейдриху, а он был одним из самых доверенных людей рейхсфюрера СС Гиммлера. По профессии Гейдрих бывший морской офицер, он запутался в каких-то нечистоплотных делах и был вынужден в связи с этим уйти из флота. А после прихода фашистов к власти его взяли в гестапо, где он благодаря тонкому, изворотливому уму и абсолютной небрезгливости быстро продвинулся по службе и стал, по сути дела, правой рукой Гиммлера. Вот к нему-то и поступили эти материалы. Мастер сложных интриг, он тут же стал искать возможность использовать ценную информацию. Понимая, что можно заварить очень крупное дело, Гейдрих решил доложить об этом самому Гитлеру. Он рассуждал так: если эти сведения достоверны и действительно в случае мятежа власть возьмет «Красный Наполеон» Тухачевский, это будет крайне невыгодно для Германии; но возможно, что эти сведения — дезинформация, направленная на то, чтобы возбудить подозрения против гитлеровских генералов. Однако, если это даже так, то надо перевернуть эту информацию и, соответственно ее переработав, довести до Сталина, обратив всю эту интригу против советских военачальников. Гитлер дал согласие на разработку этой акции, и Гейдрих начал действовать.

Долгое время в нашей стране было известно — и то только в самых общих чертах, — что сведения о наличии военного заговора в военных кругах в Советском Союзе Сталину поступили от президента Чехословацкой Республики Эдуарда Бенеша.

Но шло время, старели, уходили на пенсию многие участники когда-то засекреченных событий, они писали мемуары, вспоминали о тех акциях, в которых им доводилось действовать.

Хеттель, бывший адъютант заместителя начальника гестапо Кальтенбруннера, опубликовал в 1950 г. книгу под псевдонимом В. Хаген «Тайный фронт». Позднее Хеттель переиздал ее уже под своим именем. В этой книге Хеттель рассказал о том, как в недрах немецких разведывательных органов были состряпаны документы, предназначенные для того, чтобы скомпрометировать высшее советское военное командование. Об этой фальсификации рассказано и в посмертно изданных мемуарах руководителя одного из отделов имперского управления безопасности В. Шелленберга и в некоторых других книгах.

Среди них особенно достоверна «Человек, который начал войну». Эта книга об Альфреде Науджоксе, который после разгрома Германии был в числе подсудимых в Нюрнберге в качестве одного из военных преступников. Этот Науджокс приложил руку ко многим сложным делам разведслужбы, возглавляемой Гейдрихом, в том числе и к изготовлению документов о якобы существующем в Советском Союзе военном заговоре.

Эта операция готовилась в большой тайне, знали о ней всего несколько человек. Гейдрих действовал осторожно и в то же время, прямо скажем, рискованно. В секретных архивах верховного командования вермахта (ОКВ) были дела «спецотдела Р». В этих папках хранились документы, касающиеся деловых взаимоотношений между Советским Союзом и Германией по вопросам вооружения в период с 1923 по 1933 год, то

есть до прихода Гитлера к власти. Среди других бумаг находились письма Тухачевского и официальные документы, которые он подписывал. Гейдрих приказал своим секретным агентам выкрасть эти папки. А для того, чтобы пропажа не была замечена, агенты Гейдриха устроили пожар в штабе вермахта, комната, где хранились эти документы, почти вся выгорела, и, таким образом, концы были спрятаны.

Далее Науджокс под руководством штандартенфюрера СС Беренса приступил к фабрикации необходимых фальшивок. В подшивку старых бумаг были добавлены новые фальшивые документы, в некоторых местах в подлинные документы были вставлены фразы, компрометирующие Тухачевского и других, кто поддерживал официальные связи с немецкими руководителями. Были скопированы подпись Тухачевского (известна и фамилия гравера, подделавшего подпись,— Франц Путциг), печать штаба РККА и перенесены на новые фальшивые документы.

Теперь надо было найти способ, как эти фальшивки подсунуть Сталину, именно ему лично, учитывая его большую подозрительность.

Я не думаю, что Гейдрих и германская разведка в те дни уже имели сведения или догадывались о том, что Сталин готовит против военных руководителей репрессии. Видимо, немецкая разведка вела свою игру, но она точно совпала с интересами Сталина.

Зная о добрых отношениях между Чехословакией и Советским Союзом, учитывая, что независимость Чехословакии во многом зависит от поддержки Советской страной, именно сюда направил Гейдрих своих агентов. В своих мемуарах Бенеш рассказал, как чехословацкий посланник в Берлине Мастный прислал ему шифрованную телеграмму, в которой сообщил один немецкий дипломат намекнул ему, что в Советском Союзе скоро произойдут большие изменения, что в Красной Армии есть очень сильная группировка военных, которая готовит смену правительства в Москве.

Получив такие сведения, президент Бенеш немедленно пригласил к себе советского посла в Праге С. Александровского и изложил то, что ему стало известно. С. Александровский, получив такие архисекретные сведения, немедленно вылетел в Москву.

Гейдрих был опытный разведчик, он понимал, что этим сведениям так вот сразу, с ходу, в Москве могут и не поверить. И предпринял еще несколько акций, подкрепляющих эту фальшивку. Через несколько дней после того, как Александровский привез сведения в Москву, наша разведка стала их проверять. На одном из дипломатических приемов в Париже военный министр Франции Даладье отвел к окну советского посла В. Потемкина и, убедившись, что его никто не подслушивает, доверительно сказал, что Франция обеспокоена имеющейся у нее информацией о возможной перемене политического курса в Москве. Что он располагает сведениями о том, будто бы между генералами вермахта и высшими военными руководителями Красной Армии существуют какие-то определенные договоренности. Потемкин немедленно передал срочную шифровку в Москву об этом разговоре. Каким образом и кто подсунул эту фальшивку Даладье, сейчас уже установить трудно, но так или иначе Даладье невольно стал одним из источников дезинформации.

Гейдрих между тем энергично подбрасывал материал для того, чтобы дело выглядело еще более убедительным. Он направил в Прагу из своего ведомства штандартенфюрера СС Беренса, того самого, который участвовал и в подготовке этого фальшивого досье.

В Праге Беренс встретился с личным представителем президента Чехословакии и сообщил ему о том, что существуют и документальные улики против Тухачевского. Как и предполагал Гейдрих, Бенеш тут же информировал об этом Сталина.

На очередной беседе представитель Бенеша предложил Беренсу вступить в деловые отношения с сотрудником советского посольства в Берлине Израиловичем. Встреча состоялась, представитель Гейдриха показал Израиловичу два подлинных письма Тухачевского и сообщил при этом, что у него есть целое досье по этому вопросу.

Очередная встреча состоялась уже с уполномоченным лицом, то есть с человеком, который мог принимать решение на месте. Это был представитель наркома внутренних дел Ежова... Беренс подал ему небольшую папочку. На подложном письме были подлинные штампы разведки абвера — «Совершенно секретно», «Конфиденциально», была и подлинная резолюция Гитлера — приказ организовать слежку за немецкими генералами вермахта, которые будто бы связаны с Тухачевским. Это письмо, в котором за подписью Тухачевского было сказано, что он договорился со своими единомышленниками избавиться от опеки гражданских лиц и захватить власть, было главным документом, всего же досье содержало 15 листов; кроме письма, в нем были различные документы на немецком языке, подписанные генералами вермахта.

Бегло перелистав досье, не сказав ни слова, представитель кивнул головой в знак согласия приобрести это досье и спросил: сколько? Беренс назвал три миллиона рублей: Гейдрих приказал для правдоподобия «заломить» такую сумму, а потом уступить. (В статье Ф. Сергеева в «Неделе» № 7, 1989 г., сумма, заплаченная за досье, указана в 500 тыс. марок.) Представитель Ежова, не торгуясь, тут же выразил свое согласие. Наверное, в истории разведки и всяких тайных махинаций при оплате услуг за получаемые сведения еще никогда не выплачивалась такая крупная сумма. Кстати, в своих мемуарах Шелленберг, причастный к этой операции, писал, что ему пришлось «лично уничтожить почти все деньги, полученные от русских за досье, поскольку они состояли из крупных купюр, номера которых, очевидно, были заранее переписаны ГПУ. Как только кто-нибудь из наших агентов пытался воспользоваться этими деньгами в Советском Союзе, его в скором времени арестовывали».

Можно представить, какую радость доставили Сталину эти документы!

Однако как бы хитро ни была состряпана фальшивка, правда состоит в том, что наши известные военачальники были расстреляны не столько благодаря стараниям гитлеровского гестапо, а главным образом потому, что Сталин решил с ними расправиться еще до получения фальшивки. Следователи с Лубянки «работали» не хуже гейдриховских «мастеров», фабрикуя обвинение и выбивая его подтверждения из арестованных. Фальшивка же гестаповцев была для Сталина неожиданным подарком, облегчающим проведение давно задуманной и готовящейся акции. Всего через три недели после того, как было куплено это досье, 11 июля 1937 года уже было официально сообщено в газетах о том, что маршал Тухачевский и семь других его соратников приговорены к смертной казни Верховным Судом СССР за шпионаж, измену Родине и другие антигосударственные дела. Всего три недели потребовалось на то, чтобы арестовать их всех, допросить, оформить дела уже на Лубянке, подготовить процесс, провести его и расстрелять совершенно невиновных людей.

* * *

Монументальное казенное здание Верховного Суда СССР находится на той же улице Воровского, где и Союз писателей СССР, который размещен в старинном особняке. Я работаю в этом особняке, Верховный Суд — почти наискосок, но как нелегко и непросто попасть в то строгое здание и получить доступ к документам, даже тем, о которых уже десятки раз писалось в наших газетах и журналах. Вот хотя бы к этому «делу» о «заговоре Тухачевского». Все подробности его рассказал мне генерал-лейтенант юстиции Б. А. Викторов, он участвовал в пересмотре «дела» и реабилитации погибших военачальников. (Скоро Викторов подробно расскажет обо всем в журнале «Знамя».) Но вот самому мне никак не удавалось посмотреть бумаги, которые лежали в доме почти напротив. Почему-то было «нельзя». Почему? Кто произносил это категорическое «нельзя» — оставалось неизвестным. Но был тот чин очень велик и грозен, потому что «нельзя» мне передавал тоже не кто-нибудь, а Председатель Верховного Суда СССР В. И. Теребилов, ныне бывший.

Но я считал, что обязательно должен ознакомиться с этим делом, с которого началось массовое истребление командного состава Красной Армии и которое повлияло на судьбы многих, в том числе и Жукова.

И вот наконец-то на столе передо мной это «дело» о «крупнейшем военном заговоре в СССР». Папка судебного заседания и приговора. В ней уже пожелтевшие бумаги. Страшно подумать — бумаги эти сломали жизнь маршалу Советского Союза Тухачевскому и еще семи крупным военачальникам

чальникам, ничего, кроме добра, не сделавшим своему народу. Помимо осужденных, были репрессированы, тоже ни за что, все члены семей, ближние и дальние родственники, знакомые и сослуживцы. Как снежный ком покатилось это дело с горы, породив огромный обвал смертей.

Листаю страшные страницы. Жуть берет от их казенной обычности!

«Стенограмма-протокол.

Заседание специального судебного присутствия Верховного Суда СССР по делу Тухачевского М. Н., Якира И. Э., Уборевича И. П., Корка А. И., Эйдемана Р. П., Фельдмана Б. М., Примакова В. М., Путны В. К.

Судебное заседание от 11 июня 1937 года. 9 часов утра.

Слушается дело

по обвинению в измене Родине, шпионаже и подготовке террористических актов (далее опять перечисляются фамилии всех обвиняемых)...

Дело рассматривается в закрытом судебном заседании...

Подсудимым объявляется состав суда:

председательствующий — Председатель Военной Коллегии Верховного Суда СССР армвоенюрист т. Ульрих В. В. Члены присутствия: зам. наркома обороны СССР, начальник воздушных сил РККА командарм т. Алкснис Я. И., маршал Советского Союза т. Буденный С. М., маршал Советского Союза т. Блюхер В. К., начальник Генерального штаба РККА командарм 1-го ранга т. Шапошников Б. М., командующий войсками Белорусского военного округа командарм 1-го ранга т. Белов И. П., командующий войсками Ленинградского военного округа командарм 2-го ранга т. Дыбенко П. Е., командующий войсками Северо-Кавказского военного округа командарм 2-го ранга т. Каширин Н. Д. и командир 6-го кавалерийского казачьего корпуса имени Сталина комдив т. Горячев Е. И.».

Подсудимым разъяснено: дело слушается в порядке, установленном законом от 1 декабря 1934 года (это означало — участие защитников в судебном процессе исключается, приговор окончательный и обжалованию не подлежит).

Может быть, увидев такой состав суда, подсудимые даже обрадовались, потому что перед ними были их товарищи по гражданской войне, которые хорошо знали об их боевых делах и с которыми они и после войны были в добрых, дружеских отношениях. Но, однако, как видим, приговор был беспощадный и однозначный. Даже из краткой стенограммы видно, что бывшие боевые товарищи добивались от подсудимых признания. Видимо, это объясняется тем, что до начала заседания судьи были ознакомлены работниками НКВД с той фальшивкой, которая была подброшена гестапо. И они поверили ей, читая выглядевшие абсолютно подлинными письма Тухачевского, в которых он излагает планы заговора по свержению существующей власти. Только этим я могу объяснить их единодушную беспощадность.

Как видно из стенограммы, материалы, изложенные в агентурных сведениях, на процессе не фигурировали. В деле их тоже нет, их по правилам контрразведывательных органов нельзя было рассекречивать. Но в то же время в протоколе и нет никаких конкретных фактов, подтверждающих те статьи уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение. Какие конкретные секретные данные были переданы иностранным разведкам? Какие факты вредительства раскрыты? Ничего конкретного, только простое называние преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса, и ничего больше.

Хитро обдуманный суд над Тухачевским и его соратниками был построен на контрастах. Одна часть подсудимых — Тухачевский, Якир — поначалу категорически не признавали себя виновными, другая, признаваясь во всем, «уличала» остальных. НКВД хорошо знал характер маршала Тухачевского, учел, что, оскорбленный до глубины души, он будет вести себя на суде вызывающе стойко. Зато были отлично обработаны Эйдеман, Уборевич, Фельдман, Путна, Примаков.

— Вид у Эйдемана, Уборевича, Путны и Фельдмана был очень странный, — рассказывал позже один из присутствовавших на суде, — внешне они выглядели неплохо, но была какая-то странная апатичность и в голосе и в движениях, и это ненатуральное хладнокровие, с каким они признавали все обвинения, топили себя и других. Противоположностью им являлись Тухачевский, Якир и Корк, которые вначале казались ошеломленными, сбитыми с толку поведением других подсудимых, а потом озлобились, стали чересчур резки. Ульрих часто обрывал их и угрожал выводом из зала.

— Кто кого судит? — крикнул он Тухачевскому. — Не забывайте, что вы подсудимый. Трибунал не интересует, что вы думаете об Уборевиче и Путне, нас интересуют ваши преступления перед партией и советским народом, в которых уличают вас ваши же единомышленники и друзья.

— Да они ненормальные! — крикнул со своего места Якир. — Мы не знаем, что вы с ними сделали...

— Подсудимый Эйдеман, — спрашивает прокурор. — Вы себя чувствуете нездоровым или ненормальным?

— Нет, я здоров и чувствую себя вполне хорошо, — отвечает Эйдеман, глядя на прокурора пустым спокойным взглядом.

— Вы даете показания без давления с чьей-либо стороны?

— Да.

— А вы, Уборевич?

— Я тоже здоров.

— Вы, Путна?

Путна поднимает бледное лицо и смотрит, как будто не понимая вопроса. Прокурор раздельно повторяет его.

— Я здоров, — говорит тот флегматично. — Признаю себя виновным без давления со стороны следствия и трибунала...

Один из главных вопросов к Тухачевскому был о его встречах с немецкими генералами. На него Тухачевский отвечал так:

— Что касается встреч, бесед с представителями немецкого генерального штаба, их военного атташе в СССР, то они были, носили официальный характер, происходили на маневрах, приемах. Немцам показывалась наша военная техника, они имели возможность наблюдать за изменениями, происходящими в организации войск, их оснащения. Но все это имело место до прихода Гитлера к власти, когда наши отношения с Германией резко изменились.

Очень активно допрашивал подсудимых Буденный, выясняя, почему они недооценивали и старались принизить значение конницы. Якира, например, Буденный спросил:

— С какой целью вы настаивали на объединении мотополка с кавалерийской дивизией?

Якир ответил:

— Я настаиваю и сейчас...

Якир, будучи серьезно подготовленным военачальником, понимал значение моторизованных и танковых войск, поэтому и здесь, на суде, отстаивал свою точку зрения.

Как вредительство со стороны Тухачевского и поддерживающих его в свое время Уборевича и Якира расценивалось их упорное отстаивание своих взглядов, касающихся формирования танковых и механизированных соединений за счет сокращения численности и расходов на кавалерию, которую они считали уже отживающей, утратившей боевую мощь. Эту точку зрения резко осуждал, выступая на суде, Буденный.

Так же активно вели себя на суде и задавали вопросы Блюхер, Белов и в особенности Алкснис. А когда Тухачевский или Якир пытались разъяснить свою позицию и взгляды на механизацию современной армии, Ульрих обрывал их:

— Вы не читайте лекцию, а давайте показания!

На вопрос о том, был ли у подсудимых сговор по поводу отстранения Ворошилова от руководства Красной Армией, подсудимые чистосердечно и откровенно сказали, что у них были разговоры о необходимости заменить Ворошилова, человека недалекого и не очень грамотного даже в военных вопросах. При угрозе надвигающейся войны и при необходимости сложной подготовки армии к предстоящим боевым действиям в новых современных условиях Ворошилов им казался неспособным выполнить такую ответственную задачу. При этом подсудимые говорили, что они никакого сговора относительно Ворошилова между собой не имели, а намеревались прямо и открыто сказать об этом Политбюро и правительству.

Однако все это судом было перевернуто и расценено как террористические намерения по отношению к Ворошилову.

Весь процесс длился один день! Сразу же после вынесения приговора, в тот же день, 11 июня 1937 года, все осужденные, прекрасные, честнейшие люди, были расстреляны! Торопился, очень торопился Сталин! То, что все это вершилось по его прямому указанию, не вызывает сомнения. Но как же так безропотно могли вершить неправый суд над боевыми товарищами судьи — такие же, как и они, коммунисты? Но вспомним о «подлинных», собственноручно подписанных Тухачевским письмах в фашистскую разведку! Как им было не поверить? А как они могли отнестись к последнему слову командарма, героя гражданской войны Примакова? Вот что он сказал, глядя прямо в лица судьям и соседям по скамье подсудимых (привожу стенографическую запись из протокола судебного заседания):

«Я должен сказать последнюю правду о нашем заговоре. Ни в истории нашей революции, ни в истории других революций не было такого заговора, как наш, ни по целям, ни по составу, ни по тем средствам, которые заговор для себя выбрал. Из кого состоит заговор? Кого объединило фашистское знамя Троцкого? Оно объединило все контрреволюционные элементы, все, что было контрреволюционного в Красной Армии, собралось в одно место, под одно знамя, под фашистское знамя в руках Троцкого. Какие средства выбрал себе этот заговор? Все средства: измена, предательство, поражение своей страны, вредительство, шпионаж, террор. Для какой цели?.. Для восстановления капитализма. Путь один — ломать диктатуру пролетариата и заменять фашистской диктатурой. Какие же силы собрал заговор для того, чтобы выполнить этот план?.. Я назвал следствию более 70 человек-заговорщиков, которых я завербовал сам или знал по ходу заговора...

Я составил себе суждение о социальном лице заговора, то есть из каких групп состоит наш заговор, руководство, центр заговора. Состав заговора — из людей, у которых нет глубоких корней в нашей советской стране потому, что у каждого из них есть своя вторая родина. У каждого из них персонально есть семья за границей. У Якира — родня в Бессарабии, у Путны и Уборевича — в Литве, Фельдман связан с Южной Америкой не меньше, чем с Одессой, Эйдеман связан с Прибалтикой не меньше, чем с нашей страной...»

Вот как давно началось это — стремление разложить, разрушить наше единство, товарищескую общность разными провокационными националистическими приманками, вернее, обманками!

Знали бы они, члены суда, поддавшиеся этим провокациям, что очень скоро большинство из них пересядет из судейских кресел на эту же скамью подсудимых и так же безвинно будет осуждено и расстреляно! Только маршал Блюхер не дождется расстрела и умрет в тюрьме от зверских истязаний. Да уцелеют из судей Буденный и Шапошников и, конечно же, Ульрих — самый беспринципный и хладнокровный палач из всего племени представителей этой профессии.

Через четыре дня после суда над группой Тухачевского был расстрелян и комбриг Медведев, который за месяц до ареста Тухачевского дал показания, что в центральных учреждениях Красной Армии существует военно-фашистский центр. В его деле, кроме «признательных показаний» о том, что он разделял взгляды троцкистов, никаких других доказательств не было. Во время заседания Военной коллегии, которая рассматривала его дело под председательством того же Ульриха, Медведев заявил, что дал ложные показания, что его вынудили на это истязаниями. Но кого теперь это интересовало? Тухачевского и других участников «заговора» уже расстреляли. И Медведева постигла та же участь.

Наивно после всего, что мы узнали после XX съезда партии, было бы спрашивать, как могло случиться, что Медведев, Примаков, да и многие другие обвиняемые, попав в застенки, признавали себя виновными и оговаривали других. И все-таки я задал такой вопрос генерал-лейтенанту Борису Алексеевичу Викторову, о котором я писал выше, опытнейшему работнику военной прокуратуры. После XX съезда он возглавлял группу прокуроров и следователей, которой было поручено проверить и подготовить к реабилитации дела очень многих жертв сталинского произвола, в том числе и Тухачевского.

Борис Алексеевич о многом рассказал мне и даже дал выписки из некоторых документов, с которыми, мне кажется, необходимо ознакомить читателей.

— Мы не только разбирали следственные и судебные материалы, — сказал Викторов, — мы разыскали следователей, которые готовили эти дела, и тех, кто заслуживал, привлекли к ответственности. Вот, например, что показал привлеченный к ответственности за фальсификацию дел следователь центрального аппарата НКВД Шнейдеман:

— Авторитет Ежова в органах НКВД был настолько велик, что я, как и другие работники, не сомневался в виновности лица, арестованного по личному указанию Ежова, хотя никаких компрометирующих данное лицо материалов следователь не имел. Я был убежден в виновности такого лица еще до его допроса и потому на допросе стремился любым путем добыть от этого лица признательные показания...

А вот передо мной выписка из дела другого осужденного, следователя Радзивиловского:

«Я работал в УНКВД Московской области. Меня вызвал Фриновский (начальник следственного управления НКВД СССР. — **В. К.**) и поинтересовался: проходят ли у меня по делам какие-либо крупные военные? Я ответил, что веду дело на бывшего комбрига Медведева, занимавшего большую должность в Генштабе, он был уволен из армии и исключен из партии за принадлежность к троцкистской оппозиции. Фриновский дал мне задание: «Надо развернуть картину о большом и глубоком заговоре в Красной Армии, раскрытие которого выявило бы огромную роль и заслугу Ежова перед ЦК». Я принял это задание к исполнению. Не сразу, конечно, но я добился от Медведева требуемых показаний о наличии в РККА заговора и о его руководителях. О полученных показаниях было доложено Ежову. Он лично вызвал Медведева на допрос. Медведев заявил Ежову и Фриновскому, что показания его вымышленные. Тогда Ежов приказал вернуть Медведева любыми способами к прежним показаниям. Что и было сделано. А заявление Медведева об отказе от показаний и о пытках не фиксировалось. Протокол же с показаниями Медведева, добытый под новыми физическими воздействиями на него, был доложен Ежовым в ЦК...»

Используя показания Медведева, первым был арестован Б. М. Фельдман. Допрашивать было поручено следователю по особо важным делам Ушакову, он же Ушиминский.

Борис Алексеевич открывает другие свои записи и продолжает мне рассказывать:

— Разыскали мы этого Ушакова — Ушиминского. Вот что он показал: «Арестованный Фельдман категорически отрицал участие в каком-либо заговоре, тем более против Ворошилова. Он сослался на то, что Климент Ефремович учил, воспитывал и растил его. Я взял личное дело Фельдмана и в результате его изучения пришел к выводу, что Фельдман связан личной дружбой с Тухачевским, Якиром и рядом других крупных командиров. Я понял, что Фельдмана надо связать по заговору с Тухачевским. Вызвал Фельдмана в кабинет, заперся с ним в кабинете, и к вечеру 19 мая Фельдман написал заявление о заговоре с участием Тухачевского, Якира, Эйдемана и других...»

Что происходило в этом «запертом» кабинете, трудно себе представить, но, несомненно, что-то ужасное, если военный человек, полный сил и в здравом рассудке, ломался за такое короткое время и начинал оговаривать себя и других.

А генерал Викторов продолжает пересказ показаний Ушакова:

«...25 мая мне дали допрашивать Тухачевского, который уже 26-го у меня сознался... Я, почти не ложась спать, вытаскивал из них побольше фактов, побольше заговорщиков. Я буквально с первых дней работы поставил диагноз о существовании в РККА и флоте военно-троцкистской организации, разработал четкий план ее вскрытия и первый получил такое показание от бывшего командующего Каспийской военной флотилией Закупнева. Я так же уверенно шел на Эйдемана и тут также не ошибся...»

Викторов замолк, видно, нелегко ему было все это вспоминать, затем, листая свои записки, сказал:

— Таких следователей-преступников, как Шнейдеман, Ушаков, Радзиловский, оказалось немало. Продолжая поиск, мы нашли и того, кто так «подготовил» Примакова. Вот некоторые выдержки из его объяснения: «Примаков сидел как активный троцкист. Потом его дали мне. Я стал добиваться от него показаний о заговоре. Он не давал. Тогда его лично допросил Ежов, и Примаков дал развернутые показания о себе и о всех других организаторах заговора. Перед тем, как везти подсудимых на суд, мы все, принимавшие участие в следствии, получили указание от руководства побеседовать с подследственными и убедить их, чтобы они в суде подтвердили показания, данные на следствии. Я лично беседовал с Примаковым. Он обещал подтвердить показания. Кроме охраны, арестованных сопровождали и мы — следователи. Каждый из подсудимых со своим следователем сидели отдельно от других. Я внушал Примакову, что признание его в суде облегчит его участь. Таково было указание руководства...»

ИСТРЕБЛЕНИЕ КОМАНДИРОВ

В свое время, сокращая расходы на армию и выкраивая деньги на восстановление хозяйства, Ленин говорил в докладе на VIII съезде Советов: «Мы рассчитываем, что громадный опыт, который за время войны приобрела Красная Армия и ее руководители, поможет нам улучшить теперь ее качества. И мы добьемся того, что при сокращении армии мы сохраним такое основное ядро ее, которое не будет возлагать непомерной тяжести на республику в смысле содержания, и в то же время при уменьшенном количестве армии мы лучше, чем прежде, обеспечим возможность в случае нужды снова поставить на ноги и мобилизовать еще бо́льшую военную силу» [1].

Сокращение военных расходов было вынужденной мерой, и практическое ее осуществление привело к тому, что, по словам Фрунзе, «собственно боевых элементов армии» оставалось очень мало. Фрунзе подчеркивал (это было сказано им в 1925 году): «При таком положении ясно, настоящей армии в истинном смысле этого слова... у нас нет. У нас есть только кадры, **только остов будущей армии»**.

И вот этот действительно остов, состоявший из грамотных, хорошо подготовленных командиров, способных принять на себя развертывание армии на случай войны, почти весь этот остов в период сталинских репрессий был уничтожен. Более 40 тысяч командиров, от маршалов до командиров полков и ниже, в течение трех лет, 1937—1939 годы, были репрессированы, и большинство из них было расстреляно. Почти все командиры старшего и высшего командного состава имели опыт первой мировой и гражданской войн.

7 июня 1937 года, еще до того, как прошел процесс Тухачевского и других, Ворошилов издал приказ НКО № 072. В нем сообщалось, что с 1 по 4 июня 1937 года в присутствии членов правительства состоялся Военный Совет при народном комиссариате обороны СССР. На заседании Военного Совета был заслушан и обсужден доклад Ворошилова о раскрытой НКВД «предательской, контрреволюционной, военно-фашистской организации, которая, будучи строго законспирированной, долгое время существовала и проводила подлую подрывную вредительскую и шпионскую работу в Красной Армии». Дальше Ворошилов называл фамилии всех тех, которым еще только предстояло предстать перед судом. В конце приказа говорилось: «Нет уверенности в том, что все заговорщики выявлены».

21 июня 1937 года, после того, как состоялся процесс, был издан совместный приказ НКО и НКВД № 082 «Об освобождении от ответственности военнослужащих участников контрреволюционных и вредительских фашистских организаций, раскаявшихся в своих преступлениях, добровольно явившихся и без утайки рассказавших обо всем ими совершенном и своих сообщниках». Этот приказ был доведен до всего личного состава армии и флота. Напомню также, что Сталин в своих неоднократных выступлениях в 1937 году перед многими аудиториями требовал до конца выкорчевать «врагов народа», «сигнализировать» об их действиях. Само собой разумеется, что после таких приказов и призывов пошел поток доносов, писем, анонимок, которые в НКВД принимали без всякой проверки. Начались повальные аресты.

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч. т. 42, стр. 130—131.

Военные при службе в частях и при перемещениях из округа в округ, из соединения в соединение всегда получали соответствующие аттестации. Эти аттестации давались и подписывались старшими военачальниками. И вот как только этот старший военачальник попадал в тюрьму, то его добрые слова, написанные в аттестации по адресу того или иного подчиненного, воспринимались как похвала «врага народа». Теперь очень легко было приписать любому из командиров связь с «врагом народа», что и делали работники НКВД.

Кроме арестов, шла еще чистка армии по политическим соображениям, которой, кстати, занимались и те, кому вскоре предстояло самим стать жертвами репрессий. Так, например, начальник Управления кадров командного состава комкор Б. М. Фельдман, расстрелянный в июне 1937 года, докладывал в январе этого же года заместителю наркома обороны СССР Я. Б. Гамарнику (застрелившемуся через несколько месяцев) проект документа «О введении условного шифра «О. У.» (особый учет.— **В. К.**) в отношении лиц начсостава, увольняемых по политико-моральным причинам...». Если на приказе об увольнении командира из армии стоял этот секретный шифр, такие лица брались «на особый учет с тем, чтобы не приписывать их к войсковым частям, не зачислять в переменный состав территориальных частей, не призывать в РККА по отдельным заданиям и нарядам и не направлять в войска в начальный период войны». С таким шифром были уволены из армии тысячи командиров, и почти все они сразу же по прибытии на место жительства арестовывались, как только местные органы НКВД видели на их документах шифр «О. У.»; он, собственно, был сигналом для ареста.

В конце декабря 1937 года по указанию Ворошилова из округов были затребованы списки на всех немцев, латышей, поляков, эстонцев, литовцев, финнов, корейцев, китайцев и лиц других национальностей, не входивших тогда в Советский Союз. Кроме того, в этом приказе говорилось: «Выявить всех родившихся, проживавших или имеющих родственников в Германии, Польше и других иностранных государствах, и наличие связи с ними».

Списки такие были получены, и все эти командиры вне зависимости от их честности, опыта работы, партийности, участия в гражданской войне, отличий по защите Родины были уволены из Красной Армии. И кроме того, по приказанию Ворошилова списки этих уволенных в запас командиров направлялись в НКВД. Нетрудно догадаться об их дальнейшей судьбе.

Одним из уволенных по этому приказу был комдив Сердич Данило Федорович, которого высоко ценил и любил Жуков. Сердич командовал дивизией, в годы гражданской войны он проявил себе исключительно храбрым человеком, был награжден двумя орденами Красного Знамени и почетным оружием. В дни Октябрьской революции он командовал сводным отрядом Красной гвардии в Петрограде и был одним из активнейших участников революции. Член партии с 1918 года, рабочий, это был прекрасный во всех отношениях человек. Но по национальности он был серб, и этого оказалось достаточно, чтобы под общую метелку его уволили. Ну, а как только он с этим злополучным шифром «О. У.» вышел из рядов армии, его тут же арестовали и расстреляли.

Назначенный в январе 1938 года начальником Главного политического управления Красной Армии Л. З. Мехлис был особо доверенный человек Сталина, он работал у него помощником и убедил «хозяина» в своей беспредельной преданности. Уверенный в нем Сталин назначает Мехлиса на два ответственных поста — редактором «Правды» и начальником Главного политического управления РККА. Мехлис был человек

энергичный, предельно самоуверенный и грубый. Он создал в Красной Армии обстановку сплошного недоверия, превратил политработников в фискалов и прислужников «Смерша», представлявшего госбезопасность в армии. Мехлис произвел буквально опустошение в округах, частях да и в центральном аппарате наркомата обороны. Ему по установленному им графику шли доклады о чистке в армии.

Вот только одно из многих донесений, которые направлялись Мехлису. Комиссар одной механизированной бригады докладывал ему, что только за июнь — июль месяцы 1938 года в бригаде было разоблачено и арестовано 13 врагов народа, «оказавшихся шпионами разных государств». И далее: «представлено на увольнение, как не внушающих политического доверия, только одних «зарубежников» и связанных с зарубежом 52 человека». «Не внушали доверия» — один потому, что был близок с Уборевичем, другой — потому, что поляк по национальности, третий — потому, что у него жена полька. У человек сорока начсостава — беспартийных, а также коммунистов — родственники его или жены оказались арестованными, «некоторые из них замкнулись, перестали быть активными» — они, естественно, тоже уже не внушают политического доверия. И это только в одной бригаде! По одному этому письму нетрудно представить, какая обстановка сложилась в тот период во многих частях, соединениях и штабах.

В Академии Генерального штаба в 1937 году были арестованы крупнейшие ученые, создатели военных трудов, в том числе и военно-исторических, — Верховский, Вакулич, Свечин, Алкснис, Баторский, Алафузо, Малевский, Жигур, Михайлов, Циффер и другие. Такие же повальные аресты были учинены и в других академиях и воинских частях. Арестованы и расстреляны почти все командующие военных округов.

Генерал Тодорский, сам просидевший много лет в тюрьмах и лагерях, а после освобождения принимавший участие в работе комиссии по пересмотру и реабилитации многих военачальников, сделал страшные подсчеты. Эта таблица опубликована много раз, но я привожу ее, учитывая полную достоверность этих данных.

В Красной Армии перед войной

было:	репрессировано:
— пять маршалов Советского Союза	— трое (Тухачевский, Егоров, Блюхер);
— два комиссара армии первого ранга	— оба;
— два флагмана флота 1 ранга	— оба;
— два флагмана флота 2 ранга	— оба;
— шесть флагманов первого ранга	— все шестеро;
— пятнадцать флагманов 2 ранга	— девять;
— четыре командарма 1 ранга (что соответствует современному званию генерала армии)	— два;
— двенадцать командармов 2 ранга	— двенадцать;
— пятнадцать комиссаров 2 ранга	— пятнадцать;
— 67 командиров корпусов	— шестьдесят;
— 28 корпусных комиссаров	— двадцать пять;
— 199 командиров дивизий	— 136;
— 97 дивизионных комиссаров	— 79;
— 397 командиров бригад	— 221;
— 36 бригадных комиссаров	— 34.

Я очень советую перечитать воспоминания генерала А. В. Горбатова, опубликованные в свое время А. Твардовским в «Новом мире». Заместитель (в 1937 году) командира корпуса, которым командовал Жуков, А. В. Горбатов входит одной единицей в числа, приведенные в таблице Тодорского. А когда прочтете, каким издевательствам и истязаниям он подвергался, как умудрился выстоять и как он, чудом освобожденный, потом замечательно руководил войсками в крупнейших операциях на Курской дуге, при форсировании Днепра, был — после Берзарина — комендантом Берлина, еще раз вернитесь к этой потрясающей статистике, перечитайте ее медленно, помня, что каждый, из кого сложились эти цифры, прошел такие же пытки, а может быть, и более тяжкие, и понимая при этом, сколько таких же замечательных людей погибло в сталинских застенках... Погибли самые опытные, талантливые и преданные Родине защитники, которые в годы войны принесли бы огромную пользу.

Горбатов в своих мемуарах пишет, что, когда грянула война, его «до пота прошибли прежние опасения: как же мы будем воевать, лишившись стольких опытных командиров еще до войны? Это, несомненно, была по меньшей мере одна из главных причин наших неудач, хотя о ней не говорили или представляли дело так, будто 1937 — 1938 годы, очистив армию от «изменников», увеличили ее мощь».

Как «увеличилась» ее мощь, можно судить и по уже приведенным фактам и цифрам, и по тем, о которых я скажу дальше.

Так, на сборах командиров полков, проведенных летом 1940 года, из 225 командиров полков ни один не имел академического образования, только 25 окончили военные училища и 200 — курсы младших лейтенантов! В 1940-м, предвоенном году более 70 процентов командиров полков, 60 процентов военных комиссаров и начальников политотделов соединений работали в этих должностях около года. Значит, все их предшественники (а порой не по одному на этих должностях) были репрессированы.

Всего в 1937 и 1938 годах из армии и военно-морского флота было уволено около 44 тысяч человек командно-начальствующего состава, в том числе более 35 тысяч из сухопутных войск, около трех тысяч из военно-морского флота и более 5 тысяч из ВВС. Почти весь высший и старший командный состав и политические работники этого уровня были после ареста расстреляны, а многие умерли в заключении.

Шли такие повальные аресты, что в одном из документов, написанных после XX съезда партии, сказано: «Точных данных о количестве арестованных в 1937 — 1938 гг. в вооруженных силах не найдено».

Репрессии приобретали такие гигантские размеры, что Центральный Комитет уже не мог на это не реагировать. В январе 1938 года был проведен Пленум по вопросу «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». Постановление требовало прекратить огульные репрессии и тщательно разбирать каждое отдельное обвинение, выдвинутое против члена партии. Этим постановлением Сталин вводил в заблуждение партию и народ, делая вид, будто он не знал о массовых репрессиях, а теперь вот, узнав, восстанавливает справедливость. Многие верили этому, да и в наши дни кое-кто верит.

Однако снежный ком уже был пущен с горы, решения этого Пленума не выполнялись. Кровавая вакханалия продолжалась вплоть до последних дней Сталина, то есть до 1953 года.

Пытаясь выполнить решение январского Пленума 1938 года, начальник Управления командного состава Красной Армии Е. А. Щаденко создал комиссию и поручил ей подготовить материалы о пересмотре ответов на жалобы в соответствии с решением Пленума. Так вот, в представленных ему материалах говорилось: «В настоящее время имеется: 20 тысяч совершенно не рассмотренных жалоб, 34 тысячи не разрешенных окончательно жалоб, ...за последние 4 месяца только в аппарат ГВП РККА поступило свыше 100 тысяч жалоб». В результате работы комиссии какая-то небольшая часть командиров была восстановлена в армии, в их числе, кстати, был генерал-майор К. К. Рокоссовский, комдивы (еще не успевшие получить звания генералов): В. А. Юшкевич — командир 13-го стрелкового корпуса; А. А. Трубников — командир 59-й стрелковой дивизии; В. Д. Цветаев — командир 57-й стрелковой дивизии; дивизионный инженер И. П. Граве — преподаватель артиллерийской академии и другие.

Только за один 1938 год на вышестоящие должности в армии — от командующих войсками округов до командиров батальонов и дивизионов — было выдвинуто 38 тысяч 702 человека. Вынуждены были назначать командиров небольших звеньев сразу на очень ответственные должности. Так, например, капитан Ф. Н. Матыкин, бывший командир батальона, был назначен сразу командиром стрелковой дивизии; капитан И. Н. Нескубо, начальник полковой школы назначен сразу командиром стрелковой диви-

зии; майору К. М. Гусеву, командиру эскадрильи, присвоено звание комдива, и он сразу же был назначен командующим ВВС Белорусского военного округа; старший лейтенант И. И. Копец получил воинское звание полковника и был назначен зам. командующего ВВС Ленинградского округа, а к началу войны он уже генерал — командовал ВВС Западного фронта. В первый день войны, увидев огромные потери нашей авиации от бомбежки немцев, Копец не выдержал потрясения и застрелился.

К середине 1938 года в армии накопилось столько «временно исполняющих должности», что нарком обороны был вынужден издать приказ «О ликвидации вридства...». Этим приказом нарком разрешал утверждать в должности всех «временно исполняющих», проработавших на этом месте не менее двух месяцев.

За 1937—1938 годы были сменены все (кроме Буденного) командующие войсками округов, 100% заместителей командующих округов и начальников штабов округов, 88,4% командиров корпусов и 100% их помощников и заместителей; командиров дивизий и бригад сменилось 98,5%, командиров полков — 79%, начальников штабов полков — 88%, командиров батальонов и дивизионов — 87%; состав облвоенкомов сменился на 100%; райвоенкомов — на 99%.

К началу войны Советская Армия и Военно-Морской Флот пришли с почти полностью истребленным основным костяком армии, на который Ленин и Фрунзе надеялись опереться при развертывании армии в случае войны. В целом в период сталинских репрессий было истреблено высшего и старшего командного состава больше, чем мы потеряли за все четыре года войны.

Широко известен у нас маршал Рокоссовский — яркий талант, светлый, высокоинтеллигентный ум, обаятельный и в то же время решительный и твердый военачальник. Не сомневаюсь, немало таких же было среди тысяч погибших в сталинских застенках и лагерях оклеветанных «врагов народа». И Рокоссовский носил зэковский бушлат; и блестящий талант полководца и внешняя, чисто человеческая его красота могли погибнуть в «лагерной пыли» или в лубянском подвале, как это случилось с Тухачевским, Уборевичем, Егоровым и десятками тысяч других, так не хватавших нам в годы войны офицеров и генералов.

Десятки тысяч! Только чума и холера в давние времена производили подобные опустошения в народе. А в наше время, оглушая и обманывая весь мир праздничными литаврами и барабанным боем, под кощунственные крики: «Жить стало лучше, жить стало веселее!», плелась по стране зловещая паутина, проникала в каждый дом, в каждую семью, уничтожала, губила людей. И только могучая, неодолимая сила народа помогла Родине выстоять, выдюжить многие годы под этой злокачественной паучьей коростой.

КНИГА И РУКОПИСЬ

Читая первое издание книги Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления», я удивлялся, что Георгий Константинович, называя своих командиров — Уборевича, Сердича и многих других, говорит об их высоких командирских качествах, прекрасных отношениях с ними и на этом ставит точку. А о том, что они были расстреляны, он, прямой и смелый человек, упоминает вскользь или вообще умалчивает. Все это выглядело тем более странно, что книга была написана им уже после XX съезда — первое ее издание вышло в 1969 году, когда вроде бы не было причин для недомолвок или умолчания.

Тогда не только воспоминания Жукова вызывали недоумение. В книгах маршалов Рокоссовского и Мерецкова, которые были репрессированы и прошли через ежовско-бериевские застенки, ни слова не сказано о том, что́ они там пережили, об аресте даже не упоминается. И это тоже после XX съезда! Это уже «застой» проявлял свои родственные отношения со сталинским культово-административным укладом.

Внимательно читая и перечитывая воспоминания маршала, я чувствовал там не только пропуски, но и многие страницы «не его текста». Они

выделяются своей сугубой ортодоксальностью, чужеродностью жуковским взглядам, убеждениям, характеру. Все сильнее крепло во мне желание познакомиться с первоначальной рукописью Георгия Константиновича. Я предпринял много усилий, чтобы найти ее, но безрезультатно — ее не было ни у родственников, ни в архивах. Однако я упорно и терпеливо продолжал искать.

И вот однажды один хороший человек мне сказал:

— Я знаю, что вы работаете над книгой о Жукове. Может быть, вам было бы интересно ознакомиться с его рукописью? В ней позже было многое поправлено, а ведь вам, наверное, важно узнать подлинные суждения Георгия Константиновича?

Я не верил своим ушам! Не сон ли это? Стараясь сдерживаться (а внутри все кричало: неужели нашел?!), я сказал, что для меня это, конечно, очень важно, но точно ли это оригинал?

— Не сомневайтесь, самый первый вариант, с замечаниями на полях очень высоких лиц и с ответами Жукова на эти замечания.

Я был готов оставить все дела и кинуться за рукописью, но разговор этот произошел во время заграничной командировки, в далеком Буэнос-Айресе. Я потерял покой, все боялся, что кто-то или что-то помешает мне ознакомиться с рукописью. Опасения мои оказались небеспочвенными. По возвращении в Москву мой знакомец засомневался, его смущали замечания на полях, сделанные людьми, и сегодня очень влиятельными. И я дал слово никогда не называть его имени, что здесь и выполняю и вместе с тем выражаю ему огромную благодарность от себя и от читателей за то, что он дал нам возможность ознакомиться с подлинными суждениями по многим вопросам Георгия Константиновича.

Знакомясь с рукописью Жукова, я нашел на ее полях замечания «руководящих товарищей», которые высказывали пожелания не только по поводу репрессий, но и по поводу освещения тех или иных боевых действий, оценок некоторых генералов и т. д.

Были, например, такие строгие вопросы: «Надо ли это ворошить?». «В этом нельзя кого-либо отдельно обвинять». Жуков на эти замечания писал короткие ответы, под каждым расписывался и ставил дату. Таких «перебранок» на полях рукописи много. Вот одна, характерная. Сначала приведу замечание, на которое Жуков реагировал: «Что касается оценок действий генералов — ради бога, сведите их к минимуму... невозможно над всеми «и» поставить точки... Ведь все это так или иначе описано в Истории, как полной, так и краткой... Я думаю — оставлять только принципиально важное, находить мажорное (ведь было же оно) при общем бедствии, которое уже сто раз описано...»

Жуков перевернул эту страницу, на полях ему было тесно, и размашистым своим почерком ответил:

«1) Я пишу то, что было, и не стараюсь подделаться под тех, кто писал Историю.

2) Писать только мажорное — значит допускать большие погрешности против правдивости. Прилизанная и приглаженная история сослужит отрицательную роль в раскрытии хода Отечественной войны».

Жуков, как видим, сопротивлялся, а «правщики» и члены специальных «комиссий», выполняя указания «всесильных», убирали из текста целые страницы, особенно все то, что касалось репрессий. В этом я окончательно убедился, прочитав главу «Командование 3-м кавалерийским и 6-м казачьим корпусами». Опубликованный в книге Г. К. Жукова текст не совпадает с текстом его рукописи.

Я приведу рукописный текст с некоторыми сокращениями, и, думаю, без объяснений читателям станет ясно и отношение Жукова к сталинским репрессиям, и то, как он сам едва не стал одной из жертв этого истребительного беззакония.

Вот что писал об этом Жуков:

«1937 год в истории советского народа и Советских Вооруженных Сил занимает особое место. Этот год был тяжелым испытанием идейной крепости советского народа, идущего под знаменем марксизма-ленинизма вперед к коммунизму.

Двадцать лет существования Советской власти, двадцать лет тяжелой борьбы и славных побед, одержанных советским народом в борьбе с внут-

ренней контрреволюцией и внешними врагами, развитие экономики и культуры, успехи, достигнутые на всех участках строительства социализма, продемонстрировали величие идей Октябрьской революции...

...Своей борьбой, своей кровью народ доказал непоколебимую преданность делу нашей ленинской партии. Однако советскому народу и партии пришлось тяжело поплатиться за беспринципную подозрительность политического руководства страны, во главе которой стоял И. В. Сталин.

В Вооруженных Силах было арестовано большинство командующих войсками округов и флотов, членов Военных Советов, командиров корпусов, командиров и комиссаров соединений частей. Шли массовые аресты и среди крупных честных работников органов государственной безопасности.

В стране создалась жуткая обстановка. Никто никому не доверял. Люди стали бояться друг друга, избегали встреч и разговоров, а если нужно было — старались говорить в присутствии третьих лиц — свидетелей. Страх породил небывалую по размерам клеветническую эпидемию. Клеветали зачастую на кристально честных людей, а иногда на своих близких друзей. И все это делалось из-за страха оказаться человеком, подозреваемым в нелояльности. И эта тяжелая обстановка продолжала накаляться.

Большинство людей от мала до велика не понимало, что происходит, почему так широко распространились среди нашего народа аресты. И не только члены партии, но и беспартийные люди с недоумением и внутренним страхом смотрели на все выше поднимающуюся волну арестов, и, конечно, никто не мог открыто высказать свое недоумение, свое неверие в то, что арестовывают действительных врагов народа и что арестованные действительно занимались какой-либо антисоветской деятельностью или состояли в контрреволюционной организации. Каждый честный советский человек, ложась спать, не мог твердо надеяться на то, что его не заберут этой ночью в тюрьму по какому-нибудь клеветническому доносу.

По существующему закону и по здравому смыслу органы должны были бы вначале разобраться в виновности того или иного лица, на которого поступила анонимка, сфабрикованная ложь или клеветническое показание арестованного, вырванное под тяжестью телесных пыток, применяемых следственным аппаратом по особо важным делам органов государственной безопасности. Но в то тяжкое время существовал другой порядок — вначале арест, а потом разбирательство дела. И я не знаю случая, чтобы невиновных людей тут же отпускали обратно домой. Нет, их держали долгие годы в тюрьмах, зачастую без дальнейшего ведения дел, как говорится, без суда и следствия.

В 1937 году был арестован как «враг народа» командир 3-го конного корпуса Данило Сердич. Что же это за «враг народа»?

Д. Сердич, по национальности серб, с первых дней существования Красной Армии встал под ее знамена и непрерывно сражался в рядах Первой Конной армии с белогвардейщиной и иностранными интервентами. Он был храбрейшим командиром, которому верили и смело шли в бой за ним прославленные бойцы-конноармейцы. Но вот и Сердича арестовали. Кто из хорошо знавших Сердича мог поверить в его виновность?

Через несколько недель после ареста комкора Сердича я был вызван в город Минск, в вагон командующего войсками округа.

Явившись в вагон, я не застал командующего войсками округа, обязанность которого в то время выполнял комкор Мулин, который месяца через два сам был арестован как «враг народа», хотя он был старым большевиком и многие годы просидел в царской тюрьме за свою революционную деятельность. В вагоне меня принял только что назначенный член Военного Совета округа Голиков Филипп Иванович (ныне маршал Советского Союза)...

Задав мне ряд вопросов биографического порядка, он спросил, нет ли у меня родственников или друзей, которые арестованы. Я ответил, что не знаю, так как не держу никакой связи со своими многочисленными родственниками. Что же касается близких родственников — матери и сестры, то они живут в настоящее время в деревне в Угодско-Заводском районе и работают в колхозе в деревне Стрелковка. Из знакомых и друзей много арестованных. Голиков спросил:

— Кто именно?

Я ответил:

— Хорошо знал арестованного Уборевича, комкора Сердича, комкора Вайнера, комкора Ковтюха, комкора Кутякова, комкора Косогова, комдива Бориса Верховского, комкора Грибова, комкора Рокоссовского.

— А с кем из них вы дружили? — спросил Голиков.

— Дружил с Рокоссовским и Данилой Сердичем. С Рокоссовским учился в одной группе на Курсах усовершенствования командного состава кавалерии в Ленинграде и совместно работал в 7-й Самарской кавдивизии. Дружил с комкором Косоговым и комдивом Верховским при совместной работе в инспекции кавалерии. Я считал этих людей патриотами нашей Родины и честнейшими коммунистами, — ответил я.

— А сейчас вы о них такого же мнения? — глядя на меня в упор, спросил Голиков.

— Да, и сейчас.

Голиков резко встал с кресла и, побагровев, грубо сказал:

— А не опасно ли будущему комкору восхвалять врагов народа?

Я ответил, что не знаю, за что их арестовали, но думаю, что произошла какая-то ошибка. Я почувствовал, что Голиков настроился по отношению ко мне на недоброжелательный тон, видимо, он не был удовлетворен моими ответами. Порывшись в своей объемистой папке, он достал бумагу и минут пять ее читал, а потом сказал:

— Вот в донесении комиссара 3-го конного корпуса Юнга сообщается, что вы бываете до грубости резким в обращении с подчиненными, командирами и политработниками и что иногда недооцениваете роль и значение политических работников. Верно ли это?

— Верно, но не так, как вам пишет Юнг, — ответил я. — Я бываю резок не со всеми, а только с теми, кто халатно относится к выполнению порученного ему дела и безответственно несет свой долг службы. Что касается роли и значения политработников, то я не ценю тех, кто формально выполняет свой партийный долг, не работает над собой и не помогает командирам в решении учебно-воспитательных задач; тех, кто занимается критиканством требовательных командиров, занимается демагогией там, где надо проявить большевистскую твердость и настойчивость.

— Есть сведения, что без вашего ведома ваша жена крестила в церкви у попа вашу вторую дочь Эллу. Верно ли это? — продолжал Голиков.

Я ответил:

— Это очень неумная выдумка. Поражаюсь, как мог Юнг, будучи неглупым человеком, сообщить такую чушь, тем более, что он, прежде чем писать, должен был бы произвести расследование.

Дальнейший разговор был прерван приездом в вагон исполняющего должность командующего войсками округа Мулина. Раньше я никогда не встречался с Мулиным, но слышал о нем немало хорошего... После предварительного короткого разговора Мулин сказал:

— Военный Совет округа думает назначить вас на должность командира 3-го конного корпуса. Как вы лично относитесь к этому предложению?

Я ответил:

— Готов выполнять любую работу, которая мне будет поручена.

— Ну вот и отлично, — сказал Мулин.

Член Военного Совета Голиков молча протянул Мулину донесение комиссара 3-го конного корпуса Юнга, отдельные места которого были подчеркнуты красным карандашом.

Мулин прочитал это донесение и, немного подумав, сказал:

— Надо пригласить Юнга и поговорить с ним. Я думаю, что здесь много наносного.

Голиков молчал.

— Езжайте в дивизию и работайте. Я свое мнение сообщу в Москву. Думаю, что вам скоро придется принять 3-й корпус.

Распростившись, я уехал в дивизию и принялся за работу.

Прошло не менее месяца после встречи и разговора с Голиковым и Мулиным, а решение из Москвы все не поступало. Я считал, что Ф. И. Голиков, видимо, сообщил обо мне в Москву свое отрицательное мнение, которое у него сформировалось на основе лживого донесения Юнга. Откровенно говоря, я отчасти даже был доволен тем, что не полу-

чил назначения на высшую должность, так как тогда шла какая-то особо активная охота на высших работников со стороны органов государственной безопасности. Не успеют выдвинуть на высшую должность, глядишь, а он уже взят под арест как «враг народа» и пропал, бедняга, в подвалах НКВД. С другой стороны, дела в 4-й кавалерийской дивизии шли по-прежнему хорошо, и я радовался за дивизию...

Однако вскоре все же был получен приказ наркома обороны о назначении меня командиром 3-го конного корпуса...

Через две недели мне удалось детально ознакомиться с состоянием дел во всех частях корпуса, и, к сожалению, должен был признать, что в большинстве частей корпуса в связи с арестами резко упала боевая и политическая работа командного состава, понизилась его требовательность к личному составу, а как следствие понизилась дисциплина и вся служба. В ряде случаев демагоги подняли голову и пытались терроризировать требовательных командиров, пришивая им ярлыки «вражеского подхода» к воспитанию личного состава...

Пришлось резко вмешаться, кое-кого решительно одернуть и поставить вопрос так, как этого требовали интересы дела. Правда, при этом лично мною была в ряде случаев допущена повышенная резкость, чем немедленно воспользовались некоторые беспринципные работники дивизии. На другой же день на меня посыпались донесения в округ с жалобами Голикову — члену Военсовета, письма в органы госбезопасности «о вражеском воспитании кадров» со стороны командира 3-го конного корпуса Жукова Г. К. и т. п.

Вскоре после принятия корпуса мне позвонил командир 27-й кавалерийской дивизии Белокосков Василий Евлампиевич и сообщил, что в его частях резко упала дисциплина. Спрашиваю:

— А что делает лично командир дивизии Белокосков?

Он ответил, что командира дивизии сегодня вечером разбирают в парторганизации, а завтра наверняка посадят в тюрьму. По телефонному разговору я понял, что Василий Евлампиевич Белокосков серьезно встревожен, если не сказать больше. Подумав, я ему сказал:

— Сейчас же выезжаю к вам в дивизию. Через два часа буду.

В штабе дивизии меня встретил В. Е. Белокосков. Я поразился его внешнему виду. Он был чрезмерно бледен, под глазами залегли темные впадины, губы нервно подергивались после каждой фразы. Я спросил:

— Василий Евлампиевич, что с вами? Я ведь вас хорошо знаю по 7-й Самарской кавдивизии, где вы отлично работали, были уважаемы всей парторганизацией, а теперь вас просто не узнать. В чем дело?

— Идемте, товарищ командир корпуса, на партсобрание, — ответил он, — там сегодня меня будут исключать из партии, а что будет дальше — мне все равно. Я уже приготовил узелок с бельем.

Началось партсобрание. Повестка дня: персональное дело коммуниста Белокоскова Василия Евлампиевича. Докладывал секретарь дивизионной парткомиссии. Суть дела: коммунист Белокосков был в близких отношениях с врагами народа Сердичем, Рокоссовским, Уборевичем и так далее, а потому он не может пользоваться доверием партии. Кроме того, Белокосков недостаточно чутко относится к командирам, политработникам, слишком требователен по службе. Обсуждение заняло около трех часов. Никто в защиту Белокоскова не сказал ни единого слова. Дело явно шло к исключению его из партии. Исполняющий должность комиссара корпуса Новиков по существу поддержал выступавших и сделал вывод, что Белокосков не оправдал звание члена партии.

Я попросил слова и выступил довольно резко. Я сказал:

— Давно знаю Белокоскова как примерного члена партии, чуткого товарища, прекрасного командира. Что касается его связей с Уборевичем, Сердичем, Рокоссовским и другими, то эти связи были чисто служебные и, а кроме того, пока еще неизвестно, за что они арестованы, Сердич и Рокоссовский. А так как никому из нас неизвестна причина ареста, зачем же мы будем забегать вперед соответствующих органов, которые по долгу своему должны объективно разобраться в степени виновности арестованных и сообщить нам, кто с ними был связан по вопросам, за которые их привлекли к ответственности. Что касается других вопросов, то это очевидные мелочи и они не имеют принципиального значения, а товарищ Белокосков сделает для себя соответствующие выводы.

В этом выступлении было что-то новое, и члены партии загудели:

— Правильно, правильно.

Председатель спросил, будет ли кто еще выступать. Кто-то сказал:

— Есть предложение комкора Жукова ограничиться обсуждением.

Других предложений не поступало. Постановили: предложить В. Е. Белокоскову учесть в своей работе замечания коммунистов.

Когда мы шли с партсобрания, я видел, как Василий Евлампиевич украдкой вытер глаза. Я уверен, что он плакал от сознания того, что остался в рядах нашей славной большевистской партии и может продолжать в ее рядах работу на благо нашего народа, на благо нашей великой Родины. Я не подошел к нему, считая, что лучше пусть он наедине с собой переживет миновавшую тяжелую тревогу за свою судьбу и душевную радость за справедливость партийной организации.

Прощаясь, мы крепко пожали друг другу руки, я сделал вид, что не заметил следов слез на его лице. Он не сказал мне ни слова, но его горячее рукопожатие было убедительнее и дороже всяких слов. Я был рад за него и не ошибся в В. Е. Белокоскове.

Всю свою жизнь (он умер в 1961 году) Василий Евлампиевич был достойнейшим коммунистом, скромным тружеником и умелым организатором всех дел, которые ему поручались... Был всегда спокойным и надежным товарищем, а не заступись я за него в 1937 году, могло быть все иначе.

К сожалению, многие честные коммунисты погибли, не получив товарищеской помощи при обсуждении их в партийных организациях, а ведь от партийной организации много тогда зависело, так как после исключения из партии тут же, как правило, следовал арест.

3-м конным корпусом я командовал месяцев семь. В связи с назначением командира 6-го казачьего корпуса Елисея Ивановича Горячева заместителем командующего войсками Киевского особого военного округа мне была предложена должность командира 6-го казачьего корпуса. Я принял предложение...

Жизнь моего предшественника Е. И. Горячева закончилась трагически. Сразу после назначения заместителем С. К. Тимошенко ему пришлось, как и многим другим, перенести тяжелую душевную трагедию. На одном из крупных партсобраний ему предъявили обвинение в связях с «врагами народа» Уборевичем, Сердичем и другими, и дело клонилось к аресту. Не желая подвергаться репрессиям органов безопасности, он покончил жизнь самоубийством. Очень жаль этого командира. С первых дней существования Советской власти он героически сражался в рядах Красной Армии... последовательно командовал эскадроном, полком, бригадой и на всех командных должностях был умелым и отважным военачальником. Его любили и уважали бойцы и командиры конармейцы.

В 6-м корпусе мне пришлось столкнуться с большой оперативной работой. ...В этот период командование войсками округа осуществлял командарм 1-го ранга Белов И. П., который энергично руководил боевой подготовкой войск округа. Осенью 1938 года им были хорошо подготовлены и умело проведены окружные маневры, на которых в качестве гостей присутствовали немецкие генералы и офицеры немецкого генерального штаба. За маневрами наблюдали нарком обороны Ворошилов и начальник Генерального штаба Шапошников.

Вскоре командующего войсками Белова И. П. постигла та же трагическая участь, что и предыдущих командующих — он был арестован как «враг народа», хотя всем было хорошо известно, что И. П. Белов, бывший батрак, старый большевик, храбрейший, способнейший командир, положил все силы на борьбу с белогвардейщиной и иностранной интервенцией, не жалея себя при выполнении задач, которые перед ним ставили партия и правительство. Как-то не вязалось: Белов — и вдруг «враг народа». Конечно, никто этому не верил...

Разве можно забыть тех, кто, выйдя из рабочих и крестьян, был обучен и воспитан в борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией, обучен нашей ленинской партией и кто был сердцем военных кадров нашей

Родины? Нет! Их забыть нельзя, как и нельзя забыть преступления тех, на чьей совести лежали ничем не оправданные кровавые репрессии и аресты, и высылка членов семей в «места столь отдаленные».

Как-то вечером ко мне в кабинет зашел комиссар корпуса Фомин. Он долго мялся, ходил вокруг да около, а потом сказал:

— Знаешь, завтра собирается актив коммунистов 4-й дивизии, 3-го кавкорпуса и 6-го кавкорпуса, будут тебя разбирать в партийном порядке.

— Что же такое я натворил, что такой большой актив будет меня разбирать?—спросил я.—А потом, как же меня будут разбирать, не предъявив заранее никаких обвинений, чтобы я мог подготовить соответствующее объяснение?

— Разговор будет производиться по материалам 4-й кавдивизии и 3-го корпуса, я не в курсе поступивших заявлений,—сказал Фомин.

— Ну, что же, посмотрим, в чем меня хотят обвинить.

На другой день действительно собрались человек 80 коммунистов и пригласили меня на собрание. Откровенно говоря, я волновался, мне было как-то не по себе, тем более, что в то время очень легко пришивали ярлык «врага народа» любому честному коммунисту. Собрание открылось чтением заявлений некоторых командиров и политработников 4-й дивизии, 24-й дивизии, 7-й кавдивизии. Они жаловались, что я многих командиров и политработников незаслуженно наказал, грубо ругал и не выдвигал их на высшие должности. Меня обвиняли в том, что, якобы умышленно «замораживая» опытные кадры, я этим сознательно наносил вред нашим Вооруженным Силам. Короче говоря, дело шло к тому, чтобы назвать меня «врагом народа», я обвинялся в том, что при воспитании кадров применял вражеские методы. После зачтения этих заявлений начались прения.

Как и полагалось, в первую очередь выступили те, кто подал заявления. Спрашиваю:

— Почему же раньше об этом молчали? Ведь прошло уже полтора—два года со времени событий, о которых упоминается в заявлениях?

— Мы боялись Жукова, а теперь время другое, теперь нам открыли глаза арестами,—последовал ответ.

Дальше—больше:

— Объясните ваши отношения с Уборевичем, Сердичем, Вайнером и другими врагами народа?

— Почему Уборевич при проверке дивизии обедал лично у вас, товарищ Жуков?

— Почему к вам всегда так хорошо относились враги народа Сердич, Вайнер и другие?

Наконец, слово взял начальник политотдела 4-й кавдивизии Сергей Петрович Тихомиров. Все присутствующие коммунисты ждали от него, от политического руководителя дивизии, принципиального выступления, принципиальной политической оценки деятельности командира-единоначальника, с которым он несколько лет проработал в одной дивизии.

Но, к сожалению, его речь была ярким примером приспособленчества. Он лавировал между обвинителями и обвиняемым, в результате чего получилась беспринципная попытка уйти от прямого ответа на вопросы: в чем прав и в чем не прав Жуков?

Я сказал коммунистам, что ожидал от Тихомирова оценки своей деятельности, но он оказался не на высоте своего положения, поэтому я сам скажу, в чем был не прав, чтобы не повторять своих ошибок, а в чем был прав, от чего не отступлю и надуманных обвинений не приму. Первое—о грубости. В этом вопросе, должен сказать прямо, у меня были иногда срывы, и я был не прав, резко разговаривая с теми командирами и политработниками, которые здесь жаловались и обижались на меня. Я не хочу оправдываться тем, что в дивизии было много недочетов в работе с личным составом, много проступков, много чрезвычайных происшествий,—все это я пытался устранить. Вы правы в том, что как коммунист я прежде всего обязан был быть выдержаннее в обращении с подчиненными, больше помогать добрым словом и меньше проявлять нервозности. Добрый совет, хорошее слово сильнее всякой брани. Что же касается обвинения в том, что у меня обедал Уборевич—«враг народа», то я должен сказать, что у меня обедал командующий войсками округа Уборевич, а не «враг народа» Уборевич. Кто из нас знал, что он «враг народа»? Никто. Относительно хорошего отношения ко мне со стороны Сердича и Вайнера могу сказать, что мы все должны бороться за хорошие отношения между начальниками и подчиненными. Разве это наша цель—пропагандировать плохие взаимоотношения между начальниками и подчиненными? Нет, вы не должны обвинять меня за то, что ко мне хорошо относились мои начальники Сердич и Вайнер... Что касается замечания начальника политотдела 4-й кавдивизии С. П. Тихомирова о том, что я недооцениваю политработников, то должен сказать прямо, да, действительно, я не люблю и не ценю таких политработников, как, например, Тихомиров, который плохо помогал мне в работе в 4-й кавдивизии и всегда уходил от решения сложных вопросов, проявляя беспринципную мягкотелость, нетребовательность, даже в ущерб делу... Вы все слышали речь Тихомирова. И, думаю, поняли, что он далек от совершенства.

Очевидно, моя речь произвела должное действие: собрание не поддержало тех, кто хотел вынести мне партийное взыскание. Меня резко критиковали именно за те недостатки, в которых я сам прекрасно отдавал себе отчет. В решении партактива было сказано: «Ограничиться обсуждением вопроса. Товарищу Жукову Г. К. принять к сведению критику».

Откровенно говоря, для меня выступление начальника Политотдела 4-й кавалерийской дивизии Тихомирова было совершенно неожиданным. С Тихомировым мы работали вместе около четырех лет... Он всегда подчеркивал, что как единоначальник я являюсь полноценным политическим руководителем и пользуюсь настоящим партийным авторитетом у офицерского состава, в том числе и у политработников.

Когда кончилось собрание партийной организации, я не утерпел и спросил Тихомирова:

— Сергей Петрович, вы сегодня обо мне говорили не то, что говорили всегда, когда мы работали вместе в дивизии. Что соответствует истине—ваши прежние суждения обо мне или та характеристика, которая была дана вами сегодня?

— Безусловно та, что всегда говорил,—ответил он.—Но то, что сегодня сказал, надо было сказать.

Я вспылил:

— Очень сожалею, что когда-то считал вас принципиальным человеком, вы просто гнилой интеллигент и приспособленец.

С тех пор при встречах с ним я отвечал только на служебные вопросы...

Хорошо, что парторганизация тогда не пошла по ложному пути и сумела разобраться в существе вопроса. Ну, а если бы парторганизация послушала совета Тихомирова и иже с ним—что тогда могло получиться? Ясно, моя судьба была бы решена в резиденциях Берии, как судьбы многих других наших честных людей...»

* * *

И в самом деле—тучи над головой Жукова собирались не раз. В его личном деле я обнаружил вот такой документ, привожу его текст полностью:

«Сов. секретно.

Выписка

из донесений ПУОКРА и политорганов ЛВО на лиц ком. и нач. состава, проявивших отрицательные настроения, и о которых поступили те или другие компрометирующие заявления военнослужащих.

Московский военный округ.

Жуков—командир 4-й кавдивизии (БВО).

Группа слушателей Академии им. Фрунзе из БВО и 4-й кд прямо заявляет, что Жуков был приближенным Уборевича, во всем ему подражал, особенно по части издевательства над людьми.

ВРИД начальника ОРПО ПУ РККА дивизионный комиссар Котов.

10 августа 1937 года».

Вот такого документа в те дни было достаточно для того, чтобы человек был арестован и расстрелян.

К нашему счастью, этого не произошло. Даже наоборот — за короткое время Жуков, как и многие другие уцелевшие в те годы, несколько раз подряд получал новые высокие назначения. Он девять лет командовал полком, четыре года кавалерийской дивизией, около двух лет кавалерийским корпусом и в течение двух лет прошел должности от заместителя командующего округом и командующего округом до начальника Генерального штаба и заместителя наркома обороны. Счастье, что мы не потеряли талантливейшего полководца, сыгравшего одну из решающих ролей в достижении победы в Отечественной войне.

Поскольку я обещал писать правду, не считаю возможным скрыть и то, что не украшает Жукова. Объясняю это особенностями того времени, когда каждый страшился попасть в человеческую мясорубку. Одной хорошей работы было недостаточно. Надо было как-то продемонстрировать свою политическую лояльность. И Жуков тоже не был исключением.

Ниже я привожу документ, очень неприятный для меня, да и для всех, кто с ним познакомится. Но что было, то было.

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
тов. ВОРОШИЛОВУ.

Вскрытие гнусной, предательской, подлой работы в рядах РККА обязывает всех нас проверить и вспомнить всю ту борьбу, которую мы, под руководством партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА провели в течение 20-ти лет. Проверить с тем, что все ли мы шли искренно честно в борьбе за дело партии ЛЕНИНА — СТАЛИНА, как подобает партийному и непартийному большевику и нет ли среди нас примазавшихся попутчиков, которые шли и идут ради карьеристической, а может быть и другой, вредительско-шпионской цели.

Руководствуясь этими соображениями, я решил рассказать т. ТЮЛЕНЕВУ следующий факт, который на сегодняшний день, считаю, имеет политическое значение.

В 1917 году в ноябре м-це, на Съезде 1-й Армии в Штокмазгофе, где я был делегатом, я слышал выступление бывшего тогда правого эсера подполковника ЕГОРОВА А. И., который в своем выступлении называл товарища ЛЕНИНА авантюристом, посланцем немцев. В конечном счете речь его сводилась к тому, чтобы солдаты не верили ЛЕНИНУ, как борцу-революционеру, борющемуся за освобождение рабочего класса и крестьянства.

После его выступления выступал меньшевик, который, несмотря на вражду к большевикам, и он даже отмежевался от его выступления.

Дорогой товарищ Народный Комиссар, может быть поздно, но я, поговорив сегодня с товарищем ТЮЛЕНЕВЫМ, решил сообщить это Вам.

ЧЛЕН ВКП(б)

(Г. ЖУКОВ)[1]

Сначала, прочитав это письмо, я, признаюсь честно, был так ошарашен, что некоторое время не мог продолжать работу. Перечитал я это чертово письмо десятки раз и все искал какое-нибудь оправдывающее Жукова объяснение. Еще раз напомнил себе, какое было тогда время. В личном деле Жукова все похвальные аттестации с самым высоким мнением о нем были написаны теми, кто расстрелян как «враг народа» — Уборевич, Шмидт, Сердич, или арестован, как Рокоссовский. Тучи явно сгущались над головой Георгия Константиновича. Может быть, сработал

[1] ЦГАСА (Архив Советской Армии), фонд 33987, опись 3, дело 1048, лист 37.

инстинкт самосохранения? Подумал так: рассказал как-то Жуков о выступлении Егорова Тюленеву. А теперь спохватился: вдруг Тюленев сообщит об этом куда следует? Предположить такое тогда было вполне естественно. Что же получится? Жуков сам об этом не сообщает, значит... Ну и так далее. Уж если совершенно невинным людям «пришивали» шпионаж, террор, то при наличии такого разговора от ареста не спасешься.

Потом я обратил внимание на последнюю строчку письма; подчеркнуто еще раз: «поговорив с товарищем Тюленевым, решил сообщить». Видно, это все время мучило Жукова — доложил Тюленев или нет? И вот, еще раз поговорив с ним и понимая, что если он и теперь промолчит, то за «сокрытие» наверняка будет обвинен... ну и «решил сообщить».

Я обратил внимание на то, что письмо Жукова поступило в канцелярию наркома 26.I.1938 года (дата на полях письма, хотя и не очень четкая). Егоров еще в мае 1937 года, за месяц до процесса Тухачевского, был освобожден от должности начальника Генерального штаба, а вскоре арестован и погиб. Так что судьба Егорова была предрешена задолго до письма Жукова. Подполковник, генштабист царской армии, ни разу не упомянувший Сталина в своей книге «Разгром Деникина», разве мог он остаться в живых, когда газеты, журналы, книги кричали о «гениальном сталинском плане разгрома Деникина»?

Письмо Жукова уже не могло повредить Егорову. Но как бы то ни было, письмо существовало, факт есть факт, и я не считал возможным скрыть его от читателей.

ХАЛХИН-ГОЛ

Пользуясь тем, что внимание всего мира было в это время устремлено на события, происходящие в Европе, Япония осуществляла свои захватнические планы в Китае, Маньчжурии и уже дошла до границ Монголии. В мае 1939 года японские войска нарушили границу МНР и стали продвигаться к реке Халхин-Гол. Это была довольно крупная провокация, в ней участвовали и артиллерия, и самолеты. Наши войска в соответствии с Протоколом о взаимной помощи, подписанном в 1936 году, вступили в Монголию и совместными действиями с монгольскими выбили нарушителей за пределы монгольско-китайской границы.

В июне японцы предприняли уже более крупную операцию с твердым намерением захватить на западном берегу реки Халхин-Гол плацдарм и на нем закрепиться для дальнейшего расширения действий — планировалось построить здесь сильно укрепленный рубеж и прикрыть им новую стратегическую железную дорогу, которую хотели вывести к границе нашего Забайкалья.

Основательно подготовив операцию, в которой участвовало 38 тысяч солдат и офицеров, 310 орудий, 135 танков, 225 самолетов, японцы потеснили советско-монгольские войска и вышли на восточный берег реки Халхин-Гол.

В своей книге воспоминаний Жуков подробно описывает подготовку и ход боевых действий, поэтому я не буду пересказывать это его описание, интереснее, мне кажется, познакомить читателей с более поздними материалами — я беру их из выступлений Жукова, из его статей и особенно из послевоенных бесед маршала, записанных Константином Симоновым, который сам побывал на Халхин-Голе и там познакомился с Жуковым. В этих беседах ярко проступают темперамент и характер Жукова давних лет. Вот что он рассказывал:

— На Халхин-Гол я поехал так, — мне уже потом рассказали, как это все получилось. Когда мы потерпели там первые неудачи в мае — июне, Сталин, обсуждая этот вопрос с Ворошиловым в присутствии Тимошенко и Пономаренко, тогдашнего секретаря ЦК Белоруссии, спросил Ворошилова: «Кто там, на Халхин-Голе, командует войсками?» «Комбриг Фекленко». «Ну, а кто этот Фекленко? Что он из себя представляет?» —

спросил Сталин. Ворошилов сказал, что не может сейчас точно ответить на этот вопрос, лично не знает Фекленко. Сталин недовольно сказал: «Что же это такое? Люди воюют, а ты не представляешь себе, кто у тебя там воюет, кто командует войсками? Надо туда назначить кого-то другого, чтобы исправил положение и был способен действовать инициативно. Чтобы не только мог исправить положение, но и при случае надавать японцам». Тимошенко сказал: «У меня есть одна кандидатура, командир кавалерийского корпуса Жуков». «Жуков... Жуков...— сказал Сталин.— Что-то я помню эту фамилию». Тогда Ворошилов напомнил ему: «Это тот самый Жуков, который в тридцать седьмом году прислал Вам и мне телеграмму о том, что его несправедливо привлекают к партийной ответственности». «Ну, и чем дело кончилось?» — спросил Сталин. Ворошилов сказал, что выяснилось — для привлечения к партийной ответственности оснований не было... Тимошенко сказал, что я человек решительный, справлюсь. Пономаренко тоже подтвердил, что для выполнения поставленной задачи это хорошая кандидатура. Я в это время был заместителем командующего войсками Белорусского военного округа, был в округе на полевой поездке. Меня вызвали к телефону и сообщили: завтра надо быть в Москве. Я позвонил Сусайкову. Он был в то время членом Военного Совета Белорусского округа. Тридцать девятый год все-таки, думаю, что значит этот вызов? Спрашиваю: «Ты стороною не знаешь, почему вызывают?» Отвечает: «Не знаю. Знаю одно: утром ты должен быть в приемной Ворошилова». «Ну, что ж, есть». Приехал в Москву, получил приказание лететь на Халхин-Гол, и на следующий день вылетел. Первоначальное приказание было такое: «Разобраться в обстановке, доложить о принятых мерах, доложить свои предложения». Я приехал, в обстановке разобрался, доложил о принятых мерах и о моих предложениях и получил в один день одну за другой две шифровки: первая — что с выводами и предложениями согласны. И вторая: что назначаюсь вместо Фекленко командующим стоящего в Монголии особого корпуса...

Вступив в командование, Жуков принял решение: удерживая захваченный нами плацдарм на восточном берегу Халхин-Гола, одновременно готовить контрудар, а чтобы противник не разгадал подготовку к нему, сосредоточивать войска в глубине. Решение вроде бы правильное, но неожиданно обстоятельства сложились так, что такие действия могли привести к катастрофе, и вот почему. На плацдарме и поблизости от него наших войск было немного, главные силы в глубине. И вдруг 3 июля японцы, скрытно сосредоточив войска, переправились через Халхин-Гол, захватили гору Баин Цаган и стали закрепляться здесь.

Жуков так рассказывал о тех событиях:

— Создалось тяжелое положение. Кулик потребовал снять с того берега, с оставшегося у нас плацдарма артиллерию: пропадет, мол, артиллерия! Я ему отвечаю: если так, давайте снимать с плацдарма все, давайте и пехоту снимать. Я пехоту не оставлю там без артиллерии. Артиллерия — костяк обороны, что же, пехота будет пропадать там одна? В общем, не подчинился, отказался выполнить это приказание... У нас не было вблизи на подходе ни пехоты, ни артиллерии, чтобы воспрепятствовать тем, кого японцы переправили через реку. Вовремя могли подоспеть лишь находившиеся на марше танковая и бронебригада. Но самостоятельный удар танковых и бронечастей без поддержки пехоты тогдашней военной доктриной не предусматривался...

Взяв вопреки этому на себя всю полноту особенно тяжелой в таких условиях ответственности, Жуков с марша бросил танковую бригаду Яковлева и бронебригаду на только что переправившиеся японские войска, не дав им зарыться в землю и организовать противотанковую оборону. Танковой бригаде Яковлева надо было пройти 60 или 70 километров. Она прошла их прямиком по степи и вступила в бой.

Жуков рассказывал:

— Бригада была сильная, около 200 машин. Она развернулась и пошла в атаку. Половину личного состава бригада потеряла убитыми и ранеными и половину машин, даже больше. Еще больше потерь понесли бронебригады, которые поддерживали атаку. Танки горели на моих глазах.

На одном из участков развернулось 36 танков, и вскоре 24 из них уже горело. Но зато мы раздавили японскую дивизию. Стерли!..

Нетрудно предположить, что бы произошло, если б атака танковой бригады после таких потерь была отбита японцами. В военном отношении — японцы прочно закрепились бы на плацдарме и развили боевые действия в глубь Монголии. Ну, а в чисто человеческом плане — Жукова, наверное, разжаловали бы и расстреляли потому, что Кулик поднял бы скандал в связи с невыполнением Жуковым его приказания. Он в то время был уже маршал, и Жукову, не имевшему еще авторитета, не устоять бы против обвинений маршала! Но на этот раз восторжествовала поговорка «Победителей не судят!». В этом эпизоде Жуков победил. Но впереди еще предстояли тяжелые бои.

Получив подкрепление, которое он попросил у наркома, Жуков к 20 августа скрытно создал наступательную группировку, имевшую задачей окружение и уничтожение японских войск. На флангах были сосредоточены главные силы, которые в 5 часов 45 минут 20 августа после мощной артиллерийской подготовки и особенно авиационной обработки перешли в наступление. В воздухе было 150 бомбардировщиков и прикрывало их около 100 истребителей. Удар авиации был настолько силен и точен, что он деморализовал противника, который в течение полутора часов не мог ответить даже организованным артиллерийским огнем.

Жуков продолжал рассказ:

— На третий день нашего августовского наступления, когда японцы зацепились на северном фланге за высоту Палец и дело затормозилось, у меня состоялся разговор с Г. М. Штерном. По приказанию свыше роль Штерна заключалась в том, чтобы в качестве командующего Забайкальским фронтом обеспечивать наш тыл, обеспечивать группу войск, которой я командовал, всем необходимым. В том случае, если бы военные действия перебросились на другие участки, перерастая в войну, предусматривалось, что наша армейская группа войдет в прямое подчинение фронту. Но только в том случае. А пока мы действовали самостоятельно и были непосредственно подчинены Москве.

Штерн приехал ко мне и стал говорить, что он рекомендует не зарываться, а остановиться, нарастить за два-три дня силы для последующих ударов и только после этого продолжать окружение японцев... Я сказал ему в ответ на это, что война есть война, на ней не может не быть потерь и что эти потери могут быть и крупными, особенно когда мы имеем дело с таким серьезным и ожесточенным врагом, как японцы. Но если мы сейчас из-за этих потерь и из-за сложностей, возникших в обстановке, отложим на два-три дня выполнение своего первоначального плана, то одно из двух: или мы не выполним этого плана вообще, или выполним его с громадным промедлением и с громадными потерями, которые из-за нашей нерешительности в конечном итоге в десять раз превысят те потери, которые мы несем сейчас, действуя решительным образом. Приняв его рекомендации, мы удесятерим свои потери.

Затем я спросил его: приказывает ли он мне или советует? Если приказывает, пусть напишет письменный приказ, но я предупреждаю его, что опротестую этот письменный приказ в Москве, потому что не согласен с ним. Он ответил, что не приказывает, а рекомендует и письменного приказа писать не будет. Я сказал: «Раз так, то я отвергаю ваше предложение. Войска доверены мне и командую ими здесь я. А вам поручено поддерживать меня и обеспечивать мой тыл. И я прошу вас не выходить из рамок того, что вам поручено». Был жесткий, нервный, не очень-то приятный разговор. Штерн ушел. Потом, через два или три часа, вернулся, видимо, с кем-то посоветовался за это время и сказал мне: «Ну что же, пожалуй, ты прав. Я снимаю свои рекомендации».

Когда мы окружали японцев, рванулся вперед со своим полком майор Ремизов и прорвался вглубь. Японцы сразу бросили на него большие силы. Мы сейчас же подтянули туда бронебригаду, которая с двух сторон подошла к Ремизову и расперла проход. (При этом Жуков показал руками, как именно бригада расперла этот проход.) Расперли проход и дали ему возможность отойти. Об этом один товарищ послал кляузную докладную в Москву, предлагал Ремизова за его самовольные действия предать суду и так далее... А я считал, что его не за что предавать суду. Он нравился

мне. У него был порыв вперед, а что же за командир, который в бою ни вперед ни назад, ни вправо ни влево, ни на что не может решиться? Разве такие нам нужны? Нам нужны люди с порывом. И я внес контрпредложение — наградить Ремизова. Судить его тогда не судили, наградить тоже не наградили. Потом уже, посмертно, дали Героя Советского Союза.

Командир танковой бригады комбриг Яковлев тоже был очень храбрый человек и хороший командир. Но погиб нелепо. В район нашей переправы прорвалась группа японцев, человек триста. Не так много, но была угроза переправе. Я приказал Потапову и Яковлеву под их личную ответственность разгромить эту группу. Они стали собирать пехоту, организовывать атаку, и Яковлев при этом забрался на танк и оттуда командовал. И японский снайпер его снял пулей, наповал. А был очень хороший боевой командир.

Японцы за все время только один раз вылезли против нас со своими танками. У нас были сведения, что на фронт прибывает их танковая бригада. Получив эти сведения, мы выставили артиллерию на единственном танкодоступном направлении в центре, в районе Номон Хан-Бурд-Обо. И японцы развернулись и пошли как раз в этом направлении. Наши артиллеристы ударили по ним. Я сам видел этот бой. В нем мы сожгли и подбили около ста танков. Без повреждений вернулся только один. Это мы уже потом, по агентурным сведениям узнали. Идет бой. Артиллеристы звонят: «Видите, товарищ командующий, как горят японские танки?» Отвечаю: «Вижу-вижу...» одному, другому... Все артиллерийские командиры звонили, все хотели похвастаться, как они жгут эти танки.

Танков, заслуживающих этого названия, у японцев, по существу, не было. Они сунулись с этой бригадой один раз, а потом больше уже не пускали в дело ни одного танка. А пикировщики у японцев были неплохие, хотя бомбили японцы большей частью с порядочных высот. И зенитки у них были хорошие. Немцы там у них пробовали свои зенитки, испытывали их в боевых условиях.

Японцы сражались ожесточенно. Я противник того, чтобы о враге отзывались уничижительно. Это не презрение к врагу, это недооценка его. А в итоге не только недооценка врага, но и недооценка самих себя. Японцы дрались исключительно упорно, в основном пехота. Помню, как я допрашивал японцев, сидевших в районе речки Хайластин-Гол. Их взяли там в плен, в камышах. Так они все были до того изъедены комарами, что на них буквально живого места не было. Я спрашиваю: «Как же вы допустили, чтобы вас комары так изъели?» Они отвечают: «Нам приказали сидеть в дозоре и не шевелиться. Мы не шевелились». Действительно, их посадили в засаду, а потом забыли о них. Положение изменилось, их батальон оттеснили, а они все еще сидели, уже вторые сутки, и не шевелились, пока мы их не захватили. Их до полусмерти изъели комары, но они продолжали выполнять приказ. Хочешь не хочешь, а приходится уважать их...

26 августа, разгромив фланговые группировки противника, заходящие клещи окружения наших войск сомкнулись. В окружении остались все силы 6-й японской армии. К 30 августа окруженная группировка противника была полностью уничтожена или взята в плен.

Жуков в своих воспоминаниях отмечает отличную боевую работу наших летчиков во главе с Героем Советского Союза Я. В. Смушкевичем. В его подчинении было еще 20 Героев Советского Союза, получивших боевой опыт в Испании. Воздушные бои на Халхин-Голе иногда были такой интенсивности, что с обеих сторон участвовало больше, чем по 100 самолетов. Наши летчики по мастерству и по храбрости превосходили противника. В течение четырех дней с 22 по 26 июня они сбили 64 японских самолета. Жуков говорит о Смушкевиче: «Это был великолепный организатор, отлично знавший боевую летную технику и в совершенстве владевший летным мастерством. Он был исключительно скромный человек, прекрасный начальник и принципиальный коммунист. Его искренне любили все летчики».

К несчастью, еще до начала Отечественной войны Смушкевич был арестован, невинно осужден, а затем и расстрелян в октябре 1941 года, в дни тяжелых боев, когда немцы штурмовали Москву. Как много бы он сделал для ее защиты! Добавлю еще, что Яков Владимирович был членом партии с 1918 года, в годы гражданской войны был комиссаром батальона и стрелкового полка, а с 1922 — комиссаром эскадрильи и авиабригады. В 1932 г. окончил Качинскую военную школу летчиков и был назначен командиром авиабригады. В 1936—37 годах был в Испании добровольцем, где за мужество и отвагу в боях был удостоен звания Героя Советского Союза. За прекрасные действия в боях на Халхин-Голе Смушкевичу было присвоено звание дважды Героя Советского Союза, он был назначен начальником Военно-Воздушных Сил Советской Армии.

С большой теплотой Жуков вспоминает своего заместителя в этих боях, комбрига Михаила Ивановича Потапова, который благодаря своему спокойствию, уравновешенности и большим знаниям в военном деле очень помогал Жукову в этой операции. Позднее Жуков с ним встретится в первые же дни войны у самой границы на Юго-Западном фронте, когда Потапов командовал 5-й армией. Высоко отзывается Жуков о боевых качествах Ивана Ивановича Федюнинского, который в начале боевых действий на Халхин-Голе был заместителем командира полка по хозяйственной части, а затем был назначен командиром 24-го моторизованного полка и командовал им так умело, что Жуков запомнил его надолго и впоследствии брал его с собой на Ленинградский фронт, да и в других операциях тоже встречался с Федюнинским как со старым боевым товарищем.

16 сентября боевые действия были прекращены. Японское командование обратилось к Советскому правительству с просьбой о перемирии. В боях на Халхин-Голе японо-маньчжурские войска потеряли около 61 тысячи человек убитыми, ранеными и пленными, 660 самолетов и большое количество другого оружия и военной техники. Советско-монгольские войска потеряли 18,5 тысячи человек убитыми и ранеными и 207 самолетов.

Небольшая по размаху армейская операция на Халхин-Голе имела большие политические последствия. Она подействовала отрезвляюще на японское командование. Об этом свидетельствует такой факт: вскоре после этих боев в ответ на нажим германских союзников, желавших, чтобы Япония одновременно с Германией вступила в войну с Советским Союзом, принц Коноэ признался германскому послу Отту: «Японии потребуется еще два года, чтобы достигнуть уровня техники, вооружения и механизации, которые показала Советская Армия в боях в районе Халхин-Гола». Японцы обещали вступить в войну и поддержать Германию только в случае захвата немецкими войсками Москвы. Это дало нам возможность привлечь максимум сил с Дальнего Востока на Западный фронт.

Для самого Жукова это была первая крупная армейская операция, которую он задумал и осуществил сам. Несомненно, для полководца, только вступающего на стезю боевых действий, это имеет большое значение, придает ему уверенность в своих силах, создает популярность — качество, тоже необходимое военачальнику. После этой победы о Жукове заговорили не только в нашей стране, но и в военной среде всего мира. Кроме того, победа под Халхин-Голом и все, что с ней связано, давала еще опыт и расширяла кругозор политического мышления Георгия Константиновича. Это было связано уже с международными отношениями государств, с большой политикой, с которой он раньше в практике своей работы не соприкасался. Ну, и еще одно, для того времени очень важное последствие этой победы — Жуков показал свой талант, свои способности, чем снискал расположение Сталина, а это очень много значило тогда, может быть, это и спасло его от участи многих других военачальников, репрессированных в те годы. Халхин-Гол спас Жукова от ареста, который назревал перед его отъездом в Монголию. После одержанной победы вопрос об аресте снимался, хотя в этом отношении действия Сталина были непредсказуемы.

Сам Жуков говорил об этом так:

— В 37 и 38 годах на меня готовились соответствующие документы, видимо, их было уже достаточно, уже кто-то где-то бегал с портфелем, в котором они лежали. В общем, дело шло к тому, что я мог кончить тем же, чем тогда кончили многие другие. И вот после всего этого — вдруг вызов и приказание ехать на Халхин-Гол. Я поехал туда с радостью. И вспоминаю об этом тоже с радостью. Не только потому, что была удачно проведена операция, которую я до сих пор люблю, но и потому, что я своими действиями там как бы оправдался, как бы отбросил от себя все те наветы и обвинения, которые скапливались против меня в предыдущие годы и о которых я частично знал, а частично догадывался.

После завершения боевых действий, в мае 1940 года Жукова вызвали в Москву, его принял Сталин. На беседе присутствовали Калинин, Молотов и другие члены Политбюро.

— Как вы оцениваете японскую армию? — спросил Сталин.

— Японский солдат, который дрался с нами на Халхин-Голе, хорошо подготовлен, особенно для ближнего боя. Дисциплинирован, исполнителен и упорен в бою, особенно в оборонительном. Младший командный состав подготовлен очень хорошо и дерется с фанатическим упорством. Как правило, младшие командиры в плен не сдаются и не останавливаются перед харакири. Офицерский состав, особенно старший и высший, подготовлен слабо, малоинициативен и склонен действовать по шаблону.

Далее Жуков охарактеризовал вооружение японской армии, артиллерию, танки, самолеты и особенно подчеркнул:

— Когда же к нам прибыла группа летчиков Героев Советского Союза во главе с Смушкевичем, наше господство в воздухе стало очевидным.

— Как действовали наши войска?

Жуков в первую очередь особенно подчеркнул:

— Если бы в моем распоряжении не было двух танковых и трех мотоброневых бригад, мы, безусловно, не смогли бы так быстро окружить и разгромить 6-ю японскую армию. Считаю, что нам нужно резко увеличить в составе вооруженных сил бронетанковые и механизированные войска...

— Теперь у вас есть боевой опыт, — сказал Сталин. — Принимайте Киевский округ и свой опыт используйте в подготовке войск.

«...Возвратясь в гостиницу «Москва», я долго не мог заснуть, находясь под впечатлением этой беседы. Внешность И. В. Сталина, его негромкий голос, конкретность и глубина суждений, осведомленность в военных вопросах, внимание, с каким он слушал доклад, произвели на меня большое впечатление».

Этими словами кончается глава, в которой Жуков вспоминает о Халхин-Голе в своей книге. Но в рукописи его было и продолжение, которое посчитали нужным снять. Вот что было еще сказано о Сталине: «Если он всегда со всеми такой, непонятно, почему ходит упорная молва о нем, как о страшном человеке?

Тогда не хотелось верить плохому».

Под записью стоит дата — 20.9.1965 г.

Написав эти слова спустя десять лет после XX съезда, Георгий Константинович, видимо, хотел точно передать свое мироощущение предвоенных лет, не внося в него позднейшего понимания.

...В дни, когда Жуков проводил первую в своей полководческой жизни успешную крупную операцию на Востоке, в Европе произошли события колоссальной исторической значимости — был заключен Пакт о ненападении между СССР и Германией, а 1 сентября гитлеровцы напали на Польшу, и запылал пожар второй мировой войны.

Вспомним, как это произошло.

НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЗАКУЛИСНЫЕ СГОВОРЫ

Все свои агрессивные акции Гитлер тщательно готовил при помощи дипломатов, а также так называемой «пятой колонны», имевшейся почти в каждой стране. Последняя распространяла «нужные» слухи — чаще всего это были слухи о миролюбии Германии, о том, что Гитлер и его правительство заботятся только о том, чтобы восстановить то положение страны, которое существовало до Версальского договора.

Приведу лишь один пример того, как Гитлер сам участвовал в такой подготовительной работе. Этот эпизод известен историкам, дипломатам, военным, но для широкой аудитории читателей он, наверное, представит интерес, так как многое проясняет в таком историческом событии, каким является начало второй мировой войны.

В городе Гданьске находился верховный комиссар Лиги наций Буркхарт, его обязанностью было следить за выполнением статуса вольного города Гданьска. Буркхарт по профессии был историком, постоянно жившим в Швейцарии, а по взглядам — сторонником того, что происходило в Третьем рейхе. Впоследствии он написал мемуары. 10 августа на квартиру Буркхарта позвонил лидер местных фашистов Форстер и сказал:

— Фюрер желает видеть вас завтра в четыре часа дня у себя в Оберзальцберге.

— Но это невозможно! Мое положение... И к тому же как я могу попасть туда за такой короткий срок?

— Все предусмотрено. Фюрер предоставляет вам личный самолет... Сегодня в полночь аэродром будет оцеплен. О вашем отъезде никто не узнает...

Буркхарт, естественно, сообщил об этом приглашении в Лондон и Париж. Английский министр иностранных дел Галифакс попросил Буркхарта поговорить с Гитлером обстоятельно, явно намекая на то, чтобы он узнал — каковы его реальные планы на ближайшее будущее.

В назначенный час Буркхарт прилетел в Оберзальцберг, там его ждала машина, на которой по горному серпантину он двинулся к резиденции Гитлера «Бергхоф», вилле, сооруженной на высокой скале.

С первых же слов Гитлер обрушился на Польшу:

— Польша прибегает к угрозам в отношении Данцига! Польские газеты заявляют, что это именно тот язык, которым надо со мной разговаривать! Если вновь возникнет малейший инцидент, я без предупреждения разгромлю поляков, так что от них не останется и следа!

— Но это будет означать всеобщую войну, — сказал Буркхарт.

— Пусть так! Если мне суждено вести войну, я предпочитаю, чтобы это было сегодня, когда мне пятьдесят лет, а не когда будет шестьдесят! О чем, в сущности, идет речь? Только о том, что Германия нуждается в зерне и лесе. Для получения зерна мне нужна территория на востоке, для леса — колония, только одна колония. Все остальное ерунда. Я ничего не требую от Запада ни сейчас, ни в будущем. Раз и навсегда: ничего! Все, что мне приписывают, — выдумки. Но мне нужна свобода рук на востоке. Повторяю еще раз — вопрос идет только о зерне и лесе.

В конце концов Гитлер прямо сказал:

— Все, что я предпринимаю, направлено против России. Мне нужна Украина, чтобы нас не могли морить голодом, как в прошлую войну.

Он еще и еще повторял эту мысль, словно для того, чтобы Буркхарт все получше запомнил и поточнее передал тем, на кого был мастерски рассчитан весь этот разговор. Провожая Буркхарта, Гитлер заявил:

— Я хочу жить в мире с Англией. Я готов гарантировать английские владения во всем мире и заключить с ней пакт об окончательном урегулировании.

Он даже выразил согласие встретиться с этой целью с кем-либо из английских руководящих лиц.

После встречи Буркхарт немедленно вылетел в Базель и в секретном разговоре передал английским и французским представителям министерств иностранных дел заманчивые предложения Гитлера, причем ни он, ни его собеседники не подозревали, что все это было предпринято фюрером ради маскировки удара по Польше, дабы изолировать ее от западных союзников, связать им руки этими своими обещаниями!

Именно в эти дни в Москву прибыли военные миссии западных держав, и Гитлер, опасаясь, чтобы Англия и Франция не договорились с Советским Союзом о заключении совместного оборонительного пакта, решил подбросить западным союзникам уверения, что он никогда не будет с ними воевать и никаких намерений на Западе у него абсолютно нет.

Для того, чтобы читатели могли воочию убедиться в хитрости и вероломстве Гитлера, я обращу внимание на несколько фактов и дат. Разговор, который приведен выше, состоялся 11 августа. Планы войны против Польши к тому времени уже были полностью отработаны, все документы об этом подписаны, и войска находились в состоянии боевой готовности. 5 августа, то есть за шесть дней до этого разговора, шеф службы безопас-

ности Гейдрих вызвал в свою резиденцию на Принц-Альбертштрассе в Берлине тайного агента Альфреда Науджокса, того самого, который был причастен к фабрикации фальшивок по делу Тухачевского и других советских военачальников. Гейдрих дал задание Науджоксу подготовить и провести операцию, с которой, собственно, и началось нападение на Польшу. Эта провокация широко известна, много раз описана, поэтому я напомню ее в общих чертах. Переодевшись в польскую военную форму, немецкие разведчики совершили налет на свою же радиостанцию в городе Глейвице и, разгромив ее, подбросили польские документы и оставили труп заранее привезенного с собой уголовника, одетого тоже в польскую форму.

Немецкие радиостанции немедленно передали сообщение о провокационном нападении «поляков», а на рассвете 1 сентября 1939 года в 4 часа 45 миицт германские армии вторглись на территорию Польши на всем протяжении границы. Этот день в мировой истории принято считать началом второй мировой войны. Позднее, после войны, Науджокс, в свое время представший перед Нюрнбергским судом в качестве одного из военных преступников, сказал в своем предисловии к книге, написанной о нем и названной «Человек, который начал войну»: «...необходим был человек, чтобы подготовить инцидент, чтобы, так сказать, нажать курок. Я был этим человеком...»

* * *

Беседа Буркхарта с Гитлером состоялась 11 августа, а 12 августа в Москве начались переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции.

Советское правительство, обеспокоенное агрессивными акциями Германии в Европе и имея данные о том, что Гитлер готовится к нападению и на Советский Союз, предпринимало попытки договориться с правительствами Англии и Франции о совместных усилиях по борьбе с агрессором. Однако некоторые руководители Англии и Франции все еще надеялись, что Гитлер, направив свой удар на восток, против Советской страны, завязнет в этой войне и, сильно ослабев в ней, станет более сговорчивым или, во всяком случае, неопасным ни для Англии, ни для Франции.

Намереваясь испугать Гитлера возможным союзом с СССР, английское и французское правительства предложили советским руководителям провести переговоры, результатом которых был бы проект договора между этими странами. Но это была лишь официальная сторона дела. В действительности же это скорее был прием для того, чтобы толкнуть Германию против СССР. Они понимали, что Гитлер предпримет все, чтобы не допустить подписания такого договора: ведь для нее война на два фронта — против Советского Союза на востоке и против Англии и Франции на западе — была смерти подобна.

Англия и Франция подготовили свои военные миссии, но уже из того, каков был их состав и как долго они собирались, из тех инструкций, что были им даны (а они теперь известны), ясно, что переговоры были рассчитаны только на затягивание времени. Эти переговоры дают возможность понять расстановку сил и интересы ведущих европейских государств в те годы, поэтому не случайно Жуков включил в свои воспоминания несколько абзацев о работе военных миссий Англии, Франции и СССР. Поскольку Жуков считал это важным, я приведу несколько эпизодов, расширяющих наше понимание этого отрезка истории.

В Лондоне наш посол И. Майский устроил завтрак в честь английской и французской миссий, направлявшихся в Москву. На этом завтраке посол, как и полагается опытному дипломату, хотел выяснить, хотя бы ориентировочно, настроение и намерения делегаций. Как оказалось, главой британской делегации был назначен престарелый адмирал Дрэкс. Будучи всего только комендантом Портсмута, Дрэкс никакого влияния в армии не имел, ничего собой не представлял для того, чтобы возглавить такую делегацию.

В разговоре с Дрэксом Майский спросил:

— Скажите, адмирал, когда вы отправляетесь в Москву?

— Это окончательно еще не решено, но в ближайшие дни.

— Вы, конечно, летите?

— О нет! Нас в обеих делегациях, вместе с обслуживающим персоналом, около сорока человек, большой багаж... На аэроплане лететь неудобно.

— Может быть, вы отправитесь в Советский Союз на одном из ваших быстроходных крейсеров? Это было бы очень сильно и внушительно: военные делегации на военном корабле... Да и времени от Лондона до Ленинграда потребовалось бы немного.

— Нет, и крейсер не годится. Пришлось бы выселить два десятка офицеров из кают и занять их место... Зачем доставлять людям неудобство? Нет, нет! Мы не поедем на крейсере.

Как оказалось, делегация после десятидневных сборов лишь 5 августа отправилась на тихоходном товаро-пассажирском пароходе «Сити оф Эксетер». В будущей же работе им предстояло руководствоваться такой инструкцией: «Британское правительство не желает принимать на себя какие-либо конкретные обязательства, которые могли бы связать нам руки при тех или иных обстоятельствах. Поэтому следует стремиться свести военное соглашение к самым общим формулировкам. Что-нибудь вроде согласованного заявления о политике отвечало бы этой цели». И было в этой инструкции даже такое, ну, прямо скажем, совсем странное указание: «делегация должна вести переговоры очень медленно, следя за ходом политических событий».

Член французской миссии генерал Бофр позднее писал: «Можно заключить, что англичане не имели никаких иллюзий в отношении результата предстоявших переговоров и что они стремились прежде всего выиграть время. Это было далеко от того, о чем мечтало общественное мнение».

Советскую делегацию возглавлял народный комиссар обороны, маршал К. Е. Ворошилов, членами являлись начальник Генерального штаба командарм I ранга Б. М. Шапошников, народный комиссар ВМФ флагман флота II ранга Н. Г. Кузнецов, начальник ВВС командарм II ранга А. Д. Локтионов и заместитель начальника Генерального штаба комкор И. В. Смородинов. Этот состав явно показывает, что в делегацию были включены военные руководители первой величины и советская сторона была готова к самым серьезным решениям.

На первом же заседании глава английской миссии хотел завязать дискуссию о целях и общих принципах сотрудничества, то есть действовал в соответствии с имеющейся у него инструкцией. Однако Ворошилов довольно жестко постарался перевести разговор в конкретное русло:

— Цель у нас ясна, и теперь идет вопрос о выработке плана для достижения этой цели, вот этим я и предлагаю заняться.

Началось обсуждение того, как Англия, Франция и СССР должны совместно действовать, если начнется война с фашистской Германией. Камнем преткновения стала проблема — пропустят ли Польша и Румыния через свою территорию советские войска в случае нападения Германии на Францию, Англию или союзные с ними страны — для помощи им? Выяснилось, что миссии Англии и Франции не могли предложить никаких определенных планов по этому поводу; воздействовать же на Польшу и Румынию в соответствующем направлении они отказывались, а у СССР с этими странами никаких договоров не было.

Работа военных миссий началась в Москве 12 августа, но к 14 августа уже было ясно, что никакого результата эти переговоры не дадут, и поэтому советская военная миссия вскоре заявила следующее: «Советская военная миссия выражает сожаление по поводу отсутствия у военных миссий Англии и Франции точного ответа на поставленный вопрос о пропуске советских вооруженных сил через территорию Польши и Румынии. Советская военная миссия считает, что без положительного разрешения этого вопроса все начатое предприятие о заключении военной конвенции... заранее обречено на неуспех». И позже: «...Ввиду изложенного, ответственность за затяжку военных переговоров, как и за перерыв этих переговоров, естественно, падает на французскую и английскую стороны».

По всему было видно, что все три участника переговоров не в полной мере понимали опасность, исходящую от фашизма. Это, безусловно, относится к позиции Англии и Франции, да и наша делегация далеко не все сделала, чтобы воздвигнуть барьер против фашистской агрессии. Ворощи-

лов, не имея дипломатического опыта, вел диалог слишком прямолинейно и по сути дела не искал компромиссов.

Тем временем в Лондоне предпринимались различные шаги, чтобы найти пути для сговора с фашистской Германией и, если не удастся толкнуть Гитлера на войну с Советским Союзом, то залучить его в коалицию и осуществить это вместе с Англией и Францией. Прогермански настроенная группа политических деятелей Англии рассчитывала, что при всем своем безрассудстве Гитлер все-таки сделает правильный, с их точки зрения, выбор и войне на два фронта предпочтет договоренность с западными державами. 1 августа советник германского посольства Кордт направил в Министерство иностранных дел в Берлин как бы итоговое донесение о всех состоявшихся до этого в Лондоне разнообразных и напряженных переговорах.

В этих переговорах, писал он, английская сторона признавала, что «руководящие круги Германии и Великобритании должны попытаться путем переговоров, с исключением всякого участия общественного мнения, найти путь к выходу из невыносимого положения...», что «Великобритания изъявит готовность заключить с Германией соглашение о разграничении сфер интересов...» и «обещает полностью уважать германские сферы интересов в Восточной и Юго-Восточной Европе. Следствием этого было бы то, что Великобритания отказалась бы от гарантий, представленных ею некоторым государствам в германской сфере интересов... Великобритания обещает действовать в том направлении, чтобы Франция расторгла союз с Советским Союзом и отказалась бы от всех своих связей в Юго-Восточной Европе. Великобритания обещает прекратить ведущиеся в настоящее время переговоры о заключении пакта с Советским Союзом...»

Из этого донесения отлично видна готовность правящих кругов Англии предать Польшу. Ведь именно она подразумевается под «некоторыми государствами в германской сфере интересов», от гарантий помощи которым в случае нападения Германии Великобритания готова была отказаться и повлиять в этом отношении на Францию. Обещание же отозвать свою миссию, которая находится в СССР, еще раз подтверждает, что работой этой миссии Великобритания только пугала и привлекала на свою сторону Германию.

Однако Гитлер, доверяя предложениям Англии, видя, что переговоры между Англией и Францией, с одной стороны, и Советским Союзом, с другой, уже идут в Москве, решил предпринять энергичные шаги, чтобы договоренность между ними так и не состоялась. Он опасался этого союза, потому что тогда ему противостояла бы мощная коалиция и его агрессивные планы в Европе просто рухнули бы.

Немецкая дипломатия начинает усиленно зондировать возможность сближения с Советским Союзом, а Советский Союз, не сумев найти путей к договоренности с Англией и Францией, не стал уклоняться от этого сближения. В результате бесед с советником советского посольства в Берлине Г. Астаховым, а также нескольких бесед германского посла в СССР фон Шуленбурга с Молотовым была достигнута принципиальная договоренность о приезде министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву.

После переговоров на уровне послов и министров Гитлер и Сталин обменялись телеграммами. Вот телеграмма Гитлера от 20 августа 1939 года (получена в Москве 21 августа).

«Господину Сталину, Москва.

1. Я искренне приветствую подписание нового германо-советского торгового соглашения как первую ступень в перестройке германо-советских отношений.

2. Заключение пакта о ненападении с Советским Союзом означает для меня определение долгосрочной политики Германии. Поэтому Германия возобновляет политическую линию, которая была выгодна обоим государствам в течение прошлых столетий. В этой ситуации имперское правительство решило действовать в полном соответствии с такими далеко идущими изменениями.

3. Я принимаю проект пакта о ненападении, который передал мне ваш министр иностранных дел господин Молотов, и считаю крайне необходимым как можно более скорое выяснение связанных с этим вопросов.

4. Я убежден, что дополнительный протокол, желаемый советским правительством, может быть выработан в возможно короткое время, если ответственный государственный деятель Германии сможет лично прибыть в Москву для переговоров. В противном случае имперское правительство не представляет, как дополнительный протокол может быть выработан и согласован в короткое время.

5. Напряженность между Германией и Польшей стала невыносимой. Поведение Польши по отношению к великим державам таково, что кризис может разразиться в любой день. Перед лицом такой вероятности Германия в любом случае намерена защищать интересы государства всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

6. По моему мнению, желательно, ввиду намерений обеих стран, не теряя времени вступить в новую фазу отношений друг с другом. Поэтому я еще раз предлагаю принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, самое позднее в среду, 23 августа. Имперский министр иностранных дел имеет полные полномочия на составление и подписание как пакта о ненападении, так и протокола. Принимая во внимание международную ситуацию, имперский министр иностранных дел не сможет остаться в Москве более чем на один-два дня. Я буду рад получить ваш скорый ответ.

Адольф Гитлер»

Гитлер был хорошо осведомлен о том, что английская и французская миссии тянут переговоры и не имеют даже полномочий на подписание договора. Не случайно он подчеркивает, что его имперский министр может быть в Москве всего один-два дня и что он имеет полные полномочия составлять текст соглашения и подписывать сам пакт без долгих проволочек. Гитлер торопил события.

В тот же день, а именно 21 августа 1939 года, Сталин ответил Гитлеру:

«Канцлеру Германского государства господину А. Гитлеру.

Я благодарю вас за письмо.

Я надеюсь, что германо-советский пакт о ненападении станет решающим поворотным пунктом в улучшении политических отношений между нашими странами.

Народам наших стран нужны мирные отношения друг с другом. Согласие германского правительства на заключение пакта о ненападении создает фундамент для ликвидации политической напряженности и для установления мира и сотрудничества между нашими странами.

Советское правительство уполномочило меня информировать вас, что оно согласно на прибытие в Москву господина Риббентропа 23 августа.

И. Сталин»

23 августа 1939 года Риббентроп был уже в Москве и прямо с дороги состоялась первая его трехчасовая беседа со Сталиным и Молотовым в присутствии германского посла фон Шуленбурга. А поздно вечером в тот же день была вторая беседа, закончившаяся подписанием печально известного Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом.

Думаю, что для полноты картины имеет смысл привести его здесь полностью.

ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

Правительство СССР и

Правительство Германии

руководствуясь желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:

Статья I.

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от

всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами.

Статья II.

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.

Статья III.

Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы.

Статья IV.

Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны.

Статья V.

В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке дружеского обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта.

Статья VI.

Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.

Статья VII.

Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания.

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках в Москве, 23 августа 1939 года.

По уполномочию Правительства СССР — В. Молотов. За Правительство Германии: — Риббентроп

Во время бесед Риббентропа с нашими тогдашними руководителями, кроме отношений между Германией и Советским Союзом, обсуждались также взаимоотношения обеих держав с другими странами мира.

В начале 80-х годов я имел возможность провести несколько бесед с В. М. Молотовым и записал его рассказы. Эти рассказы, а также стенографическая запись беседы, сделанная немецким переводчиком [1], позволяют получить представление, о чем же говорилось в тот вечер и ночь в Кремле.

В числе прочих тем зашел разговор о Японии. Риббентроп сказал:

— Германо-японская дружба не направлена против Советского Союза. Более того, мы в состоянии, имея хорошие отношения с Японией, внести вклад в дело улаживания разногласий между Советским Союзом и Японией. Если господин Сталин желает этого, то я готов действовать

[1] Эта запись входит в состав документов германского министерства иностранных дел, которые были опубликованы госдепартаментом в США в 1948 году, а в 1983 году вышли там же на русском языке (издательство Telex).

в этом направлении и соответствующим образом использую свое влияние на японское правительство и буду держать в курсе событий советских представителей в Берлине.

Сталин, немного подумав, ответил:

— Советское правительство действительно желает улучшения своих отношений с Японией, но есть предел нашему терпению в отношении японских провокаций. Если Япония хочет войны, она может ее получить. Советский Союз не боится войны и готов к ней. Если Япония хочет мира — это намного лучше! Конечно, помощь Германии в деле улучшения советско-японских отношений была бы полезной. Но я бы не хотел, чтобы у японцев создалось впечатление, что инициатива этого исходит от Советского Союза.

— Разумеется, все будет сделано, как вы желаете,— сказал Риббентроп.— Я буду продолжать уже имевшие место беседы с японским послом в Берлине об улучшении советско-японских отношений. Никакой новой инициативы ни с вашей стороны, ни с нашей стороны в этом вопросе не будет.

На вопрос Сталина об отношениях Германии с Турцией Риббентроп сказал:

— Мы имеем сведения, что Англия потратила пять миллионов фунтов стерлингов на распространение антигерманской пропаганды в Турции.

Сталин на это заметил:

— По моей информации, суммы, затраченные Англией для подкупа турецких политических деятелей, много больше пяти миллионов фунтов. И вообще поведение английского правительства выглядит очень странным. Как вы знаете, недавно мы начали переговоры с британской миссией, и вот в течение этих переговоров британская миссия так и не высказала советскому правительству, что же она в действительности может и чего хочет.

— Англия всегда пыталась и до сих пор пытается подорвать развитие хороших отношений между Германией и Советским Союзом,— сказал Риббентроп.— Англия слаба и хочет, чтобы другие поддерживали ее высокомерные претензии на мировое господство.

— Британская армия слаба,— согласился Сталин.— Британский флот больше не заслуживает своей прежней репутации. Английский воздушный флот увеличивается, но Англии не хватает пилотов. Если, несмотря на все это, Англия еще господствует в мире, то это происходит лишь благодаря глупости других стран, которые всегда давали себя обманывать. Смешно, например, что всего несколько сотен британцев правят Индией.

Риббентроп согласился с этим мнением Сталина и, слегка понизив голос, как бы подчеркивая конфиденциальность своего заявления, сказал Сталину:

— На днях Англия снова прощупывала почву, с виноватым упоминанием 1914 года. Это был типично английский глупый маневр. Я предложил фюреру сообщить англичанам, что в случае германо-польского конфликта ответом на любой враждебный акт Великобритании будет бомбардировка Лондона.

Сталин сказал:

— Несмотря на свою слабость, Англия будет вести войну ловко и упрямо. А если еще учесть ее союз с Францией, то надо помнить, что Франция располагает армией, достойной внимания.

Риббентроп ответил:

— Французская армия численно меньше германской. В то время, как наша армия в ежегодных наборах имеет по триста тысяч солдат, Франция может набирать ежегодно только сто пятьдесят тысяч рекрутов. К тому же наш Западный вал в пять раз сильнее, чем линия Мажино. Если Франция попытается воевать с Германией, она определенно будет побеждена.

(Добавлю здесь, что Риббентроп сильно привирал, говоря о Западном вале, иначе Линии Зигфрида; в то время она существовала по большей части лишь на бумаге, так как только строилась. — **В. К.**)

Зашел разговор и об антикоминтерновском пакте, на что Риббентроп заявил:

— Антикоминтерновский пакт был в общем-то направлен не против Советского Союза, а против западной демократии. Да мы по тону вашей русской прессы видели, что Советское правительство осознает это полностью.

Сталин сказал:

— Антикоминтерновский пакт испугал главным образом лондонское Сити и мелких английских торговцев.

Риббентроп согласился со Сталиным и даже пошутил:

— Конечно же, вы, господин Сталин, напуганы антикоминтерновским пактом меньше лондонского Сити и английских торговцев. У нас среди берлинцев ходит широко известная шутка: «Сталин еще присоединится к антикоминтерновскому пакту».— Присутствующие улыбнулись этой шутке, а Риббентроп продолжал: — Германский народ, особенно простые люди, тепло приветствует установление понимания с Советским Союзом. Народ чувствует, что естественным образом существующие интересы Германии и Советского Союза нигде не сталкиваются и что развитию хороших отношений ранее препятствовали только иностранные интриги, особенно со стороны Англии.

— И я верю в это,— сказал Сталин,— немцы желают мира и поэтому приветствуют дружеские отношения между германским государством и Советским Союзом.

Риббентроп не сдержался и прервал Сталина:

— Германский народ, безусловно, хочет мира, но, с другой стороны, возмущение Польшей так сильно, что все до единого готовы воевать. Германский народ не будет более терпеть польских провокаций.

Сталин неожиданно предложил тост за фюрера:

— Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье!

Затем были провозглашены тосты за здоровье имперского министра иностранных дел Риббентропа и посла графа фон Шуленбурга. Молотов поднял бокал за здоровье Сталина, Риббентроп, в свою очередь, тоже предложил тост за Сталина и за благоприятное развитие отношений между Германией и Советским Союзом.

Уже прощаясь, Сталин сказал Риббентропу:

— Советское правительство относится к новому договору очень серьезно. Я могу дать честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнера.

* * *

31 августа на внеочередной сессии Верховного Совета СССР был ратифицирован советско-германский договор о ненападении. В своем выступлении Молотов в числе прочего сказал:

«...Всем известно, что на протяжении последних шести лет, с приходом национал-социалистов к власти, политические отношения между Германией и СССР были натянутыми. Известно также, что, несмотря на различие мировоззрений и политических систем, Советское правительство стремилось поддерживать нормальные деловые и политические отношения с Германией. Сейчас нет нужды возвращаться к отдельным моментам этих отношений за последние годы, да они вам, товарищи депутаты, и без того хорошо известны. Следует, однако, напомнить о том разъяснении нашей внешней политики, которое было сделано несколько месяцев тому назад на XVIII партийном съезде... Товарищ Сталин предупреждал против провокаторов войны, желающих в своих интересах втянуть нашу страну в конфликт с другими странами. Разоблачая шум, поднятый англо-французской и североамериканской прессой по поводу германских «планов» захвата советской Украины, товарищ Сталин говорил тогда: «Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых к тому оснований».

Как видите, товарищ Сталин бил в самую точку, разоблачая происки западноевропейских политиков, стремящихся столкнуть лбами Германию и Советский Союз... Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось. (**Бурная овация в честь тов. Сталина)**».

Через два года всем стало хорошо известно, что «предвидение» Сталина не только не оправдалось, а ввергло нашу страну в такие беды, что все мы вместе с нашим государством едва остались целы. Как выяснилось позже, и пакт о ненападении, и вся политика Гитлера и его дипломатов были только маскировкой готовящейся войны. Под этой дымовой завесой Гитлер собирал силы для того, чтобы удар по нашей стране был предельно мощным. А наш «дальновидный» Сталин ничего этого не понял, не разгадал, все принимал за чистую монету.

Думаю, что здесь необходимо сказать и о тех секретных соглашениях, которые служили дополнением к заключенному договору о ненападении. Они давно опубликованы за рубежом, о них знает весь мир, сегодня они стали предметом обостренного внимания и у нас, особенно в республиках Прибалтики. В нашей прессе эти документы до сих пор не были обнародованы на том основании, что они известны только в фотокопиях, но дело в том, что все последующие события развивались так, что сомневаться в наличии этих соглашений, увы, не приходится. Фактически было осуществлено все то, что в них предусматривалось.

Мне кажется, что в период перестройки пора сказать полную правду об этих соглашениях. Не будем же мы для этого ждать еще полвека! И нам нечего бояться — ведь мы не можем нести ответственность задним числом за политическую нечистоплотность и отход от принципов интернационализма, допущенные Сталиным, Молотовым и другими руководителями.

На I Съезде народных депутатов в июне 1989 года была создана специальная Комиссия по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года.

Перед принятием решения о создании Комиссии М. С. Горбачев сказал:

— Проблема эта стоит давно, она обсуждается, изучается и историками, и политологами, и соответствующими ведомствами. И я должен сказать: пока мы обсуждаем в научном плане, в ведомствах каких-то, уже все документы, в том числе и секретное приложение к этому договору, опубликованы везде. И пресса Прибалтики все это опубликовала. Но все попытки найти этот подлинник секретного договора не увенчались успехом... Мы давно занимаемся этим вопросом. Подлинников нет, есть копии, с чего — не известно, за подписями, особенно у нас вызывает сомнение то, что подпись Молотова сделана немецкими буквами...

Видимо, М. С. Горбачева неточно информировали. На фотокопиях, которые я привожу, подписи Молотова обычные, на русском языке. Могу судить о схожести этих подписей с теми, которые стоят на фотографиях, подаренных мне Молотовым. Разумеется, подделать подпись не представляет трудностей, вспомните хотя бы фальсификацию подписи Тухачевского. Но уместен вопрос, кому и зачем понадобилось подделывать подписи под текстом якобы «несуществовавших» секретных договоров?

Что касается подписей Молотова немецкими буквами, то и они были. Договора и протоколы печатались на двух языках, Молотов подписывал русский вариант по-русски, а немецкий по-немецки, демонстрируя знание немецкого языка, хотя это по протоколу и не предусматривается.

Вот секретный протокол, служивший дополнением к подписанному пакту о ненападении.

СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

По случаю подписания Пакта о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся представители обеих сторон обсудили в строго конфиденциальных беседах вопрос о разграничении их сфер влияния в Восточной Европе. Эти беседы привели к соглашению в следующем:

1. В случае территориальных и политических преобразований в

областях, принадлежащих прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве), северная граница Литвы будет являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР. В этой связи заинтересованность Литвы в районе Вильно признана обеими сторонами.

2. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих Польскому государству, сферы влияния Германии и СССР будут разграничены приблизительно по линии рек Нарев, Висла и Сан.

Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих Сторон сохранение независимости Польского государства, и о границах такого государства, будет окончательно решен лишь ходом будущих политических событий.

В любом случае оба правительства решат этот вопрос путем дружеского согласия.

3. Касательно Юго-Восточной Европы Советская сторона указала на свою заинтересованность в Бессарабии. Германская сторона ясно заявила о полной политической незаинтересованности в этих территориях.

4. Данный протокол рассматривается обеими сторонами как строго секретный.»

А вот фотокопия подписей на русском и немецком языках.

Москва, 23 августа 1939 года.

По уполномочию Правительства СССР — За Правительство Германии

В. Молотов — v. Ribbentrop

Moskau, den 23. August 1939.

Für die Deutsche Reichsregierung: — In Vollmacht der Regierung der UdSSR:

v. Ribbentrop — W. Molotow

Таков этот подписанный советским представителем откровенный раздел сфер влияния с фашистской Германией. К сожалению, эту политическую авантюру уже не зачеркнешь и из истории не выбросишь.

В уже упомянутой речи 31 августа Молотов говорил с трибуны Верховного Совета СССР: «Советско-германский договор о ненападении означает поворот в развитии Европы, поворот в сторону улучшения отношений между двумя самыми большими государствами Европы. Этот договор не только дает нам устранение угрозы войны с Германией, суживает поле возможных военных столкновений в Европе и служит, таким образом, делу всеобщего мира...»

В типографии «Правды» еще набирали эти слова, а в ночь на 1 сентября германские бомбы уже сыпались на города Польши, и механизированные колонны фашистов мчались по польским дорогам.

2 сентября 1939 года в «Правде» было опубликовано сообщение ТАСС:

«Берлин, 1 сентября (ТАСС).

По сообщению Германского информационного бюро, сегодня утром германские войска в соответствии с приказом верховного командования перешли германо-польскую границу в различных местах. Соединения германских военно-воздушных сил также отправились бомбить военные объекты в Польше».

Вот такое бесстрастное заявление по поводу беды, постигшей соседнее с нами государство.

Официально в прессе царила нейтральность, а за кулисами шла другая жизнь.

9 сентября Молотов послал Риббентропу телефонограмму, которую иначе, чем кощунственной, не назовешь:

«Я получил Ваше сообщение о том, что германские войска вошли в Варшаву. Пожалуйста, передайте мои поздравления и приветствия правительству Германской Империи.

Молотов»

Сообщая, что немецкие войска уже «вошли в Варшаву», гитлеровцы тем самым хотели ускорить начало наступления и советских войск на оговоренную в протоколе польскую территорию. Они при этом не обманывали, но окончательно Варшава капитулировала только 27 сентября. Поэтому не случайно Молотов 14 сентября просил (после поздравления!), «чтобы ему как можно более точно сообщили, когда можно рассчитывать на захват Варшавы». Германский посол в Москве Шуленбург так докладывает об этом в министерство иностранных дел в Германии:

«Срочно! Совершенно секретно! От 14 сентября 1939 года, 18 часов 00 минут.

Молотов вызвал меня сегодня в 16 часов и заявил, что Красная Армия достигла состояния готовности скорее, чем это ожидалось. Советские действия поэтому могут начаться раньше указанного им (Молотовым) во время последней беседы срока. Учитывая политическую мотивировку советской акции (падение Польши и защита русских «меньшинств»), Советам было бы крайне важно не начинать действовать до того, как падет административный центр Польши — Варшава. Молотов поэтому просит, чтобы ему как можно более точно сообщили, когда можно рассчитывать на захват Варшавы... Я хотел бы обратить ваше внимание на сегодняшнюю статью в «Правде», к которой завтра прибавится аналогичная статья в «Известиях». Эти статьи содержат упомянутую Молотовым политическую мотивировку советской интервенции.

Шуленбург»

Когда настал момент для начала действий Красной Армии, Сталин пригласил Шуленбурга в Кремль и сделал ему заявление, о котором германский посол тут же телеграфировал в Берлин:

«Очень срочно! Секретно! 17 сентября 1939 года.

Сталин в присутствии Молотова и Ворошилова принял меня в 2 часа ночи и заявил, что Красная Армия пересечет советскую границу в 6 часов утра на всем ее протяжении от Полоцка до Каменец-Подольска.

Во избежание инцидента Сталин спешно просит нас проследить за тем, чтобы германские самолеты, начиная с сегодняшнего дня, не залетали восточнее линии Белосток — Брест-Литовск — Лемберг [1]. Советские самолеты начнут сегодня бомбардировать район восточнее Лемберга.

Советская комиссия прибудет в Белосток завтра, самое позднее послезавтра.

Сталин зачитал мне ноту, которая будет вручена уже сегодня ночью польскому послу и копия которой в течение дня будет разослана всем миссиям, а затем опубликована. В ноте дается оправдание советских дей-

[1] Львов.

ствий. Зачитанный мне проект содержал три пункта, для нас неприемлемых. В ответ на мои возражения Сталин с предельной готовностью изменил текст так, что теперь нота вполне нас удовлетворяет. Сталин заявил, что вопрос о публикации германо-советского коммюнике не может быть поставлен на рассмотрение в течение ближайших двух-трех дней.

В будущем все военные вопросы, которые возникнут, должны выясняться напрямую с Ворошиловым генерал-лейтенантом Кёстрингом.

Шуленбург».

Необходимо, мне кажется, привести здесь и текст правительственной ноты, которая была разослана всем послам и посланникам государств, имеющих дипломатические отношения с СССР, в которой объяснялись и оправдывались действия Советского Союза в отношении Польши.

«17 сентября 1939 года.

Господин посол,

польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение 10 дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, Советское правительство не может более относиться к этим фактам безразлично.

Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными.

Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, уверение в совершенном к вам почтении.

Народный Комиссар Иностранных дел СССР В. Молотов».

И опять, в который уже раз, даже в таком официальном, разосланном по всему миру документе, Сталин и Молотов кривили душой и говорили неправду, особенно в той части, где они обещали «вызволить польский народ из злополучной войны» и дать ему «возможность зажить мирной жизнью».

Документы, которые стали известны в наше время (я уже говорил выше о том, что это документы германского министерства иностранных дел), свидетельствуют совсем о другом. Вот телеграмма германского посла в Москве, отправленная в министерство иностранных дел Германии 25 сентября 1939 года:

«Совершенно секретно! Срочно!

Сталин и Молотов попросили меня прибыть в Кремль сегодня в 20 часов. Сталин заявил следующее. При окончательном урегулировании польского вопроса нужно избежать всего, что в будущем может вызвать трения между Германией и Советским Союзом. С этой точки зрения он считает неправильным оставлять независимым остаток польского государства. Он предлагает следующее: из территорий к востоку от демаркационной линии все Люблинское воеводство и та часть Варшавского воеводства, которая доходит до Буга, должны быть добавлены к нашей (германской) порции. За это мы отказываемся от претензий на Литву.

Сталин указал на это предложение как на предмет будущих переговоров с имперским министром иностранных дел и добавил, что, если мы согласны, Советский Союз немедленно возьмется за решение проблемы прибалтийских государств в соответствии с протоколом от 23 августа и ожидает в этом деле полную поддержку со стороны Германского правительства. Сталин подчеркнуто указал на Эстонию, Латвию и Литву, но не упомянул Финляндию.

Я ответил Сталину, что доложу своему правительству.

Шуленбург»

27 сентября Риббентроп снова прилетел в Москву и 28 сентября им и Молотовым был подписан новый германо-советский «Договор о дружбе и границе между СССР и Германией». Этот договор официально и юридически закреплял раздел территории Польши между Германией и Советским Союзом, к нему прилагалась соответствующая карта, на которой была указана новая граница, и эту карту подписали Сталин и Риббентроп[1].

К этому договору прилагались два дополнительных секретных протокола. В одном из них фиксировались те изменения в территориальных разграничениях, о которых еще раньше договорился Сталин: о том, что Люблинское воеводство и часть Варшавского воеводства отходят в сферу влияния Германии, а Советскому Союзу теперь отдается вся литовская территория.

В своем комментарии при создании уже упомянутой Комиссии М. С. Горбачев еще сказал:

— Секретного протокола пока нет, и мы его оценить не можем. Я думаю, вообще комиссия такая должна быть, с этим я действительно согласился бы. Она должна выработать политическую и правовую оценку этого договора о ненападении, без упоминания секретного протокола, поскольку все архивы, что мы перерыли у себя, ответа не дали. (Хотя, я вам скажу, историки знают и могли бы вам сказать: вот то-то происходило, двигались навстречу две мощные силы, и на каких-то рубежах, так сказать, это соприкосновение совершенно остановилось. Что-то лежало в основе. Но это пока рассуждения. Поэтому тут требуется разбирательство, анализ всех документов, всей той ситуации, как она шла... Это не простой вопрос, но раз он есть, уходить, уклоняться, я думаю, не нужно... давайте браться и изучать...)

М. С. Горбачев предлагает не уклоняться. Раз для изучения вопроса нужны документы, я приведу опубликованный в США текст второго секретного протокола, и давайте попытаемся самостоятельно оценить ситуацию.

СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

Ниже подписавшиеся Уполномоченные при заключении советско-германского договора о границе и дружбе констатировали свое согласие в следующем:

Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской агитации, которая действует на территорию другой страны. Они ликвидируют зародыши подобной агитации на своих территориях и будут информировать друг друга о целесообразных для этого мероприятиях.

По уполномочию
Правительства СССР

В. Молотов И. Риббентроп

За Правительство
Германии

Москва, 28 сентября 1939 года.

Вот так, черным по белому, зафиксирован сговор с фашистским режимом о единых действиях, препятствующих агитации и пропаганде за возрождение Польши, сговор, свидетельствующий о полной утрате тогдашними советскими руководителями интернационалистских принципов.

---

[1] Она недавно была воспроизведена «Литературной газетой».

Как известно, после нападения Германии на Польшу Англия и Франция, в соответствии с заключенными ранее договорами, объявили войну Германии.

Но это была «странная война», как ее называли, потому что никаких активных действий ни Англия, ни Франция практически не предпринимали.

Сталин в узком кругу, среди членов Политбюро, ходил сияющий и торжественный, он считал, что достиг огромного успеха. Ну, как же! Германия стала дружественным нам государством, а Англия и Франция втянулись в войну с ней. Таким образом, война от наших границ отодвинута далеко на запад, империалистические страны теперь решают свои проблемы с оружием в руках, а Советский Союз, мол, благополучно остался в стороне!

Никита Сергеевич Хрущев в своем докладе на XX съезде так вспоминал о тех днях: «Сталин воспринимал этот договор как большую удачу. Он ходил буквально гоголем. Ходил, задравши нос, и буквально говорил: «Надул Гитлера, надул Гитлера!»

Однако история показала, что Сталин оказался недальновидным политиком и в действительности не он обманул Гитлера, а Гитлер обманул его. Вспомните слова Гитлера о том, что «все, что я делаю, направлено против России». Благодаря договоренности со Сталиным Гитлер развязал себе руки и стал захватывать в Европе одну страну за другой, собирая силы для большой войны против Советского Союза. А Сталин из-за той же договоренности объективно даже помогал Гитлеру в этих его акциях.

Напомню строки из секретного протокола к договору о том, что договаривающиеся стороны не допустят на своей территории какой-либо агитации, которая несет вред территории другой стороны. Выполняя этот пункт решений, наша печать практически прекратила антифашистскую агитацию и пропаганду. Молотов на сессии Верховного Совета осенью 1939 года сказал: «Известно, что за последние несколько месяцев такие понятия, как «агрессия», «агрессор», получили новое конкретное содержание, приобрели новый смысл... Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются... Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это — дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма», прикрываемая фальшивым флагом борьбы за «демократию».

Кроме прекращения антифашистской пропаганды внутри нашей страны, Сталин через Коминтерн направил коммунистическим партиям директиву (и она была обязательна для выполнения всеми компартиями) о том, чтобы была свернута борьба против немецкого фашизма. В этой директиве агрессором объявлялся англо-французский империализм, и именно против него требовалось направить пропаганду и агитацию всех коммунистических партий. Этот поворот политики был не только неожиданным, а просто предательским. Для всех было очевидно, что агрессивную политику ведет фашистская Германия, и вдруг директивой Сталина все становилось с ног на голову.

Представьте себе положение только двух компартий — Франции и Англии. Значит, по логике этой директивы, после нападения фашистов на Францию Французская компартия должна была вести пораженческую политику, а французские коммунисты должны были содействовать поражению своего народа, своей армии, защищающейся от фашистской агрессии? Французские коммунисты не пошли на поводу у этого распоряжения Сталина, они звали народ к защите своей родины и организовали сопротивление гитлеровцам после захвата ими французской территории. И были они совершенно правы, хотя и не выполнили директиву Коминтерна.

Как видим теперь, Сталин объективно помогал Гитлеру в войне против Франции. Да и не только объективно, а и прямо помогал, потому что такая политика, нейтрализующая и выводящая из борьбы огромные силы коммунистических партий Европы, была действенной помощью гитлеровцам. А гитлеровская пропаганда, явно со слов самого фюрера, похлопывала Сталина по плечу, похваливая его за такую политику. Вот что писала гитлеровская газета «Мюнхенер нойсте нахрихтен»: «С момента заключения этого пакта Германия создала себе свободный тыл. Опыт мировой войны, когда Германия сражалась на нескольких фронтах, на этот раз был учтен. Победоносный поход в Польше, Норвегии, Голландии и Бельгии и, наконец, в Северной Франции был бы значительно более трудным, если бы в свое время не было достигнуто германо-советское соглашение. Благодаря договору успешно развивается германское наступление на западе».

Сталин в своих действиях, очевидно, исходил из такой логики, что в предвидении неизбежной военной схватки с гитлеровской Германией (неизбежность которой, вероятно, все же была ему ясна) он, «надув Гитлера», предпринял все меры для занятия выгодных позиций в этой будущей войне. Об этом должны были свидетельствовать присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии, что отодвинуло нашу границу далеко на запад, и попытки улучшить стратегическое положение Ленинграда ценой войны с Финляндией за Карельский перешеек.

Но вот о последнем необходимо сказать отдельно, потому что и сама война, и ее ход, и ее последствия принесли не только большой вред нашей стране, но и, что немаловажно, очень невыгодные для нас последствия, что не раз подчеркивал и Жуков.

* * *

P. S. Когда эти первые главы были уже набраны, в газете «Известия» от 15 августа 1989 г. появилась статья А. Бовина «В августе 39-го». В этой статье опубликовано несколько документов, относящихся к договору между СССР и Германией, а также изложены подробности того, почему нет подлинников и как сохранились копии договоров, подписанных Молотовым и Риббентропом. Оказывается, в 1943—1944 годах по указанию Риббентропа началось микрофильмирование документов МИД Германии. Весной 1945 года поступило указание уничтожить архивы. Выполняя это указание, советник Карл фонд Лёш уничтожил документы, но спрятал микрофильмы (20 катушек, где заснято 9 725 страниц документов) в железную коробку, обмотал ее промасленной тканью и зарыл в землю в парке замка Шёнберг (Тюрингия), куда в то время был вывезен архив. 12 мая 1945 года фон Лёш рассказал о документах подполковнику английской армии Роберту Томсону. А тот сообщил об этом союзникам-американцам. 14 мая коробку вырыли, 19 мая доставили в Лондон, где американцы сняли дубликаты со всех микрофильмов. С этих микрофильмов и сделаны фотокопии, на издание которых ссылался я и которые сегодня известны всему свету.

Однако если прояснился вопрос об оригиналах немецкой стороны, то до сих пор неясно, куда делись подлинники, принадлежащие нашей советской стороне?

Продолжение следует.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1982—1987

●

Ну что молчишь, раскаявшийся странник?
Промок, продрог?
Ты — беженец, изгой, а не изгнанник
И не пророк.

Держись, держись за роль в грошовой драме,
Лишь вдохновения не трать.
Лицом к лицу с чужими городами
Учись стоять.

А если смерть и нет пути обратно,
Давай вдвоем
Мурлыкать песенку о невозвратном,
Читай — родном,

О тех краях, где жили — не тужили,
Перемогая страх,
Где небольшие ангелы кружили
В багровых небесах,

И на исходе грозного заката
Рождался стих,
И пел, и улыбался воровато
Один из них...

●

Снятся ли сны?.. В переулках оставленных сыро,
ветер на Пушкинском, ветер на Звездном бульваре.
В дверь колочу кулаками, в свою же квартиру
силюсь пробраться — не слышат, не открывают.

Сны мои, сны, — словно пригоршню уличной соли
сыплют на рану. Ах, Господи, в здравом уме и
памяти трезвой, ну кто бы по собственной воле
рвался туда, где бывало гораздо больнее,

злей, беспросветней, где виделись только обиды?
Крепкие двери казенным железом обиты,
новый жилец, против всех человеческих правил,
волчьи капканы там вместо запоров поставил.

Выйду на улицу — воздух слоистый прохладен
как у стекольщика в ящике — блещет, двоится
Это мой дом — вывожу аккуратно в тетради,
это моя ро... а дальше — пустая страница,

дальше — косая линейка, лиловая клетка,
столбики цифр, и опять я в разлуку не верю,
и до утра, на манер обезьяньего предка,
все колочу, колочу в бесполезные двери...

●

В детстве мечтал о страховке — отличное дело!
Где-то на Зубовской эта реклама горела
Желтым неоном, и лужа ее отражала,
Зыбкое нечто сулила на случай пожара.

Даже в подвальной отчизне, колючей и жесткой,
Снились другие огни городскому подростку.
Не миновало — окрасилось черным и алым,
Синим вином на похмелье мирском заиграло.

Жизнь, между тем, продолжается. «Славное дельце,
Экое свинство», — бормочет жена погорельца.
«Где же ваш полис?» — подходишь с участием к дамс.
«Нету, — горюет, — сгорел с остальными вещами».

Много ль имущества? Книги, бумаги, копирка,
Старый набросок к проекту блошиного цирка,
Письма, стишок о свидании полузабытом,
Глиняный ангел, колечко с глухим малахитом...

Вот и светает. Старик пробирается нищий —
Покопошиться на теплом еще пепелище.
Ладно, не тронем, хоть сами порыться могли бы.
Бог с ним, убогим. Живем. И на этом спасибо.

●

Всю жизнь торопиться, томиться и вот
добраться до края земли,
где медленный снег о разлуке поет
и музыка меркнет вдали.

Не плакать. Бесшумно стоять у окна,
глазеть на прохожих людей
и что-то мурлыкать похожее на
«Ямщик, не гони лошадей».

Цыганские жалобы, тютчевский пыл,
алябьевское рококо!
Ты любишь романсы? Я тоже любил.
Светло это было, легко.

Ну что же, гитара безумная, грянь,
попробуем разворошить
нелепое прошлое, коли и впрямь
нам некуда больше спешить.

А ясная ночь глубока и нежна,
могильная вянет трава,
и можно часами шептать у окна
нехитрые эти слова...

●

Стихи Набокова, Америка. Апрель.
Подсчитаны мои потери,
И слезы высохли, и запоздалый хмель
Развеялся. Глазею — и не верю
Ни первой зелени, ни розам на столе.
Не теребите, Бога ради!
Иной паломник и в Святой Земле
Не обретает благодати.

Разлукой мучаясь, с трудом переходя
В разряд теней, довольных малым,
Вдруг видишь, что асфальт в испарине дождя
Сияет нефтью и опалом.
Вот Бог, а вот порог, а вот и новый дом,
Но сердце, в ритме сокровенном,
Знай плачет об отечестве своем
Осиновом и внутривенном.

Весна в Америке! Плывет вишневый цвет
Под месяцем, горящим низко.
Косится в сторону, закутываясь в плед,
Пышноволосая славистка.
Америка и Русь — беседа все течет —
Не две ль, по сути, ипостаси
Единого? Но вот в стаканах тает лед,
Зевок, другой... Пора и восвояси.

Пора, мой друг, пора. Запахнет резедой,
Вскричит встревоженная птица,
Тень Баратынского склонится надо мной
С его заветной заграницей.
Я дальней музыке учился по нему,
Сиял Неаполь, пароходы плыли...
И кто-то трезвый, втиснувшись во тьму,
Захлопнет дверь автомобиля.

Ночь царствует. Витийствует гроза.
Глаза опухшие закрыты.
На свете счастья нет, как некогда сказал
Один отказник знаменитый.
Ревет мотор, гудит, по крыше бьет вода,
Сады, витрины, развороты.
Я одиночества такого никогда...
Молчу, молчу. У всех свои заботы.

Молчу, дрожу, терплю, грядущего боюсь,
Живу шипением пластинок
Затертых, призрачных, и больше не гожусь
Для просвещенных вечеринок.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Гроза, гостиница, бродяга на скамье.
Ступай и пой, покойся с миром.
В безлюдном холле заспанный портье
Склонился над своим Шекспиром
Гремит ключами, смотрит в спину мне
С какой-то жалобной гримасой,
Пока в полнеба светится в окне
Реклама рубленого мяса.

Привычка жить... наверно. Все равно.
Душа согласна на любое.
Включи другой канал, трескучее кино,
Стрельба, объятия, ковбои.
Проснусь — увижу луч, умру — увижу тьму,
И погружаясь в сумрак дымный,
Я одиночества такого никому...
Гори, гори, звезда моя, прости мне...

●

В Вермонте ветрено. Прохлада
божественного сквозняка,
и мрамор — чистая Эллада,
и в ожидаиье пикника
лежат пластмассовые вилки,
химическая ветчина,
в ручье скучают две бутылки
калифорнийского вина.
Сходи, приятель, сделай милость,
проверь — должно быть, охладилось.
Довольно плакать о своем,
вздохнем. Откроем. Разольем.

Нет, погоди,— вздыхать не надо.
Как жизнь, как брызги бытия
летит в глаза от водопада
живого холода струя.
И мы еще не догорели,
и драгоценна речь вдвойне,
когда безумен плеск форели
и отблеск солнца в глубине
реки, где мизантроп-прозаик,
я, грешный, да Цветков-поэт
смеются в голос, и глаза их
роняют сумеречный свет.

О чем тебе напомнить, Леха,
в печали этого луча?
Что конь борзой, бежит эпоха,
останки Гектора влача.
Уже земля от крови взмокла,
и пламя гаснет на ветру —
останки бедного Патрокла
несут к последнему костру.
И все же — вмешивались боги
в троянско-греческие склоки.
Без их предательских затей
И проще войны, и страшней.

Наследство музыки двоякой —
то нервный лай, то жуткий вой.
Часы меж волком и собакой,
меж Петербургом и Москвой!
Век будут русские поэты
в своем повапленном гробу
играть по этому либретто,
срывая голос и судьбу.
Но сколько пропито, забыто,
свободе отдано в полон,
пока не требовал пиита
к священной жертве Аполлон...

Пристал к душе родимый деготь,
осенний дым, кровавый мед.
Попробуй прошлое потрогать —
саднит, нескоро заживет.
И вот — раскаиваться поздно,
и те, кто выживет навряд,
как обескровленные звезды
в горах Америки горят.
И ты вздыхаешь, выпив лишку —
спасибо, ночь, за передышку,
сквозняк, чужую сторону —
я расплачусь... я все верну...

●

Что это было — бракосочетанье?
Крещенье? Похороны? Первое свиданье?
Был праздник. Отшумел. И меркнет, наконец,
московский двор, и Теплый переулок,
раскрытое чердачное окно,
и фейерверк конца пятидесятых —
ночная синька в выцветших заплатах,
каскад самоубийственных огней...

Мать плакала, я возвращался к ней.

Я детство прозевал, а молодость растратил —
пропел, продрог, прогоревал.
Родился под землей подвальный обитатель —
и возвращается в подвал.
Что светит надо мной — чужие звезды или
прорехи в ткани бытия?
Где смертный фейерверк, сиявший в полной силе
с тех пор, как грозный судия?

Мой праздник отшумел, и меркнет, наконец.

Что ж, выйду-ка и я без друга на дорогу
в тот самый, середины жизни, лес.
Сверну к оврагу, утолю тревогу
свеченьем будничных небес.
И одиноко станет, и легко мне,
и все пройдет, действительно пройдет.
Куда бредешь? Ей-Богу, не припомню.
Из смерти в жизнь? Скорей наоборот.

Нет, ничего не знаю, отпустите,

помилуйте! не веря ни лучу,
ни голосу, не ожидая чуда,
вернусь в подвал, руками обхвачу
остр женную голову и буду
грустить по городу, где слеп заморский гость,
позорных площадей великолепье,
где выл я на луну, грыз брошенную кость

и по утрам звеиел собачьей цепью...

●

А. Сопровскому

Горше хины людская свобода,
жарче солнца, морознее льдин —
уверял в отдаленные годы
одаренный философ один.
Даже зиание — это утрата,
и науки другие нужны,
чтобы петь накануне заката
и сгорать,— рассуждал он когда-то,
напиваясь тайком от жены.

И тянулся в январском провале
шпиль вокзальный в иные миры.
Было грустно, и звезды мерцали,
будто ангелы в небе гоняли,
биллиардные гнали шары.
Торопила его проводница,
да и мне, приложившись к вину,
не прощаться хотелось — катиться,
по зеленому мчаться сукну...

Поезд тронулся, пальцы озябли,
замутился стакан ледяной.
Ах, свобода,— по ложке, по капле
прииимай этот черный настой,
чтобы тихо скрипели ступени,
чтобы рельсы звенели и пели,
и уже различалось едва —
за спиною, в морозной постели,
Атлантидою дремлет Москва.

В старых снах, в наваждениях давних,
называя разлуку сестрой,
с кем-то пьешь, слабогрудый наставник,
с кем торопишься после второй?
Полустанками сердце мороча,
ускользая в надмирную высь,
хорошо по развалинам ночи,
хорошо по развалинам ночи
на свидание с жизнью нестись...

●

Развал переулков булыжных,
арбузы да запах борща,
где чаще всего передвижник,
сюжет социальный ища...
Он знает: здесь травятся газом,
зеленое глушат вино,
и вот — наблюдательным глазом
в подвальное смотрит окно.
Этюд — папиросный окурок
в бутылке. Учитель-еврей
внимательно слушает хмурых
отцов и глухих матерей.
И замысел — трое с пол-литрой
в подъезде, с намеком на вред
правительства, с бедной палитрой,
где цвета лазурного нет...

Работай — я спорить не буду,
под медленный шепот дождя
с авоськой порожней посуды
в заброшенный дворик входя.
С весны еще пахнет сиренью
и с юности — горькой листвой.
Осеннее серцебиенье
водою бежит дождевой.
Что мертвые — третьему Риму!
Глаза им клюют соловьи.
Соседи за пьяного примут,
оставят лежать у скамьи.
Шумит, багровея, рябина,
архангел играет с трубой,
и смотрит упавшему в спину
тюремный клочок голубой...

●

Не убий — учили, — не спи, не лги.
Я который год раздаю долги,
Да мешает давний один должок:
Леденцовый город, сырой снежок.

Что еще в испарине тех времен?
Был студент речист, не весьма умен,
Наряжался рыжим на карнавал,
По подъездам барышень целовал.

Хорошо безусому по Руси
Милицейской ночью лететь в такси.
Тормознет — и лбом саданешь в стекло,
А очнешься — вдруг двадцать лет прошло.

Я тогда любил говорящих «нет»,
За капризный взгляд, ненаглядный свет,
Просыпалась жизнь, ноготком стуча,
Музыкальным ларчиком без ключа.

Я забыл, как звали моих подруг,
Дальнозорок сделался, близорук,
Да и ты ослепла почти, душа,
В поездах простуженных мельтеша.

Наклонюсь к стеклу, прислонюсь тесней.
Двадцать лет прошло, будто двадцать дней.
То ли мышь под пальцами, то ли ложь.
Поневоле слезное запоешь.

Голосит разлука, горчит звезда.
Я давно люблю говорящих «да»,
Все-то мнится — сердце сквозь даль и лед
Колокольным деревом прорастет.

А должок остался, на два глотка,
И записка мокрая коротка —
Засмоли в бутылку воды морской,
Той воды морской пополам с тоской,

Чтобы сны устроили свой парад,
Телефонный мучая аппарат,
Чтобы слаще выплеснуться виной —
Незабвенной, яблочной, наливной...

●

Чей за окошком желтый глаз, один, горящий без стыда?
Я бормочу ему: «сейчас», и тут же, тише, «никогда».
Когда бы два, а то — один. Такой противный господин.
Бандит в гороховом пальто. Катись, приятель. Ни за что.

Откуда знаешь ты, что швах мои дела, что я привык
Копаться в выцветших словах — слепых, глухих,
полуживых?
Я столько раз давал зарок, от черных воронов-ворон
Отделавшись десятком строк, на давний выскочить
перрон —
А там по-прежнему зима, старуха с тяжким посошком,
Знай сыплет снегом задарма и не жалеет ни о ком,
Там без меня который год кассирша сдачи не дает,
И лунный свет в районный суд в дубовом ящике несут —

Там время движется к концу и умирает без труда,
А мне и бархат не к лицу, какой я Гамлет, господа.
Одна печаль — дурной зрачок. Вот-вот затянет, завлечет,
И бросит, весел и рогат, в свой костоломный агрегат —

И оттого-то в гиблый час, когда мутнеют зеркала,
Когда граверу метит в глаз гравировальная игла,
Вдруг понимаешь, что прошла. Без всякой злости, просто
так —
Глотком случайного тепла да гомоном голодных птах.

●

Сквозь усталость, до смертного пота... Пробормочешь такое во сне —
и проснешься. И выкрикнешь: кто там в темноте прикасался ко мне?
Успокойся. У двери такие, брат, сугробы, что выхода нет,
никого, и до самой России только звездный рассеянный свет

долетает. И снова невидим. Беспокойство сплошное. Но я
не в обиде, совсем не в обиде, не в претензии даже, друзья.
Было время для фокусов пылких, было — рвать вольтижерскую сеть,
и глотать цирковые опилки, и в сияющий купол глядеть.

Было, было желание славы, гиацинта в петлице, красот
театральных, и страсти лукавой. Повезет, уверял, пронесет.
Было всякое. Плавало слово в синем море и плакало зря,
пустячком, огоньком бестолковым за окошком подвальным горя.

Снова мучает, дразнит — и сразу исчезает в метельном дыму.
Помолись за него. Две-три фразы, или меньше, неважно кому.
Пусть, ныряя по собственной дури, подо льдом выпрямляется в рост
в неоплатной берлинской лазури, в непроглядных промоинах звезд.

●

«Вот церковь, — я сказал, — Петра и Павла.
Она давно заброшена. Когда-то
в ней овощи хранили, а потом
решили клуб открыть, однако быстро
одумались — ведь кладбище вокруг.
Перепахать хотели, но, как я
слыхал, районный эпидемиолог

не разрешил. А кладбище и клуб —
две вещи несовместные. Хотя, —
я засмеялся, — под иным углом
мне вся моя отчизна предстает
огромным сельским клубом, в бывшей церкви,
на кладбище...»
Я долго рассуждал,
но спутники мои не улыбались.

И, обойдя несчастную церквушку,
мы замерли. В одном окне была
проломана решетка. Я, подставив
какой-то ящик, подтянулся на
руках и стал протискиваться в
дыру. Там не хватало одного,
от силы двух железных прутьев, так что
и при моем — весьма субтильном — тело-
сложенье было трудно. Оцарапав
бок, рассадив ладонь, переводя
дыхание, я все-таки пролез
в просторный полумрак, и спрыгнул на пол
и руки отряхнул. Запахло мглой,
гниением и пылью, голубиным
пометом, запустением. Иные
из фресок расплылись, другие были
попорчены зубилом. Однорукий
Христос (реалистического стиля
начала века) шествовал по водам
к пустой стене, где красовался ветхий
обрывок ситца с надписью «Да здра...»
Печально стало мне. Я крикнул: «Эй,
эгей, сюда!» — но спутники мои
не захотели выпачкать костюмов
о кирпичи, о штукатурку, о
порядком проржавевшее железо
разломанной решетки. Лишь один,
когда я лез обратно, вдруг взмахнул
рукой и щелкнул кодаком. Спустившись,
я тоже засмеялся, увидав
большую надпись ХОДА НЕТ над самой
решеткою. Занятный вышел снимок,
особенно уместный в этот день,
замысленный, как некое прощанье
с отечеством.

Впоследствии мой спутник
признался мне в письме, что наш поход
нисколько не понравился ему,
скорее озадачил, лишний раз
заставил думать о юродстве русских,
скорбеть, что в бедном этом государстве
заброшенных церквей, забытых кладбищ
с бумажными цветами на могилах
сто лет пройдет, и триста лет...
Но впрочем,

писал он в заключение, я рад,
что сделал этот снимок. Прилагаю.

Я сохранил его. Цветное фото,
фигурка диссидента, и решетка,
и надпись черной краской — ХОДА НЕТ,
и яблоко зеленое на чьей-то
могиле безымянной...

●

Возле башни, у проспекта,
в круглой шляпе страшный некто,
горло кутая от ветра,
крутит старое кино.
Нелегко, неторопливо
тучи тянутся к заливу
в городке, где я давно

не бывал — не пил в подвалах,
не считал закатов алых,
не прощался на вокзалах
ни с друзьями, ни с тобой
и не брал, почти что даром,
канцелярского товара
в мелкой клетке голубой.

Водный город отдаленный,
камнем перенаселенный,
в призрак собственный влюбленный,
так похожий на Париж...
Жили — все казалось мало,
и отчаянно шуршала
в жарких складках одеяла
свидригайловская мышь.

Льется песенка с пластинки.
Помнишь шарик на резинке,
гриб раскрашенный в корзинке,
чью-то ссору за стеной,
мышеловку-живоловку
да пустую остановку
у Фонтанки ледяной?

Где мы были? Что любили?
Погибали, пели или
вирши детские твердили,
в снег бросали медный грош.
Исчезают губы, плечи,
нет иных, а те далече —
где — уже не разберешь...

●

Позабыть-позабросить, протиснуться в общий вагон,
с бородатым попутчиком сизый глушить самогон

под вареные яйца, и, пот вытирая со лба,
толковать, что ужасна планида, она же судьба,

и лететь через версты ольхи, лебеды, ковыля,
чтоб лежала пластом безлошадная эта земля,

чтоб в окне вечереющем филин носился, как нож —
на помине нелегок, в ослепшем полете хорош...

А еще хороша — заплетаться — страна за окном,
нищетой знаменита, хмельна самодельным вином,

и германец мой, Федор Иванович, друг роковой,
он бы понял меня, седовласой тряся головой,

но вздохнет собутыльник — ему горевать недосуг
над горящим кустом по осенней дороге в Овстуг,

ни тебе иудейских, ни прочих немецких забот.
Хороша отговоркой... и выпьет, и снова нальет,

и когда я остыну, и сам-то себе надоем, —
хороша, пробормочет, приезжий, да только не тем...

●

Года убегают. Опасностью древней
источены зимние дни.
Мечтать об отставке, о жизни в деревне,
о скрипе вермонтской лыжни.
Углы в паутине и в утреннем инее,
у милой растрепанный вид,
сырые поленья стреляют в камине,
и чайник сердито свистит.

Мы с возрастом явно становимся проще.
Все чаще толкает зима
вздыхать о покое, березовой роще,
бегущей по склону холма.
И даже минувшее кажется сущей
находкой, когда у ворот
в заржавленном джипе какой-нибудь Пущин
цыганскую песню поет.

А что ж не в Михайловском? В Северодвинске?
Не спрашивай. Лучше налей
за то, как судьбу умолял Баратынский
не трогать его чертежей,
как друг его лучший, о том же тоскуя,
свалился, чудак-человек,
последним поэтом — в пучину морскую,
звездой — на мурановский снег.

В вермонтском безлюдье, у самой границы
с Канадой, где кычет сова
о том, что пора замолчать, потесниться,
другим уступая права
на вербную горечь, апрельскую слякоть,
на черную русскую речь —
вот там бы дожить, досмеяться, доплакать
и в землю холмистую лечь...

Олег Ермаков

АФГАНСКИЕ РАССКАЗЫ

Весенняя прогулка

Мягкие полевые дороги выносили их на макушки холмов и опускали в сырые низины, и небо то приближалось, то стремительно уплывало вверх, небо с редкими облаками и жаворонками, плещущими крыльями.

Парень в потертой и замасленной замшевой кепке ехал чуть впереди, он был проводником, он несколько лет ездил и ходил по этим дорогам, он знал на этом пути все повороты, все придорожные деревья и холмы. Он крутил педали и посматривал через плечо на спутницу.

Мягкие дороги несли их по зеленым холмам и зеленым полям, в небе стояли облака, желтело солнце и плясали жаворонки. Он глядел через плечо на нее и растягивал толстые губы, и она улыбалась в ответ. Он думал: это, конечно, здорово, что она с ним, что она увидит наконец-то эти места, здорово, но лучше бы одному ехать. Он привык один. Сперва не по себе было, особенно ночью: птица какая-нибудь крикнет, ветка упадет, или прошуршат чьи-то шаги, но потом страх прошел. И однажды он убедился, что лучше одному: проболтался однокласснику про Кофейные пруды, и тот напросился в спутники, и все было скверно — одноклассник говорил, говорил и смеялся громко, жадно удил карасей, пытался подбить камнем утку, запросто срубал живые осины и твердил, что в лесу нечего бояться, лес — это группа деревьев, и все было скверно, и все было не так. Конечно, она не одноклассник. И все-таки.

Они переехали железную дорогу — облитые мазутом шпалы, хрусткая насыпь, черные шляпки костылей и узкие зеркальные полосы, уходящие вдаль,— и он подумал: да, скоро. Их опять подхватил мягкий проселок, и опять они выплывали на лбы холмов и съезжали в пахучие сырые ложбины.

Да, скоро, думал он. Через три дня. Всего-то. И — на два года. Сапоги, казармы. Ну, это ерунда — два года, это не двадцать пять лет, как при Царе-Горохе.

Он опять засомневался, правильно ли сделал, что взял ее с собою. Что они увидят за один день? Чтобы везде побывать: в соснах, на Рыжей, на Лисьем холме, на прудах, в Деревне,— для этого дня мало. Один он мог бы ночевать и увидеть все. А с нею придется вернуться в город сегодня. Ее родители ничего не знают, уверены, что дочь утром ушла в институт и что после обеда до вечера она будет конспектировать какие-то труды в читальном зале институтской библиотеки. А она положила в портфель вместо учебников и тетрадей кроссовки, трико, футболку, хлеб и колбасу, пришла к нему, переоделась и вот едет рядом по мягкой дороге на велосипеде, который он одолжил у приятеля, старательно крутит педали, не просит остановиться, хоть с непривычки уже устала, и улыбается, когда он

оглядывается. И футболка на ней уже сырая. Утро, но солнце горячее. Май.

Наезженная дорога свернула, а они покатили прямо. Они поехали по заросшей и зыбкой дороге, которая скоро ушла в болото.

Она послушно сняла вслед за ним кроссовки, закатала до колен трико и осторожно погрузила белые ноги в жирную и холодную трясину.

— А змеи здесь есть? — тяжело дыша, спросила она.

Он шел впереди. Он оглянулся и сказал:

— Змеи? Я три года здесь... я за три года — ни разу...— И замолчал, увидев слева на кочке коричневато-зеленый резиновый крендель. Молодая змейка бездвижно лежала на солнечной сухой кочке, можно было подумать, что она мертва, но ее глаза были влажны, и две солнечные точки горели в них.

Он отвел глаза от кочки и спокойно сказал:

— Нет. Это благословенные места, я же говорил.

На них, распаренных, обливающихся потом, напали комары, и они шлепали себя по лицам, передергивали плечами и спешили пройти болото. Трясина пузырилась, шипела и жвакала под ногами. Грязь была холодная, а воздух тепел, и солнце раскаливало одежду на спине и плечах.

Вот же, думал он, за три года ни одной змеи, а сегодня, в этот последний день... Он обернулся, скользнул взглядом по ногам спутницы... Она вопросительно посмотрела на него и состроила бодрую мину. Лицо ее было мокрое, красное, заляпанное кровавыми кляксами, на щеке темнел раздавленный комар.

— Сейчас выйдем,— сказал он.

Надо было одному. А теперь бойся, как бы ее не укусила змея.

Они перебрели болото, прошли немного по твердой земле сквозь ивовые заросли и оказались на поляне под косогором. Поляна была желта от цветущих одуванов. Здесь трудились пчелы и шмели, всюду над цветами вспыхивали стеклянные крылья, и слышен был тихий бархатный гудеж. Там, где поляна переходила в косогор и начинала плавно вздыматься, белело глинистое око. Родник пульсировал, и по его прозрачной поверхности расходились круги.

— Это он? Да? Бог Бедуинов?—Девушка бросила велосипед и пошла к роднику. Она склонилась над шевелящейся водой, замерла и беспомощно оглянулась. Он приблизился и посмотрел в родник. На белом осклизлом дне медленно ворочалась, как бы исполняя ленивый танец, дохлая лягушка. Он засучил рукав, погрузил руку по локоть в воду, вытащил лягушку и бросил ее в цветы.

— Однажды,— сказал он, вытирая руку о штаны,— я нашел в роднике серую птицу с выбитым глазом, видно, лунь или ястреб неудачно поохотился.

— Кровожадный Бог,— ответила она, брезгливо глядя в родник.

Он пожал плечами и склонился над водой. Напившись, он насмешливо посмотрел на спутницу. Она поджала губы и отвернулась.

— Пей, чего ты?

— Ничего. Мог бы не говорить про птицу.

— Но это было давно. Пей.

Во рту было горячо и сухо, как на родине этих бедуинов с верблюдами. Придумал же — Бог Бедуинов. Она улыбнулась.

— Пей,— повторил он.

— Пей, пей,— передразнила она, нахмурилась, пригнула голову, вытянула губы к вздыхающей воде. Потом, глядя на ноги и шевеля перепачканными пальцами, она сказала:

— Отмыть бы.

Он вынул из рюкзака кружку и принялся черпать воду из родника и лить ей на ноги. Она терла ноги и задыхалась от холода. Потом поспешно надела носки, обулась и попрыгала на месте, чтобы согреться. На ее лбу билась челка, и под футболкой вздрагивали груди.

Он отвел глаза, лег в траву и сказал:

— Отдохнем.

Она села поодаль.

Гудели шмели...

— А она как-нибудь называется? Ну, родник — Бог Бедуинов, а поляна?

Он ответил, что никак.

— А я бы эту поляну обязательно окрестила. Такая поляна.

— Как бы ты ее окрестила? — нехотя спросил он.

— Как-нибудь... что-либо в твоем духе.— Она наморщила лоб.— Шмелиная нива. А?

Он глядел сквозь ресницы в небо и молчал.

— Хорошо? — спросила она.

— Тут всюду.

— Что? — не поняла она.

— Нива. Тут много всяких полян с цветами.

— Ну, не хочешь, как хочешь,— откликнулась она и отвернулась.

Обиделась. Надо было что-нибудь сказать, но солнце жгло кожу сквозь рубашку, и язык был тяжел, и веки были тяжелы, и ни о чем не хотелось думать, и ничего не хотелось. Он лежал и ничего не говорил. Она сидела и следила за полосатыми толстыми шмелями. Шмели садились в одуваны и бродили в тычинках, как в желтом мягком лесу, шмели нектар сосали.

Две светящиеся точки, коричневато-зеленый резиновый крендель, ты могла бы не попадаться сегодня, в этот последний день, теперь ведь мне нужно бояться, как бы ты не укусила девушку; змея приподняла голову и тонко улыбнулась, он вздрогнул и открыл глаза, и вспомнил, что, кажется, девушка обиделась. Он сел и сказал:

— Да, пускай, это хорошо, пускай так.

— Ты о чем?— равнодушно спросила она и сощурилась. Она не глядела на него и отчужденно, презрительно щурилась.

— Ну, Нива Шмелей.

— А,— откликнулась она.— Спасибо за одолжение.

Он засмеялся. Девушка сердито взглянула на него. Он оборвал смех.

— Извини, но смешно,— пробормотал он.— Чего мы делим-то?

— Я ничего не собираюсь делить. Не надо ничем делиться со мною. И вообще я могу... дорогу теперь знаю.

Она почувствовала, что я сомневаюсь, правильно ли сделал, взяв в это, последнее путешествие ее. Мог бы и отказать, а не отказал, мне хотелось с ней ехать, ведь так же? — так какого черта я дурака ломаю!..

— Ну, давай не ссориться, чего мы, ей-богу, будем... из-за чего мы? Я просто не выспался, что ли. Какой-то заторможенный...

— Спи! Мешать не буду.

— Я уже не хочу. Я готов к труду и обороне. Поехали? Ты отдохнула? Ты очень устала? — суетливо спрашивал он и заглядывал ей в глаза.— Хочешь еще воды? Принести? Давай принесу.— Он встал и сходил к роднику, и принес кружку воды.— Пей. Это вкусная вода. Я вкуснее не пил. А ты пила вкуснее?

Девушка не выдержала и, фыркнув в кружку, обрызгав его лицо, рассмеялась.

Они вышли из лощины на пригорок, поросший золотистыми долгоногими цветами. Она спросила, что это за цветы, какие-то очень знакомые цветы, а никак не вспомню... Он не успел ответить, девушка что-то увидела на лугу и охнула.

Из перелеска на луг — люди давно бросили здесь косить, и луг огрубел, зарос толстыми, раскидистыми, как сосны, медвежьими дудами, полынью, кустами — на луг вышла лошадь. Она была приземистая, коричневая, с выпуклыми боками, спутанной гривой и толстыми ногами. Лошадь склоняла свою массивную голову, рвала траву и медленно жевала, озирая луг. Наконец она увидела людей. Лошадь перестала жевать и, навострив уши, раздувая ноздри, вглядывалась в две фигурки среди золотистых цветов. Она поняла, что это не лоси, а люди, оттопырила губы, оскалилась, злобно заржала, развернулась и быстро затрусила в березы.

— Убежала.— Девушка говорила шепотом. — А откуда она тут?

— Ну, сбежала, может,— откликнулся он шепотом, кашлянул и добавил громко: — Из какой-нибудь деревни удрала. Что-то ей не понравилось, и она удрала. Может, надоело телеги таскать, и удрала.

— Ты говорил, здесь нет жилых деревень.

— Из какой-нибудь далекой деревни... Здорово?

— Да!

— А вообще здесь лосей тьма. И кабанов. Однажды за мной погнался.

— Кабан?

— Да. Он был с семейством, а я вылез прямо на них, и он бросился, а вокруг только кусты, ни одного дерева. Но, видно, он не очень был сердит — отогнал меня и вернулся к своим.

— Представляю, как ты бежал.

— Я очень бежал. Я увидел, что он не гонится уже, но все равно бежал. А потом купил ружье. У одного барыги...

— Где же оно?

— А! — Он махнул рукой и перекинул ногу через раму, сел на седло и нетерпеливо посмотрел вперед.

Девушка почувствовала, как было бы спокойно и хорошо с ружьем, и снова спросила: где же? Он ответил, что потерял, она спросила: где? Он кивнул в сторону: где-то, там где-то.

Они ехали по заросшей дороге. Высоко в небе летала птица. В болоте среди сплетения ивовых ветвей отстаивалась лошадь.

Высоко в небе парила птица. Это была старая, бурая, с пестринами на светлой груди хищная птица. Она описывала круги в синих толщах среди облаков. Далеко внизу серые, желтые и зеленые пятна кружились медленно; вспыхивали лужи. Воздушные потоки теребили перья и омывали серую голову с загнутым клювом. Внизу была переливчатая жидкая земля. Там шумели птицы и лягушки, звенели пчелы и комары, там было беспокойно и жарко. Старая птица плавала в синеве среди облаков, здесь было тихо и прохладно.

На краю болота в кустах таилась лошадь. Комары и слепни сновали по теплой горе, покрытой толстой потной кожей, и выискивали, дрожа крыльями, нежные места, и погружали в кожу хоботы, и сосали кровь. Мухи копошились в гноящихся ранках на крупе, ранки были симметричны, круглы и глубоки. Лошадь стояла в кустах, косила свои крупные черные глаза в сторону, втягивала напряженными ушами звуки весеннего душного дня, пришибала хвостом нажравшихся крови сосунов и дрожала, вспоминая людей среди желтых цветов.

В глубине болотных зарослей, между кочками, в теплых коричневых рытвинах чутко спало кабанье стадо. В норах Лисьего холма дремали барсуки и лиса с лисятами.

Они ехали по одичавшему лугу и глядели на высокий Лисий холм, поросший кустами,— он торчал над перелесками, и на его боку белело огромное пятно.

Они миновали луг, прошли, катя велосипеды рядом, низиной к полю, снова сели на велосипеды и вскоре подъехали к холму. У подножия холма они спешились и побрели в траве и цветах вверх.

Головки цветов колотили по щиколоткам. Вспугнутые пчелы и шмели, недовольно жужжа, срывались с цветов и, повисев перед лицами, отлетали нехотя в сторону.

Задул полуденный ветер.

Листва на кустах плескалась, и травы с цветами валились и вставали. Ветер сушил потные лица и холодил взмокшую одежду. Черные короткие волосы девушки метались и хлестали ее по лбу и щекам.

Они взошли на макушку холма. Девушка оглянулась.

Внизу бурлили зеленые лагуны, мигали бордовые, фиолетовые и лимонные точки и кляксы. В прозрачных толщах синего дергались жаворонки, и к горизонтам плыли осиновые и березовые острова, и вдалеке висели изумрудные холмы и еловые темные леса.

Черемуховый куст цвел на западном склоне, дул сильный ветер, и аромат черемухи был едва слышен на макушке Лисьего холма.

Он снял кепку, подставил ветру коротко остриженную бугристую голову и сказал, что иногда здесь ночует. Девушка промолчала. Он больше ничего не говорил, и они стояли, молчали и глядели вокруг с вершины легкого зеленого Лисьего холма.

Они спустились вниз, и он спросил, где она хочет побывать еще: на Рыжей речке, на Кофейных прудах или в Деревне? Она сказала: везде. Но нужно было выбирать что-то одно. Уже было три часа, они и так вернутся поздно. На Рыжей можно покупаться и позагорать. На Кофейных прудах сейчас живут журавли, она никогда не видела живых журавлей. А в Деревне, а про Деревню он говорил: о, Деревня! о, в Деревне! это рай, и все такое. В Деревне, сказала она.

Возле старой березовой рощи стояла Деревня. Сначала они увидели эти длинные толстые березы, а когда въехали на пригорок,— Деревню.

Деревня цвела. Цвели корявые вишни, цвели яблони, кусты сирени. Вокруг изб и на огородах тускло желтели вонючие венчики черной белены, пушились яичные одуваны, розовел лабазник, золотилась пирамидальная льнянка. В крапиве висели пурпурные чашки окопника, и первоцветы вытягивали свои бледные губы. Возле замшелого трухлявого колодца цвел развесистый куст боярышника. Трещали скворцы и дрозды, щелкали, звякали, свистели, прыгая с ветки на ветку и соря белыми лепестками, серые лесные птицы. На бревнах изб с пустыми окнами зеленели мхи. На крышах, прогнувшихся, сползших набекрень, росли тонкие осины, березы и ромашки. Пахло цветами, зеленью, гнилью и плесенью.

— А я обжил баню. Вон на отшибе. Это моя хижина.— Он пытливо посмотрел на нее.— Хорошо?

— Здесь? — растерянно спросила она и оглянулась.— Да. Только...

— Что?

— Только как-то... непривычно просто. Это из колодца так пахнет?

— Да. Я беру воду из ручья. В роще ручей.

Они прошли по короткой деревенской улице мимо серых истерзанных изб, мимо огородов и садов с торчащими кое-где из зеленых лохм ветхими плетнями.

Над дверью бани-хижины висела коряга.

— Это Охраняющий,— сказал он, и тогда девушка разглядела кривой рот, редкие толстые волосины и пустой глаз во лбу.

Скрипнула дверь, и они вошли в хижину. Привыкнув к сумраку, девушка увидела печь, железную кровать с рваным матрацем, набитым соломой, стол, застекленное оконце и полку под потолком,— там круглились свечи, лежали спички, пачка соли, стоял чайник, кружка с ложкой, котелок. Пахло плесенью и давним дымом.

— Так странно,— пробормотала она.

— Обед будем готовить на улице,— сказал он, снимая с полки котелок и чайник.

Он отправился на ручей. Девушка села на лежак и сразу почувствовала себя разбитой и уставшей. Есть не хотелось, хотелось лечь и вытянуть отяжелевшие зудящие ноги... Она прилегла и задремала.

Когда она вышла на улицу, он уже разводил костер. Он чиркнул спичкой и зажег растопку, пламя всосалось в сухие дровины и вырвалось миг спустя вверх, и забило в дно чайника и котелка с водой.

— Ты и зимой здесь бываешь?— спросила она, опускаясь на корточки перед костром.

Он кивнул.

— Странно здесь,— сказала она.— Хорошо, но как-то странно. Как ты нашел все это?

— За грибами как-то поехал и набрел на пруды. Карасей, подумал, небось... Еще раз приехал со снастями. Действительно — карасей!.. И — вот.

— Но как же ты ружье посеял. Плохо без ружья. Волки всякие. И люди могут... Какой-нибудь беглый. А? Здесь часто бывают люди?

— Нет, болото отпугивает. Но иногда грибника можно... Ну и зимой охотники бегают на лыжах за зайцами.

— Зимой — у-у как, да? Здорово, да? Метель, волки, а ты печку топишь.

Вода в котелке забурлила. Он хотел засыпать крупу, но девушка попросила: дай я все сделаю,— и он отдал ей соль, ложку, прикрученную к пруту проволокой, крупу в мешочке и банку тушенки. Она сыпанула в кипяток три горсти крупы и щепоть соли и, отворачивая от жаркого костра лицо, принялась помешивать варево ложкой на пруте. Он сидел напротив, глядел в огонь и думал: вот через три дня, вот на два года. Ну ладно, это не двадцать пять лет. И не война. Это ерунда — два года.

Крупа разбухла и стала белой. Девушка вытряхнула из банки в котелок тушенку и перемешала розовые куски с кашей. Она сняла котелок и чайник с жерди, в чайник насыпала заварки. Утерев красное мокрое лицо, она взглянула на него: ловко я все делаю, правда?

Они обедали в хижине перед оконцем. Они молча ели дымящуюся кашу с черным мягким хлебом и смотрели в оконце. Потом пили чай. Девушка думала: неужели где-то есть город? неужели только сегодня они выехали из города?

С улицы донесся резкий и сухой злобный вскрик, девушка поперхнулась и закашлялась, и тревожно посмотрела на хозяина хижины.

— Это сапсан. В роще живет. Редкая птица.

Девушка кивнула. Но страх стоял в ее глазах. Выждав немного, она сказала:

— А все-таки ружье... с ружьем... как же ты так?

Одностволка шестнадцатого калибра лежала под толщей ила на дне одного из семи Кофейных прудов. Он нехотя ответил:

— Потерял.

— Врешь? — осторожно спросила она.

— Нет.

— Врешь,— сказала она.— Сразу видно. Тебе лучше никогда не врать. Это сразу всем видно будет.

— Что ты прицепилась к этому ружью?

— Ничего. Просто лучше было бы.

— Не лучше. Я это знаю... Я утопил его.

— Да?

— Что ты так смотришь? Что тут такого? Мое ружье, я купил его и патроны у барыги, потом взял и утопил.

— Зачем?

— Надоело. Даже палка раз в год стреляет. А уж ружье тем более. Даже когда не хочешь ни в кого стрелять.

Они помолчали. Девушка вздохнула.

— Жалко? — насмешливо спросил он.

— Ага,— откликнулась она.— Через три дня ты уйдешь в армию, и там тебе дадут уже не ружье, а гранаты и автомат.

— А, ты вон о чем...

— Я проницательная. Проницательная?

— Проницательная. Ну, дадут, так что ж... Три раза на стрельбище — и все. Знакомый вернулся из армии, говорит: за два года три раза на стрельбище — и все. По фанерным людям.

— Но они могут послать...— Девушка запнулась.

— Куда?

— Куда захотят, туда и пошлют служить. Могут отправить... на эту войну. Могут, Витя?

Он пожал плечами. Налил в кружку чаю, отхлебнул... Он забыл об этой войне. Как-то совсем забыл. Газеты о ней говорят невнятно, сквозь зубы. Не поймешь, русские то ли воюют там, то ли деревья сажают и детские сады строят...

Опять крикнула старая птица, и тут же донесся далекий тугой звук. Через мгновение звук повторился.

— Гроза? — спросил себя неуверенно он, встал из-за стола и вышел на улицу. Девушка растерянно и радостно улыбнулась и тоже вышла.

Небо над Деревней и рощей было чистое. По листве берез ударял то и дело сильный ветер. Свежо было.

Солнце стояло уже на западе. Оно косо освещало зеленое поле, крапчатые стволы берез, гнилые, провалившиеся крыши, черные обрывки плетней и белые сады.

— Вон,— сказал он и ткнул пальцем в небо над рощей.

— Это и есть сапсан?

Над рощей кружила птица с бурыми крыльями и пестрой грудью.

— Слышишь,— сипло сказала она и откашлялась,— как сады запахли?

— К дождю,— ответил он, не глядя на нее.—Надо собираться... Дороги развезет...

«В Индии... эти тропические ливни.. неделями».— Она беспомощно глядела в небо над рощей, но небо все было чистым.

— Хорошо тебе было? Понравилось? — спросил он.

Она молча кивнула.

— И без ружья не очень страшно? — спросил он, улыбаясь.

Она покачала головой.

— Хочешь, мы вернемся через два года?

— Хочу.

— Надолго.

— Хочу.— Она заставила себя улыбнуться.

— Уходим,— сказал он и вернулся в хижину. Он собрал ложки и кружки, взял котелок и чайник и пошел на ручей.

Она стояла все на том же месте и глядела, как он идет к березам, как он идет между берез... Его заслоняли стволы и кусты, и снова он показывался и скрывался... Нужно было самой помыть посуду, думала она и не двигалась с места, и не окликала его. Он уходил все дальше, делался все тоньше и призрачней. Солнце светило на березы. Резко чернели на белых стволах трещины, наросты и крапины. Над рощей кружила старая хищная птица.

Край тучи повис над рощей.

Он выбежал из рощи, заскочил в хижину, оставил там вымытую посуду, вышел, взялся за руль велосипеда.

— Пошли!

Она покорно пошла за ним. Она хотела сказать: сейчас дождь начнется, давай останемся и переждем, что родители? ну и что, что родители... пускай родители... я не хочу думать о родителях. Она молча шла за ним.

Они вышли на деревенскую улицу, сели на велосипеды и поехали.

Дождь побрызгал немного и перестал. Жаль, что в России не бывает этих тропических ливней, которые льются днями, неделями и месяцами, подумала она.

Она оглянулась, когда поднялись на взгорок.

Тучу сносило на юг. Над рощей и Деревней небо синело. В Деревне белели сады. Наверное, там опять трещали и цокали серые лесные мелкие птицы, трещали и цокали, прыгая с ветки на ветку и соря лепестками.

«Н-ская часть провела учения» 1981

Батальоны днем и ночью штурмовали горы Искаполь в провинции Газни. Гаубичные и реактивные батареи, самолеты и узкие быстрые пятнистые вертолеты обрушивали на горы тонны металла. В холодном осеннем воздухе пахло порохом, пыль заволакивала солнце и звезды. Днем прилетали вертолеты за трупами и ранеными. Ночи были безлунные и звездные. Ночью транспортный самолет кружил высоко над горами и сбрасывал осветительные бомбы,— они распадались на несколько оранжевых солнц; покачиваясь, шары медленно опускались, озаряя ущелья, скалы, вершины и степь у подножия гор, где стоял походный лагерь полка. Пехота шла вверх, били крупнокалиберные пулеметы, рвались мины, хлопали скорострельные гранатометы. Оранжевые солнца гасли, пехота залегала. После короткой передышки в степи зычно кричали артиллерийские офицеры и начиналась артподготовка.

Мятежники крепко сидели в пещерах и гротах. В этих горах у них была крупная база, ни в воде, ни в пище, ни в медикаментах, ни в боеприпасах недостатка не было, они дрались дерзко и умело.

Смолкли реактивные установки и гаубицы. Стало слышно, как под звездами тоскливо и глухо трубят моторы транспортника. Пехотинцы лежали на камнях, утирая потные грязные лица и прикладываясь заскорузлыми губами к фляжкам. Ждали, когда вверху зашипят осветительные бомбы.

Было тихо, темно.

Пехотинцы отдышались, напились воды, остыли,— была осень, днем солнце пригревало, а ночью воздух был ледяным, и солдаты быстро высыхали после атак.

Ждали.

Что-то на транспортнике медлили. Пехотинцы начинали привыкать к тишине.

Прошло еще несколько минут, и над их головами зашипело и треснуло — вверху зажглись осветительные бомбы. Ротный крикнул: рота! вперед! Рота встала и пошла вверх. Сверху забили из пулемета, красные пули стучали бойко по камням, рикошетили и уходили вверх и в стороны. Пехотинцы перебегали от скалы к скале, пуская короткие очереди, лицам было жарко, а в животах стоял холод. Одна из раскаленных струй врезалась в бегущего человека, он свалился, это был ротный, он вырыгивал кровь и выгибался, потом замер, он был мертв. Лейтенант принял командование ротой. Атака возобновилась. Лейтенант вел роту к вершине, где за гребнем сидели мятежники. Мятежники проигрывали вершину, у них смолк крупнокалиберный пулемет, они стреляли из ружей и автомата. Бой шел на всем хребте. На соседней горе рвались мины. Рота подступила вплотную к вершине и забросала гребень гранатами, автомат и ружья замолчали. Выждав, лейтенант первым кинулся наверх, увлекая за собою солдат. За валунами была ровная площадка, здесь стоял станковый пулемет, вокруг него лежали пустые металлические кассеты и четыре тела, изрубленные осколками. Пятый уползал вниз. Лейтенант нагнал его и пнул ногой, мятежник перевернулся на спину и поднял вверх разбитые руки. Лейтенант, приказав солдатам оттащить его на площадку, вышел на связь и доложил комбату о потере и о взятии вершины. Комбат приказал оставить на занятой высоте несколько пулеметчиков и ударить с севера по соседней вершине. На горе остались четверо, рота пошла вниз.

Оставшиеся солдаты напились, закурили.

Раненый с измочаленными руками и пробитой ногой скулил. Неподвижно лежали четыре тела, из них еще высачивалась кровь. Пулеметчики всасывали горький дым. Были довольны, что их оставили здесь. Может, нынче все кончится, и им не придется больше лезть на рожон. Утром полк, нагрузившись трофеями, отправится домой, в палаточный город. Там баня, чистые постели, трехразовая кормежка, письма, каждый вечер фильмы, получка, в магазине — сигареты с фильтром, апельсиновый джем, печенье, сгущенное молоко, индийский кофе, виноградный сок; там в библиотеке Таня, хоть она и не смотрит на солдат, зато можно глядеть на нее, у нее красные губы, полноватые ноги с черными завитушками волос, крупные выпуклые ягодицы, она потливая, и ее блузка мокра под мышками и на спине, можно хоть каждый день ходить в библиотеку смотреть и обонять аромат Таниных духов и пота. А ротный теперь на веки вечные лишен всего этого. Он мертв? Его ничто не брало, ни пули, ни желтуха, ни тиф. Однажды он спустился вдвоем с солдатом в кяриз, они прошли с фонариком по подземному коридору, коридор резко повернул, и они увидели мятежников, открыли огонь и кинулись назад, первым на веревке вытащили солдата с простреленной икрой, потом живого и невредимого ротного. И вот ротный мертв.

Сигарета приятна, курить бросают идиоты. И пить. Трезвенники — олухи. Можно год жизни отдать за бутылку водки после операции. Округлая такая, тяжеленькая такая бутылка чистой горькой водки. Вымывшись в бане, ты наливаешь в солдатскую кружку чистую горькую водку. Ее привезли в бензобаке из Союза, она стоит тридцать чеков, дорого, но что поделать. Так вот: наливаешь. То, что ты налил в кружку, стóит примерно семь чеков, почти месячная зарплата рядового. Ну и черт с ней. Зато ты становишься человеком на полчаса, и нет ни скуки, ни страха, мозги искрятся, и два года — это тьфу!

Стрельба стихла на всем хребте, передышка наступила.

— Смотреть в оба, мужики,— сказал сержант, возглавлявший группу.

Пулеметчики и так смотрели в оба.

Вверху гудел транспортник. Хорошо летчикам. Не артиллеристы боги, а летчики в черных кожаных шлемофонах и голубых комбинезонах. Впрочем, им тоже достается. Мятежники любят охотиться на самолеты. Экипажи сбитых самолетов и вертолетов чаще всего попадают в плен. А хуже восточного плена ничего быть не может. Мятежники умеют умерщвлять медленно, в час по чайной ложке смерти. Труп прапорщика Воробьева рота нашла на вторые сутки, прапорщика в распухшей сизой туше с седыми волосами сумел узнать только ротный. Не дай бог попасть в плен. Нет, боги войны не артиллеристы, не летчики, а штабные. Хотя и они погибают, редко, но гибнут, все-таки они в войне, а не над. Боги — в стороне и над.

— Сейчас артиллерия жахнет,— сказал один из пулеметчиков хриплым голосом.— Как бы нас не накрыли. Сдуру-то.

— Лейтенант выходил же на связь,— откликнулся сержант.

Замычал пленный. Все посмотрели на него. Пленный кутал руки в длиннополой рубахе, по ткани расползались пятна.

— Ротного-то... убили,— сказал сержант.

Ему никто не ответил.

У пленного зудели и горели раздробленные кисти. Ему мерещилось, что руки грызут стаи мохнатых фаланг. Фаланги рвали своими загнутыми клещевидными зубчатыми челюстями кожу, мясо, сосуды и хрящи. Их было много, своей тяжестью они тянули руки книзу. Пленный лежал, прислонившись к валуну, и прижимал руки к груди.

«Ротного убили»,— подумал сержант и еще раз посмотрел на пленного.

Пленного била дрожь.

«Забинтовать ему руки, что ли?» — подумал пулеметчик Гращенков, раненный в бедро в один из первых дней службы.

Под звездами уныло трубили моторы невидимого транспортника. Сейчас заработают реактивные установки и 122-миллиметровые гаубицы, и все запылает, затрещит, закачается,— сейчас...

— Вон летит,— сказал в тишине охрипший солдат.

Солдаты пошарили глазами по небу и увидели мерцающие точки,— далеко в стороне над степью шел самолет; кажется, это был пассажирский самолет, он летел с севера на юг, он плыл в черном небе беззвучно, на крыльях и брюхе вздрагивали сигнальные огни, наверное, он шел в Пакистан или в Индию.

Солдаты смотрели на пульсирующие огни.

Сержант скрючился, зажег спичку за пазухой, прикурил. Остальные, почуяв дым, тоже закурили, пряча сигареты в кулаках. Было тихо.

Было тихо. Может быть, все кончено? Мятежники сдались, и сейчас дадут отбой, и утром батальоны вернутся в полк.

Пленный заскулил громче. Все посмотрели на него. Гращенков снял с плеча вещмешок, развязал его и вынул индпакет. Остальные подумали, что он решил подкрепиться, и, почувствовав голод, тоже стащили свои вещмешки, достали галеты, консервы и сахар, вскрыли штыкножами банки. Запахло сосисочным фаршем. Гращенков разорвал пакет, и в его руках забелели бинты и тампоны. Сержант перестал есть и уставился на него.

— Что? — спросил сержант.

— Перевяжу.

— Отставить.

— Это почему?

— Нечего тратить,— сказал сержант.

— Ладно тебе. Я свое трачу.

Остальные ели фарш, трещали галетами, оглядывали черные склоны горы, косились на сержанта и солдата с бинтами и молчали.

— Гращенков, ты не понял? — спросил сержант.

Пленный лежал с закрытыми глазами, он ничего не слышал. Гурии в прозрачных платьях, пританцовывая, вели его под руки по зеленой горе вверх,— там, в сени бледно-розового Лотоса, лежали праворерные с чашами в руках, они пили чай и с улыбками глядели на гостя; от Лотоса исходил аромат, вокруг Лотоса выгибались радужные фонтаны, над Лотосом парили белые птицы...

Артподготовки не было. Транспортник сбросил осветительные бомбы.

— Нет, я перевяжу,— сказал Гращенков, вставая и направляясь к пленному, но его опередила очередь.

Солдаты посмотрели на оранжевое лицо с разорванным ртом, выбитым глазом и свернутым набок носом.

— Мог бы потом,— проговорил охрипший солдат, пряча недоеденный фарш, галеты и сахар в мешок. Второй солдат отвернулся и поспешно очистил банку, выбросил ее, облизал ложку, сунул в рот ком сахара и приложился к фляжке.

Между тем бой на хребте возобновился. Пулеметчики ждали зеленую ракету, нацелившись на соседнюю вершину, к которой сейчас подкрадывалась с севера рота. Небо было оранжевым, горы были оранжевыми, густо чернели тени и складки. По склонам прыгали огни и вились красные струи, хлопали гранаты. Ни о чем не думая, пулеметчики из пехотной роты лежали в настывших камнях, глядели на соседнюю вершину, над которой пересекались трассирующие очереди, и ждали.

— Заблудилась рота, ушла по распадку к черту,— предположил охрипший солдат, но тут же, словно торопясь опровергнуть его, вверх ударила светящаяся струя, и зеленый сияющий ком повис над склоном соседней горы.

— Огонь! — азартно скомандовал сержант.

Пулеметчики открыли огонь по соседней вершине. Рота, идя по склону, тоже вела стрельбу, а по южному склону наступала другая рота, и с запада по мятежникам били ручные пулеметы.

— Отпрыгались,— сказал охрипший солдат.

Но мятежники продолжали отбиваться.

Над пулеметчиками просвистели пули.

— Да отпрыгались же,— повторил охрипший солдат, втыкая в соседнюю вершину длинные очереди, и вдруг замычал, привстал, выгибаясь и стараясь выдрать скрюченными пальцами огонь из спины, и упал.

Сержант оглянулся и увидел сзади, на середине склона, темные фигурки, он дал очередь по ним и взвизгнул, когда острый и невиди-

мый коготь вспорол плечо. Гращенков и второй пулеметчик развернулись и, держа пулеметы на весу, начали поливать очередями склон.

— За камни! — крикнул сержант, переваливаясь за гребень. Второй солдат тоже перемахнул через гребень и залег.

— Гращенков! — крикнул сержант.

Гращенков попятился, выронил пулемет, прижал руки к груди, сел на корточки и мокро закашлялся. Второй пулеметчик подполз к нему, дернул за полу бушлата, повалил его и перетащил за гребень. Он вынул индпакет, разодрал его, достал бинты и тампоны. Гращенков лежал на спине, беспрестанно вытирал окровавленные губы и молчал. Он смотрел в оранжевое небо и молчал. Боли не было. Было туманно и томно, как если бы один выпил бутылку водки. По камням стучали пули. Солдат приложил к его губам тампон — белая подушечка сразу набрякла и потемнела. Солдат торопливо расстегнул на Гращенкове бушлат и липкую хлопчатобумажную куртку. Наконец пришла боль, Гращенков застонал и закашлялся, черный тампон слетел с губ. Солдат принялся утирать бинтом его шею и подбородок.

— Да перевяжи его,— сказал сержант, но солдат продолжал стирать с лица Гращенкова выкашливаемую кровь.

— Отстреливайся! Я сам! — крикнул сержант, подползая к Гращенкову и отпихивая отупевшего солдата. Солдат схватил пулемет и нажал на спусковой крючок. Сержант взял свой индпакет, вытащил бинт и тампоны, нашел на груди Гращенкова булькающие дырки и, морщась от боли в плече, начал перевязывать Гращенкова. Кое-как он перевязал его. Гращенков затих, вытянулся и стал быстро деревенеть.

— Все,— сказал сержант и осторожно ощупал свое горячее и сырое плечо.

— Надо уходить, пока не окружили! — крикнул солдат, откладывая пулемет и берясь за автомат.— Диски пустые!

— У Гращенкова есть!

Но вещмешок Гращенкова лежал по ту сторону гребня, по которому часто щелкали пули.

— Уходим! В распадок! — крикнул солдат и пополз вниз. Сержант, кряхтя от боли, последовал за ним.

Они спустились до середины склона, встали и, пригибаясь, побежали, но вокруг запрыгали красные пули, и они упали. Стреляли сверху и снизу, из распадка, куда они бежали. Сержант и солдат начали отстреливаться.

Вскоре осекся и замолчал автомат сержанта, потом автомат солдата.

— Что делать, Женя?

Сержант молчал.

— Ты жив, Женя? — позвал солдат.

— Гранаты... есть? — спросил сержант.

— Нет.

— На.

— Что это?

— Бери.— Сержант вложил в его руку гранату. Со второй гранаты он сорвал кольцо. Прижимая белую металлическую планку взрывателя к ребристому корпусу, сержант сунул под живот кулак с гранатой.

— Ты что... Погоди,— сказал солдат, отползая в сторону,— не надо...

Сержант лежал на животе и молчал. Вверху зачернели фигурки — люди крадучись спускались вниз по склону. Под сержантом щелкнул

взрыватель, раздался утробный взрыв, сержанта встряхнуло и перевернуло на бок. Мятежники открыли огонь. Оставшийся в живых пулеметчик положил гранату на землю, выхватил из кармана носовой платок, замахал им над головой и закричал:

— Дуст! Хватит! Не надо! Не стреляй! Мондана бощи... хуб ести![1]

Зимой в Афганистане

В длинной и высокой палатке горела керосиновая лампа, она стояла на тумбочке в дальнем углу, там старослужащие играли в карты. Лампа багрово освещала табуретку, на которую падали карты, освещала лица игроков, струйки сигаретного дыма, освещала солдата, застывшего в проходе между двухъярусными койками.

Посреди палатки взмыкивала круглая железная печка, несколько молодых солдат, сидя на табуретках вокруг нее, помахивали «дедовскими» портянками — тореодоры на деревянных конях. Впрочем, трудно представить тореодора, который согласился бы сушить чужие портянки...

Кто-то дремал, полулежа на койке, кто-то лениво переговаривался; двое солдат, примостившись вблизи игроков, подшивали к воротам хлопчатобумажных курток полоски белой материи. Толстый солдат, задрав ноги в сапогах на спинку койки и сунув руки под голову, лежал и, глядя в сетку верхней койки, пел песни. Все песни были на один мотив, он их пел равнодушным негромким голосом,— машинально пел, думая о чем-то.

В палатке было тепло, сыро и пахло соляркой, табаком и грязной одеждой. Солдаты недавно поужинали и теперь, сытые и благодушные, дожидались вечерней поверки.

Толстый солдат пел: «Ни кола, ни двора, ни знакомой рожи. Водки нет, женщин нет, да и быть не может...».

Тореодоры неистово дразнили серыми вонючими тряпками печь, злобно раскрасневшуюся с одного бока.

Кто-то уже храпел.

Карты щелкали по табуретке. Старослужащие играли в дурака, они курили, отпускали реплики и не обращали внимания на тощего солдата, стоявшего рядом.

— Кажется, я останусь,— сказал плечистый рыжий парень в расстегнутой куртке. У него была выпуклая волосатая грудь, маленькая голова и длинные руки. Его звали Удмурт из Пномпеня. Он был русский из Удмуртии, и прежние «деды» прозвали его Удмуртом и почему-то из Пномпеня. Его и поныне за глаза так называли.

— А я на этот раз выкарабкаюсь,— с чувством сказал чернявый мелкий солдатик, белорус Санько, это фамилия у него такая была — Санько. Он бросил на табуретку козырную десятку.

— Ого,— сказал Остапенков.— Принял.

— А, ты принял,— пробормотал Удмурт из Пномпеня,— тогда живем.— И положил сразу две карты.

Сухопарый подвижный ушастый татарин Иванов впился своими круглыми ясными глазами в карты, покусал узкую губу острыми белыми зубками и побил эти две карты козырной шестеркой и червовой дамой.

---

[1] Дуст — друг; мондана бощи хуб ести — традиционное афганское приветствие.

Удмурт поглядел на глазастую даму с пышной прической и проговорил:

— Кого-то она напоминает.

— Валечку,— сказал Остапенков.

— У Валечки волосы темнее,— возразил Санько.

— Но глаза такие же, овечьи,— сказал Остапенков.

В дураках остался Иванов. Он собрал карты и начал ловко тасовать их своими цепкими сухими длинными пальцами. Остапенков похлопал себя по карманам, нашел сигареты, прикурил от лампы, затянулся и попробовал выпустить кольцо. Со второго раза получилось.

— Чарли Чаплин,— сказал он,— завещал миллион тому, кто сделает двенадцать колец и прошьет их струей, которая тоже должна превратиться в кольцо. Он был заядлый курец.

— Обалдеть,— сказал Удмурт.— Двенадцать.

— А что, если потренироваться? — Санько взял сигарету, прикурил и принялся пускать дым густыми порциями. У него ни одного кольца не получилось.

— Как раз миллион истратишь на курево, пока насобачишься,— усмехнулся Остапенков.

— Но, миллион,— ласково проговорил Удмурт из Пномпеня.

— Да, миллион,— повторил Остапенков и, выдержав паузу, быстро взглянул на солдата в проходе и спросил изменившимся голосом: — Так будем мы говорить, Дуля?

Солдат в проходе — его фамилию Стодоля переиначили в Дулю — смотрел на лампу и молчал. Это был послушный молодой солдат, с первых дней службы в полку ему, как и другим новичкам, вбили кулаками простую истину: если ты плюнешь на общество, оно утрется, а вот если общество плюнет на тебя,— утонешь.

Общество делилось на три касты: «чижей», «черпаков» и «дедов», у первых за плечами было полгода службы, у вторых — год, у третьих — полтора. Ни в какую касту не входили «сыны» и «дембеля»,— первые были внизу, под пятой общества, а вторые где-то сбоку, на обочине. По старой привычке «дембеля» могли потребовать среди ночи сигарету с фильтром или кружку воды в постель, но не злоупотребляли этим и вообще вели себя сдержанно и старались лишний раз не повышать голоса,— они доживали в казарме последние недели, и все прекрасно понимали, что хозяева в казарме «деды»; «дедам» оставалось служить еще полгода, «деды» могли вдруг разозлиться, припомнить былые обиды и, подняв все общество, отомстить горстке «дембелей» — такие случаи бывали в полку.

Общество жило по своим особым законам, невесть кем и когда придуманным. В основе этих законов лежала диалектическая формула: все течет, все изменяется, и кто был никем, тот станет «дедом», это неизбежно, как крах империализма. И спорить с этим было трудно. Да никто и не спорил. Не разрешалось. И это был один из законов: молчи, пока не спрашивают. Спрашивать имели право представители высшей касты. И если они спрашивали, нужно было отвечать. Это был другой закон. И его сейчас нарушал остроносый глазастый солдат по кличке Дуля.

Он стоял в проходе, смотрел на лампу и молчал.

— У тебя есть еще,— Остапенков посмотрел на часы, до поверки оставалось сорок минут,— еще полчаса.

— Да что там! Все ясно,— сказал Санько.— Тэк-с, ходим под дурака?

Санько положил карту на табуретку.

Иванов побил ее.

— У меня,— он помолчал, косясь на Дулю,— у меня имеются кое-какие факты, факты,— повторил он.

— Да? — спросил Остапенков.

— Да. — Иванов выбил ногтями по табуретке дробь.— Но после, после.

— Не тяни, выкладывай,— нетерпеливо сказал Санько.

Иванов покачал головой.

— Послушаем, что он плести тут будет.

Толстый солдат, певший себе под нос, с грохотом сбросил ноги на дощатый пол, встал, накинул плащ-палатку и вышел. Через минуты две он вернулся. С плащ-палатки стекала вода. Он снял ее у входа и встряхнул. Прошел к своей койке, повесил плащ-палатку на спинку и принял прежнюю позу, только ноги в мокрых и выпачканных глиной сапогах драть выше головы не стал, оставил их на полу. Он полежал, помолчал и завел новую песню: «Отбегалось, отпрыгалось, отпелось, отлюбилось. Моя хмельная молодость туманом отклубилась...»

Солдат по кличке Дуля стоял перед игроками, безвольно опустив плечи и сгибая то одну, то другую ногу в коленях. Он глядел на лампу. Свет лампы казался ему жарким, и глазам было больно, но он не отрывал глаз от пламени за мутным стеклом. Глядя на пламя, легче было молчать.

Когда-то это было. Он не мог отделаться от этого чувства. Мерещилось, что когда-то это было.

— Воды,— сказал, не отрывая глаз от карт, Удмурт.

Дуля охотно пошел за водой,— на ужин была пересоленная перловая каша с мочалистой соленой свининой, и его мучила жажда. Железный бачок с питьевой водой стоял на табуретке у выхода, он отвернул кран, набрал воды, быстро осушил кружку и хотел еще выпить, но Удмурт крикнул: чего ты там телишься! — и, нацедив воды, он вернулся и протянул кружку Удмурту. Удмурт жадно выпил воду.

Дуля опять застыл в проходе. Желтый свет лампы снова потек в глаза.

«Зря она все-таки»,— подумал он и тут же почувствовал стыд. Ему стало стыдно, что он так подумал, и стыдно потому, что он представил: она здесь, в этом длинном и темном жилище, она стоит где-то рядом и, ничего не понимая, глядит на него...

— Осталось двадцать минут,— сказал Остапенков.

Дуля поглядел на Остапенкова.

— Ну, что лупишься?

— Дать в лоб, сразу заговорит,— сказал Удмурт.

— Это успеется,— откликнулся Остапенков. Он хотел добавить, что дело тут непростое, но ничего не сказал, подумав, что это будет лестно для «сына» Дули. И так ему много чести оказано. С тех пор, как они прочли письмо, никто еще и пальцем не тронул Дулю, хотя он грубо нарушал один из законов общества,— не отвечал на вопросы старших. Не будь здесь Остапенкова, они бы, конечно, давно отлупили Дулю. Но Остапенков не давал. Его это дело по-настоящему заинтересовало. Было во всем этом что-то значительное и жутковатое. Они много раз допрашивали и наказывали, они потрошили молодых солдат, что называется, до костей, узнавая все: как жили молодые в миру, кем работали, много ли девочек совратили, какой цвет глаз и рост у их сестер, родных и двоюродных, сколько литров было выпито на проводах в армию; у женатых вытягивали тайны первой брачной ночи. Уж, казалось бы, что может быть интимнее и жутче первой брачной ночи? А тут Остапенков почуял: может. И это удивляло его.

— Ну, Дуля, смотри,— сказал Остапенков, тасуя карты. В этот раз он проиграл.

— Может, пускай сядет?— спросил Иванов.— Устал, да? Хочешь сесть?

Дуля нерешительно кивнул. Иванов вздохнул:

— Ну, тогда еще постой.

Удмурт, Санько и солдаты, слышавшие шутку, рассмеялись. Остапенков не смеялся. Его начинало бесить упрямство «сына».

Игра продолжалась.

Безумолчно выпевала свои огненные гимны печка. По палатке бил дождь. На дворе стояла зима, бесснежная, грязная, дождливая, с холодными туманами по утрам и ледяными полуденными ветрами.

Зимой служилось спокойно. Полк редко выходил на операции. В степях увязали даже танки, не говоря уж о колесной технике. Да и мятежники предпочитали зимой отдыхать,— высокогорные тропы и перевалы заваливало снегом.

Зимой было почти мирно, так, иногда какой-нибудь неугомонный вождь бросит свой отряд на дорожный пост где-нибудь в зеленой зоне,— зимой зеленые зоны, обширные виноградные плантации были белы и непролазны. Или мина сработает под колесом машины, идущей из Кабула с мукой или консервами в полк. Но с летней войной это ни в какое сравнение не шло. Летом полк проводил операцию за операцией. Летом по всей стране, в ущельях, в заоблачных высях, в песках пустынь, в глиняных зеленых старинных городах, укромных кишлаках — всюду стреляли, всюду рвались мины и гранаты, сверкали по ночам трассирующие очереди, пылили колонны, грохотали батареи, рушились дома и вытаптывались хлебные поля. Летом было жарко, пахло полынью, на обочинах дорог свежо чернели сгоревшие машины и лежали облепленные мухами, вспухшие, смердящие ослы с белыми глазами. Летом было жарко.

Ну, а пока стояла зима. И солдаты занимались мирными делами, скучали, толстели, делались бледнее и румянее.

До поверки оставалось десять минут. Дуле надо было сказать «да» или «нет», но он молчал. Он боялся сознаться, понимая, что до последних дней службы ему не дадут спокойно жить. Что происходит с человеком, когда внимание всего общества сосредоточивается на нем одном, он хорошо знал,— в полку было несколько «вечных сынов»: один неудачно стрелялся, другой пил мочу желтушника, чтобы два-три месяца провести в госпитале, третий разрыдался на своей первой операции. Они были посмешищем. Уже не общество одного подразделения, а союз обществ уделял им свое внимание. Любой едва оперившийся «чиж» мог остановить «вечного сына» и обозвать его или дернуть за ухо, или дать пинка, или заставить мыть полы в казарме, или чистить сортиры. «Вечные сыны» были вечно грязны и вшивы, они привыкли к своему особому положению, и, наверное, оно им казалось естественным,— скорее всего так, если они жили.

Но и сказать «нет» язык не поворачивался.

Раз я молчу, значит, да, со страхом думал он.

И потом это письмо. Он не успел его уничтожить. Письмо отобрал Иванов. Ей приснился скверный сон, и она написала это письмо, похожее на молитву, и в каждой строчке был Бог. «Деды» накинулись на Дулю с вопросами, но он молчал.

Иногда к нему приходила спасительная мысль: письмо написал не я, а моя девушка.

Чем дольше он молчал, тем труднее было молчать, и все страшнее что-либо сказать. И лучше было ни о чем и ни о ком не думать и ничего не вспоминать, но...

Пух реял в солнечном спертом воздухе над прохожими, газетными киосками, машинами; пух косо пролетал вдоль домов, касаясь пушистыми щеками каменных шершавых горячих стен, цепляясь за корявые края железных подоконников, и смело вплывал во все открытые форточки. Он хотел закрыть окно, но она сказала: пускай,— и окно было растворено, и в него влетал пух.

Покуда она варила на кухне кофе, он бродил вдоль книжных полок, занимавших две стены в зале, это была библиотека ее отца, хлебозаводского пекаря; там было много старинных книг, потертых, тяжелых, угрюмых; он высмотрел книгу с черной розой на корешке и раскрыл ее, это был сборник китайских поэтов эпохи Тан. Его насмешили заглавия стихов: «Изображаю то, что вижу из своего шалаша, крытого травой», «Рано встаю», «Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было на душе, когда я из столицы направлялся в Фынсянь», «Весенней ночью радуюсь дождю». Это было похоже на тополиные белые комья, доверчиво льнувшие к серым домам и влетавшие во все раскрытые форточки, и было похоже на ребенка, бегущего от матери навстречу незнакомому прохожему, и на человека, который идет по людной улице и, думая о чем-то смешном, не может совладать с губами, глазами, щеками и улыбается. У поэтов были шуршащие, звенящие и шепчущие имена: Ян Цзюнь, Ханьшань, Ван Вэй, Лю Чанцин, а одно было слабым ветром или дыханием спящего — Ду Фу.

Они читали вслух. Сначала читали попеременно, но у него плохо получалось.

Сычуаньским вином
Я развеял бы грустные думы —
Только нет ни гроша,
А взаймы мне никто не дает,

— читал он, и это выходило как-то плоско и обыденно, как если бы подросток жаловался товарищу на родителей, которые отказываются купить ему джинсы или магнитофон. Он это почувствовал и больше не читал. Читала она. И стихи были тем, чем они были: вздохами, слезами, весенними дождями, жалобами, травами, птицами, горами, башнями, деревьями, водопадами и снежинками величиной с циновку. Потом она начала читать стихотворение Ду Фу «Прощанье новобрачной»:

У повилики усики весною
Совсем слабы.
Так вышло и со мною:
Когда в деревне женится солдат,
То радоваться рано...

— и вдруг замолчала. Она опустила голову и закрылась книгой. Книга в ее руках вздрагивала. Он поцеловал побелевшие пальцы, влипшие в обложку, и она разрыдалась.

Это был еще только июль, впереди было два с половиной месяца, он надеялся поступить в институт и всерьез не думал об армии и тем более о войне, но она плакала и бубнила, что все плохо и плохо. Но почему же? — спрашивал он, а она отвечала: я не знаю, не приставай ко мне, уходи, не мешай мне заниматься.

Был только июль, начало июля, он просиживал дни над учебниками, готовился к вступительным экзаменам и ясно видел будущее: пять лет они проведут в институтских аудиториях и библиотеках, потом поедут учительствовать в какую-то далекую деревню за ело-

выми лесами и сизыми холмами; у них будет свой дом и свой сад, весною сад будет бел, осенью они станут собирать по утрам яблоки в корзины — вот и все. Правда, ей не хотелось в деревню. Но он был непоколебим. Еще в девятом классе он прочел «Житие протопопа Аввакума» и с тех пор был снедаем желанием как-нибудь положить жизнь на алтарь. Как положить свою жизнь на этот самый алтарь, он не знал, и мучился от мысли, что не найдет алтарь и впустую и скучно проживет. А в сердце тлели проповеди строптивца: «Опечалившись, сижу, рассуждаю: что делать? Проповедовать ли слово божие или скрыться где-нибудь? Потому что жена и дети связали меня.

И, видя меня печальным, протопопица моя приступила ко мне с осторожностью и сказала мне: что ты, господин мой, опечалился?

Я же ей подробно сообщил: жена, что делать? Зима еретическая на дворе; говорить ли мне или молчать? Связали вы меня!

Она же говорит: господи, помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я — ты же читал апостольскую речь: если ты связан с женою, не ищи разрешения; когда отрешишься, тогда не ищи жены! Я тебя вместе с детьми благословляю: дерзай...»

И только под конец школьной жизни он отыскал этот алтарь, читая о народниках, уходивших учительствовать в деревню.

Они еще готовились к экзаменам, но спорили так, будто завтра-послезавтра получают дипломы. Она предлагала компромисс: три года, как того требуют правила, отработать в деревенской школе и вернуться. Но несгибаемый Петрович нашептывал ему другое, и он доказывал, что ехать нужно навсегда, до гробовой доски, и жить в глуши, и просвещать все такой же темный, несмотря на электрификацию плюс телевизор, народ. И к тому же, думая о будущей жизни в деревне, он влюбился в белый сад и в деревянный дом с широкими окнами и большой, основательной, как средневековый замок, печью.

В окно, медленно переворачиваясь, вплывали белые комья, и впереди было пять лет учебы в институте и долгая жизнь в доме, вокруг которого белеет сад, а она закрывалась книгой и плакала.

В институт он не поступил.

Он вздрогнул, услышав резкий звук. Это Остапенков бросил карты на табуретку.

— Ты что, язык сожрал? — спросил он сквозь зубы.

— Да козе понятно,— сказал Санько,— ну. Чего он молчит? И чего баба в письме через слово божится, ну. Надо замполиту сказать и ротному.

— Нет, сами разберемся,— отрезал Остапенков.— Не отмолчится. Уж как-нибудь развяжем язык. Или я не я.

— Не, но козе ж понятно,— возразил Санько.

— Мы не козы,— ответил Остапенков и заиграл желваками.

— Ну вот что,— тихо и решительно проговорил татарин Иванов. Он поднял свои круглые ясные глаза и уставился на Дулю.— У нас в леспромхозе,— не торопясь, заговорил он,— был один баптист. Или там адвентист седьмого дня.

Удмурт засмеялся.

— Короче, святоша,— продолжал Иванов.— Я знаю эту породу. Изучил. Ты ему, например, по пьяни скажешь чего прямо в глаза, а он, как девочка перед первым абортом...

— Значит, уже не девочка,— заметил Удмурт.

— Как перед первым абортом: побледнеет и задрожит. Ответит: зачем вы это говорите, зачем вы так.

— А ты ему в рог,— сказал Удмурт.

— Да-а, мараться.— Иванов брезгливо повел плечами.

— Ты говорил — факты, какие? — нетерпеливо спросил Остапенков.

— Будут факты. Алеха! — крикнул Иванов.— Ко мне!

С табуретки сорвался один из тореодоров, круглый, низкорослый, смуглый парнишка. Он прибежал, остановился, шмыгнул вздернутым носом, оглядел текучими глазами лица «дедов» и бойко сказал: «Я!»

— Глядите на них,— предложил Иванов.

Все поглядели на двух «сынов».

— Ну, Алеха, как оно? Как житуха? — спросил Иванов.

Алеха взглянул на него вопросительно и, что-то такое прочитав в его глазах, ответил довольно развязным тоном:

— Нас е..., а мы мужаем!

— Хах-ха-хах!

— Пфх-ха-ха-ха!

— Ну, Алеха, иди,— с доброй улыбкой сказал Иванов. — Видели? — спросил он у товарищей.

— Ну, видели, и что? — спросил Санько.

Иванов посмотрел на него с отеческой укоризной.

— Я давно замечал, я с первого дня это заметил, что этот Дуля, эта Дуля не такая, не такой, как все. Все сыны как сыны, а... Ну, вот вам первый факт,— веско сказал он.— Кто слышал, как Дуля матерится? Кто,— он повысил голос,— помнит, чтобы Дуля ругался?

В палатке все притихли. К месту судилища потянулись любопытные. «Деды» подходили и усаживались, ухмыляясь, на кровати и табуретки. Приближались и «черпаки»; «сыны» и «чижи» слушали издали, вытягивая шеи и пугливо косясь друг на друга.

— Вот так,— сказал Иванов.— Это первое. Второе. Когда кого-нибудь били, ну, уму учили, у него глаза были, как у девочки перед первым абортом...

Дверь в палатку приоткрылась, и показалась голова дневального.

— Ротный! — округляя глаза, крикнула сипло голова и исчезла.

Тореодоры подхватились с табуреток и заметались по палатке, разгоняя портянками табачный дым. «Черпаки» и «деды» — по законам общества им можно было сидеть и лежать в одежде на койках — вставали, оправляли постели и рассасывались по углам.

— Давай сюда портянки! — истошным шепотом крикнул Удмурт, и «сыны» побежали отдавать почти сухие, теплые портянки.

Дверь отворилась и, нагнувшись на входе, чтобы не удариться головой о притолоку, в палатку шагнул старший лейтенант.

— Р-рота-а! — закричал диким голосом дежурный сержант. — Смиррр...

— Отставить,— сказал старший лейтенант, выпрямляясь и проходя на середину.

Он был высок, строен, широкоплеч, у него были насмешливые темные глаза, маленькие твердые губы, раздвоенный подбородок, небольшие густые усы и шрам от левого уха до кадыка.

Он огляделся, обернулся к шумящей печке и покачал головой.

— Приглушить,— обронил он, и «черпак» закрутил вентиль на бачке с солляркой.

— Сказано ведь было,— проговорил ротный.

Неделю назад до сведения полка было доведено случившееся в части под Кандагаром, там сгорел в палатке взвод,— дневальные и дежурный уснули, кипящая солярка вытекла из печки и поплыла по дощатым полам.

Продолжая смотреть на алый бок печки, старший лейтенант спросил солдата, стоявшего у него за спиной:

— Воронцов, что у тебя в руках?
— Ничего, товарищ старший лейтенант,— ответил честным голосом Воронцов. Это был Алеха.
— Уже ничего.— Ротный вздохнул. — А что было?
— Ничего.
— Остапенков, иди сюда,— позвал скучным голосом ротный.
Остапенков вышел на середину. Ротный повернулся к нему.
— Ну скажи: товарищ старший лейтенант, рядовой Оста-а-пенков по вашему приказанию прибыл. Мы ведь не в колхозе, что ты?
— Товарищ старший лейтенант,— начал докладывать Остапенков, застенчиво улыбаясь.
— Что тебе передал Воронцов? — перебил его ротный.
— Ничего. Мне — ничего.
— А кому? Удмурт, тебе?
— Никак нет! — рявкнул Удмурт.
— Воронцов,— сказал ротный.— Вот, допустим, иду я по улице твоей деревни. И встречаю, значит, тебя, Воронцова. Ты с девочкой, при галстуке...
— Я,— лыбясь, сказал Воронцов,— селедку не ношу, западло.
— Не вякай, если не спрашивают,— громко прошептал Иванов.
Ротный продолжил:
— И вот встречаю, значит, тебя. С девочкой. Без селедки. В джинсовом костюме. Ты ведь уже копишь чеки на джинсовый костюм? Или не копишь?
— Не коплю.
— А что так? Все копят. Куда же ты их деваешь? Отбирают, мм?
— Нет. Я все на хмырь трачу,— поспешно пробормотал Воронцов.
— «Хмырь», «западло»,— поморщился старший лейтенант.
— Ну, на печенье, на конфеты там...
— Не нукай, не на конюшне,— опять послышался шепот Иванова.
— Ладно. Встречаю я тебя, разуваюсь, снимаю драные свои носки, которые не стирал год, протягиваю тебе и говорю: быстренько выстирай и высуши, а то я тебя вы...,— он сругнулся,—и высушу.
Все засмеялись.
— Что бы ты мне ответил? Дал бы раз промеж глаз, и весь сказ. Так?
— Куда ему против вас,—сказал кто-то из «дедов».
— Ну, дружков бы свистнул или кувалду какую-нибудь схватил бы. Так?
— Нет, — преданно глядя на ротного, ответил Воронцов.
Ротный улыбнулся.
— Ну не я, кто-то другой. Какая разница. Вон Стодоля, например. Вот что бы ты ему ответил?
Воронцов посмотрел на Стодолю.
— Ему? Ха-ха.
— Вот именно. Так какого же ... ты здесь не посылаешь всех этих на ...? Говори, кому портянки сушил,— строго сказал ротный.— Или пойдешь на губу.
— За что? — растерялся Воронцов.
— За все хорошее. И почему в палатке воняет дымом? Ты, что ли, накурил, Стодоля?
Все опять рассмеялись. Стодоля был единственным некурящим в роте.
— Ты, да?
Стодоля покачал головой.
— Не ты. Кто же? Ну, отвечай.
Стодоля молча глядел на него.

— Почему молчишь?
Все настороженно затихли.
— Я не знаю, не видел,— чугунным голосом ответил наконец Стодоля.
— Конечно, откуда тебе знать. У тебя голова занята чем угодно, только не службой, текущую действительность, так сказать, ты не замечаешь, спишь на ходу. Что мне, беседовать с вами в закутках? Чтоб никто не видел и не слышал, да? Или, может, вы мне анонимки начнете присылать? Заведем такую моду? Никто ничего не знает, никто ничего не слышит, их кантуют, они молчат, им квасят носы и фонари ставят, они: упал, шел, поскользнулся, очнулся — фонарь. Ну, когда-нибудь я вас всех распотрошу! Не улыбайся, Остапенков, ты первым пойдешь в дисбат! — Ротный замолчал и взглянул на часы.— Полковая поверка отменяется,— сказал он.
Солдаты радостно загудели.
— Дождь. А на носу Новый год. Так... Ну, все вроде на месте? Дежурит сегодня кто? Топады. Топады, кто у тебя дневальные?
Сержант Топады назвал три фамилии.
— Опять все молодые. Так не пойдет. Переиграем. Удмурт будет дневалить, Иванов и Жаров. Вопросы? — Ротный снова посмотрел на часы и направился к выходу.— Через полчаса отбой, приду проверю, засеку кого в вертикальном положении — пеняй на себя. Службу, дневальные, не запорите. Все.
— Я не буду дневалить,— сказал Жаров. Это был толстый солдат, весь вечер певший себе под нос песни. Он был «дембель», последний из могикан,— все его товарищи еще месяц назад уехали в Союз, домой, а его задержали из-за драки с прапорщиком.

Этот прапорщик имел обыкновение сидеть в офицерском туалете по вечерам и следить в дверную щель за мелькавшей над занавесками в освещенном окне кудрявой головой. У Вали, машинистки из штаба, в полку был богатый выбор, и прапорщику, нехорошему лицом, худосочному и потасканному, как говорится, не светило. И по вечерам он сидел в туалете напротив ее окна. В тот злополучный вечер прапорщик перевозбудился, увидев между занавесками белую грудь и кусок живота. Посреди ночи он проснулся; он ворочался, ворочался, но так и не смог заснуть,— все эта грудь с коричневой вершинкой и белый кус живота мерещились; прапорщик встал, оделся и пошел, сам не зная, зачем, под окно Валечки. Окно оказалось приоткрытым, он отворил створки, полез в комнату и увидел белеющие в темноте задыхающиеся тела, тут же одно тело подскочило, и прапорщик слетел с подоконника, заливая мундир кровью из носа. Прапорщик молча поднялся и опять полез в окно и вывалился вместе с полуодетым солдатом. Они катались по земле, хрипя и колотя друг друга. Валечка закрыла окно и смотрела на них, кусая губы и злобно охая. Командир танкового батальона, вышедший по нужде, увидел их и, решив, что в полк проникли враги, вбежал в офицерское общежитие и крикнул: «Тревога!» На допросе, который вел сам начальник штаба, прапорщик врал, что увидел, как кто-то пытается открыть окно, и схватил взломщика, а тот начал драться, а Валечка твердила, что ничего не знает, солдата видит впервые, прапорщика тоже,— она спала, а потом услыхала шум, крики, стрельбу. Жаров нес дичь, спасая Валечкину репутацию, которая была давно и до последней нитки промочена. В конце концов начштаба запутался в этой истории, прекратил дознание, отчитал Валечку и прапорщика, а сержанта Жарова разжаловал, упек на десять суток и пообещал, что Новый год тот встретит в полку, а не дома.
— Не козлись, Жаров,— мягко сказал ротный.— Ты же знаешь,

я давно отпустил бы тебя, но... По мне — лежи ты лежмя сутками. Но командование интересуется, служишь ты или груши околачиваешь. Не могу же я врать, посуди сам.

— Не буду я дневалить,— равнодушно повторил бывший сержант. Он снял ремень.— Пишите записку начкару.

— На губе сейчас холодно.

— Пишите,— угрюмо сказал Жаров.

— Ты мне надоедать начинаешь.

— Пишите.

— Напишу, а что ты думаешь.

— Пишите.

Старший лейтенант крякнул:

— Ладно, еще успеешь насидеться на губе.— Вздохнул: — Возьму грех на душу. Кто там? Аминджонов, будешь третьим дневальным. И не трепитесь! — громко сказал он всем.

Солдаты откликнулись восхищенным гулом. Старший лейтенант вышел под дождь, зная, что они любят его еще больше.

Картежники вернулись в свой отсек, зачиркали спичками, прикуривая. Жаров разделся и лег, укрывшись байковым одеялом, хотя до отбоя оставалось полчаса. Алеха Воронцов наполнил три зеленых обшарпанных котелка водою и поставил их на печку. Примолкшая печка опять расшумелась,— вентиль был лихо повернут против часовой стрелки.

Иванов и Удмурт были злы, дневалить им совсем не хотелось. Остапенков подошел к Алехе Воронцову, сидевшему возле печки с целлофановым мешком трофейного чая. Почуяв недоброе, Алеха с виноватой гримасой на лице встал. Он готовился выполнить приказ: «Душу к бою!» Этот странный приказ никому никогда не казался странным, услышав его, нужно было просто выпятить грудь и получить удар кулаком по второй пуговице сверху,— в бане сразу были видны непонятливые и нерасторопные «сыны» и «чижи», посреди груди у них синели и чернели «ордена дураков» — синяки. Воронцов приготовился к удару в «душу», ведь он опростоволосился три раза: не успел вовремя передать портянки «дедам», вякал, когда не спрашивали, и нукал, как на конюшне.

Но Остапенков положил ладонь на плечо Воронцова и сказал:

— Садись. Чай покрепче чтоб.

— Есть!

Остапенков помолчал и вдруг спросил:

— Слушай, мог бы ты дать пощечину Дуле?

— Дуле?

— Ага.

— За что?

— Так. Если мы тебя очень попросим. Один эксперимент надо провести.

Воронцов растерянно заморгал и пробормотал:

— Не, но как? Надо за что-то...

— Найдем, за что.

— Да? Я не знаю... Если очень нужно...

— Очень. Мы потом тебя разбудим,— сказал Остапенков.— Забацай чай и ложись, а после мы тебя поднимем.

Остапенков прошел в свой отсек, где его ждали Иванов, Удмурт, Санько и еще несколько «дедов» и два «черпака», друживших с «дедами».

— А где этот?—спросил Остапенков.

— Нету. Видно, побежал вычерпывать из штанов,— сказал один «черпак».

— А кто ему разрешил? — спросил Остапенков. Он окликнул дежурного сержанта. Сержант сказал, что в туалет отпросились Бойко и Саракесян, а Дуля не отпрашивался. У Остапенкова вытянулось лицо. Это уже было ни на что не похоже,— все «сыны» и «чижи» обязаны были докладывать, куда и на какое время они отлучаются по личным делам. Как правило, по личным делам они уходили из палатки только в туалет. Правда, «чижам» позволялось еще навещать своих земляков в других подразделениях и библиотеку, «сынов» же не пускали ни к землякам, ни в библиотеку. Впрочем, в библиотеку пойти не возбранялось, но при одном условии — если «сын» знает наизусть устав караульной службы,— разумеется, никто и не пытался сдавать экзамены, чтобы получить право на посещение библиотеки.

— Да брось ты,— сказал Иванов,— на стукача он не похож. Я изучил эту породу, у них есть понятия.

— А что, запросто пойдет и заложит,— тихо проговорил Санько, вспоминая, бил ли он когда-нибудь Дулю или только обзывал.

— Пусть только попробует,— сказал Удмурт, почесывая мохнатую грудь.

— Он просто запамятовал, что он «сын»,— сказал Иванов.

Остапенков закурил. Он затягивался дымом и задумчиво вертел в пальцах обгорелую, скуксившуюся спичку.

— А если заложит, ну? — спросил Санько.

— Да бросьте вы, мужики,— сказал второй «черпак».

— В туалете сидит,— сказал «дед».

Помолчали.

— Скоро там отбой? — спросил Санько.

Остапенков хмуро посмотрел на него.

— Сначала с ним разберемся,— сказал он.

Прошло десять минут, двадцать, из туалета вернулись Бойко и Саракесян. Дулю они не видели.

— Мелюзга и черпаки пускай ложатся, а мы это дело доведем до конца. Отбивай, Топады,— сказал Остапенков.

Дежурный сержант-молдаванин посмотрел на часы и гаркнул: «Отбой!»

Все начали укладываться: «чижи» торопливо, «черпаки» неспешно, а «сыны» молниеносно,— грохоча сапогами, лязгая пряжками и треща пружинами коек.

«Деды» и два «черпака» пили черный чай, потея и громко сопя. К чаю были галеты и сахар. Галеты отдавали плесенью. Зимой все отдавало плесенью: чай, макароны, супы, порошковая картошка и хлеб. Имевшие знакомства на продуктовом складе хлеб не ели, носили в столовую галеты. Хлеб выпекали в полку. Буханки были плотные, низкие, заскорузлые, кофейного цвета, пахнущие хлоркой и очень кислые,— от этого хлеба весь полк мучился изжогой, доводившей до рвоты. Офицеры питались другим хлебом, пшеничным — высоким, мягким, светлым,— офицерским хлебом. Хорошей муки и сильных дрожжей мало присылали в полк. Война есть война.

— Нет, ему же это невыгодно,— сказал Иванов.— Его самого по головке не погладят: стукач да еще верующий.

— А мне брат рассказывал,— вспомнил первый «черпак».— У них на корабле — он на море служил — тоже выискался один. На берег служить проперли.

— И все?

— И все. Верующие служат, это баптисты вообще отказываются. Им легче в тюрьму, чем присягу с автоматом... козлы. Значит, этот не баптист, а просто.

— Не, ну а че мы ему такого сделали? — спросил Санько.— Я, к примеру, и пальцем его не тронул, ну. Кантовали понемногу, как всех. А что ж, пускай бы он барином, да? Все через это прошли. Они Хана не застали, счастливчики. А мы что, на пятках у него бычки тушим? Или зубы выбиваем? Или вон — помните?— Цыгана Хан связал и заставил всех плевать ему в лицо.

— И доплевались. Цыган, наверное, лупит и сейчас по нашим колоннам, сука. Поймать бы,— сказал один из «дедов».

— Хан сейчас тоже лупит — парашу где-нибудь под Воркутой.

— Вот бы Цыгана поймать.

— Он, небось, в Чикаго виски глушит.

Санько встал и, громко зевнув, сказал:

— Ну, ладно.

— Куда? — остановил его Остапенков.

— Спать. Я нынче чтой-то плохо спал... — пробормотал Санько и сел на место.

— Пока до Воркуты в гости к Хану будешь чухать на поезде, и отоспишься,— смеясь, сказал Удмурт.

— Искать пойдем,— сказал Остапенков.

— Такой дождь,— уныло сказал второй «черпак».

Остапенков обернулся к нему.

— Не понял,— проговорил он,— что вы тут делаете?

— Да мы...— «Черпак» смущенно улыбнулся.

— Пойдем, Серега, спать,— позвал его первый «черпак», и «черпаки» ушли, пришибленно улыбаясь.

— Я тоже думаю, что капать он не пойдет,— сказал Остапенков.

— Значит...

— Одно из двух: сидит у какого-нибудь земляка или ползет мимо КПП.

— Я этому гороховому шуту роги поотшибаю, я ему...— Удмурт осекся.— Слыхали? — Послышался второй взрыв. Минуту спустя опять бухнуло. Солдаты вышли на улицу, в темноту и дождь.

— Первую батарею обстреливают,— сказал дневальный.— Минометы.

На краю полка в черноте пыхнули огни и раздались деревянные звуки — батарея открыла ответный огонь из гаубиц.

— Как бы тревоги не было,— пробормотал Санько.

Разорвались мины, и тут же им ответил хор гаубиц: бау! бау! б-бау-у! На краю полка закраснели трассирующие очереди,— пересекаясь, они уходили во тьму. Треск автоматов был едва различим в неумолчном хлюпанье и стуке дождя по крыше «грибка». Мины стали рваться чаще. Заработали пулеметы и скорострельный гранатомет. Лил дождь, гаубицы кричали: бау! бау! — и ночь с мясистым треском разрывалась, брызжа во все стороны огнем.

«Деды» вернулись в палатку. Они стояли возле печки, курили и молчали. Возможность тревоги тяготила, воевать ночью под зимним дождем не хотелось, хотелось залезть под одеяло и, послав все к черту, погрузиться в домашние сны.

— Вот же! А? — сказал тонким чужим голосом Санько.

— Что? — резко спросил Остапенков.

— Что, что! Да хрен с ним, пускай он хоть икону на пузе таскает!

— Да? — Остапенков прищурился.— А если мне завтра с ним в бой? В атаку, мм?

— Вот именно,— поддакнул Иванов.

— Он же убежит,— продолжал Остапенков,— бросит автомат и смоется, тебе будут шомполом глаза прокалывать, а он будет сопли пускать и уносить ноги, а? Этих баптистов и адвентистов... на полюс всех, чтоб не воняло здесь ладаном! К ... матери! К ... матери!

— Я эту породу изучил. А к этому одуванчику давно присматриваюсь,— сказал Иванов. — Как он на того пленного смотрел...

— Он чистеньким хочет!.. Но ни хрена! — Остапенков потряс кулаком.— Ни хрена. Лучше пускай сразу вешается. Или он станет настоящим разведчиком, или пусть убирается, в разведроте ангелочкам не место.

— Остап,— вдруг послышался насмешливый голос сбоку,— а Остап.

Остапенков вздрогнул и обернулся. Сквозь прутья спинки койки на него глядел бывший сержант Жаров. Он лежал под одеялом, заложив руки за голову.

— Не бойся, это я,— сказал Жаров.

— Я боюсь? Тебя, что ли? — Остапенков расслабил усилием воли мышцы лица, но улыбка вышла судорожной — дернулись щеки, дрогнули губы, шевельнулись брови, и опять лицо затвердело.

— Ну, теперь ты меня не боишься,— сказал мирно Жаров.

— Я тебя никогда не боялся.

— Это тебе так кажется сейчас. Блазнится. Мне тоже иногда блазнится, что я Хана не боялся. А боялся, хоть был одного призыва с ним.— Жаров взял с тумбочки пачку, вытащил сигарету и закурил.— Я тут смотрел, как вы потрошите этого сына, и... Сказать тебе, Остап, одну вещь?

— Ну.

— Жалеть будешь. Потом.

— Я-а? Ха-ха-ха.

Скрипнула дверь, все обернулись и увидели в проходе человека с почерневшим лицом. Он стоял в дверном проеме, с него густо капало, и за его спиной шелестела, хлюпала и взрывалась ночь. Дневальный пихнул его в спину и затворил снаружи дверь. Стодоля молчал. Все смотрели на его сырой, обвисший бушлат, старую, давно отслужившую свой срок шапку с подпаленными ушами, на разбитые огромные грязные кирзовые сапоги, на его синие губы, мокрый острый нос и ямы глаз.

— Ты вон к печке иди,— сказал Удмурт.

Остапенков бросил взгляд на Удмурта и снова вперился в Стодолю.

— А-а,— хрипло сказал Остапенков,— явление...

Стодоля молчал.

— Где был? — спросил Остапенков.

Стодоля поднял на него глаза, пошевелил губами.

— Что-о? Не слышу!

— Я верую,— повторил Стодоля.

Марс и солдат

1

В комнате было светло,— ночью выпал снег. Первый снег всегда радовал и бодрил, но нынче старику было нехорошо. Он проснулся, увидел белую Москву и вдруг подумал, что этот первый снег — последний. Старик прогнал эту мысль, черную мысль о белом снеге, он

заставил себя думать о других вещах, и он думал о других вещах, но что-то там внутри сохло от тоски, ныло и саднило. И ведь боли утихли в старом теле, и сердце стучало ровно, и голова ясна была, а мулторно было на душе. Старик грустно зевнул и нахмурил густые черные брови.

После завтрака старик в синем спортивном шерстяном костюме сидел в кресле, сложив белые рыхлые руки на мягком большом животе, и глядел слезящимися глазами на белую Москву, на свою белую огромную Москву...

2

Сорокопутов покатался по тесному темному гроту и немного согрелся; он скорчился, подтянул колени к груди и замер. Руки, схваченные за спиной веревкой, были тяжелы и полумертвы. Время от времени он шевелил пальцами, но кровь все равно слишком медленно просачивалась в сдавленных сосудах, и кисти мерзли и немели все сильней. Сорокопутов не знал, сколько времени он провел в этой каменной щели, может, день, может, сутки. Хотелось пить и курить.

Было холодно. Сорокопутов лежал на боку, свернувшись калачом, и слушал глухие звуки боя, возобновившегося недавно. Ватно ударяли по горам снаряды. Это вселяло надежду. Впрочем, надежда ни на миг не покидала его, он с самого начала знал, что это чушь и бред, и вот-вот он услышит крики «ура!», тяжелая плита отодвинется, и ловкие заботливые руки вытянут его из этого склепа, разрежут веревку, поднесут горящую спичку к сигарете. «Ну, Сорокопут, как же это тебя угораздило?» — «Да черт его знает, мужики. Как-то так получилось. Как во сне».— «Ладно, Сорокопут, зато будет что порассказать на гражданке».

Он знал, что именно так все и закончится. Было такое предчувствие, предчувствие удачи никогда еще не подводило. Все будет хорошо, надо запастись терпением и ждать.

И Сорокопутов лежал на камнях, прислушивался к взрывам и ждал.

3

«Как это у поэта? То ли снег, как черемуховые лепестки, то ли цветущие черемухи будто снегом занесены,— подумал старик в синем спортивном костюме, глядя в просторное окно на заснеженный город.— Скорее бы весна... Дожить бы». Он взял томик своего любимца. В печали он любил читать эти стихи, хотя от них на душе делалось еще грустнее. «Все они рты поразевали бы»,— мелькнула мысль. Он вообразил этих всех с разинутыми ртами,— глядят круглыми бараньими глазами на томик стихов в державных руках. Он и этот поэт, гуляка, скандалист, бабник и самоубийца. «Да! Люблю!..» — мысленно сказал старик всем этим и горько улыбнулся. Он надел очки в золотой оправе, раскрыл томик, медленно перелистнул несколько страниц и нашел про снег и черемуху: «Сыплет черемуха снегом...»

Все будет хорошо. Главное, чтобы не покинуло предчувствие удачи. Главное... Да, главное... что главное? Ну... это...

Сорокопутов висел на суку над мутной далекой рекой, руки были связаны, и он держался за сук зубами; зубы с треском выкорчевывались из десен, выплевывать их он не мог, приходилось глотать твердые зубы. Сейчас он сорвется и рухнет в реку и убьется. Он сорвался и полетел вниз, плавно опустился в воду, напряг руки, веревка лопнула, и он поплыл. Светило солнце, вода была тепла, по берегам краснели крупные цветы на зеленых кустах. Низко над водой летали какие-то неуклюжие птицы, ласковые пушистые птицы с женскими глазами, они задевали его крыльями, и он смеялся...

Сорокопутов проснулся и подумал, что когда-то видел этот сон. Или нет, это было на самом деле. Да, было. Он с другом рыбачил в конце мая на Днепре, было жарко, и они купались, а в небе носились чайки и парили цапли и аисты. Выкупавшись, они лежали на песчаной косе, на желтой горячей косе. Вечером сидели у костра, пили чай и слушали, как плещутся щуки, а ночью шел дождь, и утром вокруг палатки зацвел шиповник.

Звуки боя стали ближе. Где-то совсем рядом рвались гранаты и неумолчно бил крупнокалиберный пулемет.

Что там? День? Ночь?

Ура!.. Ну, кричите «ура!» — косите духов очередями и выпускайте меня на волю, ну, где вы, трусы!..

Сорокопутов ждал.

Главное вот что: не потерять веру. Гибнут до времени все те, кто не верит в свою счастливую звезду. А он верит. Он знает, что скорей солнце развалится на куски. До срока уходят слабоверцы и те, кто не понимает жизни и не знает, что такое счастье. А он понимает и знает — это ночной дождь и зацветший утром шиповник.

Сорокопутов вздрогнул, услышав каменный скрежет. Плита отодвинулась, и в грот ворвался резкий свет, как если бы сюда направили лучи десятков мощных прожекторов. В грот хлынули звуки очередей и взрывов, Сорокопутов оглох и ослеп. Чьи-то руки схватили его за ноги и выволокли из каменной щели.

Он жмурился и ничего не видел. Потом он различил яркое небо и белые вершины и увидел над собой людей в длиннополых рубахах, меховых безрукавках, шерстяных накидках, чалмах и каракулевых шапках. Свет выбил из его глаз слезы, капли медленно потекли по грязным щекам. Над головами людей с темными осунувшимися лицами висели занесенные первым снегом вершины. Стылый воздух дрожал от взрывов и очередей.

Один из мужчин, широкоплечий и седобородый, сделал знак рукой — встать. Сорокопутов поспешно встал. Стуча зубами, он стоял на дрожащих, подгибающихся ногах и смотрел в глаза седобородого, у седобородого были усталые, темные, влажные глаза. Сорокопутов с надеждой глядел в них.

Седобородый кивнул, и слева и справа ударили очереди, огненный ветер вспучил грудь Сорокопутова, он упал на спину, перевернулся на бок, скрючился и начал сучить по свежему снегу ногами, мыча и выдувая носом алые пузыри.

5

Старик в кресле у окна читал стихи. Он читал про суку и ее щенят, про корову и ее теленка, про клен опавший, про избы с голубыми ставнями, про ушедшую молодость, отцветшие черемухи и яблони. Он вздыхал и пошевеливал черными молодыми бровями.

Старик перевернул толстыми белыми пальцами еще одну страницу, он погрузился в новое стихотворение, и его тяжелое пористое лицо дрогнуло:

Мы умираем,
Сходим в тишь и грусть,
Но знаю я —
Нас...

Старик сжал губы и насупил брови. Он продолжал читать:

Но знаю я —
Нас не забудет Русь...

У старика задрожала выпяченная нижняя губа, задрожала нижняя челюсть, задрожала голова, и увесистая соленая капля шпокнула по странице.

Пир на берегу фиолетовой реки

Всю ночь штабные скрипели перьями. Всю ночь возле штаба толпились солдаты, отслужившие свой срок. Увольнение задержали на три месяца. Все это время солдаты, отслужившие свой срок, считали, что они живут чужой жизнью; они ходили в рейды и иногда гибли. Вчера они вернулись из очередного рейда и не сразу поверили приказу явиться в штаб с военными билетами. Всю ночь штабные оформляли документы. Эта ночь была душной и безлунной, в небе стояли звездные светочи, блажили цикады, из степей тянуло полынью, от длинных, как вагоны, туалетов разило хлоркой, время от времени солдаты из боевого охранения полка разгоняли сон короткими трассирующими очередями,— эта последняя ночь была обычной, но тем, кто курил у штабного крыльца в ожидании своей очереди, она казалась сумасшедшей.

Наступило утро, и все уволенные в запас выстроились на плацу.

Ждали командира полка. Двери штаба отворялись, и на крыльцо выходил какой-нибудь офицер или посыльный, а командира все не было.

Но вот в сопровождении майоров и подполковников, плотных, загорелых и хмурых, по крыльцу спустился командир. На плацу стало тихо. Командир шел медленно, хромая на левую ногу и опираясь на свежевыструганную трость. Командир охромел на последней операции — спрыгнул неловко с бронетранспортера и растянул сухожилие, но об этой подробности почти никто не знал. Командир шаркал ногой, слегка морщась, и все почтительно глядели на его больную ногу и на его трость и думали, что он ранен.

Остановившись посредине плаца, командир взглянул на солдат.

Вот сейчас этот суровый человек скажет какие-то странные теплые слова, подумали все, и у сентиментальных уже запершило в горле.

Постояв, посмотрев, командир ткнул тростью в сторону длинного рыжего солдата, стоявшего напротив него.

— Сюда иди,— позвал командир.

Солдат в зауженной, ушитой, подправленной на свой вкус форме вышел из строя, топнул каблуками, приложил руку к обрезанному крошечному козырьку офицерской фуражки и доложил, кто он и из какого подразделения. Командир молча разглядывал его. Солдат переминался с ноги на ногу и виновато смотрел на белую деревянную трость.

— Ты кто? Балерина? — гадливо морщась, спросил командир.

Командир так и не успел сказать прощальную речь своим солдатам,— пока он отчитывал офицеров, не проследивших, что подчиненные делают с парадной формой, пока он кричал еще одному солдату: «А ты? Балерина?», пока он кричал всем солдатам: «Вы балерины или солдаты, мать вашу...»,— из Кабула сообщили, что вертолеты вылетели, и посыльный прибежал на плац и доложил ему об этом. Командир помолчал и, махнув рукой, приказал подавать машины.

МИ-6, тяжелые и громоздкие вертолеты, не приземлялись в полку — для взлета им нужна хорошая площадка, в полку ее начали строить, но никак не могли продолжить и закончить,—и поэтому крытые грузовики с демобилизованными солдатами поехали под охраной двух бронетранспортеров в центр провинции, где был военный аэродром.

От полка до города было не более пятнадцати километров, дорога шла по ровной и пустой степи, так что нападения можно было не опасаться. Вот только забыл командир пустить впереди «трал» — тяжелую толстостенную машину навроде танка, выдавливающую мины; у командира нога ныла, да и вообще дел было невпроворот — через два дня полк выступал на Кандагар.

Машины катили по пыльной дороге, старательно объезжая старые и свежие воронки.

Вдоль дороги зазеленели картофельные и хлебные поля, потянулись запыленные пирамидальные тополя, колонна въехала в город, и все стали последний раз глядеть на город. Они смотрели на глиняные дома, башни, дувалы, желтые арыки, грязные сточные канавы и неправдоподобные сады с ручьями, цветниками, лужайками и беседками; на купола мечетей и на покрытые цветочным орнаментом глиняные пальцы минаретов, на прилавки дуканов, заваленные всякой разноцветной всячиной, на украшенных бумажными цветами маленьких лошадей, запряженных в легкие повозки, на бородатых, рваных, босых нищих, возлежащих в тени платанов, на женщин в чадрах, на мальчишек, торгующих сигаретами и презервативами, на ослов с вязанками хвороста...

На аэродроме штабные и офицер из полка, приехавшие вместе с демобилизованными, построили всех в две шеренги, и началось то, что у солдат называлось шмоном. Офицеры приказали все вещи вынуть из портфелей, «дипломатов» и карманов и положить на землю. Они быстро двигались вдоль шеренг, иногда останавливаясь, заглядывая в портфель, принуждая кого-нибудь выдавить зубную пасту из тюбика, прощупывая чей-нибудь погон или фуражку. Анашу ни у кого не нашли. Нашли и отобрали коран, четки, колоду порнографических карт, пакистанский журнал с фотографиями затравленных пленных, окруженных улыбающимися усачами в чалмах. А у Нинидзе отняли пять штук солнцезащитных немецких очков, заметив, что многовато. Нинидзе стал горячиться и доказывать, что он не собирается спекулировать, а просто везет подарки друзьям. На шум пришел старший лейтенант из особого отдела. У него было бледное потное лицо и морщинистые толстые веки с красными ободками.

— Что вы? — спросил он Нинидзе. Во всем полку он был единственным офицером, обращавшимся к солдатам на вы. Он спокойно глядел на Нинидзе, и у того пропадала охота доказывать, что он хотел просто сделать приятное друзьям. Но Нинидзе все же объяснил, в чем дело.

Старший лейтенант вытащил платок, промокнул свое бледное лицо и спросил:

— Откуда у вас японская штучка?

— Какая?

— Вот, приемник.

— Купил,— ответил Нинидзе, бледнея.

— Чек.

— Какой же чек, я в дукане купыл, там ныкаких чеков не дают.— Нинидзе попробовал улыбнуться.

Старший лейтенант взял радиоприемник, осмотрел его. Нинидзе почудилось, что он даже понюхал своим костлявым носом приемник.

— Купили,— пробормотал офицер,— купили. А может быть... Может?

— Что?

— Все может быть.

— Нет,— возразил Нинидзе,— эту вещь я купыл.

Старший лейтенант болезненно улыбнулся.

— Да? Проверим?

— Как?

— Просто, очень просто. Для этого придется вернуться в полк.

— Вы шутыте, —сказал Нинидзе.

— Нет, вовсе не шучу.

— Товарищ старший лейтенант,— сказал Романов, кареглазый, скуластый, плотный сержант.

Офицер взглянул на него.

— Товарищ старший лейтенант, мы ведь вместе, вот впятером, от начала и до конца,— сказал Романов, кивая на своих соседей и на Нинидзе.

— Понимаю,— откликнулся офицер.— Что ж, можно всем пятерым вернуться в полк. Найдется, что проверять. Откуда вы? Из разведроты? Ну-у, братцы...

— Не надо, товарищ старший лейтенант,— сказал Романов.

— Не надо? — Офицер скользнул взглядом по соседям Романова, задержался на тусклых глазах худосочного маленького Реутова, опять посмотрел на Романова и спросил у него:

— Зачем он обкурился?

— Кто?— удивленно переспросил Романов.

— Вот этот.— Офицер показал глазами на Реутова.— Вы обкурились? — спросил он у Реутова.

— Нет,— ответил Реутов.

Старший лейтенант молчал полминуты. И пока он молчал, «дембеля» из разведроты вообразили, как они опять будут подъезжать к полку и смотреть на его окопы, каптерки, длинные туалеты, ряды прорезиненных палаток и как присвистнет ротный, увидев их, а замполит скажет: я предупреждал, я же предупреждал, что рано или поздно все тайное становится явным.

— Ну что ж,— вздохнул старший лейтенант и, опять замолчав, устремил взгляд поверх солдатских голов. И все услышали храпящий стрекот, оглянулись и увидели в небе над сизыми горами черные штуки.

— Да, в самом дэле, это много очков,— пробормотал Нинидзе.

Старший лейтенант весело посмотрел на него.

— Вот как,— сказал он.

— Да. Так точно,— проговорил Нинидзе.

— А вы? — обратился офицер к Реутову.— Что скажете?

Реутов тупо посмотрел на него и пошевелил тонкими губами:

— Я не курю анашу.

Стрекот нарастал, штуки, перевалив горы, уже двигались над картофельными и хлебными полями предместий, делаясь длиннее и толще.

Всех «дембелей» уже распустили, и они громко разговаривали, выколачивали пыль из кителей и фуражек и, не приближаясь, смотрели на разведчиков и старшего лейтенанта из полка.

— Товарищ старший лейтенант,— позвал подошедший к ним пехотный майор-отпускник, он сопровождал партию до Ташкента.

— Да вот не знаем, что нам делать: то ли в полк возвращаться, то ли в Советский Союз лететь,— отозвался старший лейтенант.

Майор поднял брови.

— Что-нибудь серьезное? — спросил он, глядя вверх. Вертолеты заходили на посадку.

— Всегда есть что-нибудь серьезное. У каждого есть что-то серьезное.

Майор пристально взглянул на старшего лейтенанта и отвел глаза.

Вертолеты сели и, тяжело и неуклюже покачиваясь, покатили по аэродрому. Ударил ветер, и солдаты схватились за фуражки.

— Так что же? — прокричал майор, придерживая фуражку и отворачиваясь от ветра.

— Ладно,— ответил старший лейтенант, снисходительно улыбаясь.— Хотя вот этого обкурившегося и стоило проучить.— Он погрозил Реутову пальцем.— Ладно уж,— сказал он и пошел к офицерам, стоявшим возле белокаменного домика на краю аэродрома.

Романов не удержался и сказал словечко. Майор, не расслышавший, но по губам Романова понявший это словечко, покачал головой. Но словечко было что надо, и пехотный майор не мог не улыбнуться.

В Кабуле вертолеты успели приземлиться до того, как всю долину накрыл самум. Солдаты выходили из вертолетов и сразу смотрели на замеченную еще с воздуха гигантскую крылатую машину, выкрашенную в белое и голубое, на борту которой было написано «Ту-134». Потом они поворачивали головы на восток, и их глаза гасли,— с востока бесшумно двигалось по долине, закрывая небо и горы с тускло мерцающими ледниками, застилая сады и склоны, застроенные глиняными жилищами, косматое и коричневое; и оттого, что на аэродроме еще было безветренно и с голубого неба светило солнце, а совсем рядом все было непроницаемо и грозно, надвигавшийся самум казался чем-то сверхъестественным и последним, как семитрубный глас.

Когда все солдаты покинули вертолеты, майор повел их по аэродрому к пересыльному лагерю. Обнесенный колючей проволокой лагерь был неподалеку от аэродрома, у подножия гор, жарких и бурых внизу и холодных и сизых, обляпанных снежниками и ледниками вверху.

— Быстрей!— покрикивал майор, и все споро шагали за ним, оглядываясь на город.

Город был уже наполовину поглощен самумом, и солдаты уже различали клубы и видели, как вихри гонят бумажки, листья и какие-то серые обрывки и лоскутья. Майор побежал, и все побежали, сухо топая по бетону. Они бежали, держа фуражки в руках. Они бежали за своим быстроногим майором, но на них уже лежала желтая тень самума. И на полпути эта коричневая метель накрыла их.

Они заблудились и только через час, иссеченные песком и камешками, запыленные, злые, задыхающиеся, оказались на пересыльном пункте. Начальник лагеря разместил их по палаткам. В палатках тоже было пыльно, но песчаный ветер не резал и не жег лицо, и по голове не стучали камешки, и, главное, наконец-то можно было покурить.

Самум стих поздно ночью. В лагере все, кроме часовых, спали. В лагере было полно уволенных в запас солдат и новобранцев, и все

они спали, видя разные сны, и надеялись во сне на разные вещи: «дембеля» верили, что завтра они улетят навсегда отсюда, новобранцы мечтали о добрых командирах и «дедах» и местах, где мало стреляют.

Глубокой ночью на руке Нинидзе затрещал будильник наручных часов. Нинидзе очнулся, встал, вышел из палатки, огляделся. Было тихо, темно, вверху светились голубым, зеленым и красным звезды. В столице горели редкие огни. Над городом висели черные вершины. Нинидзе вернулся, вытащил из «дипломата» радиоприемник, надел на голое тело китель, сунул приемник за пазуху, вышел из палатки и, озираясь, направился в дальний конец лагеря.

Он шел в дальний конец лагеря, неся за пазухой радиоприемник, липнущий к потной груди, и просил своего Старика сделать так, чтобы не напороться на дежурного офицера.

Никого не встретив, он достиг цели — длинного дощатого сооружения. Он прошел в узкую дверь и остолбенел, увидев в темноте горящую сигарету. Он хотел выскочить вон, но, опомнившись, прошел до задней стенки, нашел дыру и, спустив брюки, сел. Сосед молчал, куря и сплевывая. Нинидзе сидел и ждал. Наконец сосед ушел и, немного выждав, Нинидзе вытащил свой облитый пóтом трофей и опустил его в дыру. Радиоприемник громко шлепнулся.

Нинидзе вернулся в палатку, разделся и лег на голую железную сетку,— опасаясь вшей, все матрасы они стащили с коек и сложили в углу. Несколько минут он напряженно слушал, но ничего, кроме сопения и храпа соседей, слышно не было, и он расслабился, глубоко вздохнул, попросил своего Старика сделать так, чтобы они утром улетели, и уснул.

Утро пришло солнечное.

После завтрака большую партию «дембелей» повели на аэродром. Оставшиеся видели через колючую проволоку, как час спустя эта партия садилась в самолет, видели, как самолет выехал на взлетную полосу, разогнался, оторвался от серого бетона и пошел вверх, сделал полукруг над городом и полетел на север.

Оставшиеся сидели в курилках, дымили сигаретами и хмуро смотрели на новобранцев, казавшихся им какими-то ненастоящими солдатами, прилетевшими сюда не воевать, а играть в спектакле про войну,— такие у них были свежие светлые лица, и так неумело они старались скрыть свой страх, натужно смеясь и шутя, насупливая брови и обильно матерясь. Но как бы грубо и бесстыдно они ни матерились, как бы они ни хмурились и ни ерничали, было видно, что новобранцам страшно и что они и сами недоумевают, как это они будут делать два года то, что делали эти загорелые, усатые мужчины в фуражках и кителях со значками и медалями.

На аэродроме больше не было видно никаких крупных самолетов, и «дембеля» говорили друг другу: «Ла-а-дно, позагораем».

Но в полдень прилетел транспортный самолет, и кто-то вспомнил, что уволившийся год назад земляк писал, как их партия летела домой на грузовике, и все оживились и начали спорить, правда это или нет.

Прошло полчаса. Появился пехотный майор. Он собрал свою партию и отвел ее к воротам лагеря. Здесь какой-то капитан в очках зачитал списки, и вся партия откричалась: я! я! я!

Прошло еще полчаса. Солдаты смирно стояли перед воротами под прямыми лучами солнца. Пот струился по лицам. Солдаты стояли и покорно глядели на своего майора, курившего в стороне. Но вот опять появился капитан в очках, и все уставились на него. Капитан кивнул майору, прошел в голову колонны, приказал часовым отворить ворота, и часовые отворили ворота, офицер махнул рукой, и солдаты пошли.

Офицеры на таможне оказались веселыми и снисходительными, еще совсем молодыми ребятами. Они так же быстро и ловко, как и полковые проверяльщики, осмотрели вещи, выдавили всего лишь один тюбик пасты и разрезали пару кусков мыла. В одном куске была афганская ассигнация. Офицеры посмеялись: зачем это тебе в Союзе? Солдат ответил: на память. И офицеры вернули бумажку. Анаши ни у кого не нашли. Да они и не лезли из кожи вон, чтобы найти ее. На очки, джинсы, пакистанские сигареты и все такое они не обращали никакого внимания, хотя на пересылке и поговаривали, что уж на кабульской таможне такие звери, не то что проверяльщики из родного полка,— все к чертовой матери отберут, что приобретено не в советских магазинах.

Нинидзе был мрачен, когда они вышли со двора таможни и направились к транспортному самолету.

— Мурман, ты что? — спросил Романов.

Нинидзе молчал.

— Мурман,— снова позвал Романов,— а Мурман, чачу сегодня пить будешь. А?

Нинидзе печально улыбнулся.

— Ну, допустим, не сегодня,— возразил Шингарев.

— Но ташкентское винцо попробует,— сказал Романов,—сегодня.

— Мы с Сашей пьем только водку,— пробасил плечистый, толстый Спиваков. — Да, Саша?

Маленький Реутов беззвучно улыбнулся.

— Всё будем пить,— сказал Романов.— А вино обязательно красное. Это вино победы. Так, Шингарев-Холмс?

— Так,— кивнул недоучившийся студент Шингарев. Кличку Шингарев-Холмс он получил с легкой руки ротного,— когда его ранило под Кандагаром осколком разрывной пули в ягодицу и он расстроился, ротный сказал ему в утешение, что Шерлок тоже был ранен в Кандагаре.

— Всё будем пить: и водку, и вино,— повторил Романов.

— И пиво,— сказал кто-то.

— И плюс бабы! — воскликнул еще кто-то из соседей.

— А что, дорогие в Ташкенте телки?

— Четвертной, если у клиента морда кирпича не просит.

— А если просит?

— Полсотни.

— Вот же спекулянтки! У нас в Токмаке за шоколадку отдаются!

Посмеиваясь, они остановились перед транспортным самолетом. Майор-отпускник пошел к летчикам, стоявшим в тени крыла. Поговорив с ними, он вернулся и сказал, что самолет еще не разгружали и им придется еще раз потрудиться для армии.

— Так что, еще машины ждать? — уныло спросили его.

— Нет, прямо на землю сложим.

— Вообще надоело грузить и разгружать. Вообще это скотство. Мы уже свободные,— сказал кто-то.

— Ты, свободный, заткнись! — оборвали его. — Разгрузим, товарищ майор, о чем речь.

— Ну, ты и разгружай,— послышался голос «свободного».

Майор выматерился и спросил: что, домой никто не хочет? — и все, раздевшись до пояса, пошли разгружать самолет.

Они выносили и складывали в стороне от самолета ящики, мешки, коробки и синие пахучие бараньи туши. Они сновали по трапу и выносили и выносили ящики, коробки, мешки и туши, и солнце обжигало их простоволосые головы и блестевшие от пота спины.

Разгрузив самолет, они обтерлись носовыми платками и надели рубашки и кителя.

Потом они входили в жаркий самолет и рассаживались вдоль бортов; сидений было мало, и нерасторопным пришлось садиться на «дипломаты», портфели и газеты. Реутов успел занять место у иллюминатора, и тут же к нему подошел круглолицый артиллерист и просто сказал:

— Дай-ка я сяду.

Реутов посмотрел на него своими тусклыми глазами.

— Сядь-ка,— сказал Спиваков.

Артиллерист взглянул на Спивакова и молча отошел.

— Артист-артиллерист,— пробормотал, ухмыляясь, Спиваков.

Немного погодя в кабину прошли летчики в своих красивых бледно-голубых чистых комбинезонах, и через несколько минут трап в хвосте плавно поднялся и вверху зажглись неяркие плафоны.

Самолет тронулся и легко покатил на взлетную полосу.

Дышать было трудно. В душной полутьме лоснились лица, казавшиеся черными. Пахло пóтом и бараниной.

Самолет затрясло, и все напряглись, как будто это им сейчас предстояло, собрав все силы, побежать и прыгнуть. Самолет сорвался, понесся, наливаясь тяжестью, и вдруг плавно заскользил, и все поняли, что он взлетел, что они улетают навсегда.

Город женщин, Ташкент, освещали лучи вечернего солнца. Его окна, обращенные на запад, сияли, в его тенистых, особенно зеленых в этот час кущах прохладно булькали бесчисленные фонтаны. Ташкент был шумен, огромен, высок; по его улицам ходили хорошо одетые люди с лицами сытыми, нетрусливыми, немрачными. Это был город женских глаз, волос и губ. Женщины были всюду, куда бы «дембеля» ни смотрели: на витрины, на автобусы, машины, окна домов, подъезды, ларьки,— всюду видели женщин, женщин молодых, зрелых, старых, юных, стройных, некрасивых, узкобедрых, рубенсовских, раскосых, глазастых, черноволосых, рыжих, женщин с родинками на щеках, с голыми плечами, в юбках и в прозрачных платьях. В общем, это был потрясающий город, и «дембеля» на его улицах чувствовали себя примерно так же, как новобранцы на кабульской пересылке.

Они шалели и не знали, куда им идти и что им делать. Побывав в аэропорту и на железнодорожном вокзале и выяснив, что билеты в нужном им направлении распроданы чуть ли не на неделю вперед, они побрели по улицам, останавливаясь возле желтых бочек и накачиваясь квасом, и споря, и рассуждая, что им предпринять теперь. Спиваков предлагал на все наплевать, купить водки, отыскать какой-нибудь укромный уголок и хорошенько попировать. Шингарев возражал: а если патруль накроет? Сидеть на ташкентской губе никому не улыбалось, и все, кроме Спивакова, колебались: пить или не пить.

Они шли по улицам, спорили и рассуждали, умолкая при встрече с девушкой или женщиной и разглядывая ее с ног до головы.

Нинидзе предложил купить билеты и жить неделю в гостинице. Эту фантастическую идею сразу же отвергли,— какая гостиница?! Спиваков все твердил, что лучше всего купить водки, отыскать укромное место и надраться, а утром уж думать, что и как. Шингарев предложил заплатить проводникам и ехать в тамбуре хотя бы до Оренбурга,— оттуда, наверное, уже легче будет улететь или уехать в Тбилиси, Москву, Куйбышев, Ростов-на-Дону и Минск, а пир можно устроить в поезде, не боясь никаких патрулей. Это понравилось всем. Нинидзе мгновенно нарисовал портрет проводницы, с которой будут договариваться: молоденькая, толстенькая, с розовыми ушками и щечками и без предрассудков.

Они повернули к вокзалу.

По дороге на вокзал зашли в магазин и купили рыбные консервы, рыбные котлеты, хлеб, огурцы, вино и водку. «Приятного аппетита, мальчики»,— сказала им продавщица, рыжая и губастая.

— Мм, какие бесстыжие глаза,— простонал Нинидзе, когда они вышли из магазина.

Дотемна они толкались на перронах и уламывали проводников, суля сначала пятьдесят рублей, потом семьдесят пять, сто,— но им отказывали.

Стало совсем темно, и Спиваков сказал, что хватит клянчить, но объявили о прибытии поезда, и они решили попытать удачи еще раз.

Поезд прибыл, покряхтел тормозами и остановился, и к вагонам бросились галдящие люди, а «дембеля» поспешили к последнему вагону,— им почему-то казалось, что зайцами удобнее всего ездить в последних вагонах. Они поспешили к последнему вагону, и Нинидзе попросил своего Старика: «Ну, сделай так, чтобы...»

Люди протягивали билеты седоватому, грузному проводнику. Проводник держал в углу рта папиросу. Он попыхивал папиросой, брал билет, клал его на ладонь, подставлял ладонь под свет из дверей, возвращал билет и кивал: проходи.

Толпа возле него иссякла, и Шингарев доверительно сказал проводнику:

— Тут такое дело...

Проводник окинул быстрым взглядом всех солдат, посмотрел на Шингарева и буркнул:

— Ну.

— Вот в чем дело.

— В чем?

— Вот в чем. Мы вам заплатим...— начал Шингарев.

— Нет-нет,— перебил его проводник.

— ...сто рублей...

— Нет. — Проводник посмотрел на часы.— Все, лавочка закрывается.

Он повернулся и шагнул в тамбур.

— Дядя, а вы служили? Вы сами-то служили когда-нибудь? Послушайте, в чем дело-то...

Проводник поглядел из тамбура поверх их голов на перрон — не бежит ли кто опоздавший,— и, не отвечая Шингареву, начал закрывать тяжелую дверь. Дверь почти затворилась, но в последний миг Романов сунул в щель ногу.

— Но!— удивленно вскрикнул проводник, распахивая дверь.

— Ты по-человечески можешь ответить? — сказал Романов.

Ударом ноги проводник сбил с порога ногу Романова и захлопнул дверь. Романов застучал кулаком в толстое пыльное стекло. Проводник стоял за дверью и смотрел на них. Он достал папиросную пачку, вытащил папиросу, подул в мундштук, прикурил и опять уставился на солдат. Вскоре поезд тронулся, Романов плюнул в мутное стекло.

Когда поезд отъехал, проводник открыл дверь и крикнул:

— Засранцы!

Покружив вблизи вокзала, они нашли сквер. Там была река, не-широкая и прямая. От реки скверно попахивало, но они решили, что это ничего, и расположились у воды. Через сквер иногда проходили люди, но от их глаз солдат скрывали кусты на берегу. По другому берегу тянулись глухие стены каких-то кирпичных приземистых построек, над их крышами высились фонарные столбы, фиолетово светя на черные крыши, на реку и на солдат. И они повеселели, увидев, что здесь так светло и укромно в то же время. Они повеселели еще больше, когда расстелили на траве газеты, выложили на них хлеб, консервы, огурцы и увидели, как мерцает колоннада бутылок.

— Ничего себе ресторанчик,— пробормотал Спиваков.

Все охотно согласились, что ресторанчик просто замечательный.

— Тогда поехали,— сказал Спиваков. Он расставил бумажные стаканчики, взял бутылку водки, но Шингарев остановил его:

— Сначала портвейн.

— Я не хочу мешать, я буду только водку,— ответил Спиваков.

— Нет, мы должны сначала выпить портвейна.

— Я теперь никому ничего не должен.

— Так положено. Положено пить красное вино, это вино победы,— стоял на своем Шингарев.

Романов и Ниниидзе поддержали Шингарева, и Спиваков отступил. Шингарев разлил по стаканчикам портвейн. Они подняли стаканчики, полные черного вина, осторожно чокнулись и выпили. Шингарев на последнем глотке поперхнулся и закашлялся. Он поставил пустой стакан и провел рукой по груди.

— Облился, черт,— сдавленно проговорил он и снова закашлялся.

— Да нэт ничего, биджо,— возразил Ниниидзе, наклоняясь к нему и разглядывая его рубашку.

— Да липко же,— откликнулся Шингарев.

Романов закурил и поднес горящую спичку к груди Шингарева, и все увидели на его рубашке большое темное пятно.

— Застирай,— посоветовал Ниниидзе.

— Тогда уж придется всю рубашку стирать,— сказал Романов.

— Мятая будет, где я ее выглажу? Вот же черт...

— Ерунда, наплюй,— сказал Спиваков.

— А ты галстук примерь,— подал идею Романов.

Шингарев вытащил из кармана кителя, лежавшего в стороне на «дипломате», галстук и надел его.

— Ну, что?

— Посвети.

Романов зажег спичку.

— Почти не видно. Если китель снимать не будешь, вообще никто ничего не увидит,— сказал Романов.

— Да плюньте вы на тряпки. Мне вот наплевать. Нам с Сашей наплевать, да, Саша? — спросил Спиваков.

Узкое фиолетовое лицо Саши Реутова сморщилось,— он улыбнулся, как всегда, беззвучно. Спиваков налил себе и Реутову водки и спросил, наливать ли остальным. Ниниидзе и Романов кивнули, а Шингарев отказался. Они выпили водки и, отдуваясь, принялись закусывать. Шинарев пил портвейн.

— Нам все равно с Сашеи,—продолжил свою мысль Спиваков,— мы с Сашей и в кальсонах поедем, лишь бы домой, а, Саша?

Была глубокая ночь. По скверу перестали проходить люди. Фиолетовая река стояла между берегов. Хорошо была слышна железная дорога: безразличный голос диктора, гудки, щелканье вагонных сцепок, биение колес и чуханье дизелей.

Ниниидзе, вдруг разучившийся хорошо говорить по-русски, ругал старшего лейтенанта из особого отдела, ругал штабного, отобравшего очки, ругал какое-то начальство, не обеспечившее нормальное возвращение домой; он вошел в раж и начал крыть по-грузински. Ну, да его никто и не слушал. Спиваков все жалел, что побоялся провезти в погонах или в подметках пару пластинок анаши,— он утверждал, что водка его не берет, мол, он так привык к анаше, что водка кажется ему водой; он тоже ругал старшего лейтенанта, наклепавшего на Сашку Реутова, на Сашку, которой никогда в жизни не вкушал сладостной травки анаши. Романов беспрерывно курил, обсыпаясь пеплом, и тепло смотрел на товарищей. Иногда он запрокидывал голову и глядел на тополя, озаренные фиолетово-синим светом фонарей,— он подолгу глядел на тополя и улыбался. Самым трезвым был Шингарев, он прислушивался и оглядывался.

Была глубокая ночь. Тополя молчали, и река молчала, фиолетовая и бездвижная. Где-то за спящими домами шумела железная дорога.

— Мурман,— сказал Романов, закуривая новую сигарету,— не ругайся, прошу, ну. Такой день... ночь. И ты, Шингарев-Холмс! Я не хочу просто глядеть в твою сторону, ей-богу, ну. Выпей водки, что ты эту краску лупишь.

— Кому-то надо быть трезвым,— откликнулся Шингарев.

— Здесь? Вот здесь, в эту ночь-то? — Романов откинул голову и замолчал, глядя в небо.

— Надирайся, Шингарев-Холмс,— сказал Спиваков,— меня же не берет. Я — как стеклышко.

— Может, споем? — встрепенулся Романов.— Какую-нибудь душевную вещь. «Дипломаты мы не по призфа»... фа... Как это? Дипломаты вы не по призфа... фа! фа! Ха-ха-ха! Призфанье! Ха-ха-ха!

— А действительно, музыки не хватает,— сказал Спиваков.— Ну, что, Мурман, заводи свой «маде ин Жапен».

Мурман-Ниниидзе сказал мрачно:

— Нэт прыомныка, спёрлы.

— Что? Как? Кто?

— На пэрэсильке, вах-мах-перемах!

— Что ж ты молчал?! — вскричал Романов.

— Что... что. Что толку било говорыт.

— Как что? Да как это — что? Да мы б всех на уши поставили! Всех этих ублюдков! Как это — что? Мы б их всех... всех сволочей этих, сук... Я этого проводника на всю жизнь... через сто лет его харю... я его вот так задавлю! — вскричал Романов.

— Начались ржачки,— сказал Спиваков, морщась.

— Не кричи,— сказал Шингарев Романову.— И при чем здесь проводник?

— Что? Что ты все боишься? Пусть только кто-нибудь подойдет к нам. Ну, пусть.— Романов ударил кулаком по ладони.— Патруль, менты. Охота им с разведкой дело иметь? Ну, тогда пусть! — Романов часто и сильно забил кулаком по ладони.

— Странно,— пробормотал Спиваков,— как это случилось? Мурман, ты же спал на «дипломате» и никуда не выходил ночью? Когда же они умудрились?

— Какой-то чертовщина это,— ответил Ниниидзе, разводя руками.

Он почувствовал на себе взгляд, покосился и увидел узкое лицо, освещенное фиолетовым: черные морщины, костлявый длинный нос, тонкие черные губы и черные пятна глаз. «Если Реутов что-то знает, сделай так, чтобы он молчал»,— попросил Ниниидзе Старика. Это у него вошло в привычку — просить кого-то, кого он представлял седым,

умным, сильным и великодушным и называл Стариком,— после перво-го рейда: тогда было очень туго, и он как-то нечаянно сказал: «Ста-рик, сделай так, чтобы...»,— и вышел из той передряги без единой ца-рапины.

Реутов молчал. Да и глядел он куда-то мимо. Откуда Реутов мог что-то знать? Ниницзе успокоился.

— Как пришло, так и ушло,— вдруг сказал Шингарев.

— Нэ понал.

— Как пришло, так и ушло,— повторил Шингарев холодно.

— Как пришло?

— Ты знаешь.

— Что ты хочэшь сказать?

— Его надо срочно напоить.— Романов показал пальцем на Шин-гарева.

— Все понятно,— сказал Спиваков.— Я чистоплюев насквозь вижу.

— Мужики! — замахал Романов руками.— Не надо! Лучше выпьем.

— Нэт, говоры,— потребовал Ниницзе.

— Да ладно,— пробормотал Шингарев.

— Нэт, говоры до конца, все говоры, Шингарев!

— Я знаю,— сказал Спиваков.— Он это давно хотел сказать, я ви-дел. Он с самого начала чистоплюем был. Он вот что хотел сказать, он хотел сказать, что мы везем домой трофеи, а он ничего не везет. Ну и что? Я плевать хотел. Эти вещи добыты в боях, и я плевать хо-тел, понятно?

— Вон что! — воскликнул Ниницзе.— Вон как! Вон куда он гнот. Вон куда ты гношь? Чыстэнкый, да?

Шингарев уже было раскрыл рот, чтобы подтвердить: да, да, я это и хотел сказать, но он нечаянно взглянул на Реутова, и его сбила ка-кая-то мысль о Реутове, и он проговорил тихо:

— Ничего этого я не хотел сказать.

— Ребята, мужики.— Романов взял бутылку.— Такой день... ночь.— Он задумался.

— Ну, заснул. Лей,— буркнул Спиваков, протягивая стакан.

— Погоди... это... Мысль была... Что же я хотел сказать...

— Лей же.

— Нет, но...— Романов помотал головой.— Нет, забыл.— Он кое-как налил в стаканчики водку.— Давайте вот выпьем, и все, больше про это про все... ну его к черту все это! Свобода — это да. А это все... эти шашни-машни... счеты к черту на рог. А свобода — да! Но! Это не та мысль, та ускакала, исчезла.

Романов сидел, держа стакан в руке, хмурился, сосредоточенно глядел на середину «стола» и шевелил губами; водка переливалась через края и текла по руке.

— Пей, не разливай.

Романов бессмысленно посмотрел на Спивакова, выпил водку, не поморщившись, и выпалил:

— Ну! Вспомнил! У меня такое ощущение,— он оглянулся по сто-ронам,— такое... что кого-то не хватает.

— Конечно, не хватает,—проворчал Спиваков.

— Да нет, я не об этом, я не о тех.

— Ладно, ложись, спи.

— Нет, пойми.

— Ложись, вот что. Ложись спать, земля теплая.

— Ты не понял. Я говорю, что среди нас кого-то нет, кто-то был, и теперь его не стало.— Романов оглядел сидевших вокруг «стола».

— Ложись,— повторил Спиваков,— все здесь.

Романов вглядывался в товарищей и наконец заметил Реутова и замер. Он глядел широко раскрытыми глазами на Реутова и ничего не говорил. Он долго молчал, и все молчали и смотрели на него и на Реутова.

— А! — крикнул Романов.— А, Реутов! Сашка! Ха-ха-ха! Ну! Ха-ха-ха!

— Я же говорил— ржачки,— буркнул Спиваков.

Романов перестал смеяться.

— Все,— сказал он.— Все в сборе и пир... это... продолжается. Пи-руют... эти... бывшие разведчики.— Романов набрал воздуху и за-пел: — «Мы в такие шагали дэ-али, что не очень-то и дойдешь! Мы в засаде годами ждали...»— Он замолчал, отыскал взглядом Реутова и уставился на него.

Узкое фиолетовое лицо Реутова покрылось морщинами,— он улыбнулся.

— Это я,— сказал он Романову.— Не сомневайся.

— Саша,— проговорил Романов сырым голосом,— Саша... удиви-тельное дело... понимаешь.— Он помолчал.— Я вот вспоминаю... как мы в полк прилетели.

— И что? — спросил Спиваков.

— Что? — встряхнулся Романов.— Ничего! Просто удивительно. Удивительное... это... дело. И все... Мы в зэ-асаде годами ждали, не-взирая на снег и дождь!

«Да вот же и я об этом подумал,— сказал себе Шингарев,— я по-думал, я подумал... Все-таки я охмелел. Сосредоточиться и вспомнить, как мы прилетели в полк». Он сосредоточился и вспомнил, как они прилетели в полк после трехмесячной подготовки в туркменском гор-ном лагере; командир разведроты из толпы новобранцев выбрал пер-вым огромного Спивакова, Спиваков сказал, что они впятером дер-жатся, и попросил взять остальных. Ротный с удовольствием согласил-ся взять жилистого подвижного Ниницзе, крепкого, плечистого Рома-нова и его, Шингарева, но Реутова он решительно отверг. Ну, ска-зал Спиваков Реутову, сделай что-нибудь ростовско-донское, но тот начал отнекиваться, Спиваков же настаивал, и в конце концов ротный заинтересовался, что там такое может «сделать» этот щуплый маль-чик. Увидев любопытство на лице ротного, все они насели на Реутова, и Реутов, краснея, спел одну казачью частушку; тяжелое лицо ротно-го дрогнуло от улыбки, он спросил, что Реутов еще умеет, Реутов простодушно сказал, что умеет на гармошке играть и знает миллион частушек; ротный переспросил: миллион? — и зачислил в разведроту Реутова.

— Так ты думаэшь, ты чыстэнкый? — пододвигаясь к Шингареву, спросил Ниницзе.

— Молчать,— сказал Романов.

— Я сейчас их успокою, я их лбами, я сейчас.— Спиваков попы-тался встать и не встал. Он озадаченно поглядел на свои ноги и по-звал: — Ноги!

Романов засмеялся. Улыбнулся и Ниницзе. Спиваков еще раз по-пробовал и поднялся, постоял, качаясь, и грузно сел.

— Ноги,— развел он руками, и все засмеялись, и узкое лицо Реу-това беззвучно сморщилось.

— А ты говорыл, нэ бэрот водка.

— Предатели,— сказал Спиваков ногам.

— Тихо!— закричал Романов.— Тихо! Мм...— Он постучал себя по лбу кулаком.— Черт! черт! забыл... какой тост пропал.

— Ладно, просто так выпьем.— Спиваков взял бутылку, понес ее

к стаканчику и выронил.— А! Вот это действительно ржачки! И моя правая рука — туда же! Предательница.

— Тихо! — снова закричал Романов.— Вот он, тост. Выпьем за это... то есть за то, чтобы, вот именно, чтобы! Чтобы нас предавали руки и ноги, но не друзья!

— Какой тост! — одобрил Спиваков.

— А теперь дай ему руку,— потребовал Романов у Шингарева,— руку Мурману!

— Мы не ссорились,— ответил Шингарев.

— Трудно руку дать?

Шингарев промолчал.

— А, дурачье.— Романов отвернулся к реке. Вдруг он начал расстегивать рубашку.— Кто со мной купаться? — деловито спросил он.

— Я не пущу,— сказал Спиваков.

— Это мы посмотрим. Поглядим, как говорится. Старый разведчик купаться будет. Он будет купаться. Вот оно что. Надоело мне с вами. Бодайтесь без меня, бараны. А я уплыву,— сказал Романов.

— Куда? — насмешливо спросил Спиваков.

— А далеко. А вы тут бодайтесь, забодай вас коза. Или комар. Или бык. Мордастый такой бычара: му-а!

Шингарев уснул последним.

Под утро все спали, а Шингарев крепился: тер глаза, встряхивал головой, курил, ходил. Но и он уснул.

Они спали вокруг разоренного «стола». Нинидзе лежал, укрывшись кителем и положив под голову «дипломат». Романов, голый по пояс, лежал на спине, раскинув руки; он постанывал и скрипел зубами. Реутов свернулся калачом возле большого, хрипло дышащего, горячего Спивакова. Шингарев спал сидя, опустив голову на колени.

На рассвете молчавшие всю ночь тополя зашипели. По реке пошли круги.

Теплый дождь проливался на город.

Дождь стучал по бутылкам, пустым консервным банкам, спичечным коробкам, по черной корке непочатой буханки, «дипломатам», козырькам фуражек; и газеты рвались, а рассыпанные по ним сигареты темнели и разбухали.

Нинидзе, не просыпаясь, натянул на голову китель. Реутов прижался к боку Спивакова. Больше никто не шелохнулся.

Занесенный снегом дом

Была осень, туманы обволакивали сад по утрам, шли дожди и молчали птицы. Люди, деревья, собаки и немые птицы ждали,— со дня на день должен был выпасть первый снег. А женщина ждала мужчину.

Женщина жила в деревянном доме с оранжевой крышей, вокруг которого был голый и корявый танцующий сад. Дом с оранжевой крышей стоял вместе с другими деревянными и кирпичными одноэтажными домами на окраине железобетонного города. Из окна дома была видна луковка древней церкви Иоанна Богослова, и смотреть на нее, обрамленную черными ветвями лип, было приятно. Но в это окно она редко и случайно глядела, чаще и охотнее сидела у противоположного, выходившего на юго-восток. В то окно была видна улица, по которой придет мужчина, воюющий на Востоке.

В доме было две комнаты с зелеными обоями, кухня и белая печь. В зале на стене висела репродукция картины Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле»,— там женщины среди багряных кустов собирали виноград, а по дороге, прозрачной, как река, шел человек, и позади него низко над землею горело солнце. Женщину пугала картина,— эти жуткие багровые мазки и черный человек на дороге. Женщина старалась не смотреть на картину, но картина заставляла ее смотреть на себя, и тогда у женщины ноги и руки делались ватными. Она с радостью сняла бы картину и засунула ее куда-нибудь подальше, но это была любимая картина мужчины, и женщина почему-то боялась убрать ее. И рубашку, которую мужчина носил перед войной, не стирала два года. Вообще она стала суеверной за эти два года. Она думала: я суеверная, глупая дура,— и криво улыбалась, но все равно молилась. В школе она проводила с детьми атеистические беседы, а дома, глядя на восток, шептала самодельную молитву: «Бог-бог-бог, любимый и милый, ласковый и нежный, любимый бог, люблю тебя и прошу тебя, бог-бог-бог». Она не представляла себе, что было бы, услышь ученики или коллеги-учителя ее молитву. Думая об этом, она бледнела и покрывалась алыми пятнами. Она знала, что никакого бога нет, есть всякие химические процессы, всякие эволюции и некоторые странные вещи, которые наука пока не объяснила, но непременно когда-нибудь объяснит. И она была уверена, что никто, никакой добрый бог не слышит ее молитву и что ее молитва не спасет мужчину, воюющего на Востоке,— она вот шепчет у восточного окна, а телеграмму уже получили в военкомате, и уже выслали ей приглашение в военкомат, чтобы торжественно сообщить: «Ваш супруг...» И уже металлический ящик погрузили в самолет, и уже самолет гудит в небе над Россией. Она все прекрасно понимала. Но однажды проснулась и зашептала, плача: «Бог-бог-бог, люблю и прошу»,— и с тех пор это вошло в привычку.

Пришло короткое письмо. Мужчина писал, что это последнее письмо,— вот-вот прилетит в полк вертолет и увезет их, а пока погода нелетная, но вот-вот.

Была поздняя осень, и ледяные туманы пахли снегом.

Женщина просыпалась очень рано. Она вставала рано, чтобы сделать прическу. Умывшись и позавтракав, она усаживалась перед зеркалом, разложив на столике тюбики, коробочки, расческу и флаконы, и принималась завивать и укладывать свои светлые, не очень густые и недлинные волосы. Серый лохматый кот, потягиваясь, шел к ней и, выгнув хвост, ласково рокотал горлом и терся о голые ноги, и кожа на ее ногах становилась пупырчатой.

Обычно она собирала волосы в пук на затылке и стягивала резинкой, теперь же она приходила в школу с замысловатыми коронами и облаками на голове, и учителя-мужчины говорили про себя: ого,— и по-новому оглядывали ее и видели, что она очень молода, что у нее бела шея, розовы губы, что у нее красивые икры и руки, и когда она идет... и лучше не смотреть долго сзади на нее, когда она идет. И припоминали, что ее муж где-то служит в армии.

Она была заурядная молодая женщина, каких сотни и тысячи, но должен был вернуться мужчина, и она вдруг изменилась,— и лысый Борис Савельевич, учитель русского, изумленно глядел ей вслед, и у него сохло во рту, а в голове тяжелыми товарными эшелонами проносились дикие мысли. И физкультурник, человек дела, а не мечть, заигрывал с нею на переменах и спрашивал, не наколоть ли ей дров. Ну и ученики, конечно, пучили на нее глаза, машинально тере-

бя жидкие усики, ковыряя прыщики на лбу и рисуя в воображении не менее дикие, чем мысли Бориса Савельевича, картины.

Школьные женщины были шокированы и уязвлены. Физкультурник, учитель русского, трудовик и военрук перестали их замечать и, как опоенные сильнодействующим зельем, лупили масленые глаза на эту женщину и говорили ей какие-то пошлые, какие-то приятные двусмысленные вещи. А что случилось-то? Да ничего. Ничего нового в одежде, губы без помады, ресницы без туши,— все, как прежде, и новое — только прическа.

Директорша сразу сформулировала про себя происшедшую перемену следующим образом: ярко выраженная сексуальность. Это было плохо. Это дурно влияло на нравственную атмосферу. Нужно было принимать какие-то меры. Но какие? Ярко выраженной сексуальности не было ни в одном запретительном параграфе. Директорша внимательно приглядывалась к своей подчиненной и ни в чем не находила нарушений норм: юбка достаточно целомудренна, кофточка непроницаема, злоупотреблений красками нет. Прическа? У директорши тоже прическа, тоже короны и облака, и у всех короны, облака, локоны-змеи, так что скорее вызывающа была ее прежняя прическа — простой хвост, а нынешняя вписывается в общий хор. Ну нет во всем этом ничего из ряда вон, хоть ты тресни, а окинешь ее эдак общим взглядом — сексуальна и взрывоопасна!..

Женщина, ждавшая мужчину с Востока, не замечала холодного презрения школьных дам и восхищения прыщеватых недомужчин, и ухаживаний школьных рыцарей — мускулистого физкультурника, сухого и сморщенного военрука, лысого мечтательного Бориса Савельевича и седовласого толстого трудовика с вставным левым глазом. Она ждала.

Придя из школы, она растапливала печь, грела воду в двух ведрах и теплой водой мыла полы, протирала мебель сырой тряпкой и еще что-то чистила и скоблила, хотя все в доме уже давно сверкало. Кот бродил за нею из комнаты в комнату и смотрел на все эти приготовления насмешливо,— вообще он на все глядел скептически, у него были умные глаза, на щеках топорщилась густая светлая шерсть наподобие бакенбард, он был сыт, медлителен и пушист.

Женщина не подымала глаза на «Красные виноградники», и ей это удавалось некоторое время, но в конце концов ее глаза прилипали к картине. Она пристально глядела на картину и говорила себе: ну и что? Ну, осень, и листья лоз красны, ну, женщины собирают в корзины гроздья, вдалеке висит солнце, а по дороге, текучей, как река, топает обыкновенный бездельник, бродяга,— люди трудятся, а он шагает себе, сунув руки в карманы и, наверное, посвистывает, и видно, что у него нет ни дома, ни семьи, и он не знает, куда ведет дорога,— вот и все. И, честное слово, непонятно, что мужчина нашел в этой мазне? Сумасшедший художник взял да наляпал красок на холст, а все теперь охают да ахают... Когда он вернется, я ему прямо скажу, что эта мазня мне не нравится, ей-богу, скажу... Бог-бог-бог, любимый и великий, добрый, ласковый, люблю тебя и прошу тебя...

Да нет, это не сразу, я ведь не сразу невзлюбила картину эту дурацкую, сперва я была равнодушна, но потом в одном осеннем письме он упомянул алые виноградные листья за проломленным и разбитым снарядами дувалом, и — вот... А этот бродяга — не бродяга, он вестник, и он знает, куда идет... Ну, чушь!

Потом она снимала с плиты второе ведро, закрывала на крючок

дверь, задергивала шторки и мылась в большом тазу. Вымывшись, она вытиралась мягким длинным и широким полотенцем и проходила из кухни в комнату, и останавливалась перед большим зеркалом в углу. Она смотрелась, поворачиваясь, хлопала ладошкой по тугому, еще не рожавшему животу и пыталась увидеть себя глазами мужчины, который уже не воевал на Востоке, а сидел и ждал, когда развеется непогода и прилетит вертолет... Он сидит там на Востоке в какой-то про-ре-зи-нен-ной палатке с печкой-буржуйкой, он сидит там с какими-то загорелыми, плечистыми мрачными друзьями, курит сигарету и молчит, а может, говорит своим низким медленным голосом... Говорит, что у него есть дом с оранжевой крышей и печкой, котом и женой...

Пообедав, она садилась у юго-восточного окна проверять тетради и готовиться к завтрашним урокам. Она сидела, склонив голову над столом, и, услышав или скорее почувствовав, что по улице идет человек, холодея и задыхаясь, поднимала длинные глаза с короткими бесцветными ресницами и глядела в окно. И действительно, по улице кто-нибудь шел: женщина с сумками, старик сосед в драной зимней шапке, с коромыслом на плече, мальчишка, пьяный мужчина, расфуфыренная девица или просто пес трюхал по каким-то своим собачьим неотложным делам. Сад был черен и гол, по шершавым талиям яблонь и слив текли струи дождя. Дождь-дождь, джон-дон-джей-лей-пей,— но земля уже была насквозь напитана влагой и не пила небесную воду, и вода стояла в углублениях и вмятинах и лилась ручьями к реке. Дождь-дождь, джон-дон, джей-лей, джей-лей...

Кот дремал на диване под дождь. Ему было хорошо, он не помнил мужчины, воевавшего сейчас на Востоке, он никого не ждал.

Впрочем, сейчас он не воюет, нет, не воюет, думала, забыв о тетрадях и завтрашних уроках, женщина, не воюет, а сидит в палатке, а по палатке дождь-джон-джей. И думает обо мне и про то, что крышу дома увидит издалека, приметная крыша, он ее перед войной выкрасил в этот лучший на свете оранжевый цвет, цвет удачи. Бог! Если ты выполнишь мою просьбу, я клянусь не говорить ученикам, что тебя нет,— я могу бросить школу, чтобы никогда никому не говорить, что тебя нет, я могу ходить каждый день в церковь и слушать, как поют попы, и зажигать перед иконами свечки,— только сделай так, чтобы он вернулся, я прошу.

К вечеру уши ныли от песен дождя, глаза ненавидели улицу и прохожих. Она кормила кота и выпускала его на улицу, затем ужинала чаем и сушками,— больше ничего есть не могла,— и после ужина запирала двери, гасила свет, раздевалась и ложилась. Она лежала, тихо дыша и слушая. Она долго не могла уснуть. Она лежала и вслушивалась. Было страшно, и ноги мерзли. В доме было тепло, а ноги мерзли. С тех пор, как мужчина ушел на Восток, ноги всегда мерзли в постели. И казалось, что дом стоит посреди леса, и кто-то бродит вокруг дома, постукивает когтями по стеклу, царапает дверь.

«Неужели на самом деле есть женщины, всю жизнь живущие без мужчины? — спрашивала она себя.— Ведь плохо одной, и ноги зябнут в постели».

Китайцы говорят... О чем это я думала? А, ну да, о том мертвом мальчике, вспомнила она, лежа с открытыми глазами в темной комнате.

Год назад она вышла утром из дому и увидела человека в канаве возле соседнего дома, это был светловолосый подросток, у него были худые плечи и длинные ноги, куртка в грязи.

Мир был грозен всегда; как только она начала кое-что понимать, почувствовала это, а потом осознала. Мир был грозен и тогда, когда рядом был мужчина,— да. Но — у него были твердые плечи и креп-

кие кулаки, спокойный взгляд и низкий уверенный голос,— между нею и миром был он. А потом его увезли на Восток, и мир надвинулся и стиснул ее.

А китайцы... Что китайцы? А китайцы говорят: инь и ян, все сущее — инь и ян, женское начало и мужское. Ян — все мощное и яркое, солнечное. Инь — все слабое и тусклое, лунное. Боже, как верно. И спать одной ведь холодно, как будто и впрямь в тебе течет лунный свет, а не кровь... Бог-бог! Верни мне ян!..

Полторы недели минуло после его последнего письма. Женщина каждый день чистила гнездо, и каждое утро украшала голову коронами и змеями, и школьные донжуаны продолжали волочиться за нею, похожие на крыс, зачарованных волшебной дудой Нильса. И вот-вот должен был пойти снег, люди, собаки, деревья и птицы ждали его. А женщина из дома с оранжевой крышей ждала мужчину. Она была инь, и по ночам ноги ее были ледяными.

И наконец в понедельник ранним утром полетели хлопья, лоскуты и клочья, и земля отделилась от черного неба и тускло засветилась. Снег.

У женщины в этот день не было уроков, но она поднялась рано и увидела, что небо отлипло от земли. Она накинула мужской полушубок и вышла на крыльцо. Кот, всю ночь гулявший где-то, пропел короткий и хриплый гимн и юркнул в дом. Снег падал ломтями. Ломти летели и летели вниз и повисали на сучьях яблонь и слив, шлепались в лужи, прилипали к оранжевой крыше, мостили клейкую жирную дорогу, округляли и смягчали крыши с трубами, деревья, грядки, поленницы. Сердце женщины вдруг замерло, дыхание перехватило, на миг она почувствовала жуткую легкость, как если бы оторвалась от крыльца и чуть-чуть повисела в воздухе. Это сразу и прошло. Женщина, горя лицом, вернулась в дом. Она поняла — сегодня!

Кот капризно заблеял: ме! ме-у! ме! — и женщина покормила его. Самой есть нисколько не хотелось, она напилась холодного чаю и сжевала конфету.

В печи уже пухал огонь, на плите стояли ведра с водой. Женщина всюду зажгла свет и внимательнейше осмотрела комнаты. Она убрала постель, сложила стопкой тетради и книги на столе. Вымыла полы. Лицо полыхало, сердце тяжело билось, гудя, и голова кружилась.

— Да что я? — спросила вслух женщина и подумала: да что я? может, не сегодня, с чего это я... может, завтра... или через два, три, четыре дня.

Но лицо было огненным, сердце бухало, как после долгого бега, и в голове время от времени цепенело и млело. На улице сыпался снег, крупный и белый. В печи играл огонь... как-то празднично играл, как-то не так, как всегда, и все было не так, и даже бродяга на картине Ван Гога шел по жидкой и прозрачной дороге веселее, и эти женщины с огромными задами бодрее обрывали гроздья с лоз и клали их в большие корзины. Женщина обмылась и надушилась зеленым ароматом, надела платье и сделала прическу.

Медленно рассветало. Слишком медленно. Женщина не знала, что ей теперь делать. Все было готово, дом с оранжевой крышей ждал хозяина с Востока,— ждало крыльцо, ждала печка, ждали комнаты, и французские виноградари торопились снять все гроздья до его прихода.

Рассвело. Снег все падал. Земля была бела и нежна, были нежны

и белы крыши, ветви яблонь и слив и округлые холмы с крошечными домиками и маленькими садами за рекой, и купол церкви Иоанна Богослова, а заборы и стены броско и траурно чернели.

Женщина прошлась по дому, наклонилась и рассеянно погладила кота. Она взяла с полки какую-то книгу, полистала ее, прочла, ничего не понимая, несколько строчек, захлопнула и сунула в книжный ряд. Часы показывали десять. Снег все летел за окнами.

Может, блинов напечь? Нет, блины остынут, а разогретые не так вкусны. Может, накрасить губы? Но он не любил, когда она красила губы. А вдруг теперь это ему понравится? А если не понравится? Женщина накрасила перед зеркалом губы. Улыбнулась. Нет, слишком ярко. Она потерла легонько губы ватой. Теперь вроде бы ничего.

Снег шел за окнами.

Ей почему-то казалось, что он придет не сейчас. В одиннадцать не придет, в двенадцать не придет. Придет через три часа или через шесть часов, но сейчас этого не может быть,— чтобы он появился так скоро, так не бывает.

В двенадцать часов снег поредел, и постепенно воздух очистился и стал ясен и морозен, но небо не было синим, оно оставалось серым. Мир был свеж и пухл...

Женщина улыбнулась — она придумала себе работу. Она скинула платье, надела шерстяное трико, свитер и лыжную вязаную шапку, взяла рукавицы, обулась и вышла на улицу. Щурясь от белизны, она пробрела в снегу к сараю, отворила дверь и вынесла из сарая деревянную лопату.

Она расчищала дорожки. Снег был легок, но его нападало много, и женщина раздышалась и раскраснелась. Она убирала с дорожек снег и думала: вот — белый праздник. И еще думала: хорошо, если в эту минуту — он, у меня щеки розовы, я чувствую, что я свежая, и он увидит меня свежую посреди этого свежего сада. Жаль только, что снег залепил оранжевую крышу.

Но ни в эту, ни в другие минуты, что она провела в саду с лопатой, он не пришел.

Расчистив все дорожки, женщина нехотя направилась в дом. У крыльца остановилась, обернулась, оглядела сад... На дальней яблоне сидела сизая птица. На дальней яблоне висело несколько гнилых черных сморщенных мелких яблок, и сизая птица прилетела их расклевывать. Женщина стояла не шевелясь. Птица была похожа на голубя, только она была изящнее. Женщина следила за дымчатой птицей и вспоминала, как зовется птица. Лесная гостья повертела головой, вытянула шею и клюнула черный плод, и тут же пугливо заозиралась. Ничего страшного не произошло, по саду никто не крался к ней, и птица уже смелее ущипнула яблоко, и еще, и еще. Тут неслышно появилась вторая птица, она села на ту же яблоню, и тогда первая издала тихий картавый горловой звук, и женщина вспомнила, как зовутся эти птицы — горлицы. И опять у женщины закружилась голова, и тело стало невесомым. Сегодня. И, быть может, сейчас.

Было два часа дня. Горлицы покинули сад, сад был пуст. По улице изредка проходили люди: мужчины, женщины, дети и старики — все чужие и постылые.

Когда наступил вечер, женщина поджарила на электрической плитке вчерашнюю картошку и согрела чай. Картошку так и не смогла есть,— попробовала и накрыла сковородку крышкой. Выпила чаш-

ку чая и съела немного белого хлеба с маслом. Ни в семь часов вечера, ни в десять часов вечера, ни в час ночи крыльцо не заскрипело под мужскими шагами. Женщина погасила свет, разделась и легла. Шерстяные носки не снимала, чтобы ноги не зябли, но и в шерстяных толстых носках они мерзли, и лицо мерзло, и редкие теплые капли скатывались по холодному лицу.

Утром она проснулась и почувствовала какую-то сухую ясность в душе, и подумала: не сегодня. И сны какие-то были, какие-то такие, которые то же говорили: не сегодня. Но прическу она сделала. Позавтракала и накормила кота.

И, собирая тетради, увидела из окна идущую вдоль забора почтальоншу в фуфайке и платке, с сумкой на боку. Почтальонша дошла до калитки, сунула в плоский металлический ящик газеты и конверт и неторопливо зашагала дальше по жидкой и грязной дороге.

Просто почтальон принес свежие газеты, медленно подумала женщина. А в конверте письмо от какой-нибудь подруги, медленно подумала она, завороженно глядя из окна на синий почтовый ящик.

Она встала. Спустилась с крыльца и по скользкой тропинке сквозь холодный туман пошла к почтовому ящику на темных крестах калитки.

Это просто кто-то письмо послал. И все. Вот и все, пьянея, думала она.

Она вынула из ящика газеты и письмо.

Сереющую кожу лица порвали морщины, на виске вспучилась жила, под глазами расплылись темные полукружья,— женщина с обезьяньим лицом вскрыла конверт.

Андрей Дмитриев

БЕРЕЗОВОЕ ПОЛЕ

РАССКАЗ

Я гнал по солнцепеку из Пытавино в Прибалтику, надеясь к ночи быть в Таллинне. В Хнове на площади я выпил теплого квасу — это отняло не более полутора минут. На выезде из Хнова, на долгом подъеме, я увидел человека. Он одиноко стоял на остановке рейсового и неуверенно махал мне рукой. Я еще не разогнался от души и потому успел его пожалеть. Человек был стар, грузен, одышлив. Лицо серое, в пыли. Свой тощий, выбеленный временем детский рюкзачок он устало бросил на заднее сиденье.

Рессоры моего «Москвича» плаксиво отзывались на каждый поворот его тела, и это отзывалось во мне, чего скрывать, досадой и болью за машину. Не скоро отдышавшись, человек произнес:

— Селихово.

Селихово я знал. После школы, после армии и института именно там я глотнул наконец свободы и едва не захлебнулся этим первым, желанным, но неумелым глотком. Попросившись в ватагу поживших пытавинских мужиков, я был взят ими в долю. Мы были сами себе хозяева. Мы построили в Селихове коровник и кормоцех. Мы получили такие деньги, при воспоминании о которых тошнота до сих пор подступает к горлу. Лучше не вспоминать, что с нами сделали эти деньги и что мы с ними сделали. Мы месяц пили на них в Хнове. Так пили, что даже не ели. Пили и спали, не снимая сапог. К исходу месяца у меня прошла застарелая кожная болезнь; я думаю, она просто задохнулась в сапоге... Больше я не шабашил. Из всех немногочисленных дорог свободы я выбрал самую честную и здоровую, то есть дорогу как таковую. И мне хорошо. Мне плохо лишь в те дни, когда мой «КамАЗ» прокисает в ремонте, когда начальство маячит перед глазами, с утра и до вечера стоит над душой и цедит свои слова...

До поворота на Селихово оставалось километров сорок, а затем пять верст по грунту. Дорога пошла под уклон, я уже шел под сто, шел хорошо, и мне не хотелось никуда сворачивать. Я пообещал человеку подбросить его до поворота, а там уж он полегоньку сам дойдет, недалеко.

— Ладно,— сказал человек и, тяжко отдуваясь, вытер грязным платком пыль и пот со лба. Я ощутил, как трудно далось ему это простое движение, и устыдился, представив, каково ему будет брести пешком по горячему проселку. Спеша оправдаться, то есть убить в себе чувство стыда, я сказал:

— Ты извини, но я **обязан** к ночи быть в Таллинне. Ты понял?

— Понял,— лениво ответил человек, и, ободренный его равнодушием, я посоветовал:

— Ты, как сойдешь у поворота, не сразу по грунту топай, а сперва через березовое поле. Длиннее получится, но зато в тени.

— Чего? — недовольно, как если бы я разбудил его, спросил человек. — Какое, ты выразился, поле?

— А, ты не здешний, не знаешь,— сообразил я и с удовольствием рассказал ему историю березового поля. Как и всякий, кто пошел шоферить, имея в загашнике сильно нужное кому-то высшее образование, я люблю порассуждать и порассказать.

Где-то в конце сороковых — гладко, благо не впервые рассказывал я — в колхоз «Селихово» прислали нового председателя. Понятно, что в конце сороковых нищета здесь была почище, чем теперь. Выделили колхозу кое-какой скот, да кормить его было нечем. И пасти негде: все свободные от зерновых земли постановили отдать под лен. Что оставалось? Лес да болото. Ветки коровы ели, но мерли. Оставался еще неоприходованный клок земли у дороги: глина да кустарник. Председатель был совсем молод, но фронт прошел. Люди, конечно, о том не думали, что он им сразу жизнь наладит, но, как фронтового командира, уважали и, как пацана, жалели. И потому, когда он вдруг предложил извести кустарник у дороги и посеять там клевер, чтобы спасти стадо, люди обрадовались: может, и не выйдет ничего из этой затеи, но все же радостно, что у парня душа болит и голова работает. Люди кустарник извели и даже земли на ту глину навезли, чтобы было на чем хорошему клеверу расти. Но где добыть семена? Ни у начальства, ни у соседей их и в помине не было. Парень наш затосковал, и люди приуныли, но тут кто-то прослышал, а может, и сам увидел: есть семена, всякие разные. Не на складах, не в фондах, а на хновском базаре. Умные головы их продают за хорошие, правда, деньги. Однако же где взять эти деньги, из какой такой казны? И опять затосковал наш председатель. Что мог с себя продал — вроде мало денег вышло. Тогда и люди что могли с себя продали: кто сапоги, кто шинель, а кто и аккордеон «вельтмайстер», что с войны приволок. Зашили люди председателю деньги в подкладку и проводили его в Хнов на базар. День-другой он по базару покрутился, вернулся с семенами. Провеяли люди клевер, посеяли, стали ждать, когда вырастет. Ждали, ждали, а он не растет. И опять затосковал председатель, а люди жалели его, утешали: видно, земля, говорят, у нас неподходящая или клевер какой-нибудь нежный, особенный, к нашему климату, сырому да суровому, не приученный. Плохо, говорят, что деньги пропали, еще хуже, что скотину кормить нечем, да у бога дней много, худо-бедно поживем, а там чего и наживем... Так и жили они худо-бедно и забывать стали про тот клевер, потому что работы да забот было невпроворот и о худом вспоминать было некогда... И вдруг кто-то приметил: зазеленел клок земли у дороги. Сбежались люди, глядят — а это никакая не трава, это деревца малюсенькие проклюнулись. Присмотрелись к ним люди, листики меж пальцев внимательно потерли, потом понюхали и сообразили: береза. Им бы плакать, а их смех разобрал. И такой их смех разобрал, и так он им с непривычки понравился, что уже не до жалости к председателю было — хохочут и пальцем на него показывают: вот ведь чурбан, вот ведь как дал себя объегорить, ему вместо клевера березовых семян всучили, а он и не моргнул... Не смог председатель насмешек стерпеть и ушел навсегда из колхоза, но не сразу: сперва с каждым, кто хоть что с себя продал, по чести расплатился. Недоел, недопил, а все вернул и даже аккордеон на базаре купил одному из главных насмешников, почти такой же, как и прежний...

— С тех пор и растет у поворота на Селихово березовая роща, уже совсем большая выросла, и в память о том клевере люди зовут ее полем, — закончил я так же гладко, как и начал. — Да ты сам увидишь, подъезжаем.

Человек помолчал и неприязненно сказал:

— Вот, значит, какие байки травит здешнее население.

— Во-первых, не байки, — возразил я как мог спокойно. — Во-вторых, здешнее нынешнее население уже ничего не травит, потому что плохо знает эту историю. Кто повымер, кто новый народился, а кто и забыл по старости. Зовут эту рощу полем, а почему так, многие и не задумываются... Мне, например, эту историю рассказывал Колыванов, мой приятель из Селихова. Он тогда мальчишкой был, но все помнит; это ведь его отец свой «вельтмайстер» продал, а потом назад получил... Ну, вот они, березы. — Я притормозил. — Будь здоров.

— Сам не болей, — вздохнул человек, повесил на плечо свой детский рюкзачок и, открыв дверцу, неловко, боком выбрался из «Москвича».

Я тронул машину с места и, набрав скорость, увидел в зеркало, что человек совета моего не послушал, через поле по тени не пошел — так и прет по солнцепеку, смешно переваливаясь с боку на бок и пыля тяжелыми ногами.

В Таллинне я был засветло. Друзья встретили меня еще не остывшим ужином и большим количеством пива: они знали, что мы в Пытавине и вкус, и запах его давно забыли. Свои законные отгулы я просадил, как бог, как ковбой из диких прерий, приехавший покутить в старушку Европу: слонялся с друзьями по чистым улочкам, пил на каждом шагу кофе маленькими чашечками и коньяк маленькими рюмочками, ел в подвале свинину с косточкой, поджаренную прямо на решетке, и запивал это дело теплым красным вином; путешествовал по живописным пригородам и в одном тихом месте попробовал знаменитый ликер вперемешку со сливками; купался в холодном заливе возле всемирно известной стоянки яхт и даже прокатился на яхте при пусть небольшой, но все же волне... Потом друзья проводили меня отличным завтраком, я сел в свой «Москвич» и погнал назад, надеясь к ночи быть в Пытавино с тем, чтобы как следует выспаться, явиться наутро в автоколонну свеженьким и сесть в кабину «КамАЗа» с хорошим рабочим настроением.

На выезде из Таллинна ударил ливень, встал стеной, шквальный ветер раскачивал эту стену и норовил перевернуть мою машину, но я не трусил, гнал, не сбавляя скорости, и, чтобы подбодрить себя, орал во все горло мужественные песни.

Перед поворотом на Селихово, то есть перед березовым полем, по верхушкам которого, ломая их, шел шквал, мне пришлось остановиться. С расквашенного проселка на шоссе кое-как выбирался грузовик. Тела людей, сидящих в кузове, безвольно раскачивались из стороны в сторону. То, что они раскачиваются, сидя спинами к бортам и не глядя друг на друга, сразу испортило мне настроение. У нас, пытавинских шоферов, есть примета: попались похороны — сверни, найди объезд; некуда свернуть — вылезай из машины и будь с теми, кто хоронит. Я суеверен. Я встал у обочины и вылез из машины как раз тогда, когда грузовику удалось выбраться на асфальт. Дождь ударил мне в лицо. Задыхаясь, я замахал руками. Грузовик остановился, и я прыгнул в кузов.

Человек, потеснившийся, чтобы дать мне сесть, оказался Колывановым, моим селиховским приятелем. Он узнал меня, спросил:

— Курить есть?

Я достал сигарету, размокшую вмиг. Колыванов повертел ее в руке, выбросил за борт и туда же сплюнул. Мы въехали в придорожный лесок, где пряталось от проезжих глаз селиховское кладбище.

Чтобы не чувствовать и не выказывать себя лишним, я помог снять и опустить на землю голый, без обивки, гроб, помог выкопать могилу. Когда могила была готова, все заторопились, опасаясь, как бы ее не залило водой, и только тут я заметил, что в общей унылой картине похорон не хватает самого привычного: скорбящих родных. В том, что хоронят чужого, я убедился еще больше, когда мужики заспорили, надо ли открывать крышку гроба, чтобы по обычаю проститься с покойным, или уже не стоит. Решили открыть. Все принялись по очереди смотреть мертвому в лицо. Я подошел последним, посмотрел ему в лицо и узнал. Это был человек, которого неделю назад я вез до поворота на Селихово. На его серые толстые щеки капал крупный дождь, и мне показалось на какой-то миг, что он морщится от этих неприятных прикосновений... Дробно застучал молоток, и Колыванов мне сказал:

— Председателем у нас был. Давно. Вот, приехал... А, да я говорил тебе: тот, что клевер сеял, я говорил... — Он вдруг вспомнил, что рад мне, улыбнулся и приобнял. — Ты как, едешь с нами? Помянем, заодно посидим...

Я вышел на шоссе и поехал в Селихово, рискуя завязнуть на своем «Москвиче» в жидкой глине проселка.

Хоронили быстро, зато поминали не спеша. Да и куда было спешить: дождь не утихал. Я сидел за столом, ел, пил, слушал обычные селиховские разговоры. Об умершем не говорили, его здесь не знал никто, кроме Колыванова. Разомлев после колывановской баньки, я думал о том, что похоронить бывшего председателя, наверное, следовало в березовом поле, это было бы душевно красиво; я думал о том, что вот скитался человек неизвестно где, а умирать вернулся в Селихово, и это, наверное, не случайно, не случайно и как-то хорошо, то есть я думал те, казавшиеся мне тогда серьезными, сокровенными, а на самом деле давно и не нами заго-

товленные мысли — их много заготовлено на все предвиденные и непредвиденные случаи жизни, и они всегда извлекаются к подходящему случаю, чтобы смягчить и украсить нам любое переживание, каждый раз притворяются новыми и значительными, но не обязывают ни к чему и оттого легко забываются.

На рассвете я проснулся в душной колывановской избе. Мне было худо. Я решил, что это — похмелье; так оно, должно быть, и было, тем более что, помимо тошноты и головной боли, крутило меня до стона чувство какой-то неведомой, непоправимой, страшной вины. Набросив пиджак на голые плечи, я выбрался на улицу. Дождь перестал, но было сыро и очень холодно. Меня бил озноб, мне хотелось бежать со всех ног, спрятаться, забиться в какую-нибудь глубокую подземную нору, и страшно было смотреть на огромное дерево, качающееся на ветру посреди льняного поля.

Вышел Колыванов, сел рядом со мной на лавку, сказал:

— Не можется? Э-э, а поправиться-то нечем, съели всё... У Натальи таблеток куча, так я поищу чего, если хочешь.

Я замотал головой и, глуша словами назревающее рыдание, принялся рассказывать Колыванову, как я вез того человека до поворота, как по бравой шоферской привычке говорил ему «ты», как он выслушал от меня всю свою историю и как потопал потом пешком по пыли и солнцепеку...

— И умер, умер! — пьяно всхлипывал я. — Ты это понимаешь, Колыванов, или не хочешь понять?

— Не хочу, — сказал Колыванов. — Ты на себя не думай. Не ты его добил. Жизнь его кончилась, и все дела... Конечно, стыд ему в жизни здоровья не прибавил. Крестьянский стыд, если он есть, он дурной, из-за ерунды живьем съест.

— Можно подумать, ваши насмешки ему прибавили здоровья, — зло напомнил я.

— Почему наши? Не наши, — убежденно сказал Колыванов. — Я маленький был, не насмехался. И вообще от смеха, по-моему, еще никто не умирал. Он ведь не умер тогда, просто уехал, и все дела... Но ты прав, что переживаешь. Мужика жалко. Мужик он был хороший... Обо всех думал, всем хотел помочь, за всех решил: будем клевер сеять!

Тут у Колыванова что-то поднялось, захлюпало в груди, и он не выдержал, захохотал в голос. Проснулся пес за сараем, заворочался и заскулил, брякая цепью.

— Ну тебя к лешему, расстроил, — сказал, давясь от смеха, Колыванов, встал и, хлопнув дверью, скрылся в доме.

Я еще немного поспал, попил молока, пришел в себя и попрощался с Колывановым. Сильно помучив машину на непросохшем грунте, я выехал на шоссе и остановился возле березового поля. Нужно было спокойно и без помех обдумать ту ложь, что я собирался выдать начальнику автоколонны в оправдание своей неявки на работу. Прохаживаясь меж стройных, влажных берез, я сочинил убедительную неисправность двигателя, которая задержала меня в пути, и придумал удивительно хороших людей, которые помогли мне починить «Москвич» так скоро, что я опоздал всего лишь на полдня. Побродив в тишине, я сел за руль и погнал, не жалея резины. Проезжая через Хнов и глядя в сонные лица пешеходов, я вдруг представил лицо начальника автоколонны, представил его крик, его мат, угрозы и оскорбления, представил себя и свое умелое вранье, которым я спокойно отбиваюсь от оскорблений. Мне стало так кисло, холодно и страшно, как при первом прикосновении зубоврачебного зеркальца к зубам... Тогда я поддал газу и заставил себя думать о том, как хороша роща, по недоразумению возникшая у поворота на Селихово, и это неудивительно, думал я, это даже поучительно, рукотворная красота так и должна возникать, то есть случайно, для людей вроде и курьезно, а на самом деле по воле чего-то высшего, неведомого нам, то есть я думал все те готовые, пошлые, ни к чему не обязывающие и все же милые сердцу, все же добрые, все же порой возвышающие нас мысли, не будь которых, нас давно бы съела живьем постыдная ерунда каждодневной жизни.

Публицистика

Евгений Стариков

МАРГИНАЛЫ, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТАРУЮ ТЕМУ: «ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?»

Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязало бы, что пробуждало бы в нас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри нас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к своим городам.

П. Я. Чаадаев.
Первое «Философическое письмо».

Понятие маргинальности служит для обозначения пограничности, периферийности или промежуточности по отношению к каким-либо социальным общностям (национальным, классовым, культурным). Маргинал, просто говоря, — «промежуточный» человек. Классическая, так сказать, эталонная фигура маргинала — человек, пришедший из села в город в поисках работы: уже не крестьянин, еще не рабочий; нормы деревенской субкультуры уже подорваны, городская субкультура еще не усвоена. Главный признак маргинализации — разрыв социальных связей, причем в «классическом» случае последовательно рвутся экономические, социальные и духовные связи. При включении маргинала в новую социальную общность эти связи в той же последовательности и устанавливаются, причем установление социальных и духовных связей, как правило, сильно отстает от установления связей экономических. Тот же сельский мигрант, став рабочим и приспособившись к новым условиям, еще длительное время не может слиться с новой средой.

В отличие от «классической» возможна и обратная последовательность маргинализации. Объективно все еще оставаясь в рамках данного класса, человек теряет его субъективные признаки, психологически деклассируется. Ведь деклассирование — понятие прежде всего социально-психологическое, хотя и имеющее под собой экономические причины. Воздействие этих причин не является прямым и немедленным: объективно выброшенный за пределы пролетариата безработный на Западе не станет люмпеном, пока сохраняет психологию класса и прежде всего его трудовую мораль. У нас в стране нет безработицы, но есть деклассированные представители рабочих, колхозников, интеллигенции, управленческого аппарата. В чем их выделяющий признак? Прежде всего — в отсутствии своего рода профессионального кодекса чести. Профессионал не унизится до плохого выполнения своего дела. Даже при отсутствии материаль-

ных стимулов настоящий рабочий не сможет работать плохо — скорее он откажется работать вообще. Физическая невозможность халтурить отличает кадрового рабочего-профессионала (так же как и крестьянина, и интеллигента) от деклассированного бракодела и летуна.

Привычку к расхлябанности, дезорганизованности порождает множество причин. Кратко проанализируем основные из них.

1

Первая мировая война усилила в социальной структуре российского общества маргинализационные процессы. Едва ли не в наибольшей степени затронули они рабочий класс. Что он представлял из себя до войны? Общая численность (без членов семей) — 15 миллионов человек, в том числе промышленных рабочих — только 3,5 миллиона, из них кадровых — 600 тысяч. Именно эта группа в силу своих особых качеств составляла главную социальную базу большевистской партии. В период войны значительная часть кадровых рабочих была призвана в действующую армию (в Петрограде, например, тридцать процентов), а на смену им пришли далеко не лучшие. Ленин неоднократно отмечал, что в период войны фабрично-заводское производство привлекает «всех, спрятавшихся от войны, босяцкие и полубосяцкие элементы, проникнутые одним желанием «хапнуть» и уйти» [1].

Последовавшая за революцией гражданская война привела к взаимному истреблению наиболее активных элементов российского общества, составлявших культурное меньшинство народа. Это в полной мере относится и к рабочему классу: из гражданской войны и сопутствовавшей ей разрухи вышел «пролетариат, ослабленный и до известной степени деклассированный разрушением его жизненной основы — крупной машинной промышленности...» [2]. «...Неслыханные кризисы, закрытие фабрик привели к тому, что от голода люди бежали, рабочие просто бросали фабрики, должны были устраиваться в деревне и переставали быть рабочими» [3].

В августе 1920 года переписью было учтено 1,7 миллиона промышленных рабочих (менее 50 процентов от их довоенной численности), из них кадровых — около 700 тысяч (по другим, скорее всего, более точным данным — всего 350 тысяч человек). Некоторые авторы вполне справедливо увязывают падение авторитета и влияния ленинской гвардии в партии с истончением слоя кадровых рабочих, являвшихся ее социальной базой и источником пополнения. В годы гражданской войны и военного коммунизма развал хозяйства и деклассирование пролетариата сочетались с ростом аппарата хозяйственного управления и распределения: к 1921 году он уже в два с половиной раза превосходил численность пролетариата — 4 миллиона чиновников, «полученных от царя и от буржуазного общества, работающих отчасти сознательно, отчасти бессознательно против нас» [4].

Основанием социальной структуры общества оставались огромный слой патриархального или полупатриархального крестьянства, в большинстве бедного, а кроме того, не поддающиеся учету массы люмпенов, выбитых из жизненной колеи войной. И во главе этого общества — партия, пролетарская политика которой «определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией» [5]. Но и с этим «тончайшим слоем» далеко не все в порядке. 12 ноября 1921 года один из руководителей ЦКК РКП(б) А. А. Сольц писал в «Правде»: «Долгое пребывание у власти в эпоху диктатуры пролетариата возымело свое разлагающее влияние и на значительную часть старых партийных работников. Отсюда бюрократизация, отсюда крайне высокомерное отношение к рядовым членам партии и к беспартийным рабочим массам, отсюда чрезвычайное злоупотребление своим привилегированным положением в деле самоснабжения. Выработалась и создалась коммунистическая иерархическая каста...» В одном из писем известный деятель того времени Х. Г. Раковский упоминал «автомобильно-гаремный фактор», «играющий немаловажную роль в оформлении идеологии нашей советской партийной бюрократии» [6]. У партийной элиты складывался своеобразный групповой навык, выражавшийся в отрицании общечеловеческих моральных ценностей, возведении в абсолют волевых, жестко авторитарных методов, применимых только в условиях гражданской войны, и распространении их на все случаи жизни, полный отказ от собственного «я» в пользу «партийной линии». Эта мораль в дальнейшем способствовала успеху сталинщины и последовательному уничтожению представителей «старой гвардии» руками товарищей по партии, а в конечном счете безжалостному обращению с массами трудящихся.

Довольно запутанные отношения сложились у партийной верхушки с управленческим аппаратом, заимствованным от царского режима. Вот что говорил об этом Ленин на XI съезде РКП(б): «...Не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет. Но если взять Москву — 4700 ответственных коммунистов — и взять эту бюрократическую махину, груду,— кто кого ведет? Я очень сомневаюсь, чтобы можно было сказать, что коммунисты ведут эту груду. Если правду говорить, то не они ведут, а их ведут» [7].

Итак, в начале 20-х годов социальная структура советского общества представляла из себя пеструю мозаику разных классов и групп, «взрыхленную» мировой и гражданской войнами, белым и красным террором, разрухой; массу людей, выбитых из колеи, с оборванными социальными связями, с потрясенными до основания моральными устоями. При этом, пожалуй, больше других пострадал рабочий класс, который «подвергся за эти три с половиной года политического господства таким бедствиям, лишениям, голоду, ухудшению своего экономического положения, как никогда ни один класс в истории. И понятно, что в результате такого сверхчеловеческого напряжения мы имеем теперь особую усталость и изнеможение и особую издерганность этого класса». «...Никогда не было так велико и остро бедствие этого класса, как в эпоху его диктатуры» [8].

Много раз в последнее время ставился вопрос об альтернативах сталинской модели казарменного социализма, или, конкретнее, о том, можно ли было сохранить нэп. Попробуем взглянуть на этот вопрос, учитывая прежде всего динамику общественных процессов, движения классов, слоев, групп населения в стране. Кому и что сулила новая экономическая политика?

Нэп, введенный партийным руководством вопреки собственному желанию под угрозой полного развала экономики и поголовного крестьянского восстания, был ненавистен и партийному, и государственному аппарату. Первому — потому что товарно-денежные отношения не подчинялись методу «простых решений» и, выступая регулятором экономической жизни, отнимали у партийного аппарата возможность командовать, порождая у наименее культурной его части ощущение собственной ненужности. «Совслужащие» же, в большинстве взятые внаем у прошлого, просто оказались не у дел: из имевшегося в 1924 году 1 миллиона безработных 750 тысяч — бывшие служащие. В 1928 году эта категория составила 50 процентов всех безработных. Таким образом, нэп способствовал неопределенности в положении и прямой люмпенизации работников управленческого аппарата.

Что же касается рабочего класса, то к началу первой пятилетки общая его численность по сравнению с 1920 годом увеличилась в 5 раз, а если вести отсчет от численности его кадрового ядра, то — минимум в 12, а скорее всего — в 24 раза. Вполне вероятно, что основную массу пополнения рабочих составила пауперизированная крестьянская молодежь. Многие из крестьян-мигрантов, поступавших на заводы и фабрики, сохраняли земельные участки и хозяйство в деревне. «...Каждый седьмой рабочий не умел читать и писать, многие справляли церковные праздники, ради чего могли и не выйти на работу, уход в деревню, например, на сенокос или уборку урожая кое-где был массовым» [9]. Как считал Христиан Раковский, «ни физически, ни морально ни рабочий класс, ни партия не представляют из себя того, чем они были лет десять тому назад. Я думаю, что не очень преувеличиваю, если скажу, что партиец 1917 года вряд ли узнал бы себя в лице партийца 1928 года» [10]. Думается,

в условиях пореволюционной России кадровый пролетариат и крестьянство представляли собой не просто два разных класса, а были носителями двух принципиально различных линий развития — европейской и азиатской. В свое время Г. В. Плеханов писал, что «в лице рабочего класса в России создается теперь народ в европейском смысле этого слова» [11]. То есть цивилизованное, культурное, осознающее свои классовые интересы и способное их защищать, с развитым чувством собственного достоинства население. Что же касается русского крестьянства, то не слишком ли сильно преувеличивался его мелкобуржуазный характер? Есть много оснований согласиться с мнением И. М. Клямкина о том, что русское крестьянство, говоря экономическим языком, представляло мелкотоварного производителя добуржуазного типа [12], а на языке современной социологии — «традиционный сектор», связанный не столько с товарно-денежным, сколько с натуральным хозяйством. И хотя нэп резко уменьшил долю пауперизированного населения в деревне, слой «бедняков» по-прежнему оставался очень значительным и оказал влияние не только на процессы «раскулачивания» и коллективизации. Остатки старого кадрового пролетариата европейского типа были захлестнуты морем сельских переселенцев, несущих в город не только традиционное крестьянское трудолюбие, но и — в лице именно этого пауперизированного слоя — мораль азиатского патернализма. Бывшие крестьяне были преисполнены радужных надежд, «революция растущих ожиданий» превращала их в послушную и доверчивую всякому волеизъявлению свыше массу.

Проиграли от нэпа две социальные категории: люмпены, не способные включиться в процесс производства ни при каких условиях, и работники бюрократического аппарата, лишившиеся с концом военного коммунизма распределительных функций, ибо в условиях нэпа регулятором распределения должен был стать «автомат» закона стоимости. Интересы собственно люмпенов совпали с интересами люмпен-бюрократов, и тем и другим был нужен перераспределительный аппарат, демонтированный в период нэпа: первым — как объекту его благодеяний, вторым — как причастным к распределительной кормушке. И притом парадоксальным образом эти интересы оказались как бы на параллельных курсах с общим умонастроением значительной части партийного аппарата, да и партийной массы. «...Годы нэпа проходили под знаком жгучей ностальгии... по временам военного коммунизма. Полистаем газеты тех лет и увидим, что новая экономическая политика изображена в них преимущественно со знаком минус. Почитаем воспоминания ветеранов, и встретимся с «тоской» по времени, когда все было «просто» и «ясно»: приказ — исполнение» [13].

При такой расстановке социальных сил в стране нэп, думается, был обречен, несмотря на экономическую эффективность и благотворное влияние на все стороны общественной жизни. Сложилась не столь уж редкая в истории нашей страны ситуация: у объективно необходимой политики не оказалось соответствующей социальной базы.

В период «великого перелома» победила не просто одна из далеко не лучших моделей «неразвитого социализма». «Азиатская» модель общественного развития одержала победу над «европейской». «Европейская» характеризуется наличием независимых от государства субъектов собственности, развитыми гражданским обществом и классовой структурой, при которой государство — лишь элемент надстройки. «Азиатская» модель отличается тотальным проникновением государства не только во все надстроечные сферы, но и превращением его в решающий элемент базиса, слиянием отношений политики, власти с отношениями собственности. Государство превращается в верховного собственника всех средств производства; в социальной структуре поглощенного им гражданского общества складывается не классовое, а сословное деление (ибо главный классообразующий признак узурпируется государством).

Место нормального экономического обмена, распределения на основе товарно-денежных отношений в «азиатской» модели занимает так называемая редистрибуция (в переводе с английского — перераспределение). Этот термин ввел в обиход крупнейший представитель экономической антропологии Карл Поланьи.

Редистрибуция — неэквивалентный продуктообмен, основанный на волевом изъятии центральной властью прибавочного продукта с целью его последующего натурального перераспределения. Складывается ситуация с двумя зеркальными антиподами — социализмом и его «больной тенью» — «казарменным коммунизмом», напоминающая Одетту — Одиллию из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Каждому структурному элементу социализма соответствует уродливый «азиатский» двойник: общественной форме собственности противостоит государственно-бюрократическая форма; нетоварному характеру продуктообмена при коммунизме, гипотетически предсказанному Марксом и Энгельсом,— волевое перераспределение (редистрибуция) в рамках полунатурального хозяйства; социалистическому коллективизму как форме добровольной ассоциации свободных людей — казарменно-принудительный псевдоколлективизм; равенству всех в праве на самореализацию талантов и способностей — равенство посредственностей, равенству богатства — равенство нищеты и т. д.

Переход от товарно-денежных отношений к редистрибуции имел серьезнейшие последствия для всей социальной структуры советского общества. Ведь при такой системе общество делится на две основные группы: управленческую верхушку, выполняющую диспетчерско-распределительные функции, и рядовых производителей, создающих прибавочный продукт, изымаемый первой группой в перераспределительную сеть. Причем изъятие приобретает определенно выраженный рентный характер и напоминает явление, именуемое К. Марксом «рентой-налогом».

Политический, внеэкономический характер изъятия прибавочного продукта с неизбежностью порождает деление общества на социальные группы, различающиеся по правам и обязанностям [14] — деление не классовое, а сословное. Если в «западной» модели источник материального благосостояния — собственность на средства производства, то в модели «азиатской» — место в бюрократической иерархии: личная зависимость производителя, внеэкономическое принуждение, натуральная трудовая повинность — на одном полюсе общества, натуральные привилегии и опять же личная зависимость от вышестоящего — на другом. «Поголовное рабство» — так охарактеризовал К. Маркс систему отношений, сложившуюся на Востоке [15]. Термин «рабство» употребляется здесь Марксом не в экономическом, а в правовом смысле для обозначения той системы личной зависимости, которая снизу доверху пронизывает всю пирамиду азиатской деспотии, при которой даже чиновник, обладающий огромной властью, сам является рабом более высокого начальника.

Специфическая особенность сталинской деспотии в отличие от азиатской — ее динамическая направленность на создание современной индустриальной базы общества. Необходимое условие стабильности азиатской деспотии вообще — абсолютное статическое равновесие. Введение в эту застойную модель целевого принципа, выходящего за пределы простого воспроизводства и направленного на создание материально-технической базы, в принципе несовместимой с перераспределительной экономикой, подрывает основы данного порядка. Режим, созданный Сталиным,— сплошное противоречие, дьявольский гордиев узел. Типично азиатская, статичная система фискально-тягловых псевдообщин-«колхозов», обираемых бюрократией, озабоченной лишь перераспределением произведенного, явно несовместима с динамичной политикой форсированной индустриализации. Новая техника и соответствующие ее уровню интеллигенция и рабочий класс входят в противоречие с принципами азиатской деспотии. При таком порядке вещей сталинские колхозы (государственное крепостничество) и ГУЛАГ (государственное рабовладение) выступают «внутренней колонией» — источником накоплений, которые волевым путем перераспределяются для развития современного сектора экономики. При этом внеэкономическое принуждение [18], например, драконовское трудовое законодательство 1940 года, вынуждено уживаться с экономическими стимулами: ведь относительно высокий уровень производительных сил требует сохранения товарно-денежных отношений хотя бы в урезанном и деформированном виде (заработная плата, рынок потребительских товаров).

Роль бюрократии в условиях сталинского режима также неоднозначна. По природе своей она стремилась не к управлению современным производством, но лишь к выколачиванию, перераспределению (и присвоению) ренты-налога. Однако под кнутом террора чиновники были вынуждены осуществлять несвойственные им задачи индустриализации страны. Прямая социальная родня старокитайских «шеньши» и древнеегипетских писцов, они вместо возведения Великой стены или Великих пирамид были обязаны заниматься возведением Гигантов Индустрии — гротескная и трагикомическая картина. И если строительство разного рода «котлованов» вполне укладывалось в русло старых традиций, то налаживание современных индустриальных производств входило в вопиющее противоречие с социальной природой и общим культурным уровнем бюрократии.

Общество, создающее современную индустриальную цивилизацию методами египетских фараонов, неминуемо запуталось бы в противоречиях и не смогло достигнуть цели, если бы не универсальное средство, разрубающее все гордиевы узлы. Террор. Иррациональный, омерзительно-отталкивающий, он тем не менее в течение четверти века помогал обществу ценою страшных издержек и расточения живой силы народа справляться со своими проблемами и противоречиями.

Существовавшему при сталинском режиме обществу нельзя отказать в динамизме. Сословное деление (рабы —«зеки», крепостные—колхозники, относительно свободные, хотя и не избавленные от гнета внеэкономического принуждения рабочие, интеллигенция, бюрократия и еще великое множество внутриклассовых делений и разного рода искусственных кастово-сословных образований) не было жестко фиксированным. «Вертикальные» подвижки из одного слоя населения в другой обеспечивали постоянный приток кадров в «современные» секторы за счет массового исхода из «традиционного». Обусловленный репрессиями обратный поток с верхних уровней социальной структуры в ее «подвальные» этажи открывал возможности для головокружительных карьер, создавая иллюзию социальной справедливости и высокой социальной мобильности.

2

Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес — Советский Союз!

Из песни 70-х.

Горизонтальные и вертикальные перемещения огромных масс людей вели к маргинализации основных классов общества. Массовое перемещение сельских жителей в города не сопровождалось развертыванием социальной инфраструктуры. Потеряв связь с деревенской жизнью, переселенцы не получили возможности полноценно включиться в жизнь городскую. Возникла типично маргинальная, «промежуточная» «барачная» субкультура. Обломки сельских традиций причудливо переплетались с наспех усвоенными «ценностями» городской цивилизации. Бесчисленные «нахаловки» на первый взгляд похожи на южноамериканские трущобы с их «культурой нищеты», эмпирическими исследованиями которой в странах Западного полушария прославился в свое время Оскар Льюис. Но о полной аналогии говорить не приходится. Трущобы безработных «у них» и «нахаловки» у нас — явления социально различные. Обитатели наших бараков — не безработные, а люди, имеющие постоянный заработок. При внешнем сходстве черт быта коренным было социально-психологическое различие: безысходная тупиковость ситуации «у них» и состояние «революции растущих ожиданий» у нас. Ожидания питал несомненный рост промышленной базы, вера в «завтрашний день» обеспечивала и беспримерный энтузиазм, и готовность принять барачное существование, низкую зарплату, тяжкий труд. (Заводы, как пишет Л. Карпинский, стронли вручную, с нечеловеческими усилиями, люди жили в нечеловеческих условиях. Так, на строительстве Магнитогорского металлургического гиганта умерли от тифа и других болезней около 60 тысяч человек[17].) Надежда на «светлое будущее» (за которое, по старой русской традиции, не грех пострадать) позволяла народу и в тяжелейших испытаниях сохранить духовное здоровье. Но на энтузиазме нельзя жить вечно. Сколь бы долго — по природному своему долготерпению и безграничной доверчивости — ни позволяли барачные жители оттягивать оплату просроченных векселей, когда-то наступает срок выполнения многочисленных обещаний. Иначе «революцию растущих ожиданий» сменяет «революция утраченных надежд» с глубочайшим душевным надломом, цинизмом, психологическим деклассированием. Еще в тридцатые годы академик Винтер предупреждал о том, что временные сооружения являются самыми долговременными. Л. Аннинский в статье, посвященной анализу произведений В. Маканина, констатирует: «барак, порождение первых пятилеток, жилье аврально-недолгое, рассчитанное на сезон-другой, застряло в нашей жизни на три-четыре десятилетия. Барак стал колыбелью нескольких поколений — психологические результаты этого сказываются теперь, когда поколения выросли».

Несколько конкретных цифр, иллюстрирующих процесс «исхода» из деревни и соответствующий рост численности рабочего класса, интеллигенции, служащих — городских жителей в целом. Если в 1924 году в стране было 10,4 процента рабочих и 4,4 процента служащих (от общей численности населения, включая неработающих членов семьи), то в 1928 году эти цифры составили 12,4 процента и 5,2 процента соответственно, в 1939 году — 33,7 процента и 16,5 процента. В течение трех неполных предвоенных пятилеток (1928 — 1940 гг.) среднегодовая численность рабочих увеличилась в 2,7 раза — с 8,5 миллиона человек до 22,8 миллиона, а вместе со служащими их численность составила 33,9 миллиона человек. Если доля естественного прироста в увеличении городского населения в 1927—1938 годах составляла 18 процентов, то на долю миграций сельских жителей приходилось 63 процента. В 1917 и в 1926 годах доля городского населения составила 18 процентов, а к 1940 году она возросла до 32,5 процента.

И в послевоенный период выходцы из села обеспечили бо́льшую часть прироста городского населения и рабочего класса. С 1951 по 1979 год ежегодный «отток» из деревни приближался в среднем к 1,7 миллиона человек, а доля естественного прироста в увеличении городского населения поднималась весьма незначительно, составив 40 процентов в 1959—1969 годах и 43 процента в 1969—1978 годах. Наблюдались и определенные волнообразные колебания миграций «село—город», что отражало как послабления в политике прикрепления работников к колхозам, так и ход разного рода бюрократических «экспериментов» над безгласным сельским населением,— ответом на сомнительные новации было усиление бегства из деревни. Так, например, если наибольший зарегистрированный за послевоенный период исход из деревни составил в 1953 году 2594 тысячи человек, то наименьший — в 1955 году, в период относительной стабилизации дел в сельском хозяйстве — 1023 тысячи человек. Во второй половине 50-х годов, по мере «завинчивания гаек», поток сельских мигрантов вновь возрос, что повторилось затем в 1965 году, когда упали закупочные цены на сельхозпродукцию.

Типичная модель миграции: «деревня — малый город — большой город», в общем совпадает с положением в несоциалистических странах, прежде всего в странах «третьего мира». Экстенсивное развитие промышленности, как правило, связано с расширенной урбанизацией, стягиванием промышленных предприятий и рабочей силы в центры с более развитой инфраструктурой, а это ведет к ее перегрузке. Население страны с 1939 по 1984 год увеличилось в 1,4 раза, а численность городского населения — в 2,9 раза, причем население малых (до 100 тысяч жителей) городов — в 2,2 раза, больших (100—500 тысяч) — в 3,1 раза, крупнейших (свыше 500 тысяч) — в 4,6 раза. С 1970 по 1987 год численность населения крупнейших городов возросла с 37,3 миллиона человек до 61,6 миллиона.

Характерная для экстенсивного развития экономики тенденция к выкачиванию из сел и малых городов рабочей силы в большие и крупные города без

развертывания соответствующей социальной инфраструктуры продолжает действовать. Эта тенденция в нынешних условиях приводит к формированию в рамках рабочего класса уродливой системы различных сословных групп, фактически ограниченных в своих конституционных правах различного рода подзаконными актами. Пример — «лимитчики» (советский аналог западногерманских «гастарбайтеров»). Отвратительным наследием сталинского прошлого является использование пенитенциарной (тюремно-исправительной) системы не столько по своему прямому назначению, сколько в качестве поставщика дешевой, неполноправной рабочей силы. «Довольствуясь двумя квадратными метрами жилой площади на человека (такова норма в ИТК), они освобождали ведомства от необходимости создавать разветвленную социальную структуру... Чтобы привлечь и устроить тысячу рабочих и их семей, нужно вложить 20 миллионов рублей. А когда их заменяют «условниками» из спецкомендатур, это обходится ведомствам ровно в двадцать раз дешевле»[18]. «Зеки», «химики», «лимитчики», «стройбатовцы» — разные степени внеэкономического принуждения к труду, от прямой личной зависимости до слабо закамуфлированной (у «лимитчиков») — через место в общежитии, прописку, очередь на жилплощадь. Относительно же первых двух категорий автор вовсе не хочет сказать, что осужденный по суду не должен работать. Отнюдь нет. Но осужденные не должны превращаться фактически в один из специфических отрядов рабочего класса, наводняя стройки Урала, Сибири, Дальнего Востока и оказывая — через совместный труд — деморализующее влияние на другие отряды рабочего класса, а также на ведомства, компенсирующие дешевой рабочей силой низкий уровень фондовооруженности.

Система бюрократических рогаток (прописка, обмен жилплощади и т. д.), носящих явно выраженный докапиталистический характер, препятствует свободному переливу рабочей силы, дробя рабочий класс на многочисленные ведомственные, региональные, профессиональные и прочие касты, различающиеся по уровню правовой защищенности, обеспеченности социальными благами, снабжению и т. д. Эта уродливая система мешает и воспроизводству рабочего класса на своей собственной основе. Чтобы искусственно поддержать хиреющий процесс такого воспроизводства, используется система ПТУ, долженствующая пополнять рабочий класс крупных городов за счет сельской молодежи. Из-за предельно низкого уровня преподавания и оснащенности оборудованием эта система фактически закрывает для учащихся всякую возможность дальнейшей «вертикальной» мобильности. По данным авторов книги «Молодое поколение», «из выпускников ПТУ делают попытку поступить в вуз лишь несколько процентов, а поступают единицы»[19]. Заведомая предопределенность жизненного пути в качестве «работяг», «пахарей», фактическое неравенство со сверстниками из других социальных слоев, плохая постановка учебно-воспитательного процесса — все это делает ПТУ не столько источником пополнения рабочего класса, сколько еще одним каналом его маргинализации. Так, например, из пришедших на стройку выпускников СПТУ Ленинграда половина бросает работу в течение первого года. Качество профессиональной подготовки ниже всякой критики.

Маркс ввел в научное обращение понятия «класс в себе» и «класс для себя». «Класс в себе» — общность, не осознающая себя как единое целое; она существует объективно, занимает определенное место в системе производственных отношений, но единства своих интересов не понимает и, следовательно, достойно защищать их не может. «Класс для себя» — общность осознанная, готовая отстаивать свои, отдельные от других классов интересы. Обусловленный сложными обстоятельствами нашей истории раскол рабочего класса на отдельные сословия, его ведомственная разобщенность консервируют состояние «класса в себе», лишая возможности действовать в общенациональном масштабе. Как пишет А. А. Галкин, «для разобщенных социальных групп характерны пассивные формы сопротивления, а также спорадические бунтарско-анархические вспышки»[20]. Борьба представителей рабочего класса за улучшение своего положения принимает в этих условиях форму внутриклассовой конкуренции в различных сферах — таких, как распределение жилплощади, заработной платы и прочих ма-

териальных благ при помощи связей, отношений клиентелы (а проще — «блата»), взяток и т. д. Вполне естественно, что подобная длящаяся десятилетиями «борьба» за реализацию потребительских интересов не только не укрепляла внутренние связи рабочего класса, но способствовала его дальнейшей дезинтеграции, сохранению и усилению его маргинализации. Все это низводит отдельные отряды рабочего класса до уровня «рабсилы», превращая их в простой придаток к основным производственным фондам удельных ведомственных княжеств, создающих зачастую в одних и тех же регионах ряд дублирующих друг друга социальных инфраструктур.

Есть и другие причины сохранения состояния «класса в себе» для рабочих и иных социальных групп советского общества, причины, лежащие прежде всего в политической сфере. О них несколько ниже, пока обратим внимание лишь на тот факт, что социальные перемещения типа «из крестьян — в рабочие» дополняются другими типами таких подвижек. Например, «несоответствие между расселением населения и размещением образовательных институтов приводит к резкому повышению миграции молодежи в ущерб менее развитым типам поселений и регионам». Три четверти людей в возрасте 30 лет живут и работают не там, где они родились; относительная стабилизация социально-профессионального положения человека, его места в структуре общества происходит примерно к 27 годам, до этого же он находится в состоянии «социального перемещения»[21]. Ощущение неукорененности, «выбитости из колеи», потери «малой родины», вообще очень болезненное, особенно опасно для юной личности, только вступающей в общественную жизнь. Вот как описывает это Василий Белов в своих «Раздумьях на родине»: «Никогда не выветрится из души ощущение бездомности, чувство начисто обворованного человека, которое пришло сразу же, когда я узнал, что в деревне никого больше нет, что дом заколочен, и печь, которая не остывала много десятилетий, остыла и часы-ходики остановились. Часто во сне я плакал сухими слезами, плакал, а за окнами общежития шумела бессонная громада Москвы». Неопределенность положения, вообще присущая студенчеству, многократно усиливается из-за необходимости преодолевать различные искусственные житейские препятствия. Психику приезжего абитуриента травмирует фактическое неравноправие при приеме в вуз — лимиты для иногородних, больший, чем у местных жителей, проходной балл, реальная неравноправность при распределении на работу и т. д. Не случайно, анализируя мотивы самоубийств, специалисты относят к разряду потенциально опасных в этом отношении групп студентов высших и средних учебных заведений.

В целом по стране миграция необыкновенно велика, и в этом одна из причин социальной неопределенности, рыхлости, магмообразности населения. «Ежегодно в СССР около двадцати миллионов человек меняют места проживания. При такой подвижности и нынешней продолжительности жизни средний человек переселяется за свою жизнь шесть раз. И если сто лет назад подавляющее большинство людей умирали там, где рождались, то теперь большинство рано или поздно покидают свою «малую родину». По последней переписи, жило не там, где родилось, 47 процентов населения страны в целом и 57 процентов горожан в частности»[22]. Очень велика текучесть рабочих кадров. И в промышленности, и в строительстве она превышает 11 процентов.

Хотя в настоящее время большинство населения проживает в городах, по происхождению своему оно сельское. Горожане третьего поколения (только их можно считать «вполне» горожанами) составляют в среднем не более 15 процентов. Причем потенциальные резервы миграции еще очень велики. Так, среди русских, белорусов и литовцев за год 4—5 процентов сельских жителей переезжают в город (у узбеков, таджиков, туркмен, грузин эта цифра в 5—6 раз ниже). В РСФСР доля потенциальных мигрантов среди русских сельских жителей по-прежнему высока — 21 процент, в Грузии среди грузин — 12, в Узбекистане среди узбеков — всего 6.

Общую картину неукорененности и неустроенности осложняет ежедневная «маятниковая миграция» огромных масс населения из пригородных зон к месту

работы в города и обратно. «Только с 1975 по 1980 г. число людей, охваченных маятниковой миграцией, выросло с 13,2 млн. до 17,3 млн. человек». «Развитие трудовой маятниковой миграции привело и к тому, что возникла «дневная» и «ночная» социальные структуры города». «Примерно каждый десятый ездит на работу в город из близлежащих сел или поселков городского типа»[23]. Обостряется и проблема «транспортного времени» внутри больших городов. Предельная усложненность квартирного обмена и невозможность свободной купли-продажи жилья превращают чисто бытовую задачу приближения места жительства к месту работы в социально-политическую проблему государственного масштаба.

Отсутствие условий для свободного перелива рабочей силы порождает в среде мигрантов весьма своеобразные человеческие качества. Фиктивные браки, махинации с обменом квартир, взятки, «лимит» и другие способы преодоления многочисленных социальных рогаток и фильтров приводят к «отрицательному отбору», превращают большие города в своего рода отстойники далеко не лучшего человеческого материала. Как считает В. И. Переведенцев, «ситуация с пропиской вообще обернулась парадоксом: запреты прописки в крупнейших городах стали, по существу, запретами выписки...»: боясь потерять право на жительство, люди всеми силами пытаются удержаться в «запретном» городе, упускают возможности самореализации в другом месте. Значительная часть квалифицированных трудовых ресурсов находится как бы в скованном, связанном состоянии. Так, в 1974 году число выбывших из Москвы в расчете на 1 тысячу населения было втрое меньше, чем по городским поселениям СССР в целом. «Закрытость» города противоречит не только экономической целесообразности, но и этическим нормам. «Раньше в столицу приходили познавать науки, приходили из других городов ремесленники со своим инструментом и со своими навыками. А в послевоенные годы хлынул люд самый ушлый, изворотливый. И шел он из деревень с одной целью: найти легкую жизнь. Конечно, нельзя обвинять этих людей: обстановка в послевоенной деревне была несладкая, но ведь те, кто остался, вытащили деревню из нищеты и разрухи. А в Москве появился бездуховный мещанин с низким уровнем культуры, без серьезной профессии»[24].

3

Слабый народ — значит сильное государство, сильное государство — значит слабый народ. Ослабление народа, следовательно, главная задача государства, идущего правильным путем.

Шан Ян. Шан-цзюнь-Шу.

Опасно, однако, не само «размывание» городского населения волнами сельских переселенцев, а невозможность при отсутствии социальной инфраструктуры для мигрантов укорениться, организоваться, наладить социальные связи в рамках новой для них среды. Превращение аморфных «классов в себе» в осознающие свои цели организованные «классы для себя» возможно только в условиях гражданского общества. Но именно этого-то условия после 1929 года и не было: после «великого перелома» сталинское государство приложило огромные усилия для того, чтобы разорвать органично возникающие между людьми связи, разрушить спонтанно зарождающиеся самоуправляемые организации — классовые, профессиональные, творческие, территориально-поселенческие, совокупность которых, в сущности, и составляет гражданское общество.

Длительная историческая традиция подавления и поглощения гражданского общества государством — черта не то чтобы специфически российская, а скорее общевосточная, свойственная «азиатскому» способу производства вообще. «Стереотипы господства и подчинения впитывались россиянином буквально с детства, они царили повсюду, воспринимались как нечто непреложное и естественное и потому не могли нередко не отравлять и революционное сознание»[25]. Еще Герцен подметил в российских революционерах «свой, национальный, так сказать, аракчеевский элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий»[26]. На этот специфический национальный элемент драматически наложилось свойственное любой нации в периоды революций стремление к разрушению старого общества, пресечению, подавлению малейших попыток противостояния, что неизбежно ведет к ломке моральных ценностей, моральному нигилизму. Небольшое «ядро» культурного рабочего класса направляло революционное творчество масс к созданию социалистического гражданского общества, но «азиатская» стихия оказалась сильнее. А это всегда чревато опасностью торжества жестко-авторитарного, нечаевского по своей сути, режима, установления специфической формы бонапартизма. К сложившейся у нас в 20-х годах ситуации вполне применимы слова, написанные К. Марксом в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» о Франции середины прошлого века: «...Государство опутывает, контролирует, направляет, держит под своим надзором и опекает гражданское общество, начиная с самых крупных и кончая самыми ничтожными проявлениями его жизни, начиная с его самых общих форм существования и кончая частными существованиями отдельных индивидов, где этот паразитический организм вследствие необычайной централизации стал вездесущим, всеведущим и приобрел повышенную эластичность и подвижность, которые находят себе параллель лишь в беспомощной несамостоятельности, рыхлости и бесформенности действительно общественного организма...»[27].

Очевидны и исторические различия. Классический бонапартизм паразитировал на равновесии классовых сил, балансировал между одинаково сильными классами, стравливая их между собой, играл роль третейского судьи и, таким образом, как бы вставал над гражданским обществом. Сталинский режим основывался не столько на балансировке между классами, сколько на стремлении размыть их, превратить в маргинальные группы, сохранить в состоянии «классов в себе». И в этом сталинский режим опять-таки более походит не на европейско-бонапартистский, а на азиатско-деспотический. Гражданское общество состоит прежде всего из «классов для себя», а когда их нет, возникает небывало широкое поле для самых фантастических, самых диких социальных и политических экспериментов государственной власти. Она начинает выступать в качестве своеобразного «скульптора», «лепящего» из податливой человеческой глины по своему усмотрению все, что заблагорассудится, а чтобы «глина» не теряла податливости, «скульптор»-государство «размягчает» ее, обрывая естественно возникающие социальные связи.

И вот посреди полуживых колоссов — «классов в себе» — резвится самодовольный карлик — единственная группа, достигшая состояния если не класса, то сословия «для себя»,— государственная бюрократия.

«Безадресный» сталинский террор преследовал весьма определенную жертву — гражданское общество. «Топор репрессий был, таким образом, направлен не на людей — на связи между ними. Люди уничтожались, так как при этом исчезали и беспокоившие Хозяина связи»[28]. Сколь-нибудь солидарная группа, сплоченная, осознающая собственные интересы, подлежала неминуемому разгрому как потенциально опасная. Любую саму по себе возникшую автономную общественную организацию, даже самую «идеологически выдержанную», бюрократия преследует вовсе не за «идеологию», а за «самостийность». Как писал А. Грамши, «если в государстве преобладает бюрократический централизм, то это означает, что руководящая группа, достигнув насыщенности, становится узкой кликой, которая стремится увековечить свои эгоистические привилегии, регулируя или даже предотвращая возникновение противодействующих сил, причем даже тогда, когда эти силы по своей природе однородны с основными господствующими интересами...»[29].

Насильственный разрыв социальных связей, образующих клетки живой ткани гражданского общества, ведет к тому, что эта живая ткань оказывается изодранной в клочья. Для обозначения последствий этого явления используются

разные термины, заимствованные у естественных наук: социальная энтропия, социальный распад, некроз социальной ткани. Смысл в любом случае один — человек, с которого «сдирают» слой за слоем социальные связи, как с кочана капусты сдирают лист за листом, постепенно превращается из «совокупности всех общественных отношений» в «абстракт, присущий отдельному индивиду». А страна в целом, лишенная гражданского общества, одновременно лишается и источника самодвижения и саморазвития. Следствие — сначала застой, а затем и деградация.

Исторический опыт показывает: гражданское общество — творец всей духовной и материальной культуры, и именно в гражданском обществе, через него происходит процесс усвоения культуры человеком. В гражданское общество, контролирующее государственный аппарат, заложен великолепный механизм обратной связи, без которой возможны самые трагические ошибки государственного руководства. Государство, видящее в гражданском обществе своего врага и подавляющее его в целях самоусиления, обрекает страну на культурную отсталость, а потому вынуждено заимствовать достижения и опыт культуры, созданной иными гражданскими обществами, искусственно пересаживать их на свою национальную почву. Такие привнесенные извне достижения и опыт далеко не всегда приживаются: еще Гегель говорил, что результат без пути, к нему приводящему, есть труп. Куда легче заимствовать готовое, чем этапы его становления, выработанные, иногда поколениями, способы, методы, механизмы достижения цели. Ведь эти механизмы суть не что иное, как созданная гражданским обществом и накопленная за десятилетия и века культура. Можно заимствовать цивилизацию, но культуру «пересадить» невозможно — ее можно только терпеливо взрастить. Как справедливо замечал А. И. Герцен, всякие попытки обойти, перескочить сразу приведут к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к почти неминуемым поражениям. Развитое гражданское общество при всей его «неудобности» для государственной власти, при всех возможных конфликтах и противоречиях между ними может стать колоссальной по своей силе поддержкой этой власти. Гражданское общество — основа самодвижения социальной материи: говоря словами Маркса и Энгельса, «гражданское общество — истинный очаг и арена всей истории...» [30].

Конкретной предпосылкой подрыва нарождавшегося в 20-е годы советского гражданского общества стало уничтожение хозрасчетных предприятий и самостоятельных крестьянских хозяйств, связанных между собой товарно-денежными отношениями. До «великого перелома» собственность на средства производства находилась фактически в руках социалистического гражданского общества, после него — перешла в руки государства. Переход от «горизонтальных» товарно-денежных связей к «вертикальным» — перераспределительным (редистрибутивным) — подорвал экономическую основу гражданского общества и предопределил его дальнейшее разрушение, поглощение государством. Почва из-под ног самостоятельности гражданина была выбита, все члены общества фактически превратились в наемных работников государства, экономически полностью от него зависящих. Классовые линии разграничения сменились сословными, произошло отчуждение рабочих и крестьян от средств производства. Большая часть общественных организаций была разогнана, меньшая — огосударствлена; теперь уже эти организации выполняли не волю своих членов, а стали «приводными ремнями» от властей предержащих к народу.

Невозможность установления внутри социального слоя или класса добровольных «горизонтальных» связей блокирует процессы становления «классов для себя». А блокировались не только связи между людьми внутри различных социальных слоев, но и возможности, предпосылки развития таких связей.

Среди таких предпосылок формирования «классов для себя» выделим главные.

Достаточный уровень материальной обеспеченности. Без улучшения материальных условий жизни «по сравнению с минимумом,— как писал К. Маркс,— рабочий остался бы совершенно в стороне от всякого развития производства, роста общественного богатства, успехов цивилизации, следовательно для него была бы исключена сама возможность освобождения» [31]. Значительно снизившись после 1928 года, жизненный уровень советских трудящихся все время сталинского правления оставался предельно низким. Обычно этот уровень зависит от способности трудящихся заставить считаться с собой. У нас же он до недавних пор зависел, да и ныне во многом зависит от благотворительности ведомств и благоразумия руководства, понимающего, что какой-то минимум материальной обеспеченности — по «остаточному принципу» — необходим для воспроизводства «рабсилы». Если же нет ни благотворительности, ни благоразумия, то понижаться этот уровень может без предела: поскольку гражданского общества нет, нет у трудящихся и реальных механизмов отстаивания своих интересов. К тому же постоянный дефицит предметов потребления и услуг, жилья и зарплаты создает, с одной стороны, *конкуренцию среди самих трудящихся в сфере распределения*, принижает их интересы до уровня потребительских, а с другой — порождает тягостный фон повседневного существования, не оставляющего ни сил, ни возможностей на сколь-нибудь организованную борьбу за улучшение своего положения.

Становление любой сознательной общности невозможно без *достаточно высокого уровня культуры*, в частности *политической и правовой*; не обладая такой культурой, та или иная социальная группа останется разве что «классом в себе» — аморфной массой, обреченной на растительное существование, лишенное духовных ценностей.

Общеклассовые структурные связи невозможно создать и без *личной свободы и политических прав*. Пока их нет, трудящиеся остаются лишь рабочей силой: в поглощенном государством гражданском обществе «человек словно бы не имеет статуса частного лица, а он должен его иметь, чтобы он значил что-то не только *при* должности, но и сам по себе — как личность, как гражданин, как индивидуальность» [32]. Фактическое непризнание за человеком права юридического лица, его правовая и политическая беззащитность ведут, как свидетельствует опыт, к тому, что сколько-нибудь активные и неординарные люди сплошь и рядом предаются остракизму — затравлены, сломлены, посажены, доведены до могилы, до алкоголизма, до психушек, выехали за рубеж. А теперь вдруг стенания в прессе: «Нет лидеров!», «Народ пассивен!», «Никто не хочет рисковать!». Социальная память слишком сильно травмирована десятилетиями «социальной селекции» и может подсказать, чем кончается борьба один на один с бюрократом, наделенным бесконтрольной властью и правом привлечения — для «чтения в сердцах» — карательных органов.

С личной свободой связана, как видится, еще одна предпосылка формирования класса «для себя» — *чувство человеческого достоинства*. Оно поможет защитить свои осознанные интересы, не дрогнуть перед «кнутом» самовластного подавления и не соблазниться «пряником» материальных поблажек и экономических уступок. Понятно, что не может быть чувства собственного достоинства у людей, живущих в унизительной бедности, убожестве, в условиях постоянного дефицита. В романе «1984» Джордж Оруэлл достаточно зорко подмечает, что такое состояние, все эти «приходящие в упадок мрачные города, где вяло бродят полуголодные люди в рваных ботинках, да кое-как залатанные дома прошлого века, от которых несет капустой и грязными уборными»,— не только следствие, но и условие существования тоталитаризма.

Класс «для себя» не может обойтись без *собственной интеллигенции*, которая внятно выражает его интересы, организует и возглавляет его культурную, идеологическую и политическую деятельность. «Всякая социальная группа,— писал А. Грамши,— рождаясь на исконной почве экономического производства, органически создает себе вместе с тем один или несколько слоев интеллигенции, которые придают ей однородность и сознание ее собственной роли не только в экономике, но также и в социальной и политической области...» [33]. Без интеллигенции невозможно выработать общую для всего класса точку зрения на текущие проблемы общественной жизни, без нее класс лишен действен-

ного представительства в гражданском обществе и государстве: «экономический класс, не создавший собственной интеллигенции, обречен на поражение, даже в случае захвата политической власти. Без интеллигенции возможна только диктатура, но не гегемония класса»[34].

И, наконец, нет класса без собственного этоса, то есть целостной системы поведения, основанной на определенном понимании моральных ценностей, ядро которых — трудовая этика и культура труда. С растворением нескольких сотен тысяч кадровых рабочих в миллионных толпах крестьян-мигрантов исчезает специфически пролетарский этос. Возникла некая промежуточная, не городская и не сельская, субкультура заводских окраин. Повторю: эту маргинальную субкультуру нельзя считать люмпенской. Она именно маргинальная, промежуточная; при многих внешне неприглядных чертах она сохраняет в основе своей мораль тружеников. Но, пытаясь разобраться в процессах маргинализации общества, нельзя не заметить и обстоятельств, угрожающих действительным социально-психологическим деклассированием, духовным босячеством и люмпенством.

4

«Великий перелом», как уже говорилось, ознаменовал переход от европейской товарно-денежной модели обмена деятельностью к архаичной азиатской модели редистрибуции — перераспределения. При таком типе отношений сфера производства предстает как источник выколачивания прибавочного продукта, а «главная» деятельность перемещается в сферу его распределения. Архаичной редистрибуции соответствует не менее архаичная сословно-кастовая социальная структура, лишь задрапированная фикцией всеобщего равенства перед законом. Опасность коррупции, заложенная в такой системе, бросается в глаза. Еще китайские императоры, прекрасно знакомые с этой болезнью, пытались хоть как-то обуздать злоупотребления своей «номенклатуры» — сословия мандаринов. Власть мандаринов не была наследственной. Они получали провинции, области, округа от императора на срок. Срок «кормления» мандаринов в одном и том же месте ограничивался тремя годами. (Это напоминает перевод нынешних «номенклатурных лиц» «на другую руководящую работу».) Естественно, паллиативные меры не помогали, коррупция продолжала разъедать империю, пока очередное крестьянское восстание не передавало «мандат Неба» новой династии, а вместе с ней к власти приходила новая, еще не испорченная бюрократия, и так — без конца... Слава богу, материально-техническая база нашего общества иная, и следует надеяться, что «застойный период» завершится не заменой лиц в перераспределительном аппарате, а сломом самого аппарата.

Редистрибутивный механизм особо опасен тем, что, ориентируясь не на производство, а на распределение и потребление, диктует особые правила поведения, создает особую социальную матрицу, особый этос, люмпенский по самой сути. «В целевых установках люмпена ориентация на социальное возвышение... приобретает форму стремления к расширению потребления, не связанного с дополнительными трудовыми усилиями»[35]. Не случайно создаваемый в 30-е годы стоящий над классами сталинский аппарат нашел материал для рекрутирования в деклассированных элементах. Аппарату нужны были люмпены. Именно люмпены («деревенская беднота»)[36] сделали карьеру на коллективизации, превратив аппарат в своего рода социальный лифт. Таким образом, и аппарат был нужен люмпенам. Как древнеримские пролетарии эпохи ранней империи нашли свою корпорацию в наемной армии, так наш отечественный люмпен-пролетариат обрел свою корпорацию в бюрократической касте, близкой ему по духу, «культуре» и способу социального паразитирования. (Вспомним глубокую мысль К. Маркса: «Финансовая аристократия как по способу своего обогащения, так и по характеру своих наслаждений есть не что иное, как возрождение люмпен-пролетариата на верхах буржуазного общества»[37].)

Заложенный в номенклатурную элиту в 30-е годы люмпенский заряд продолжает действовать и поныне. Хотя всем уже ясно, что принципы «отрицательного отбора», по которым формируется номенклатурный корпус (личная преданность как главный критерий, протекция как главный метод, фактическая несменяемость при коловращении номенклатурных единиц внутри замкнутой касты-корпорации, практическая неподсудность и т. п.), аморальны и способствуют лишь превращению номенклатуры в антиэлиту. Интересно, что конечные результаты такого «отбора» поддаются математическому моделированию на ЭВМ. Вот итоги одного из исследований, проведенного под руководством доктора технических наук А. Ефимова: «...Из руководства нашей Административной Системы первыми выбывали лучшие. Отсюда прогноз: эта элитная группа должна деградировать»; в иерархически устроенном руководстве «идут два процесса — деградация деловых качеств и укрепление личной взаимозависимости, подчас размывающей формальные связи»; «...Деградирующие элитные группы, заканчивая эволюцию, превращаются в весьма устойчивые клики. Устойчивость, как известно, вообще свойственна системам с отрицательной обратной связью»[38]. Формируется особая люмпен-бюрократическая антиэтника, в которой, по словам публициста Ивана Васильева, «принципом становится непорядочность», «...неприятие чести, достоинства, правды, совести — всего того, что сам растерял, а другие сохранили... Я отрекся, отрекись и ты — вот чего они хотят от порядочных. А будешь упорствовать — унизим. Да-да, именно так: не в порошок сотрем, а добьемся, что, отбросив принципы, смиришься и примешь нашу веру»[39]. Занимая ключевое положение в системе перераспределения благ, номенклатура выводит из сферы действия рынка один вид товарной продукции и услуг за другим, превращая их в собственные натуральные привилегии. Номенклатура превращает потребление в символ статуса. «Практически повсеместно,— свидетельствует «Правда»,— значительная часть фондов идет по закрытым каналам. Так, на дачах Рязанского обкома и облисполкома Солотча и Ласково за первое полугодие реализовано 394 килограмма икры, более 6 тысяч банок крабов, шпрот, печени трески, 565 килограммов осетровых и 880 килограммов свиных балыков, более полутонны буженины, 68 килограммов индийского чая и 165 килограммов растворимого и кофе в зернах. Все это составляет от 56 до 100 процентов данных товаров, выделенных районным продторгам»[40].

Какие конкретно социальные группы владеют рычагами перераспределения? Ф. М. Бородкин, заведующий отделением социальных проблем Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР, называет «три различных, хотя и сильно взаимодействующих системы таких групп: группы иерархии партийно-государственного аппарата, группы управления отраслевых министерств и ведомств и группы, имеющие прямое отношение к реализации и распределению благ — например, работники торговли, общественного питания, здравоохранения. Именно эти группы на протяжении нескольких десятилетий имеют преимущественные позиции в удовлетворении своих потребностей и отстаивании своих интересов...»[41]. Консолидация таких групп на противозаконной основе ведет к их сращиванию с организованной преступностью. Так, на наших глазах место традиционной азиатской ренты-налога все более нагло занимала взятка-налог. С экономической точки зрения они, в сущности, однотипны; таким образом, параллельно официальной сети перераспределения складывалась копирующая ее криминальная редистрибутивная сеть. Это не может не вызывать тревоги. «Если продолжать отмахиваться от очевидного, если позволить смонтироваться параллельной (государственной власти) пирамиде организованной преступности, то как бы не отодвинули нахрапистые «крестные отцы» известную часть номенклатуры от рычагов управления обществом. Как бы не начала вытесняться родимая наша, исконная бюрократия бандократией, властью бандитов.

Это не такое уж безумное предположение»[42].

Хищное иждивенчество заражает различные слои населения. Все больше людей стремится приникнуть к разного рода «кормушкам», перейти в сферу «руководства», «управления» и, следовательно, распределения. В этом, пожалуй,

один из горьких итогов долгих лет застоя. Социологи отмечают: «в начале 80-х годов наблюдались заметные перемещения молодежи в сферу торговли и отток ее, например, из учительства»[43]; «основной вектор распределения трудоресурсов — это перемещение энергии молодого поколения из производящей в непроизводящую сферу, высоко ценятся должности в торговле, причем внешне как бы последнего ряда — прием стеклопосуды, например»[44]. Падение интереса к производству находит отражение и в вузовских конкурсах: резко упали конкурсы в технических вузах, возросли — в торговых и финансовых, а в университетах — на факультеты, открывающие дорогу в управленческо-номенклатурную элиту: экономические, юридические, исторические. Распределительно-управленческая сфера, однако, не безгранична, и потому многие стремятся превратить свои *производственные* должности в перераспределительные, *редистрибутивные*, а проще — получать доход не от выполняемой работы, а с занимаемого места, выколачивая взятки, разворовывая все, что можно украсть. Как не без резона заметил И. М. Клямкин в статье «Какая улица ведет к храму?», это уродливый бунт против такого положения вещей, когда «одним можно, а другим нельзя».

«Сколько лет я работал хорошо, а ел — плохо. А вот мной руководили плохо, а ели хорошо. Почему?» — Эти слова из письма молодого рязанского рабочего в редакцию «Комсомольской правды» кратко и точно выражают то чувство обделенности и протеста, которое давно уже накапливается в среде отчужденных от «общенародной собственности» трудящихся. Дело подчас доходит до сознательного ухода в «бичи», «бомжи», как на милицейском языке называют людей не только без определенных занятий, но и без определенного места жительства. Между тем многие из них отнюдь не бесталанны. В очерке «Придонный слой» Алексей Лебедев приводит весьма примечательный монолог архангельского «бича» Юры, в прошлом строителя с двенадцатью специальностями: «...Все эти ГЭСы и ГРЭСы пройдены. Начинаешь — палатка, кончаешь — вагончик, а как сдается жилой дом, там все конторские. А Юра? Юра — сварной, Юра — арматура, Юра — за баранкой, у Юры смежные профессии, давай-ка, Юрий Батькович, начни еще Зейскую, Бурейскую, Колымскую,— стране нужен ток! Юра едет. Так и промотался всю жизнь по плотинам да по вагончикам. Ни семьи, ни жилья...»[45].

Один из источников пополнения армии «бичей» — тяжелый ручной труд. Им сейчас занято около 50 миллионов человек: в промышленности — 34,9 процента рабочих, в строительстве — 56,4, в сельском хозяйстве — около 70. Именно среди занятых ручным трудом наиболее низкий уровень организации работ, дисциплины, культуры. Сфера немеханизированного труда питает дальнюю периферию производства — сезонные и временные работы, главное прибежище «бичей» и «бомжей». М. И. Леденев, заведующий сектором воспроизводства трудовых ресурсов Института экономических исследований ДВНЦ АН СССР, считает, что «общей предпосылкой, в буквальном смысле условием, обеспечивающим саму возможность бродяжничества, является наличие сезонных и разного рода временных работ»[46]. «Нехватка кадров стала хронической для многих участков, особенно для отстающих по условиям труда. А наиболее остро ощутили дефицит кадров сезонные производства. Оказавшись в столь сложном положении, эти производства вынуждены принимать людей без всякого отбора, обеспечивать им сравнительно высокие заработки, мириться с низким качеством труда и неудовлетворительной дисциплиной. Лица, выпадающие из постоянных трудовых коллективов, именно по этим причинам находят здесь особенно приемлемую для себя среду, концентрируются в группы, формируются соответствующие лидеры и соответствующая групповая психология»[47].

Но это крайности. Гораздо опаснее, когда психологию люмпенов воспринимают обычные, нормальные рабочие. «...В городе и селе в полную силу сегодня трудится едва ли пятая часть всех работников, с 1960 по 1980 г. число прогулов в расчете на одного рабочего в среднем по промышленности РСФСР возросло более чем в 1,5 раза»[48]. «...По оценкам специалистов Госстандарта СССР, 75 процентов недоброкачественных изделий выходит из-за нарушений трудовой и технологической дисциплины. Попросту говоря, из-за разгильдяйства, разболтанности»[49].

Главная причина падения профессионализма — сознательный, с упорством проводимый курс на уравниловку (разумеется, под видом «экономии фонда зарплаты»). Профессионал, то есть человек с развитым чувством собственного достоинства,— фигура, с командно-приказной системой несовместимая. Ей проще иметь дело с покорным разгильдяем. «Упорядочение заработной платы» в 1956—1965 годах привело к сокращению числа разрядов с 8 до 6, а разрыв в тарифных ставках рабочих основных отраслей промышленности уменьшился с 3,5 до 1,5—1,7 раза[50]. «Исследования, проведенные в Уфе, показывают, что рабочие, которые оцениваются мастерами как очень добросовестные, получают в месяц заработную плату на... 13 руб. больше, чем те, кто трудится недобросовестно»[51]. «...В таком типичном индустриально-машиностроительном центре, как Таганрог, рабочие 5—6-го разрядов в конце 60-х годов зарабатывали в среднем в 2 с лишним раза больше, чем рабочие 1—2-го разряда, а в конце 70-х — только в 1,4 раза»[52]. Экономика, игнорирующая закон стоимости, делает невозможным подлинное распределение по труду, а это ведет к уродливым деформациям всей производственной сферы. Почти четверть из 131,5 миллиона рабочих мест (то есть около 32 миллионов) в нашем народном хозяйстве относятся к так называемым «избыточным». «С другой стороны, за минувшие годы накопилось не менее полутора десятков миллионов искусственно созданного... «дефицита рабочей силы». И где? На самых ответственных участках производства, там, где народному хозяйству без нужных работников — конец. Не хватает станочников (у нас 60 человек на 100 станков даже в одну смену, а надо бы в три), шоферов (во многих автопарках по этой причине простаивает каждая пятая машина), трактористов-механизаторов, строителей, доярок и т. д.»[53]. Такой дефицит рабочих рук снижает трудовую дисциплину, подталкивает к выводиловке, а она вместе с уравниловкой не просто уничтожает материальные стимулы к добросовестному труду, но деклассирует сознание рабочих, все чаще воспринимающих зарплату как своего рода дань за отбывание рабочего времени.

Столь ненормальные условия привели к появлению в трудовых коллективах различных (иногда весьма многочисленных) групп, паразитирующих за счет настоящих рабочих. Охарактеризуем для примера три из них.

Так называемые «подснежники» — люди, благодаря изобилию вакантных рабочих мест числящиеся рабочими, а фактически занятые в управленческом аппарате (парткомы, профкомы, комитеты комсомола) или около него — разного рода инструкторы, художники, корреспонденты, шоферы служебных легковых машин, банщики и т. д. «Общая совокупность «подснежников» по стране до недавнего времени... составляла от 4 до 5 млн. человек. Они, естественно, являлись потребителями (заработная плата, часть фонда материального поощрения, премии, чужая очередь на квартиру, детский сад, путевки и т. д.), содержание которых относилось к себестоимости продукции... Их надо причислить к социальной группе работников аппарата управления, общую численность которого правильнее исчислять не в 17,7 млн. человек, а на 4—5 млн. человек больше»[54].

Другой, несомненно, гораздо более распространенный социальный тип — «чернорабочий-рвач». Его труд тяжел, малопрестижен — желающих заняться им нет. Пользуясь этим, «чернорабочий-рвач» требует повышения оплаты своей плохой работы и, как правило, достигает цели, угрожая уходом с предприятия. По некоторым расчетам, стоимость работы чернорабочего — 600 рублей в год, а дотация к зарплате — 2000. Директор Института социально-экономических проблем народонаселения Н. М. Римашевская указывает на «инверсию» оплаты труда, «в результате которой малоквалифицированные работники стали преимущественно средне- и высокооплачиваемыми, а среди высококвалифицированных рабочих, и особенно специалистов с высшим образованием, существенно (более чем в 2 раза) увеличилась доля с низким заработком»[55]. Многомиллионная группа «чернорабочих-рвачей» кровно заинтересована в сохранении немеханизированного

ручного труда, ибо получает от него прямую материальную выгоду, и не готова трудиться по-другому.

Противоположность «чернорабочего-врача» — «рабочая аристократия» (не путать с «рабочей аристократией» в условиях капитализма! Там — это люди, получающие сверхвысокую зарплату за реальный высококачественный труд). В наших условиях — это тип подкупного прихлебателя при заводской администрации, занятого прежде всего в сфере «общественной активности»: записной оратор на собраниях, застрельщик починов, подчас передовик производства, поставленный в особо привилегированные условия. В общем, прохиндей, вещающий «от имени рабочего класса», но глубоко презираемый рабочими.

Пренебрежение к труду, к профессионализму, присущее любой системе, ориентированной не столько на производство, сколько на перераспределение произведенного, неизбежно ведет к падению нравов в обществе. Разрушение трудовой морали всегда чревато разрушением морали вообще. Интересно, что в маргинализированной, деклассированной среде «идеал» потребления равно (хотя и по-разному) уродливо выглядит как при взгляде «сверху», так и при взгляде «снизу». «Верхи» стремятся получить максимум возможного; «низы» — по возможности вообще ничего не делать. Люмпенизированное сознание исключает труд из системы человеческих ценностей. Читательница «Огонька», разгневанная высоким доходом своей трудолюбивой соседки, пишет: «Я не хочу жить, как она. Я хочу, чтобы она жила, как я». Разительный пример иждивенческой психологии приводит председатель колхоза из Литвы Альбертас Мейлус: «В колхозе... не хватает специалистов с высшим образованием. Нужен главный зоотехник, главный агроном. Заработок у нас рублей 700 плюс персональная машина, сам себе хозяин, дело конкретное, важное. Езжу в Вильнюс, зову, соблазняю — не едут. Оказывается, в городе лучше за 150 рублей валять дурака, чем за тысячу работать в колхозе. Такая психология вырабатывалась годами. Трудно ее сразу переломить» [56].

По мере люмпенизации сознания растет и число людей, ориентирующихся на разного рода временные работы. Труд для них — лишь средство обеспечить дальнейшее безделье. «Наблюдения показали, что для них главная цель — как можно больше заработать, причем любыми путями, не исключая противозаконных, иначе говоря — добыть денег, чтобы потом как можно дольше не работать. Трудиться их заставляет крайняя необходимость» [57].

5

Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья... Династии, общества, империи, не создавшие семьи или порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, бряцать оружием; в династиях, империях, в обществах вместе с развалом семьи... земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований именующий себя людьми.

В. П. Астафьев. Печальный детектив.

Маргинализация не могла не затронуть многочисленные биосоциальные группы, расположенные на окраинах сферы производства,— молодежи, женщин, стариков, инвалидов. Но прежде чем обратиться к судьбе этих групп, следует коснуться состояния той ячейки общества, которая прежде прочно объединяла всех,— состояния семьи. Ведь именно в семье формируются представления о социальных связях вообще. Разрушение семейных связей, как и разрушение связей производственных, отравляет всю социально-психологическую атмосферу, порождает общественный дискомфорт и стрессы, ведет к «раскультуриванию» личности.

Советская семья испытала на себе все последствия бесцеремонного вмешательства государства в дела гражданского общества. Грандиозные потрясения, жестокие репрессии разрушали мораль, разрывали самые прочные узы. В 30-е годы государство поощряло появление внебрачных детей, а с 1944 года в попытке насильственной стабилизации семьи фактически запретило разводы, а также поставило внебрачных детей в унизительное положение. При разрыве в численности мужчин и женщин (последствия войны) особенно болезненно сказывался на положении семьи «остаточный принцип» в создании основных элементов социальной инфраструктуры, прежде всего — дефицит жилья. Он в полную меру ощутим и теперь. «При вступлении в брак нормального, по нынешним понятиям, жилья не имеет почти никто. Это показывают все специальные исследования. Более того: если взять все молодые семьи, то есть те, в которых жене не исполнилось тридцати лет, то сколько-нибудь удовлетворительных условий не имеет половина их» [58]. Дестабилизирует семью и низкий уровень заработной платы, явный недостаток дохода на одного члена семьи. А все это заставляет женщин включаться в процесс производства в ущерб их традиционной социальной роли — матери и хозяйки дома. Процент женщин в общей численности рабочих и служащих непомерно высок — 50,9 процента в 1986 году, а ведь даже в послевоенном 1950-м, в условиях страшной нехватки мужских рабочих рук, этот процент был ниже — 47,5. Число домашних хозяек и других трудоспособных иждивенцев сократилось с 1960 по 1979 год с 37,5 до 4,4 миллиона. Тотальная мобилизация, да и только! Вице-президент Комитета экспертов ООН по ликвидации дискриминации женщин Эльвира Новикова связывает этот процесс с крахом экономической реформы 60-х годов и считает, что женская рабочая сила помогла утвердиться экстенсивным методам труда. Среди неквалифицированных рабочих женщин больше (в старшей возрастной группе — вдвое), чем мужчин. 3,8 миллиона женщин (опять же больше, чем мужчин) работают в ночную смену. Сложилась такая аномалия: женщины идут туда, куда не идут мужчины, и заменяют их там, откуда те уходят. Из-за низкого уровня квалификации сохраняется фактическая дискриминация в оплате труда женщин-работниц, причем количество и удельный вес работниц с низкой квалификацией растут с каждым годом.

Степень «феминизации» той или иной профессии — довольно точный показатель ее непрестижности. Наиболее типична в этом отношении социальная группа, которую в 20-е годы называли «советскими барышнями», а нынешние социологи именуют нейтральным и маловразумительным термином «служащие-неспециалисты»: работники преимущественно неквалифицированного умственного труда, исполнение которого не требует ни высшего, ни среднего специального образования. 81,2 процента служащих-неспециалистов — женщины: счетоводы, учетчики, экспедиторы, стенографистки, технические секретари, кассиры, машинистки, делопроизводители и т. д. Значительно отличаясь от интеллигенции (к которой ее зачастую по ошибке относят) по характеру и содержанию труда, эта группа занята подсобной работой, в нашей стране еще мало механизированной и почти совершенно не автоматизированной (на Западе мини-ЭВМ многократно сократили численность этого слоя). Среди городского населения служащие-неспециалисты составляют 8,6 процента. Труд их (в основном) оплачивается по должностной ставке, средняя заработная плата 145 рублей — несколько выше, чем у интеллигенции. Единственный стимул к труду (86,8 процента опрошенных) — материальный. Весьма характерно, что при общем высоком образовательном уровне (39 процентов имеет среднее, 39,1 — специальное среднее и высшее образование) эта социальная группа не превосходит рабочих по таким показателям, как чтение литературы, посещение театров, концертов, выставок, зато по частоте посещения ресторанов в 7 раз обгоняет рабочих и в 10 раз — интеллигенцию. Напомним, что среди служащих-неспециалистов подавляющее большинство — женщины. Впрочем, в типе «служащего-неспециалиста» особенно явно проступают общие черты «промежуточного человека», маргинала...

Современное состояние семьи, увы, не внушает оптимизма. По количеству разводов на 100 браков наша страна уже занимает второе место в мире (после Швеции). «В крупных городах, таких, как Москва, Ленинград, Горький, число разводов перевалило за 50 процентов, а в центрах современной молодежной культуры, где связи поколений и традиции почти не ощущаются (например,

Тольятти), регистрируется до 80—90 процентов от числа заключаемых браков»[59]. Приведенные цифры тревожны не только сами по себе, в них — сигнал о неблагополучии и во многих семьях, существующих на «грани распада».

Ежегодно рождается около 500 тысяч внебрачных детей. В 1980 году их было 8,8 процента, а в 1987 году — 9,8 процента от общего числа новорожденных. Среди городского населения этот показатель еще выше — 10,6. Большинство беременностей (61,7 процента) у нерожавших женщин всех возрастов — внебрачные. При этом в 25—29 лет внебрачных зачатий немногим более половины (54,9 процента), а в 16—17 лет — до 95,6 процента. Около половины браков среди молодежи больших городов, как говорят демографы, «стимулированы беременностью невесты». Проведенный несколько лет назад в Перми учет всех беременных, ранее не рожавших женщин показал, что на каждую тысячу пришлось: рождений вне брака (матери-одиночки) — 140; рождений в первые месяцы брака — 271; абортов — 272; рождений через девять и более месяцев после заключения брака — 317. При этом следует отметить, что Пермь — типичный по всем учитываемым демографическим показателям большой город, поэтому обнаруженная картина должна быть признана типичной для больших городов европейской части страны и России в целом.

Ежегодно в СССР делают почти 8 миллионов абортов — около четверти их общего числа во всем мире. Уровень распространенности абортов в СССР в 6—10 раз выше, нежели в экономически развитых капиталистических странах. «По умеренным оценкам специалистов, доля внебольничных абортов составляет 50 процентов от числа зарегистрированных, а по максимальным оценкам — 80—100 процентов. Так что, если учитывать внебольничные аборты, то ежегодно не каждая десятая, а каждая пятая наша женщина детородного возраста делает по аборту!»[60]

Многие из тех, кто делал в прошлом аборт, страдают бесплодием. В стране семь миллионов супружеских пар, неспособных иметь детей. Причины, конечно, не только в абортах, но и во вредных условиях труда. «Из-за плохого состояния здоровья матерей более 10 процентов детей ежегодно появляются на свет семи-восьмимесячными, с недоразвитой центральной нервной системой, слабыми защитными реакциями. ...В 1986 году в Москве 30 процентов родивших женщин страдали тем или иным заболеванием, в результате чего их ребенок оказался больным»[61].

От пожилых людей часто можно слышать: «Раньше жили хоть и бедно, кучно, но дружно. А теперь — каждый сам по себе». Действительно, тесный мир городских окраин, муравейник бараков и «коммуналок» по-своему учил правилам общежития. С переселением в «микрорайоны», одинаково похожие во всех городах, люди все болезненнее ощущают отчуждение друг от друга, одиночество. «В государственном доме даже в среднем число соседей из других квартир, известных друг другу в лицо,— 5 человек, известных по фамилии (имени) — 3 человека, по месту работы или по профессии — 2,5 человека, известных с «моральной» стороны — 2,2 человека»[62]. Было бы, однако, ошибкой считать, что главная причина беды — в переселении из «вороньих слободок» в новые кварталы. Основная причина распада связей — и семейных, и соседских, и иных — все в той же переориентации общества на потребление, на прагматически-утилитарные цели. Глубоко эмоциональные, альтруистические связи между людьми, без которых в принципе невозможна нормальная семья, все более подменяются примитивно-утилитарными отношениями с их нравственной глухотой, эмоциональной тупостью, неспособностью понять других.

Довольно точный индикатор деформации человеческих отношений — рост числа самоубийств. Исследователи их мотивов свидетельствуют: «В ситуации одиночества, изоляции от мира, когда не сохранились и разорваны связи с близкими людьми, самоубийцы изредка оставляют записки без конкретного адресата, в которых стремятся высказать обиду или претензии к жизни: «Мать променяла сына на побрякушки»; «У меня никогда не было любимого человека»; «И никому и ни для чего я не нужен». Поразителен и тот факт, что некоторая часть

родственников самоубийц считает их поступок правомерным или даже оправданным... Такой шаг находит у родственников «понимание», основанное на своеобразном представлении о справедливости и очередности в получении жизненных благ: старые люди уже пожили свое и не должны мешать молодым наслаждаться всей полнотой жизни»[63]. Жертвой таких отношений чаще всего становятся наиболее беззащитные люди — старики и инвалиды. Одиночество, чувство своей ненужности плюс низкий жизненный уровень (а зачастую и откровенная нищета) ввергают их в стрессовую ситуацию, из которой многие не находят выхода. Проблему обостряет ускоренный прирост пожилых людей: более миллиона человек в год пополняет число пенсионеров, которых на начало 1987 года было 56,8 миллиона (из них по возрасту — 40,5 миллиона).

Не меньшую тревогу вызывает судьба тех, кого социологи именуют «природными маргиналами»,— судьба инвалидов. Даже число их в точности не известно. «Правда» не так давно сообщила, например, что в РСФСР их 4 053 476 (то есть около 2,8 процента населения). Цифра вызывает серьезные сомнения. Так, во Франции, где уровень жизни и здравоохранения выше, в середине 70-х годов доля инвалидов среди населения превышала 6 процентов. Может быть, дело в том, что многие наши инвалиды не признаны инвалидами официально и не получают пенсии. Недавно в газете «Комсомольская правда» промелькнула другая цифра — свыше 20 миллионов инвалидов. Ее привел народный депутат СССР Илья Заславский. Похоже, эта цифра (7 процентов населения страны) ближе к истинной.

Но если бы проблема состояла лишь в уточнении цифр!

Главное в ином. Ведь «природные маргиналы» вовсе не обязательно превращаются в маргиналов социальных, если общество охраняет их права, заботится о них, помогает избежать социальной изоляции. Во Франции, отмечает исследователь, «природные маргиналы перестали быть одновременно и социальными маргиналами»[64] благодаря развитию системы их медицинского и социального обеспечения. А у нас, как пишет «Правда», «это по сути бесправные массы людей». Тот же Илья Заславский говорил, встречаясь с избирателями, что «болеть и стариться в нашей стране стало страшно, человек остается один на один со своим горем, без поддержки общества, без внимания людей. Главная проблема — преодоление дефицита гуманности и милосердия на основе нравственного роста личности и общества»[65].

Инвалиды и пенсионеры — две, пожалуй, наиболее обездоленные группы гораздо более многочисленного бедствующего, попстине пауперизированного слоя населения. А ведь есть еще и многодетные семьи, и матери-одиночки, и семьи студентов, и просто низкооплачиваемые категории трудящихся. Слой этот огромен уже потому, что доля потребления в нашем национальном доходе р е а л ь н о (а не по данным официальной статистики) составляет 60—65 процентов, если не меньше (для сравнения: в ГДР, ЧССР и ВНР — от 79 до 82 процентов). Прожиточный минимум в нашей стране, по расчетам ЦЭМИ АН СССР, 66—70 рублей в месяц, по расчетам Госкомстата — 74 рубля. Эти цифры тоже весьма условны и, возможно, занижены. Д у ш е в о й доход до 75 рублей в месяц имеют 43 миллиона человек (15,3 процента населения).

Около 6 миллионов рабочих и служащих получают зарплату менее 80 рублей.

По расчетам Центра по изучению проблем народонаселения МГУ, 40 процентов молодых семей начинают совместную жизнь, имея среднедушевой доход менее прожиточного минимума.

Исследования, проведенные группой академика Т. И. Заславской, показали, что 8,8 процента населения страны «не дотягивает» от зарплаты до зарплаты, у 24,2 процента зарплаты хватает лишь на самые необходимые расходы.

Итак, 33 процента — треть! — населения — на черте и за чертой бедности?

Но, как ни поразительно, многие из тех, кто «за чертой», так не считают. При заниженном уровне социальных ожиданий (весьма характерном для маргиналов) их оценка своего благосостояния часто завышена. Так, данные социоло-

гических опросов показывают, что значительная часть чернорабочих довольна условиями труда, что уровнем бытового обслуживания зачастую довольны жители самых неустроенных селений, где нет даже магазинов и начальной школы. «Человек, довольствующийся примитивом, должен вызывать глубокое беспокойство как симптом серьезного неблагополучия в обществе. Состояние, близкое к обреченности, ведет к деформации личности»[66]. В этом смысле наиболее «оптимистичные» самооценки положения лишь оттеняют глубокое неблагополучие жизни — воспитанную в поколениях привычку к постоянной нужде, столь милую некоторым радетелям народа.

Особое беспокойство вызывает биосоциальная группа, с которой самим ходом жизни связано будущее общества. Молодежь. Распад семейных связей, о котором мы говорили, страшнее всего отражается на детях и подростках, вызывая лавинообразный рост жестокости, агрессивности, цинизма и варварства. Как считает заместитель директора Ленинградского НИИ психоневрологии им. Бехтерева профессор Андрей Личко, эти проявления юношеской жестокости — «не что иное, как проекция их отношения к родителям. Но это не традиционный конфликт «отцов и детей». Здесь нечто качественно иное. Может быть, ответная реакция на дефицит родительского чувства. Эмоциональное отторжение... Холодность и эгоизм молодых родителей, живущих своей собственной жизнью, трансформируются в психике подростка сначала в недоверие, замкнутость, скептицизм, затем — в равнодушие и агрессивность...»

Но есть и другие важные причины разрыва связей между поколениями. Так, если «отцы» — по большей части бывшие сельские жители — опирались на остатки принесенной с собой в город деревенской культуры, то «дети» такой опоры не имеют. Поэтому жизненный опыт и культурные навыки «отцов» утрачивают ценность в глазах «детей»: их жизнь идет по другим правилам и законам. Причем (еще одна особенность «нового поколения») длительность школьного обучения отодвигает срок вступления молодежи в трудовую деятельность. Отсюда — задержка в выработке собственной трудовой этики, непонимание старших, некий ценностный вакуум, который невозможно заполнить избытком досуга и развлечений — истинные ценности обретаются только в труде, производстве.

Давно уже вызывает озабоченность и состояние других «каналов», по которым молодежь входит в общественную жизнь: до крайности зарегламентированной, повсеместно унифицированной школы, армии с ее дедовщиной, да и всего того, что мы обобщенно называем «сферой культуры»,— литературы, театра, музеев, средств массовой коммуникации. Опрос, проведенный среди 18-летних столичных жителей, показал, что большинство из них за последние пять лет ни разу не были в театре и музее, редко посещают кинотеатры, нерегулярно читают газеты. «Лишь 61 процент опрошенных молодых людей считают, что у них есть реальный доступ к подлинным духовным ценностям. Как указывают социологи, даже специальные издания для молодежи в основном попадают к людям «с преимущественными материальными возможностями». К тому же на 6 из 10 требований молодых читателей массовые библиотеки отвечают отказом»[67]. В 1975 году в чтении юношества художественная литература занимала 65 процентов, а в 1980-м — только 30—35, из них классика — 3 процента. Среди книг, читаемых молодежью, 65 процентов — «чтиво». «И раньше было не так уж густо, и раньше были дефицитные книги, но никогда не было такого, чтобы любая нужная книга стала недоступной, чтобы родители не могли купить малышам даже сказок Пушкина, чтобы подросток был лишен тех книг, которые испокон веков читали его сверстники, чтобы учитель словесности и в глаза не видел книг авторов, которые являются гордостью отечественной и зарубежной литературы XX века. И с этим смирились». «...Мы пока еще не представляем себе, какой урон духовной жизни народа нанесла тиражная политика последних лет. Как радиация без боли разрушает тело, так и отсутствие книг разрушает души. То, что у нас произошло, нужно рассматривать как национальное бедствие»[68].

Итак, практически все каналы вовлечения молодых людей в общественную жизнь оказались заблокированными или деформированными. Это само по себе подталкивает к разрыву социальных связей, ускоренной маргинализации. Состояние неопределенности, чувство ущербности усиливается пренебрежением к главным жизненным заботам молодежи, невозможностью обрести достойное место в основных социальных сферах: производственной (позднее включение в трудовой процесс, низкооплачиваемая работа, замедленное должностное продвижение), политической (недоверчивое отношение свыше к инициативе), научной и творческой (когда даже сорокалетние ученые или писатели считаются «молодыми»), бытовой (необеспеченность жильем, низкий уровень доходов) и т. д. Применительно к странам Запада А. М. Салмин употребил удачное выражение «запрограммированное неблагополучие молодежи»[69]. К сожалению, оно не столь уж неуместно и для общей характеристики отечественной ситуации.

6

...Традиции, общие ценности и подлинно общественные личные связи с другими по большей части исчезли. Современный массовый человек изолирован и одинок, даже если он является частью толпы; у него нет убеждений, которые он мог бы разделить с другими: только лозунги и идеологии, заимствованные у средств массовой информации. Он превратился в а-том (греческий эквивалент слова «ин-дивидуал» = неделимый), связанный с другими лишь посредством общих, хотя зачастую одновременно и противоположных интересов, а также денежных отношений.

Эрих Фромм. Анатомия человеческой разрушительности.

Устоявшееся бытие — постоянное место жительства и работы, нормальная среда обитания, крепкая семья, одним словом, «укорененность» личности укореняет и особый тип социальных связей. «Они весьма интенсивны, непосредственны и в то же время однозначны, монолитны, замыкаются в рамках одной и той же общности, в которую включена вся жизнедеятельность индивида: труд, досуг, межличностные отношения, общение». В таких «устойчивых и самовоспроизводящихся, тесно слитых человеческих общностях»[70] вырабатывается четкая иерархия ценностей, осознанные групповые нормы и интересы, сливающиеся со временем в историческую, культурную память. «...Память выполняет в культуре ту же самую «антиэнтропийную» функцию, которую осуществляет, хотя и на свой лад, своими способами любая форма живого — она противостоит небытию»[71]. Лишенное корней, уходящих в семейную, общинную, трудовую мораль, человеческое «я» расплывается: мотивы поведения начинают формироваться в отрыве от ценностей устойчивой группы, то есть в значительной мере лишаются смысла. Публично одобряемые цели и идеи, не превращаясь во внутренние убеждения, становятся формальной условностью, с которой в меру необходимости надо считаться, но брать ее за основу — «попросту глупо». Происходит как бы «расстыковка» ранее усвоенных общественных установок — «ум» оказывается не в ладу с «сердцем», сознание с поведением. Мораль перестает править поступками, уступая место пользе, удобству, а иногда — физиологической потребности (в этом объяснение «немотивированной» жестокости, «бессмысленных» преступлений).

Для обозначения подобного состояния еще в конце прошлого века французский социолог Эмиль Дюркгейм ввел понятие — аномия. Концепцию аномии развили затем американцы Р. Мертон и Т. Парсонс. Обращение к ней помогает глубже осмыслить явление маргинальности. Состояние аномии как признак маргинальной личности образно описал английский социолог Альберт Хаурани. Быть маргиналом «значит жить в двух или более мирах одновременно, не принадлежа ни к одному из них. Быть в состоянии принимать внешние формы, которые определяют принадлежность к определенной национальности, религии или культуре, без действительного обладания ими. Это означает не иметь более собственной системы ценностей, а только имитировать чужую, и даже не имити-

ровать правильно, ибо такая имитация предполагает определенную оригинальность. Это означает не принадлежать ни к какому обществу и не иметь ничего общего с обществом. Это проявляет себя в чувстве потерянности, в претенциозности, в цинизме, отчаянии» [72].

Обрыв общественных связей ведет к постепенному снижению интересов личности до уровня примитивных потребностей, описание которых — задача не столько социологии, сколько этологии — науки о поведении животных. Не потому ли и в нашей публицистике все чаще встречаются выражения «человеческое стадо», «поза подчинения», «вожак» и т. п. И это, увы, не простые метафоры. К явлениям «этологического» порядка относится дедовщина, распространившая уголовно-лагерные нравы на армию, техникумы и ПТУ. «При широчайшем знании ассортимента винно-водочных изделий некоторые «воины» считают родной Донбасс союзной республикой, а Солнце — спутником Земли. Есть еще и такие, кто не умеет бегло читать и обращаться с телефоном. Некоторые не знают дня рождения своей матери. Для них долг перед Родиной — абстракция непостижимая, зато игра в «неуставные отношения» — милейшее дело. Именно здесь они оказываются самыми способными учениками, а потом и учителями. В это трудно поверить, но наиболее ретивые мечтают... о тюрьме. Буквально бредят «паханами», «буграми», «урками», «ворами в законе» и т. п. Впрочем, чаще жизненные планы таких людей умещаются в одной фразе: «Хочу испытать все!» Там, где эти несчастные дети набираются подобных представлений о человеческой жизни, там, я думаю, и надо искать корни неуставных отношений» [73]. Та же «модель» поведения проявилась и в так называемом «казанском феномене». «В сущности, здесь можно говорить об элементах рудиментарной социальной организации стайного или стадного типа, как правило, возникающей там, где разложились или сильно повреждены социальные и человеческие связи более высокого и сложного типа, что, в частности, и находит выражение в исходной привязанности группировки к территории и примитивной иерархии авторитетов» [74].

Приметы духовного вырождения становятся все более явными. Вульгарное «бытовое» хамство, грабежи потерпевших аварию поездов, мародерство в местах захоронений жертв нацистского террора — все это признаки люмпенизации общества.

Маркс писал, что болезнь — это стесненная в своей свободе жизнь [75]. Между морально-этической и психической патологией нет четкой грани: всякая патология есть форма ущербного приспособления личности к травмирующему окружению. Неудовлетворенная потребность в общении, невозможность самореализации неизбежно ведут к неврозам.

По последним данным, в СССР зарегистрировано 5,3 миллиона человек с различными психическими заболеваниями. Цифра скорее всего занижена: обследование посетителей обычных московских поликлиник показало, что едва ли не каждый пятый из пришедших на прием к терапевту нуждался в той или иной помощи психиатра.

На учете органов здравоохранения и милиции состоит свыше 4,5 миллиона алкоголиков, но по оценкам врачей-наркологов, общая их численность достигает 18—22 миллионов. Массовый алкоголизм ведет к ежегодному приросту 100—120 тысяч умственно отсталых или физически ущербных детей. Лишь около трети их обучаются в специальных школах, остальные — в общеобразовательных. Ужасно, но факт: у психически больных и умственно отсталых родителей дети рождаются почти в три раза чаще, чем у нормальных. Налицо угроза физического вырождения нации.

До недавних пор угроза преступной толпы была нам известна в основном из литературы. Ныне дикие орды все чаще бесчинствуют на улицах — то после массового действа на стадионе, то после бессмысленной драки в общежитии, то после базарной ссоры, и бедствие охватывает различные города страны. Сколько же должно было накопиться темной ненависти, болезненной злобы, чтобы незначительный повод приводил к массовому избиению ни в чем не повинных людей, разгрому магазинов, поджогам домов! Давно уже отмечено, что появление преступной толпы легко может быть спровоцировано, а действия ее направлены в «нужную» сторону. В Казани толпами юнцов руководили уголовники. Но не исключена возможность и политической уголовщины. В Ленинграде автору этих строк довелось наблюдать, как на встрече редакции известного журнала со своими поклонниками доведенная до экстаза националистическими лозунгами толпа «патриотов» демонстрировала готовность к физической расправе со своими «врагами».

Судя по всему, в жизни нам еще придется встретиться с этим малосимпатичным феноменом.

7

...На время, когда предоставляются политические права народу, который был до того лишен этих прав, нужно смотреть как на время кризиса, часто необходимого, но всегда опасного.

Дитя убивает, не зная цены жизни; оно отнимает чужую собственность, не понимая, что и само может лишиться своей собственности.

...Ничто так не трудно, как умение пользоваться свободою.

Алексис де Токвиль. О демократии в Америке.

Чем объяснить быструю маргинализацию общества, захватившую практически все его «этажи»? Обострением кризиса казарменно-коммунистического способа производства. Другого ответа я не нахожу.

Примерно половина производственного парка введена в действие 15 и более лет назад, а треть давно пора выбросить на свалку. Но оборудование работает, и это, в свою очередь, не может не порождать социального иждивенчества миллионов трудоспособных людей, занятых использованием неэффективных технологий. Производственные отношения остаются архаичными — редистрибутивными, перераспределительными. Так как тем не менее научно-техническая революция захватывает и наше производство, происходит раскол «по вертикали» всех основных социальных групп. Наиболее динамичные из них кровно заинтересованы в развитии современного высокотехнологичного производства, не боятся испытания товарно-денежными отношениями, конкуренцией. Другие — «застойные» — группы связаны «с устаревшими формами производства, распределения, власти. Учитывая объективную природу их интересов, становится ясно, что перевоспитать эти группы, привлечь на сторону прогресса невозможно. Выход один — ликвидация организационных, экономических и прочих условий их существования» [76].

Так происходит формирование двух общественных блоков.

«Номенклатурная бюрократия» ищет опору в маргинальных группах, прямо или косвенно заинтересованных в сохранении системы волевого перераспределения благ. Деклассированные низы (то, что древнегреческие философы называли «охлос» — толпа, а русские поэты — чернь) всегда благосклонны к лозунгу «равенства», понимаемого как дележка. Парадокс в том, что, призывая к такому «равенству», «верхи» впадают в ярость, как только речь заходит об их собственных натуральных привилегиях.

Наиболее динамичные слои разных классов и социальных групп заинтересованы в свободной реализации своих высоких профессиональных и культурных возможностей в рамках современного производства и гражданского общества. Они не без основания считают, что реальная заработная плата не соответствует их выучке и способностям, жизненные условия ниже возрастающих запросов, политические интересы подавляются бюрократией. Короче говоря, эти слои стремятся к достижению высокого качества жизни своими собственными силами — в сфере производительной деятельности, а не перераспределения, и потому именно в них, этих слоях,— социальная база перестройки.

К сожалению, в целом ситуация особого оптимизма не вызывает. Опасность морально-психологического деклассирования общества остается весьма серьезной.

В уродливо разросшейся «промежуточной» толще населения одновременно идут два разнонаправленных процесса. Часть маргиналов быстро превращается в люмпенов. Посмотрите, кто торгует квасом, пирожками, автобусными билетами; поинтересуйтесь, кто стремится в мясники, бармены, приемщики бутылок; не говорю уж о беззаконных ордах спекулянтов, фарцовщиков, проституток. Это в основном молодые люди. Путь на социальное дно, как правило, безвозвратен, и мы стоим перед реальной угрозой потери части молодежи. Другой процесс — процесс укоренения в городах недавних сельских жителей — сам по себе в принципе даже прогрессивен, если, переселяясь в город, человек может рассчитывать на достойную, квалифицированную работу; если после неизбежных первоначальных трудностей он обретет нормальные бытовые условия; если он получит более широкий доступ к культуре или хотя бы к образованию; если гражданские права его не будут ущемлены,— одним словом, если из маргинала, представителя аморфной, неустойчивой группы он превратится в полноценного городского жителя. Пока, однако, состояние временной маргинализации больше способствует расширению люмпенского болота, чем укреплению «классов для себя» — основы всякого гражданского общества. А следовательно, мы стоим перед огромной опасностью перерождения народа в охлос, вырождения нации.

Не слишком ли это страшно для того, чтобы быть правдой? Я не сгущал краски, но мне казалось важным сказать о той пропасти, перед которой мы стоим. Как считал К. Маркс, «надо заставить народ *ужаснуться* себя самого, чтобы вдохнуть в него *отвагу*»[77].

Смена политической культуры никогда не обходится без такого рода потрясений. Прежде чем стать тем, чем она стала, Франция пережила четыре революции, две империи и две монархии. Такая вот школа демократической культуры. Каждая страна проходит ее по-своему. Ю. Ф. Карякин считает, например, что «нам не хватает просвещения. Просвещают, как доказано всей историей, только беда и смерть. Общенациональная катастрофа — больше (так уж мы устроены) нас ничто не может просветить»[78]. Как ни мрачен взгляд, но лишь ужас прозрения способен сломать наконец авторитарное мышление, слепое преклонение перед государством, псевдоколлективизм; лишь он, быть может, привьет здоровое недоверие ко всякого рода абстрактным призывам жертвовать сегодняшним днем ради «светлого будущего», судьбами отдельных людей ради «общего блага»...

Неустойчивость социальной структуры находит отражение и в состоянии политических институтов. Старая политическая надстройка, опирающаяся в экономике на перераспределение, а в обществе — на массу сельских мигрантов, обветшала. «Революция растущих ожиданий», слепое доверие к посулам — все это в прошлом. Перемещение огромных людских масс в города в основном завершено. Наступила пора консолидации этих масс на новой основе. Номенклатура и ее аппарат теряют политическое влияние, явное свидетельство тому — итоги выборов народных депутатов. С другой стороны, новые политические силы находятся пока что в стадии осознания своих интересов, формулирования политических платформ. Социальной мозаичности соответствует и пестрота политической картины. Единственное, что объединяет ныне всех,— осознание невозможности жить по-старому. В неприятии «периода застоя» сходятся даже крайние общественные группы — от «Памяти» до «Демократического союза».

С давних времен на «изломах» общественной жизни возникает своеобразное явление, называемое популизмом (от латинского populus — народ). Скорее стихийное движение, чем организованная партия, больше настроение, нежели идеология, это явление возникает как реакция широких и разнородных масс на оттеснение их от центров экономической и политической власти. В популизме «простой человек», утративший идеологические ориентиры, ищет способ хоть как-то влиять на принятие важных для него решений. «Потребность в «человеческой» культурной жизни, в объединении, в защите своего достоинства, своих прав человека и гражданина охватывает всех и вся, объединяет все классы»,— указывал В. И. Ленин[79].

Одна из главных черт популизма — мощный антибюрократический заряд, стремление добиться «справедливости» не через официальные институты («вклинившиеся» между верховным руководством и народом), а путем непосредственного контакта «верхов» и массы, выдвижения и безоглядной поддержки «своего» лидера. Антибюрократизм может приобретать предельно жесткие формы «классовой» вражды и «классовой» мести. Переплетение демократических идей и дичайших предрассудков массового сознания, здравой социальной критики и ностальгии по «старому доброму времени», озабоченности судьбами страны и обветшалых мифов образует «гремучую смесь», особо опасную при стремлении к «прямому действию». Тем более когда действия диктует не осознанная логика событий, а эмоции стихийно объединившейся массы.

История дает примеры разной эволюции популистских движений. Мгновенный, взрывной рост со столь же быстрым распадом («левый спектр» — в США 90-х годов прошлого века и «правый спектр», «пужадизм» — во Франции середины века нынешнего). Консолидация в правоэкстремистские течения («черная сотня» в России, «классический фашизм» в Италии и Германии). Превращение в демократические и леворадикальные партии (современная Латинская Америка). Минет ли нас чаша сия? Вряд ли. Популистские настроения в нашей стране уже дали выходы и на «левый» фланг («феномен Б. Н. Ельцина») и на «правый» (группа «Память»).

Говоря вообще, возникновение популизма есть признак несомненно положительный, признак пробуждения социальной активности «снизу», роста гражданственности. Начатая в стране перестройка захлебнется без поддержки самых широких масс, и популизм — в принципе — обещает такую поддержку. Но это, повторю,— говоря вообще. Если же перейти к оценке конкретной политической реальности, то следует отметить усиление крайне правой струи популистского течения и тенденцию сближения ее с консервативной частью бюрократического аппарата. К чему это ведет, слишком хорошо знакомо из истории. Когда контакты наладятся и «цепь замкнется», элита, теряющая свои позиции, получит «политическую пехоту» в виде шовинистических и других экстремистских групп, а они, в свою очередь, обретут негласное, но тем не менее мощное прикрытие со стороны властей предержащих. Естественно, что контакты такого рода не афишируются. Но связь взаимных интересов сторон очевидна.

Правый популизм при всем многообразии представленных в нем социальных типов объединяет в основном представителей маргинальных, промежуточных групп и люмпенизированных слоев. Они связаны с устаревшими формами производства и напуганы непредсказуемыми изменениями, возможной потерей своего и без того невысокого, но более или менее устойчивого жизненного положения. На словах проклиная бюрократию, они гораздо больше опасаются непонятного им движения за глубокую демократизацию общества и тоскуют по утраченному «порядку» и «сильной руке». Феномен хорошо изучен и описан: главное отличие от зарубежного опыта 20—30-х годов — иной «хозяин» или «заказчик»: волонтеров вербуют не капиталистические монополии, а монопольная власть бюрократических ведомств, которые стоят перед реальной угрозой утраты своих главных, перераспределительных функций. В остальном ситуация разительно схожа, причем не только внешне. Очень схоже и несерьезное, пренебрежительное отношение общественности к правоэкстремистским организациям. «Как? У нас в стране? С ее интернационалистскими традициями? В стране, потерявшей 20 миллионов жизней в борьбе с фашизмом? Не может быть! Это какие-то отщепенцы. У нас для этого просто нет почвы».

Анализ социальной структуры показывает, что почвы для «этого» у нас более чем достаточно. Можно ли не понимать, что, например, новый вариант «Союза Михаила Архангела» — запал, подведенный к залежам динамита. Достаточно нажать кнопку, чтобы полыхнуло по всей стране. Не должно быть сомнения, что если миллионам чернорабочих, лимитчиков, люмпенов и просто малокультурных «промежуточных людей» предложить на выбор либо терпеливую, упорную, долгую выработку демократических ценностей, либо следование «просто-

му» лозунгу вроде «Все беды многострадального народа вызваны происками инородцев»,— не должно быть сомнения, что выберут эти слои!

У бюрократии нет идеалов, способных вдохновить массы. Знамена, идеи, лозунги выставляет правый популизм. Важно понять, что яростная, эмоционально-напряженная социальная критика, пусть и с консервативных позиций, способна мобилизовать не только люмпенов. Она может дезориентировать и значительную часть сторонников перестройки и — при скрытой поддержке бюрократов — вовлечь их в смуту. Союз номенклатуры и правых популистов вполне может стать реальностью. По крайней мере социальный заказ на подобный союз существует объективно, независимо от намерений представителей номенклатуры или крайних групп, ибо интересы обеих политических сил объективно во многом совпадают.

Где же выход? Есть ли он? Каковы пути борьбы с продолжающимся размыванием основных социальных групп нашего общества?

Во-первых, должны быть изменены экономические механизмы, породившие и поддерживающие существование технологически отсталых сфер производства, тяжелый, немеханизированный труд, временные и поденные работы. Это немыслимо без слома всей редистрибутивной, перераспределительной системы хозяйственного «управления» (а фактически — паразитирования). Причем речь идет не только о верхних ее «этажах»: коррупция, захватывающая миллионы людей, одинаково плодится всюду, где человек удален от сферы производства, но имеет возможность распоряжаться благами — от ведомственной приемной до прилавка мясника. Все, кто создает реальные блага, должны освободиться наконец от необходимости своим трудом содержать массу ненужных, прямо и косвенно паразитирующих людей. Решение этой первой задачи, несомненно, даст материальные средства для решения второй.

А она сводится к тому, чтобы перекрыть каналы, пополняющие люмпенское болото. Бывшие сельские жители, ставшие горожанами, разного рода «первопроходцы» — «освоители Сибири и Севера», «комсомольцы-добровольцы», БАМовцы и т. д., им же несть числа, должны наконец обрести нормальные условия жизни — дома, школы, больницы, всю ту «опережающую инфраструктуру», которая у нас хронически отстает, обрекая миллионы людей на кочевой быт, барачный «уют», участь пожизненного маргинала.

В-третьих, необходимо снять бюрократическую блокаду, препятствующую оформлению гражданского общества, естественному, неформальному объединению людей по профессиям, интересам, внутренним склонностям и т. д. По мере воссоздания полноправного гражданского общества внутри многочисленных социальных групп восстановятся их связи, и «классы в себе» обретут наконец положение «классов для себя». Естественно, что при этом будут устанавливаться и связи политические,— сказав «А», придется сказать и «Б». Номенклатура боится такого. Боится и начинает запугивать всех «подрывом устоев», призраком политической оппозиции и т. п. Что ж, всякие последствия возможны. Но если и дальше громоздить препятствия на пути создания гражданского общества, то меньшая часть наиболее культурных, знающих, политически дееспособных людей — цвет нации — превратится в контрэлиту, и оппозиционность примет наиболее острые, экстремистские формы. Основная же часть населения, пока еще морально здоровая, еще скорее опустится на социальное дно. Люмпенизация же общества всегда чревата тоталитаризмом. Охлос порождает тиранию — это знал еще Платон.

Социальность суть человеческие связи. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, «ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком». Рвать их — значит расчеловечивать человека, разрушать общество. Надо избегать всего, что ослабляет человеческие связи,— ненужных запретов, массовых миграций, принудительных распределений, насильственных выселений, колючих

заграждений — всего, чем мы по сей день так обременены. Достаточно уже порвано и наломано — давно пора восстанавливать утраченное и терпеливо, бережно взращивать робкие побеги новой жизни.

г. ВОРОНЕЖ

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 35, стр. 273.
[2] Там же, том 44, стр. 10.
[3] Там же, том 43, стр. 42.
[4] Там же, том 45, стр .290.
[5] Там же, стр. 20.
[6] Христиан Раковский. Нет ничего опаснее пассивности масс. «Неделя» № 43 за 1988 год.
[7] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 95.
[8] Там же, том 43, стр. 132—133.
[9] В. С. Лельчук, Л. П. Кошелев. Индустриализация СССР. Первая пятилетка. «Правда» 28 октября 1988 года.
[10] Христиан Раковский. Нет ничего опаснее...
[11] Г. В. Плеханов. Сочинения, том III, стр. 78, М., 1923.
[12] И. Клямкин. Какая улица ведет к храму? «Новый мир» № 11 за 1987 год.
[13] А. Галаган, Б. Ручкин. Власть и безвластие. Родословная бюрократизма в документах и фактах. «Комсомольская правда» 19 апреля 1988 года.
[14] См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 6, стр. 311 (примеч.).
[15] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 46, ч. I, стр. 485.
[16] Если работник, отчужденный от средств производства, лишается права на свободную продажу единственно оставшегося у него товара — своей рабочей силы, то тем самым он отождествляется со своей рабочей силой и превращается в невольника.
[17] Л. Карпинский. Почему сталинизм не сходит со сцены? — В кн. Иного не дано. М., 1938, стр. 652.
[18] Л. Шинкарев. Зона. «Известия» 4 августа 1988 года.
[19] М. Х. Титма, Э. А. Саар. Молодое поколение. М., 1986.
[20] На изломах социальной структуры. М., 1987, стр. 58.
[21] М. Х. Титма, Э. А. Саар. Молодое поколение.
[22] В. И. Переведенцев. Прописка и демография. «Московские новости» № 20 за 1988 год.
[23] Советский город: социальная структура. М., 1988.
[24] Г. В. Семенов. Чтобы слова опыляли друг друга. «Книжное обозрение» № 31 за 1988 год.
[25] И. К. Пантин, Е. Г. Плимак, В. Г. Хорос. Революционная традиция в России: 1783—1883 гг. М., 1986.
[26] А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах, том X, стр. 320.
[27] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 8, стр. 157.
[28] А. Ефимов. Элитные группы, их возникновение и эволюция. «Знание — сила» № 1 за 1988 год.
[29] А. Грамши. Тюремные тетради. Избранные произведения в трех томах. Том 3, М., 1959, стр. 211.
[30] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 3, стр. 35.
[31] Там же, том 6, стр. 590.
[32] А. Васинский. После отставки «Известия» 6 февраля 1988 года.
[33] А. Грамши. Тюремные тетради, стр. 457.
[34] В. Г. Гельбрас. Социально-политическая структура КНР. 50—80-е годы. М., 1980, стр. 225.
[35] Ф. М. Бурлацкий А. А. Галкин. Современный Левиафан. М., 1985, стр. 69.
[36] Аналогии можно найти в практике многих режимов казарменно-коммунистического типа. Например, в учебном пособии для полпотовской администрации, изданном в 1977 году, в качестве источника рекрутирования управленческих кадров прямо назывались бедные крестьяне и «средние крестьяне низшего уровня» — попросту говоря, люмпены и пауперы. (См. Д. В. Мосяков. Кампучия... М., 1986, стр. 109).
[37] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 7, стр. 11.
[38] А. Ефимов. Элитные группы... стр. 80, 84.
[39] И. Васильев. Непорядочность. «Советская Россия» 7 февраля 1988 года.
[40] А. Черняк. Едоки по статистике и в жизни. «Правда» 1 сентября 1988 года.
[41] Цит. по: Г. Павловский. Тройной прыжок. «Век XX и мир» № 7 за 1988 год.
[42] В. Соколов. Бандократия. «Литературная газета» № 33 за 1988 год.
[43] М. Х. Титма, Э. А. Саар. Молодое поколение, стр. 35.
[44] К. Г. Мяло. Казанский феномен. «Новое время» № 34 за 1988 год.
[45] А. Лебедев. Придонный слой. «Огонек» № 8 за 1987 год.
[46] М. И. Леденев. Списанные с корабля. «Студенческий меридиан» № 4 за 1987 год.
[47] М. И. Леденев, С. А. Чернышев. Был ли «бич» интеллигентом?.. «ЭКО» № 8 за 1987 год.
[48] О. Н. Крутова. Человеческий фактор: социально-философский аспект. «Вопросы философии» № 8 за 1987 год.
[49] В. Кондаков. Пустой гривенник. «Советская Россия» 4 сентября 1988 года.
[50] См. Ю. Е. Волков, В. З. Роговин. Вопросы социальной политики КПСС. М., 1981, стр. 87.
[51] Советский город: социальная структура, стр. 75.
[52] Рабочий класс в социалистическом обществе: Тенденции и перспективы развития в условиях интенсификации и перестройки экономики М., 1988, стр. 72.
[53] И. Бестужев-Лада. Торжественный марш на месте. «Неделя» № 23 за 1988 год.
[54] В. Н. Беляков. Кому нужны «мертвые души»? (о воспроизводстве рабочих мест). «Социологические исследования» № 5 за 1988 год.

[55] Н. М. Римашевская. Народное благосостояние: мифы и реальность. «ЭКО» № 7 за 1988 год.
[56] «Московские новости» № 41 за 1987 год.
[57] М. И. Лебедев. Списанные с корабля.
[58] В. И. Переведенцев. Эмансипации не может быть слишком много. «Советская Россия» 27 февраля 1988 года.
[59] С. Никологорский. Женственный рыцарь? «Комсомольская правда» 14 ноября 1987 года.
[60] А. Попов. Когда выбора нет. «Огонек» № 33 за 1988 год.
[61] «Неделя» № 2 за 1988 год, стр. 4
[62] А. В. Баранов. Социально-демографическое развитие крупного города. М., 1981, стр. 117.
[63] А. Г. Амбрумова, Л. И. Постовалова. Мотивы самоубийств. «Социологические исследования» № 8 за 1987 год.
[64] На изломах социальной структуры, стр. 238.
[65] «Комсомольская правда» 4 марта 1989 года.
[66] А. Быстров. Простые люди. «Комсомольская правда» 17 июля 1988 года.
[67] С. Кушнерев. «А вы кто такие», «Правда» 30 марта 1987 года.
[68] И. С. Гольденберг. Анатомия книжного дефицита. «Социологические исследования» № 6 за 1987 год.
[69] На изломах социальной структуры, стр. 263.
[70] Г. Г. Дилигенский. Перестройка и духовно-психологические процессы в обществе. «Вопросы философии» № 9 за 1987 год.
[71] Ю. Н. Давыдов. Память и культура. «Социологические исследования» № 6 за 1987 год.
[72] Цит. по: А. Н. Васильев. Египет и египтяне. М.,1988, стр. 210—211.
[73] Ю. В. Чижов. Короли и пешки (о неуставных отношениях в Советской Армии). «Социологические исследования» № 5 за 1988 год.
[74] К. Г. Мяло. Казанский феномен.
[75] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 1, стр. 64.
[76] Л. Ф. Шевцова. Неизбежность обновления социализма. «Рабочий класс и современный мир» № 3 за 1988 год.
[77] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 1, стр. 417.
[78] «Рабочий класс и современный мир» № 2 за 1988 год, стр. 50.
[79] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 12, стр. 136.

Ю. Апенченко

КУЗБАСС. ЖАРКОЕ ЛЕТО

Забастовка шахтеров, начавшаяся 10 июля в городе Междуреченске, Кемеровская область, и быстро переросшая в стачку угольщиков всех основных добывающих бассейнов, приостановлена.

Официальная точка зрения на события известна: претензии горняков справедливы, но забастовка не метод решения конфликтов. Формула эта, похоже, пока устраивает обе стороны, разница только в акцентах: власти делают ударение на «не метод», рабочие — на «справедливы». Надолго ли удастся сохранить зыбкое равновесие? Не знаю. Никто не знает. С экономическим бесправием, безобразными условиями труда и быта, пустыми прилавками, бездумным разорением природы никто больше не хочет мириться — это факт. Справедливость, видимо, состоит в том, чтобы перевернуть порочный ряд.

Хозяйственная независимость, нормальная организация работы, новые дома, школы, больницы, достаток продуктов питания и товаров первой необходимости, благоустройство природы — вот справедливость в положительном, так сказать, отражении. Да где же ее взять — через два ли месяца, через два ли года?

Видимо, требованиям справедливости суждено звучать еще долго, а справедливость немедленную следует искать вне приведенного ряда. То же примерно и с неодобрением забастовок как средства устранения жизненных, социальных противоречий. Оно вполне благоразумно. Но благоразумно, к сожалению, не больше чем неодобрение, скажем, горячки или язвы желудка как реакции организма на переохлаждение или недоедание. Что же в итоге? Остается вспомнить старинную испанскую молитву: «Боже, помоги мне смириться с тем, что я не в силах уразуметь. Боже, помоги мне уразуметь то, с чем я не в силах смириться. Упаси меня, Боже, перепутать одно с другим».

Не собираюсь, впрочем, потчевать читателя общими рассуждениями. Мы все устали от них. Во время поездки в Кузбасс я хотел получить ответ на три вопроса. Первый: каковы причины зарождения забастовки — сперва конкретные, а потом и общие; какие пружины запустили тяжелый маховик стачки и каким тормозами он мог бы (и мог ли) быть остановлен; возможно ли было избежать драматического развития событий или по крайней мере смягчить, локализовать конфликт? Второй: каковы позиции противостоящих сил — изначальные и последующие, как они менялись в ходе действия, как выглядят сейчас? Третий: что же из всего случившегося следует; чего ожидать; чего нужно бояться и чего бояться вовсе не нужно?

Вот я и предлагаю поискать эти ответы вместе, опираясь на документы, фиксированные свидетельства, непосредственные и неприглаженные суждения участников событий, собранные мною в командировке.

Итак, с чего же все началось?

«Информация о развитии событий на шахте имени Л. Д. Шевякова в г. Междуреченске». (Документ получен в обкоме КПСС. Приводится полностью.)

«28 декабря 1988 года горный мастер участка № 5 шахты имени Л. Д. Шевякова т. Кокорин В. Г. отправил в редакцию «Прожектора перестройки» письмо, в котором рассказал о серьезных недостатках производственного и социально-бытового характера, имеющих место на шахте: нехватка техники, падение заработка, увеличение управленческого аппарата, плохое питание, недостаток моющих средств и т. д.

2 февраля 1989 года это письмо из «Прожектора перестройки» поступило в ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности, из ЦК его направили в ГТУ (главное территориальное управление.— Ю. А.) «Главкузбассуголь», оттуда в производственное объединение «Южкузбассуголь». На шахту имени Л. Д. Шевякова приехала комиссия, которую возглавил заместитель директора по экономике п/о «Южкузбассуголь» т. Коляденко С. Е. (состав комиссии — 4 человека). Комиссия в создавшейся ситуации разобралась поверхностно и дала ответы т. Кокорину В. Г., директору шахты имени Л. Д. Шевякова т. Сороке В. Л. и ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности отписочного характера, не разрядила напряженную обстановку. Ответ подписали исполняющий обязанности генерального директора п/о «Южкузбассуголь» т. Никишичев Б. Г. и председатель Новокузнецкого теркома рабочих угольной промышленности т. Скачков С. Е.

Полученный ответ не удовлетворил т. Кокорина В. Г. и трудящихся шахты, недостатки по-прежнему имели место, на шахте возросла социальная напряженность. 14 июня 1989 года в газете «Труд» была опубликована статья о забастовках, которая подтолкнула т. Кокорина В. Г. к определенным действиям (с его слов). 15—16 июня 1989 года рабочие участков №№ 1, 5, 8 начали разработку требований к администрации по улучшению условий труда и быта на шахте (прилагаются). Под требованиями поставили подписи 500 человек. 28 июня 1989 года т. Кокорин В. Г. выслал требования из 20 пунктов с уведомлением о вручении в ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности.

28 июня 1989 года директор шахты т. Сорока В. Л. провел совещание по этим требованиям, на котором договорились о проведении расширенного заседания совета трудового коллектива (на совещании присутствовала зав. идеологическим отделом Междуреченского горкома КПСС т. Сидельникова Е. Г.). 4 июля состоялось расширенное заседание совета трудового коллектива шахты с участием парткома, профкома и администрации (присутствовало около 50 рабочих). Ответ, данный директором шахты т. Сорока В. Л. на первые шесть вопросов, не удовлетворил рабочих, и они ушли с заседания, которое продолжилось.

После этого проведены рабочие собрания по сменам с разъяснением, однако ожидаемого эффекта они не дали — основные вопросы не были решены.

6 июля состоялось заседание профсоюзного комитета шахты (вел председатель т. Щепан А. А.), где обговорили 8 пунктов (прилагаются) и направили их для решения министру угольной промышленности СССР т. Щадову М. И., и председатель профкома шахты т. Щепан А. А. передал 8 июля в г. Новокузнецке копию этих пунктов секретарю ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности т. Луневу В. Г.

8 июля в городской газете «Знамя шахтера» опубликована статья корреспондента т. Келлера В. «Забастовка: Даешь! или Долой! Позвольте оценить со стороны». В этот же день в столовой шахты имени Л. Д. Шевякова произошел инцидент по поводу некачественной пищи (для приготовления использовалось испорченное мясо — со слов шахтеров). Обстановка осложнилась, удовлетворение требований затянулось, возникли предпосылки для массового выступления шахтеров.

10 июля на шахте имени Л. Д. Шевякова в 9 часов утра, выйдя из шахты после ночной смены, около 80 горняков отказались сдавать светильники и не разошлись. В 9.30 к ним присоединились 200 горняков первой смены. Образована организационная структура — забастовочный комитет шахты, в который прямым голосованием избраны 11 человек. Комитет возглавил член КПСС, горный мастер т. Кокорин В. Г. Таким образом, фактически началась забастовка.

В 11 часов на шахту прибыли второй секретарь Междуреченского горкома КПСС т. Щербаков С. Ф., затем генеральный директор производственного объединения «Южкузбассуголь» т. Филатьев Г. М.— их попытки овладеть ситуацией провалились. Бастующие потребовали приезда министра угольной промышленности СССР т. Щадова М. И. 11 июля к бастующим присоединились горняки шахт «Усинская», «Томская», «Распадская», имени В. И. Ленина. Так началась забастовка горняков города Междуреченска, которая затем распространилась на весь Кузбасс и другие регионы страны».

Такой вот эпос.

Процесс зарождения забастовки описан в документе достаточно подробно. Можно, конечно, поспорить, когда «возникли предпосылки для массового выступления шахтеров», после обеда 8 июля или за месяц-другой до него, но это дела не меняет. Главное одинаково ясно для всех. А вот ответов на вопрос: можно ли было предотвратить, смягчить, локализовать конфликт? — «Информация» позволяет дать несколько. И каждый из них по-своему небезоснователен.

Да, можно было избежать забастовки. Полгода, пока письмо горного мастера Кокорина, а затем и требования рабочих кочевали из кабинета в кабинет, вполне хватило бы и на обновление техники, и на упорядочение оплаты, и на улучшение питания. Да за полгода не то что навести порядок на одной шахте, такого срока, если постараться, и для закладки другой шахты хватило бы. Даже на самом краю, за несколько шагов до обрыва, сползание к нему можно было приостановить — ежели, разумеется, требования шахтеров не слишком противоречили реальности. Подозреваю, что многие из поименованных ответственных лиц не раз потом кусали себе локти: эх, кабы знать заранее! Впрочем, вполне допускаю, что локти они кусают не себе, а друг другу.

Нет, нельзя было избежать забастовки. И не потому, что шахта имени Шевякова хуже, чем другие. Хуже или лучше — суть не в этом. А в том, что над всеми ними громоздится, давит их гигантская бюрократическая пирамида, все обитатели которой до сих пор искренне уверены, что без них уголь на-гора́ не пойдет. Только в «Информации» перечислены семь разного уровня контор, где побывало послание шахтеров: ЦК профсоюза (трижды!), главк, объединение, административный корпус шахты (дирекция, партком, профком), территориальный комитет профсоюза, министерство, горком партии. Что же предпринято? Гоняли бумагу по кругу, сочиняли отписки, договаривались на узких совещаниях о проведении расширенных заседаний. То есть ничего. Ноль!

Еще один ответ (к нему склоняются не только многие шахтеры, но и некоторые партийные, советские, хозяйственные руководители) выглядит как сумма первых двух. Да, забастовки на шахте имени Шевякова можно было избежать, но она все равно началась бы в другом месте. К этому ответу у нас еще будет повод вернуться. Пока же попытаемся более предметно уяснить обстановку, сложившуюся в Междуреченске накануне стачки.

Какие же «пункты» выставили шахтеры администрации? И почему они ушли с совета трудового коллектива после того, как директор шахты отверг первые шесть их требований?

Привожу перечень по приложению к «Информации» — без какой-либо редактуры и правки. Значение этого документа для правильного понимания событий огромно. Он первый. Теперь такого рода требований выдвинуто столько, что вместе они составят тома. Но градус накала обстановки начал повышаться именно с этих двадцати «пунктов».

> «Мы, нижеподписавшиеся, требуем и даем срок до 10 июля 1989 г. по выполнению следующих требований и если эти требования не будут выполнены, примем соответствующие меры, а именно — забастовка.

ТРЕБОВАНИЯ

рабочих шахты имени Л. Д. Шевякова (г. Междуреченск)

1. Платить 20 процентов вечерних за 6 часов и 40 процентов за

3—4 смены по 6 часов каждой. Оплату производить всем рабочим и ИТР, кто работает в данные смены не менее трех часов. Деньги брать из фонда заработной платы.

2. Установить стоимость угля по участкам из расчета 2 руб. 97 коп. за одну тонну. При данной системе оплаты многие службы и отделы не нужны.

3. Организовать оплату и начислять к отпуску ГРПЗ в забоях, где происходит бурение шпуров по породе, выемка породы (силикозная).

4. Спецодежду выдавать по требованиям по установленным графикам.

5. Всем рабочим выдавать полотенца и мыло из расчета 800 гр. на человека в мойке.

6. Организовать газирование воды (автоматы или ручное).

7. Выдавать телогрейки всем рабочим и ИТР, так как в зимнее время на остановках, посадочных из-за сильной холодной струи воздуха большая заболеваемость.

8. Организовать работу столовой в течение семи дней в неделю в четвертую смену с улучшенным ассортиментом мясных и салатных блюд, особенно в 3—4 смены, и с января 1990 года организовать питание шахтеров в ночные смены бесплатно, из расчета один рубль на человека.

9. Организовать и контролировать под роспись в тетради продажу мясных, колбасных и других ассортиментов на забутовку и каждый месяц отчитываться на собраниях перед рабочими (контроль по сменам).

10. Вывешивать заработок всех ИТР шахты на доску.

11. Заключить договор и установить жесткий график машин, вывозящих людей с работы и на работу (предусмотреть штрафные санкции).

12. В ближайшее время обновить и задействовать, чтобы партком и шахтком были авангардом в перестройке, а не плелись в хвосте.

13. Новой администрации во главе с директором взять под личный контроль вывод людей с шахты и каждый момент задержки людей более чем на 15 минут считать как ЧП. Разбирать данные случаи, компенсировать рабочим заработок за счет виновных.

14. Все партийные собрания, профсоюзные, учебу и разные дебаты, не связанные с добычей угля, проводить после работы.

15. Улучшить снабжение рабочих продовольствием для дома: мясом, рыбой и т. д.

16. Увеличить отпуск подземным рабочим на три дня.

17. Увеличить до трех лет отпуск женщинам после родов или после усыновления ребенка до трех лет с 1991 года.

18. Начиная с 1992 года выплачивать всем рабочим шахты, уходящим на пенсию согласно отработанному времени на данной шахте, средний заработок или оклад.

19. Единый выходной день.

20. В связи с тем, что директор т. Сорока В. Л. не справляется со своими обязанностями, а именно: допустил, что отделы нормирования, планирования и другие вспомогательные отделы получают заработок выше основной профессии, упущение — участок № 5 остался без очистного фронта работы, груб, использует вымышленные факты и т. д. Освободить т. Сорока от занимаемой должности и предложить эту должность главному инженеру шахты т. Топильскому В. А. после его выступления перед рабочими со своей программой».

Вот запальный фитилек всеобщей, по существу, стачки угольщиков — та копеечная свечка, из-за которой, говорят, Москва сгорела. Потом, когда главную площадь города на несколько дней заполнила многотысячная толпа, когда приехал наконец министр Щадов и одиноко прошел к трибуне, когда не удовлетворенная его ответами масса полуголых, в распахнутых куртках людей вскидывала кулаки и скандировала: «За-ба-сто-вка! За-ба-сто-вка!», когда горный мастер Кокорин, одним движением восстановив тишину, говорил: «Имейте уважение к министру!» — потом, чуть позднее, требований было выставлено гораздо больше — 42 пункта, и многие из них были гораздо серьезнее, чем первые двадцать. Но эти-то, эти! Вы можете, например, взять в толк, почему рабочие шахты имени Шевякова покинули заседание совета трудового коллектива после обсуждения первых шести? Или восьми, которые «обговорили» на профкоме и отослали министру? Я — нет. Даже если предположить, что претензии обсуждались не по порядку их изложения, а выборочно, все равно среди них не найти ни шести, ни восьми, по которым нельзя было бы достигнуть согласия.

Возьмем самый острый, на мой взгляд, второй пункт. Разумеется, директор не вправе устанавливать цену на уголь. Но ведь и шахтеры не настолько наивны, чтобы требовать от него личного и незамедлительного решения. Они даже предложили один из возможных источников дотации: сокращение административного аппарата. Почему бы не поискать сообща и другие источники? Например, в продаже части угля по договорным ценам, а какого-то количества — за валюту. Мне могут возразить: это наивно, до забастовки шахты не обладали правами государственных предприятий. Верно. Но почему же директор не посоветовал рабочим, чего именно им следует добиваться, почему не помог своим опытом, авторитетом, влиянием? Тоже наивно? Но тогда, дорогие товарищи, все благоразумные призывы к поиску «нашего пути» разрешения конфликтов не больше чем болтовня. Руководство, которое своей властью, без санкции министра не может обеспечить газирование воды, своевременную выдачу спецодежды и телогреек или «ассортимент салатных блюд», попросту никому не нужно.

Обратимся еще к одному свидетельству. Вы, должно быть, заметили, что в «Информации» трижды (на двух машинописных страничках) упомянуты средства, как ныне говорят, массовой коммуникации. Причем из контекста можно сделать вывод, что роль их, скажем так, сомнительна. Центральное телевидение («Прожектор перестройки») вместо того, чтобы решительно заклеймить недостатки, запустило письмо горного мастера в скрипучую бюрократическую машину. Статья в газете «Труд» «подтолкнула т. Кокорина В. Г. к определенным действиям». Наконец, междуреченское «Знамя шахтера» за два дня до стачки напечатало корреспонденцию под интригующим заглавием: «Забастовка: Даешь! или Долой! Позвольте оценить со стороны».

В начале июля, сообщает автор, по городу поползли слухи о готовящейся забастовке. «И вот 4 июля после первой смены я на шахте. У входа в комбинат объявление о расширенном заседании совета трудового коллектива «по рассмотрению нерешенных вопросов и предложений». От повестки вовсе не веет баррикадным размежеванием коллектива и администрации. Может быть, рассмотрят эти самые нерешенные вопросы — всего и делов?

— Какие требования поставлены перед администрацией? — Этот вопрос я задаю председателю комитета профсоюза А. А. Щепану.

— Не знаю.

— А кто знает, может быть, совет трудового коллектива?

— Нет, СТК тоже не был поставлен в известность. Кажется, у директора есть требования...

Вот так раз! Организации, созданные для защиты прав и интересов рабочих, оказались в дремучем неведении о причинах назревающего конфликта.

Да и самого директора окружили тайной двадцати одного пункта поставленных условий. Берегли, наверное, до поры до времени. Тактика неожиданного нанесения удара? Представить как факт исключительной значимости? Абсолютное недоверие руководству шахты и общественным организациям (они, дескать, не в состоянии вникнуть, разобраться и решить проблемы)?

Не будем гадать. А только отдает непорядочностью факт (или все-таки наивной верой в выполнение?), что вначале заявление поступило в городской

комитет партии. Директору В. Л. Сороке пришлось документ просить именно в горкоме для ознакомления и работы.

Перед заседанием подошел знакомый — горный мастер участка № 5 В. Г. Кокорин. Впоследствии оказалось, что он один из организаторов сбора подписей под петицией. Тверд, как скала: «Не решат вопросы — будет забастовка!»

Действительно, вот так раз! Требования были подписаны 16-го и высланы в ЦК профсоюза 28 июня. В тот же день директор шахты обсуждал их на совещании, где было решено созвать совет трудового коллектива. Мог ли кто-либо (директор, председатель профкома, председатель СТК) через неделю после этого не ведать, чего требуют рабочие? И что они собрались обсуждать на совете? Лукавство все это, и от него, как выражается автор статьи, «отдает непорядочностью». Но продолжим — идет заседание СТК.

«За столом теперь председательствует машинист электровоза участка шахтного транспорта Г. И. Емельянов. Ему трудно управлять заседанием. Аудиторией пытается завладеть Кокорин. Его многократные выступления не всегда по существу и уводят в сторону. Например: «Ученые Сибирского отделения Академии наук считают, что компенсация за работу в условиях Сибири должна выплачиваться до 60 процентов от общего заработка». Или: «На разрезе имени 50-летия Октября у коллектива отобрали почти всю чистую прибыль...» (...) На обсуждение каждого пункта уходит слишком много «словесной руды». Например, первый содержит требование вполне обоснованное — доплачивать за работу в вечерние и ночные смены от 20 до 40 процентов. Главный экономист А. И. Арыкова терпеливо объясняет, что этот вид доплаты не закладывается в плановый фонд заработной платы. Но из резервов экономии по результатам предыдущих успешных месяцев нашли возможность компенсации поверхностным рабочим. Выделено 144 тысячи рублей для доплаты шахтерам во вторую и третью смены. В перспективе, конечно, при условии прибыльности предприятия, можно полностью снять вопрос о компенсации.

С места:

— А мы сегодня хотим кушать!

— Тогда сокращайте четвертую смену.

Председатель СТК Г. И. Емельянов:

— Пока этих денег нет. Из каких источников платить?»

Авторское резюме к этой зарисовке с натуры: «Я не думаю, что полная стенограмма этого заседания будет кому-то интересной. Оно превратилось в базар. А потом и вовсе сорвалось, многие демонстративно встали и покинули зал». Сегодня проще всего бросить камень в написавшего эти строки. Разве не ясно теперь всем нам, что Кокорин не столь далеко «уводил в сторону», указывая на хищническую роль объединения? Ведь и с шахты имени Шевякова (это я слышал позднее от самого Кокорина) оно содрало за прошлый год 120 тысяч рублей. Это ли не источник компенсации? Теперь нам многое ясно. Думаю, и автор статьи многие вещи видит сегодня в другом свете. Для нас же его свидетельство ценно как отражение сложившегося, укоренившегося и поныне существующего порядка, при котором рабочему излишне знать, о чем думают ученые, директору шахты не положено перечить начальнику объединения, а председателю совета трудового коллектива надлежит покорно соглашаться с мнением главного экономиста. И при этом всем делать вид, что у нас все в порядке. «Некоторые проблемы,— сообщал автор за два дня до стачки,— по неведению их будителей давно решены: скажем, предоставление льгот за бурение по породе, выдача спецодежды по установленному графику, обеспечение телогрейками...» Но черт возьми! По чьему же неведению это неизвестно рабочим? Ведь деньги, как известно, либо есть, либо нет. Как и телогрейки. Стоит ли удивляться, что зал покинули д е м о н с т р а т и в н о? Это была и в самом деле демонстрация — демонстрация протеста. А заседание превратилось не в базар. Оно превратилось в забастовку. И, как ни печально признать, документы, с которыми мы познакомились, не дают, на мой взгляд, никакой возможности

положительно ответить на первый из поставленных в начале статьи вопросов. Нет, забастовку на шахте имени Шевякова в Междуреченске предотвратить было практически нельзя. Не знаю ни одного учреждения, ни одного органа, ни одного человека, которые бы предприняли сколь-нибудь реальные меры для того, чтобы приостановить, смягчить, локализовать конфликт.

И, к сожалению, это не самое печальное заключение.

Ровно через месяц после описанных событий бюро Кемеровского областного комитета КПСС слушало руководителей города и шахты, где началась забастовка. Какие уроки они извлекли из случившегося? К какой пришли политической оценке? Как идут дела в городе и на шахте? Выполняются ли требования шахтеров?

Конспективную запись хода бюро привожу по своему блокноту.

Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС А. Г. Мельников говорит о том, что забастовка шахтеров — грозное явление. Обстановка остается напряженной. Бюро не спешило с подробной оценкой случившегося — хотелось обсудить все на холодную голову. А. Г. Мельников просит не пересказывать еще раз ход событий, он известен, а сосредоточиться на политических выводах.

Первый секретарь Междуреченского горкома КПСС Ю. П. Черепов (во время забастовки он был в отпуске) долго говорит о том, как начался и развивался конфликт. Затем сообщает, что о намерении шахтеров бастовать в горкоме узнали первого июля. Сочли, что требования шахтеров чисто экономические, и передали их на рассмотрение администрации. В о п р о с: Что значит экономические? Не было воды, мыла, полотенец. Это экономические требования? О т в е т: Я был дважды на шахте, эти вопросы не поднимали. В о п р о с: Какую политическую оценку бюро горкома дало товарищам, создавшим критическую обстановку? О т в е т: Пока никакой. В о п р о с: А как воспринимают коммунисты, трудящиеся, что оценка не дана? О т в е т: Наше упущение. В о п р о с: Что вы думаете о требовании обновить партком и шахтком? О т в е т: Нет такого требования. В о п р о с: А пункт двенадцатый? О т в е т: Нет, это не рассматривалось...

Генеральный директор объединения «Южкузбассуголь» Г. М. Филатьев считает, что «это рано или поздно должно было случиться». Когда стало известно о подготовке к забастовке, говорит он, мне позвонили с шахты. Я сказал: решайте, а что не сможете сами — я к вашим услугам...

Директор шахты В. Л. Сорока: Генеральный сказал: ты разбирайся, у меня денег нет. В. Л. Сорока возвращается к письму в «Прожектор перестройки». Тогда было обещано решить три проблемы: сделать ремонт лавы, наладить доставку рабочих на шахту, улучшить снабжение продуктами питания. Лаву обещали отремонтировать в мае, июне, июле, теперь — в августе. Автобус стал ходить еще хуже, даже после забастовки. Снабжение улучшить тоже не удалось. Мы долго обманывали людей: обещали много, а делали мало. Сами себя пытались обмануть. Скажу откровенно: если бы мы поставили министру эти вопросы, вряд ли он их решил бы. Вряд ли он вошел бы в правительство по ночным сменам, по мылу. Мыло, кстати, было. Правда, по нормам 1923 года. Я считаю, говорит Сорока, что вопросы надо решать мирным путем, что забастовки не нужны. В рабочие (забастовочные) комитеты попали сегодня люди, ну, не те. Попали прогульщики, попали крикуны, с ними трудно наладить общий язык. А эти люди пытаются делать погоду. Есть, конечно, и хорошие люди, но они молчат. В о п р о с: Почему движение возглавил горный мастер, а не вы или партком? О т в е т: Нас бы тогда из партии исключили. А почему он? Заработки были плохие на участке, а он газеты читает... **А. Г. Мельников:** Думаю, что вы больше боялись министерства, что уволит, чем партийного комитета...

Председатель исполкома Междуреченского городского Совета народных депутатов Н. Я. Завьялов (во время забастовки он тоже был в отпуске) считает: забастовка произошла потому, что терпению людей пришел конец. Три месяца

не давали ответа на требования шахтеров. Мы слишком много ждали сперва от XXVII съезда партии, потом от XIX конференции, потом от Съезда народных депутатов. А это были отсрочки... Вопрос: Когда на площади стояли тысячи человек, вы нашли мужество выступить? Ответ: Я пытался, меня не пустили на трибуну. Вопрос: Почему в Кемерово идет больше всего жалоб на Междуреченский горисполком? Ответ: Мы встречаемся с трудящимися. Только официальных встреч было 28. По дороге сюда я заехал на фабрику... Вопрос: Почему автобус стал ходить еще хуже? Ответ: Нам надо дополнительно минимум 10 автобусов. Недокомплект водителей — 50 человек...

Нужно ли комментировать эту беглую запись? Да и что я могу еще сказать о ситуации в Междуреченске? Ни заседание бюро, ни состоявшийся вскоре пленум областного комитета партии оптимизма не добавили.

Теперь о позициях.

Хроника событий (по официальной «Информации о развитии забастовочного движения в Кузбассе с 10 по 20 июля 1989 года»).

11 июля по области не работали 10 предприятий (15 900 человек). В результате не добыто 335 тысяч тонн и не отгружено 153 тысячи тонн угля. Не выпущено продукции на 6,7 миллиона рублей.

12 июля в городе Осинники остановились шахты «Капитальная», имени 60-летия СССР, «Шушталепская», «Высокая», шахтопроходческое управление, деревообрабатывающий цех. В Междуреченске переговоры с бастующими вели министр угольной промышленности М. И. Щадов, первый секретарь обкома КПСС А. Г. Мельников, председатель облисполкома А. Ф. Лютенко. В области не работали 20 предприятий (20 600 человек). Потери добычи угля с начала забастовки — 555 тысяч тонн, в отгрузке — 253 тысячи тонн; не выпущено продукции на 11,1 миллиона рублей.

13 июля забастовочный комитет в Междуреченске принял решение о прекращении забастовки. Утром в Новокузнецке прекратили работу девять шахт. Остановились все шахты Прокопьевска. В целом по Кузбассу бастовало 52 предприятия (60 000 человек). Не добыто 815 тысяч тонн и не отправлено 419,5 тысячи тонн угля; не выпущено продукции на 16,3 миллиона рублей.

14 июля все предприятия Междуреченска приступили к работе. Осинниковскому забастовочному комитету был вручен официальный ответ министра угольной промышленности. Шахтеры ответ не приняли. С шести часов вечера до двух ночи продолжался городской митинг; забастовочный комитет переизбран. Утром в Ленинске-Кузнецком прекратили работу две шахты, к шести вечера остановились семь, на следующий день — все десять. В области не работали 103 предприятия (72 700 человек).

15 июля остановились все шахты в Киселевске и Анжеро-Судженске. Городской забастовочный комитет в Анжеро-Судженске принял решение продолжать отгрузку угля. Забастовочный комитет в Новокузнецке отклонил предложение министра угольной промышленности о прекращении стачки. В городах Прокопьевске и Киселевске отмечены попытки вьетнамских граждан спекулировать спиртным. Всего бастовало 188 предприятий и организаций (108 тысяч человек). Потери добычи угля — 1 507 тысяч тонн, не отгружено 743,5 тысячи тонн; убытки — 30,1 миллиона рублей.

16 июля в области не работали 142 предприятия и организации (140 тысяч человек). Забастовочный комитет в городе Белово обратился к трудящимся предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, с призывом не включаться в стачку.

17 июля к забастовке шахтеров в Киселевске присоединились коллективы заводов «Гормаш», имени И. С. Черных, «Знамя», мебельная и обувная фабрики; в Прокопьевске — заводов «Продмаш», механического, подшипникового, строительных организаций. В Кемерово прибыла комиссия ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС во главе с членом Политбюро, секретарем

ЦК КПСС Н. Н. Слюньковым. Н. Н. Слюньков выступил на митинге, продолжающемся четвертый день. После митинга часть бастующих вновь осталась на площади. В городах Березовский, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк бастующие отнеслись к обращению М. С. Горбачева и Н. И. Рыжкова к шахтерам, ко всем трудящимся Кузбасса сдержанно. Большинство оценивает обращение как запоздалое. Не работало 167 предприятий (181 000 человек).

18 июля принял решение о прекращении стачки забастовочный комитет Новокузнецка; в Осинниках приступили к работе 8 из 12 предприятий; забастовочные комитеты стремятся предотвратить распространение стачки на другие отрасли. Число неработающих предприятий уменьшилось до 124 (149 200 человек).

19 июля в Прокопьевске подписан протокол о согласованных мерах между региональным забастовочным комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

20 июля все предприятия приступили к работе. С начала забастовки потери в добыче угля составили 2 698 тысяч тонн, в отгрузке — 1 940 тысяч тонн; продукции не выпущено на 52 миллиона 900 тысяч рублей.

Вот, собственно, позиция рабочих. За десять дней июля забастовочные комитеты показали не только свою силу и способность управлять событиями, но и высокую организованность, ответственность. Решение анжеро-судженского комитета о продолжении отгрузки угля, например, объясняется тем, что уголь здесь добывают коксующийся и приостановка отправки угрожала сорвать работу металлургических предприятий. В городах, охваченных забастовкой, строго соблюдался сухой закон. В Кемерове, как сообщил председатель городского стачечного комитета Г. А. Михайлец, во время забастовки преступность снизилась на 52 процента. Взяв на себя обязательство выдвинуть общие требования, шахтеры сумели убедить работников ряда других важных отраслей не останавливать производство.

Позиция руководителей — партийных, советских, хозяйственных — в начале забастовки была... не могу подобрать слова, потому, видимо, что его нет, как не было и самой позиции. Пример Междуреченска достаточно типичен. Хотя, знаю, не все с этим согласны. Так, секретарь Беловского горкома КПСС А. М. Зайцев говорит: «Я сразу стачечный комитет в своем городе предупредил, что никто с меня функции первого секретаря горкома партии не снял и все команды, которые будут исходить от горисполкома и от горкома, будут выполняться. Со мной стачечный комитет согласился». Заявление, конечно, эффектное. Жаль только, что факты его не подтверждают. 14 июля горком выработал предложения министру угольной промышленности и организовал их обсуждение в трудовых коллективах — в тот же вечер встала шахта «Новая», на следующий день остановились шесть шахт, а в конце концов забастовка охватила тридцать предприятий, более трети всех работающих. И требования — числом 60! — выдвинул стачечный комитет. 15 июля горком создал штаб по обеспечению жизнедеятельности города, но с призывом не бастовать к работникам соответствующих служб обратился на следующий день все тот же стачечный комитет. Какие же команды могли «исходить от»? Поверьте, я меньше всего хочу уязвить кого-либо, но есть ситуации, в оценке которых иллюзии просто опасны. Почему многие партийные комитеты в начале забастовки утратили влияние и доверие? Какую роль в этом сыграло принятое весной решение бюро обкома партии, запрещающее коммунистам участвовать в забастовках? Почему руководителей весьма высокого ранга не допускали на собрания забастовщиков, не давали им подняться на трибуны митингов, сгоняли свистом и оскорблениями?

Вот главные вопросы.

Простых ответов на них нет. Поиск общих и элементарных истин в наши дни становится все более затруднительным. Кладезь премудрости изрядно поусох и застоялся. Остается черпать «из реки по имени факт».

Фонограмма беседы в рабочем (забастовочном) комитете города Анжеро-Судженска 10 августа 1989 года. Состав комитета: Н. П. Смирнов (председатель), Т. Л. Лебедева, Т. В. Яшина, А. М. Тризно, Е. П. Говоров, Г. И. Теребецкий, А. И. Донников, В. И. Красненко, В. Г. Акулов, Р. Х. Мусин, В. С. Лисов, В. И. Кузницын, В. В. Тарунин, А. И. Синцов, В. И. Васильев. Перечисляю всех, потому что разговор был общий, и чей голос на пленке, я теперь различить не могу. Среди членов комитета — рабочие и инженеры шахт и других предприятий, шесть коммунистов. Диктофон был включен не сразу, запись начинается с полуфразы.

«—...как же он сказал? Он сказал: а почему областной забастовочный комитет называется областным, ведь он практически только шахтерский? Мы тоже этот вопрос обсуждали. Я считаю, что не надо таких расколов, это фактически провокация, это вот разделение людей в области — на шахтеров и нешахтеров. Что бастовали только шахтеры, а другие нет, и что требования решаются только шахтерские, а других нет...

— Сейчас, Валера, минутку! В процессе выработки протоколов, хотя там присутствовали только представители шахтерских коллективов (в областном комитете так сложилось, потому что забастовку начали шахтеры, они в основном и попали в комитет), но с первых дней, когда мы вырабатывали первый протокол, затем второй, мы постоянно делали упор: это не только для нас, шахтеров, не хотим мы ни у кого кусок урвать, сами есть досыта, а вы — как хотите. Мы прекрасно отдаем себе отчет о положении в стране, мы знаем, что в стране нет продовольствия, что в стране трудно с финансами, трудно... да со всем трудно, сейчас легче перечислить, с чем у нас не трудно... И потому мы везде, во всех своих пунктах настаивали, что не для шахтеров, а для трудящихся — всех трудящихся Кемеровской области, всех, начиная с женщины, которая тряпкой моет пол у нас на комбинате, и кончая тем же директором шахты,— для всех требования, для всего народа, а не для шахтеров. Шахтеры никогда рвачами не были...

— Посидите полчаса. Вечно здесь сотни, сотни...

— Да какие сотни!

— ...сотни посетителей. И все с вопросами, которые неразрешимы уже десятки лет. Строительство. Ремонт жилья. Не хватает воды. Нет продуктов питания. И прочее, и прочее...

— Ну, а что вы-то можете? Вот приходит человек, требует ремонта жилья. И что же? Вы берете это на контроль и начинаете...

— И начинаем пробивать через эти этажи.

— Я вам сейчас красноречивее покажу. (Т. В. Яшина подвигает ко мне папку, полную заявлений.) Вот ветеран труда, сорок три года отработал. Просит продать автомобиль. Все отказали, идет к нам. Вот: прошу рассмотреть вопрос об установке телефона в доме. К нам. Вот — ремонт. К нам...

— И что вы?

— Создали комиссию. И теперь в понедельник вызываем товарищей, которые волокиту устраивают, и конкретно — все, представители рабочего комитета, и горисполкома, и горкома,— спрашиваем: когда это будет сделано?

— Действует?

— Действует.

— Тамара, погоди. Об этом рано говорить. Это вроде как реклама.

— Нет. Двоим я отсюда просто своим звонком помогла. Вот пришла женщина-инвалид... Нет, это не реклама. Я все проверила...

— Часто приходится слышать, что многие рабочие комитеты засорены случайными людьми. Что стоит за такими обвинениями?

— Вы спрашиваете, что стоит за этими обвинениями, почему некоторые люди их выдвигают. Я спрошу: кто такие вопросы ставит? Если администрация, тогда все понятно. Администрации не в жилу, чтобы рабочий был хозяином положения, чтобы он добивался своих прав. Как получилось, допустим, у нас на предприятии? Составили они списки на всех рабочих, членов стачечного комите-

та, кандидатов в члены СТК. В этих списках вытаскивалась вся грязь за последний десяток лет: прогул, замечания. И это, как назвал директор, это у них называлось — объективка. Но если это объективка, то где, допустим, мои заслуги? Другого человека заслуги?

— Вы смотрите. У нас произошли перевыборы СТК, и члены забастовочного комитета шахты в основном, за исключением некоторых товарищей, попали в СТК шахты. Понимаете? Это уже двойная проверка. Мало того, что они принимали участие в забастовочном комитете, теперь, после перевыборов, у нас такие люди вошли в совет трудового коллектива.

— Вот такая еще информация. О случайных людях вы говорите. У нас из городского стачечного комитета, из 98 человек, было 48 членов партии, а сейчас, в рабочем, один депутат Верховного Совета, один член горкома партии. Так что о случайных людях, я думаю, говорить не надо.

— Тут еще другое дело, товарищи. Правильно замечено: кто ставит эти вопросы? Ставят их главным образом те, кому надо нас по возможности убрать, чтобы мы не мешали им жить так, как они жили раньше. Потому что мы сейчас активно закрутили работу у нас в городе: переизбран весь верхний эшелон партийной власти — первый, второй и третий секретари горкома, назначен новый председатель горисполкома, и сейчас мы начинаем находить с этими новыми товарищами контакты, постоянно и активно работаем с ними... А те, кто хочет сидеть по-старому: авось да пронесет,— те и ставят всякие рогатки, начинают на членов рабочих комитетов компромат всевозможный собирать, распускать всякие слухи и все прочее. А в процессе забастовки все высветилось: кто есть кто. Те, кто с идеальными биографиями, не имеющие ни одного замечания, ничего, эти люди, многие из них, эти чистенькие, хорошенькие, благородненькие, эти люди остались в стороне и из-за угла выглядывали: а чем все это дело кончится? И сейчас же, сейчас же, вот эти люди начинают громче всех в толпе кричать: «А чего вы добились?», «Вас задавят!» — вот в таком духе. Кроме того, я считаю (и на сессии ставил вопрос), что это самая странная ситуация, поскольку напряжение не снято ни в городе, ни в области: люди возбуждены, накалены сейчас еще, а некоторые начинают заниматься натуральными провокациями. Когда возникает какая-то конкретная ситуация, начинается: «Вот мы вас повыгоним, поуволим!» — на рабочих, и, как правило, все это делается в отсутствие членов забастовочного комитета или, допустим, членов СТК. Видно, товарищи или не поняли, или не хотят понять ситуацию, которая сейчас складывается. Мы, городской (рабочий.— **Ю. А.**) комитет и все СТК, избранные на шахтах, мы все прекрасно понимаем ту меру ответственности, которую взяли на себя. Ведь мы заявили, что забастовка не прекращена, она приостановлена, и мы сейчас работаем над тем, чтобы все требования, которые выдвигали люди, были выполнены. Выполнены! А если нет,— пример тому уже был с Крапивинским гидроузлом. Хотя обком партии на своем пленуме осудил наши действия (предупредительную двухчасовую забастовку.— **Ю. А.**), но мы, например, считаем, что эта мера была правильная. Потому что если в первые же дни пошли грубые нарушения соглашения, в частности невыполнение этого пункта, то что нам ждать дальше? Это было предупреждение: товарищи, мы серьезно намерены добиваться выполнения тех решений, которые были приняты... В субботу у нас проходило бюро горкома партии, нас туда пригласили, и я от имени рабочего комитета призывал руководителей предприятий, руководителей среднего звена, чтобы они поняли ответственность момента, чтобы все личные амбиции, все трения, которые были раньше, отставили в сторону. Сейчас нам надо делать общее дело, и если мы начнем выяснять отношения, мы ничего не сделаем.

— Между прочим, есть еще и такие люди. Что же, говорят, вы нас не спросили? Мы бы вам подсказали, мы бы сделали все по-умному. Они боятся чего? Вдруг — тридцать седьмой год. А так-то мы бы вроде с вами пошли. А я пошел — мне уже терять нечего. Дальше так жить невозможно. Уже четыре года перестройка идет, и все говорят, куда Горбачев приезжает: «Товарищи,

хорошо?» «Хорошо!» — но я лично не вижу никакой перестройки. Может, года два что-то шло, а здесь вообще стали опускаться куда-то. А вот руководство, они притерлись меж собой... Сейчас даже угрожают нам, телефонные звонки выдают. Ну — глупо! Это же абсурд уже...

— Видно, угрожают те, кто хорошо жил. И обидно что? Мы себя показали — показали, ну, с хорошей стороны, и сейчас работать нам настолько трудно, а товарищи, которые засиделись в горкомах-исполкомах, всю работу валят на нас. Работу, которой должны заниматься непосредственно они. Трудящиеся идут в наш комитет, их футболят. Хотят нас взять измором: справимся мы или нет. Но ведь придет время, люди-то поймут, кто есть кто. И вот этим товарищам будет еще тяжелее смотреть людям в глаза. Мы все равно, как бы нам ни пришлось, работать будем. На измор нас не возьмут. Но пускай руководитель подумает, как он выглядит, когда посылает с каким-то вопросом человека к нам, просто рабочим, а он ответственный. Я считаю, что такого руководителя, который два раза отфутболил к нам в комитет, его надо просто взять за руку и вывести. И поставить на его место того, кто будет действительно работать. Вот такое мое мнение.

— Сложность еще вот в чем. Есть такой фактор. Вот мы все, здесь сидящие, видели эту волну, и мы осознаем, наверно, что следующая волна, если она будет, то она уже пойдет не так, как эта. Мы это осознаем, рабочие. Но у нас создается впечатление, что наши органы и организации руководящие, где, казалось бы, должны это понимать, они вот этого не осознают. Ведь все делается с таким трудом, с таким скрипом... А ведь если следующая вспышка произойдет, кто в этом будет виноват? Ведь это коснется, наверное, всего народа...

— Как вы относитесь к идее досрочных выборов в Советы?

(Тут все начинают говорить разом, пока гомон не прерывает председатель комитета — Николай Павлович Смирнов, заместитель главного инженера шахтоуправления «Сибирское».)

— Погодите! Вот я отвечу. Насчет досрочных выборов. Позавчера был пленум обкома партии. Я присутствовал от стачечного комитета. И этот пленум мне до того не понравился, этот пленум был отвратительно плохим. У нас даже на стачечном комитете все решается значительно лучше, чем решается на этом пленуме. Во-первых. Мы как думали? У нас на всех почти предприятиях, на шахтах и на заводах, почти всем парторгам оказано недоверие, руководителям оказано недоверие. Думаю, надо было собрать конференции, партийные собрания по предприятиям — переизбрать парткомы, переизбрать профоргов прямыми выборами. Кто нормальные, тех оставить. Теперь дальше. После этого надо конференцию собрать городскую. Допустим, у нас выборы первых руководителей города произошли, а в других городах не произошли. И чтобы они на альтернативной основе были. Потом дальше — делать областную конференцию. И когда на пленуме мы задали этот вопрос (и я там выступил), ни один в этом зале не поддержал ни первого секретаря, Мельникова, ни то, что я говорил. Все люди, которые не члены обкома (я со многими говорил), все поддержали, а члены обкома — нет. Потому что каждый боится за свое место, и они утверждают, что вот-вот, только восемь месяцев назад, была областная конференция, зачем ее снова делать? Так вот: если делать такую конференцию, то из этих людей в зале, где я сидел, останется процентов двадцать. Не выберут этих людей. Поэтому они сейчас любыми путями стараются где-то чего-то: утихомирится — и все. Такую грязь поливали на областной стачечный комитет, что он не нужен и прочее. Выступает женщина там, председатель ветеранов или уж не знаю, кто она, фамилии не помню. Выступает и говорит: все ветераны против, никто забастовку не поддерживает и прочее. Но почему мы здесь этого не видим? Почему пенсионеры, тысячи человек идут к нам? Не в исполкомы, не в совет ветеранов,— почему все они идут к нам? Выборы досрочные... Мы-то как определялись? Своих товарищей, ребят, которые проявили себя в стачечных комитетах, в советах трудовых коллективов, сделать их депутатами. Вот! Выборы на альтернативной основе. И после того, как они сделаются депутатами, жизнь города полностью — ведь кто-то войдет в исполком, кто-то войдет в горком партии — жизнь тогда у нас будет общая...

— Скажите, а подтверждается, например, что было воровство, было сокрытие продуктов и так далее?

— Обязательно.

— Есть факты конкретные?

— Факты есть, и акты есть. Во-первых, когда мы на второй день забастовки выбрали тех, кто у нас занимается торговлей (это товарищ Лисов), и поехали они вместе с обэхээсом...»

Тут диктофон пришлось выключить. Позвонили с агропромовского завода железобетонных изделий. Стачка! Несколько членов комитета немедленно отправились на завод, и я с ними.

Вы видели когда-нибудь, как начинается забастовка?

Вот и мне тоже не приходилось...

Заводик маленький, плохонький, расположен на каких-то задворках, изрезанных железнодорожными путями. Двухэтажная контора из серого кирпича, щит «наглядной агитации» — белозубый красавец и надпись: «Слава труду!» Возле щита несколько возбужденных женщин, грузных, рано состарившихся, одетых в линялые трикотажные шаровары и майки. Кричат надсадно: «Обжулить хотели! Обсчитать! Неправильно вывели!» «Плюют на рабочего человека!» «За что девчонку обидели?» Девчонка, мастер участка, плачет. «Они же неграмотные. Я только написать помогла. А директор — уволить...» Немолодой мужичок в светлом костюме и шляпе. Смотрит колюче. «Бастуете, алкаши? Всех вас гнать надо. Вон эти, и то работают». Он тычет пальцем в сторону, где стоят трое молчаливых мужчин в зеленых робах. Лица у них странные — подглазья и губы обведены белыми кругами, словно у клоунов или мимов. Один из них делает неуверенный шаг вперед и внятно произносит: «Да. Мы работаем. Сегодня мы грузили цемент. И вчера мы грузили цемент». Они из психлечебницы.

Идем в цех, где все заварилось. Там вяжут арматуру. Пробираемся между вагонами, перешагиваем через груды щебня. Кирпичная коробка, выбитые стекла, куча железных стержней на полу; в закутке, за черным дощатым столом, три женщины. Одна проработала на заводе двадцать четыре года, две — по девятнадцать. «Вот и вяжем это железо. Сейчас ничего, а зимой? Тепла нет, туалета нет, воды нет. Принесешь банку кипятку, достанется по полстакана. Тут же и газосварщики работают. У них пенсия льготная — вредное производство. А ведь мы вместе с ними дышим. Вот и попросили девушку написать. А ее выгоняют. Справедливо?» Товарищи из рабочкома обещают: мы обязательно вам поможем; но, убеждают, никаких стачек без разрешения комитета; мы можем действовать только вместе — иначе ничего не добьешься.

— Пошли к директору...

Испуганная секретарша в приемной. Чугунная вывеска: «Исаев Василий Павлович, часы приема...» Кабинет обшит деревянными панелями, в углу на холодильнике — кофеварка. Директор седенький, маленький, растерянный: то встает, то садится.

— Вы что, нарочно все это устроили?

— Я? Нарочно? Зачем — нарочно? Ничего не устраивал, ничего. Был в цехе, во всем разобрался.

— А за что техника уволили?

— Никого не увольнял. Места ей просто нет. Ни один цех принимать не хочет. Плохой работник.

— Неправда, мы сейчас из цеха. Там за нее стоят.

— А стоят, так и пусть работает. Я не возражаю...

Все, что можно было уладить, уладилось за полчаса. Возвращаемся. В машине сажусь рядом с Валерием Сергеевичем Лисовым. Он проходчик с шахты «Судженская». Член городского комитета партии. Член общественного со-

вета по просвещению. Уравновешенный, рассудительный человек. Это ему забастовщики поручили надзор за торговлей. Пытаюсь продолжить прерванную телефонным звонком беседу.

— Значит, поехали вы с обхэзэсниками на продовольственную базу. И что там обнаружили?

— Обнаружили что? Мне, знаете, сорок один год. Две трети жизни, можно сказать, прожито. Так вот, многих продуктов, которые мы там нашли, я никогда раньше не то что не видел, а даже и не знал, что есть такие. Но ведь для кого-то они были приготовлены... Взяли мы там банку черной икры и отправили ее в Дом ребенка. Это где дети брошенные живут. А ребятишки икру с бутербродов счистили, на пол сбросили, а хлеб с маслом съели...

Он испытующе смотрит на меня и строго спрашивает:

— Вы член партии?

— Да.

— Тогда вопрос. У нас в первичке из шестнадцати коммунистов четверо партбилеты сдали. Как будем жить дальше?

Действительно — вопрос.

Как же отвечают на него те, в чьих руках сегодня сосредоточены и власть, и материальные средства, и реальные рычаги управления?

Из материалов пленума Кемеровского областного комитета КПСС (8 августа 1989 года).

А. Г. Мельников, первый секретарь обкома КПСС:

«Могли бы мы избежать забастовки как крайнего средства разрешения проблем? Да! Если бы ЦК КПСС и правительство более настойчиво и последовательно проводили в жизнь принимаемые решения, не давали их на откуп министерствам и ведомствам. Если бы обком не ограничился выступлениями с трибун, а добился реализации требований, более энергично развернул работы по решению социальных проблем».

«Я нисколько не хочу уменьшить значимость всех проблем и задач, которые надо решать, я сознательно уменьшаю требования в адрес центра, они всегда будут. Я хочу подчеркнуть, что, готовясь перейти на территориальный хозрасчет, самостоятельность, самоуправление и самообеспечение, в значительной мере мы обязаны психологически готовить к этому все наши кадры, всех наших людей. Социальное иждивенчество, которое в крови у многих работников,— вот главная опасность, которая может сорвать выполнение протокола».

«С учетом сложившейся в области обстановки и важности проблем, стоящих перед областной партийной организацией, бюро обкома предлагает участникам пленума обсудить вопрос о проведении в каждой первичной организации отчетно-выборных собраний с последующим проведением районных, городских и областной отчетно-выборных конференций. В условиях обострения ситуации в социально-экономической сфере и настроении людей, когда многие партийные организации оказались под огнем критики из-за отставания от происходящих в обществе процессов, это предложение, на наш взгляд, заслуживает внимания. Если мы действительно хотим, чтобы обновление партии опережало обновление общества, чтобы она включила в себя лучшие силы перестройки, нам необходимо до выборов в местные Советы укрепить партийные комитеты новыми, способными, ответственными и инициативными, политически и экономически грамотными коммунистами, пользующимися абсолютным доверием масс».

Э. Ф. Батурин, член обкома КПСС, машинист экскаватора разреза «Красногорский» (город Междуреченск):

«Отдать самостоятельность предприятиям — это должно быть решено. Но ведь не все предприятия в состоянии сами решать многие вопросы. Ведь нет еще закона о том, чтобы, допустим, железная дорога отвечала за невывоз угля и выплачивала компенсацию предприятию, у которого на складах уголь пропа-

дает. Когда будет решен этот вопрос, чтобы предприятие могло теми средствами, которые оно будет иметь, манипулировать, тогда можно говорить об этом. Я выступал как-то на конференции, и мне говорят: завтра вы получите самостоятельность. Я приезжаю и говорю директору: берешь самостоятельность? Он говорит: нет. Почему? Потому что мы не в состоянии сегодня будем оплачивать рабочим получку и аванс, потому что у нас на складах постоянно лежит 600—700 тысяч тонн угля. Объединение в этих случаях манипулирует. Допустим, север выполняет, а юг не выполняет, оно дает им какие-то средства, и предприятия таким образом держатся.

Забастовка вскрыла очень многое. Руководство города проявило слабость в этих делах, но я думаю, что здесь виновен и обком партии. Сегодня я разговаривал с первым секретарем и думаю, вина обкома в том, что надо было в тот момент, когда назревала забастовка, пригласить весь центр области, обкомовский аппарат, чтобы они переговорили сами с шахтерами. Вот это они пропустили».

«Мне бы хотелось здесь еще сказать и о другом. От какого-то испуга первый секретарь обкома партии на нашей городской площади отдает здание горкома партии на растерзание. Я имею в виду передачу его Дому пионеров. Ну разве так можно? Если не устраивают те люди, которые там находятся, можно переизбрать. Но нельзя здание отдавать вот так, на площади».

А. М. Зайцев, первый секретарь Беловского горкома КПСС:

«...Я думаю, если бы не начал забастовку Междуреченск, то начал бы ее любой другой город, потому что за четыре года результатом перестройки стали пустые прилавки, нищий соцкультбыт. Куда все делось? Доработались до того, что крупнейшие предприятия, то есть шахты, разрезы, превратились в подразделения Министерства угольной промышленности СССР, объединений. Министр, бывая в Кузбассе, хоть один вопрос, поставленный в низовом трудовом коллективе, решал? А если этот вопрос в более резкой форме поставишь, что выходит? «Вот этот секретарь выступил неплохо, десять миллионов ему дадим...» И, я скажу, такое положение устраивало руководителей предприятий».

«Я думаю, в такой ситуации, когда не находили разрешения вопросы, они должны были найти выход. Рабочий класс все это видел и решил по-своему: раз вы не способны, беремся за дело сами. Почему раньше, когда мы стучали в двери ведомств всех уровней, нас не слышали? Люди говорят: плохо добивались. И Горбачев Михаил Сергеевич в своем интервью говорит, что мы на местах плохо работаем. Надо ли противопоставлять сегодня партийных, советских руководителей городского и районного звена народу? «Урок» диалога по этому поводу преподал нам секретарь Центрального Комитета партии Слюньков Николай Никитович, когда подводились итоги работы правительственной комиссии на бюро областного комитета партии. Лично я уехал с этого бюро с таким чувством, что присутствовал на игре в одни ворота без вратаря. Все виновные — на местах. Но насколько они виновны, не спросили. Не дали рта раскрыть ни одному секретарю городского или районного комитета партии! Я думаю, что такой подход не вяжется с разбором такого важного вопроса современности. А ведь вину-то, наверное, надо было хотя бы разделить...»

«...Забастовка привела к заигрыванию отдельных должностных лиц с забастовочными комитетами, здесь сегодня уже т. Батурин говорил, что пошли на поводу у экспроприации, в том числе зданий городских комитетов. Это что, законное требование? Да, я думаю, что так, наверное, можно дальше и дальше пойти и вообще к произволу прийти, к временам коллективизации».

А. Ф. Шабурова, председатель областного совета ветеранов:

«Мы, старшее поколение, не приемлем забастовку как метод разрешения даже самых трудных проблем. Я не согласна с коммунистом, народным депутатом СССР т. Авалиани Т. Г., что «забастовка неизбежна». Не было бы забастовки, если бы руководители шахты им. Шевякова и других не были глухи к нуждам шахтеров».

«Мы, старшее поколение, пережили периоды, когда у руководства партией были Сталин И. В., Хрущев Н. С., Брежнев Л. И. Мы в состоянии отличить, где черное, а где белое, где и какие допущены ошибки, но мы знаем, какой проявлялся трудовой энтузиазм народа, каковы достижения».

«Сейчас много говорят о досрочных выборах в Советы народных депутатов и о досрочной партийной конференции. Все мы понимаем сложность обстановки в области, в стране. Для нас, коммунистов, сейчас главное — каждому приложить все силы и знания к выполнению решений XIX Всесоюзной и XXI областной партконференций, мобилизовать всех на спасение выращенного урожая, подготовку к зиме. Выборы же и подготовка к ним отвлекут массу коммунистов от срочных, главных задач».

И. В. Малков, первый секретарь Ижморского райкома КПСС:

«...Прихожу к заключению, что на сегодняшний день в области троевластие и каждая из властей решает задачу «реализации протоколов соглашений с правительственной комиссией». Причем совет рабочих комитетов Кузбасса — через угрозы о возобновлении забастовок. При таком отношении к решению общей задачи, стоящей перед областью, трудно выполнить все намеченное в срок. В это трудное время нужна консолидация всех сил, и способствовать этому должны партийные комитеты и Советы народных депутатов, рабочие и профсоюзные комитеты на местах. Немалая роль в решении этой общей задачи отводится и средствам массовой информации...

Второго августа сессия областного Совета народных депутатов приняла решение о прекращении всех работ на Крапивинском гидроузле с 8 часов 3 августа. В момент утверждения повестки дня т. Рудольф ставит вопрос о создании комиссии и выделении вертолета для уточнения, ведутся ли работы на Крапивинском гидроузле, для того, чтобы было время дать отбой предприятиям угольной промышленности на двухчасовую забастовку. Руководитель областного рабочего комитета т. Авалиани после закрытия сессии заявляет, что забастовка — процесс необратимый. Несмотря на то, что сессия приняла решение, через телевидение следует призыв к забастовке. И самое интересное — это реакция телевидения на забастовку 3 августа, когда в программе «День за днем» показывают только те предприятия, которые провели двухчасовую забастовку, то есть совершенно отсутствует плюрализм мнений».

«...Возникает вопрос: а что делать нам, селянам? Может быть, пойти по пути шахтеров, объявить забастовку и прекратить поставки молока и мяса в города и тем самым обратить на себя внимание старшего брата — рабочего класса? Может быть, это вам покажется наивным, но тогда позвольте спросить: как понимать то, что город не оказал помощи селу в заготовке сена, не выделяет людей и транспорт на сельскохозяйственные работы, а если и выделяет, то на кабальных условиях? Все эти издержки обернутся ухудшением в снабжении продуктами питания, а значит, еще более негативно скажутся на настроении людей. Для решения этих вопросов не следует прикрываться демократией».

М. И. Найдов, генеральный директор НПО «Прокопьевскгидроуголь»:

«Теперь мы безо всяких оговорок признаем, что время политического комфорта, показного повиновения масс... закончилось безвозвратно. Теперь перестройка наконец перешагнула особый и долгожданный всеми нами рубеж. И это обнажило и указало реальное место и расстановку трех главных сил нашего общества.

1. Рабочий класс на словах и по теории был на первом месте в управлении — фактически на последнем, теперь реально претендует на первое. К нему присоединилась значительная часть технической и научной интеллигенции, деятелей культуры и литературы, юристов.

2. Центральные органы были на первом месте, сейчас все больше — на втором. Но центр одинаково боится отдать часть власти и рабочему классу, и местным органам. Выжидает, выс штывает: сколько и где дать, а сколько и где придержать. Поэтому центр, будучи инициатором перестройки, из-за такой тактики лидерство почти утерял.

3. А местные власти: областная, городские, не говоря уж о районных,— как были из-за своего бесправия на последнем месте, так и остались.

Поэтому центр успешно и с умыслом выдвинул местные власти на место между собой и рабочим классом и продолжает сам сжимать пресс и к этому призывает рабочий класс. Такая тактика для центра удобна: он рассчитывает за счет местных властей снизить давление пара у рабочего класса. Поэтому вольно или невольно, но центр подталкивает нас, т. е. местные власти и рабочий класс, к объединению против себя же. Другого выхода нет. Надо скрепить силы на ту цель, которая нас всех объединяет: неправомерно бедственное положение Кузбасса и кузбассовцев, превращение полуперестройки в перестройку и те меры и соглашения, которые выработаны правительством с забастовочными комитетами с нашим участием».

А. Г. Тулеев, начальник Кемеровской железной дороги:

«До тошноты надоели взаимные претензии, критика, эти высовывания, игра на зрителя. Дай вагоны всем, дай! Есть, конечно, у нас долг. Но мы работаем тяжело, строим, вагонов нет, рельсов нет, шпал нет, костылей нет...

До транспорта в области сегодня практически никому нет дела. Если страна из-под Бреста гонит полувагоны, а у себя мы вот так будем вести дело, считаю, это — преступление.

Начали поступать моющие средства, мыло, сахар, мясо, масло и т. д. Торговля принимает все это неорганизованно, копаются. Автомобилей нет. По трое суток моющие взад-вперед таскаем! Нужно дело делать, разбрасывать товары по магазинам, уже очереди можно снять. Мы по трое суток все это держим.

Мы постоянно опаздываем. Приняли недавно постановление: отдали административные здания, дачи и т. д. Но если бы это сделать чуть-чуть раньше, до забастовки, насколько был бы сильнее авторитет!

Пошли разговоры, что железнодорожники 1 августа вроде собирались встать. Тревога обоснованна: ведь если железнодорожники встанут, шахтерская забастовка — это мультики по сравнению с тем, что встанет вся страна».

Я постарался, насколько мог полно, представить спектр основных суждений, характеризующих позицию областного партийного комитета. Как видим, из классической триады роковых наших вопросов: «Кто виноват?», «Что делать?» и «С чего начать?» — ораторы сосредоточились в основном на первом. И в общем итоге виноват, похоже, прежде всего центр. ЦК, Совмин, министерства. Виновата пресса. Виноваты забастовочные комитеты, да и вообще шахтеры. На местах же, хотя и есть, конечно, отдельные бездушные руководители, в целом аппарат ставит вопросы грамотно и своевременно. Непонятно, правда, почему при этом по три дня простаивают неразгруженными вагоны с мылом и почему областной Совет решает прекратить одиозную стройку (уже остановленную, кстати, решением Совмина СССР) лишь накануне предупредительной забастовки. Видимо, все страшно заняты. Заняты настолько, что не остается сил даже на отчетно-выборную кампанию. За предложение бюро провести внеочередную областную партийную конференцию только бюро, в сущности, и проголосовало. А за неделю до пленума сессия областного Совета столь же решительно отвергла предложение о досрочных выборах в местные органы власти. Нет правовой основы.

Стоит ли удивляться, что выступления представителей рабочих комитетов, приглашенных на пленум, и по тону, и по содержанию отличались от большинства других речей.

В. Г. Кокорин, горный мастер участка № 5 шахты имени Шевякова (г. Междуреченск):

«Забастовка свершилась. В ходе ее были решены многие вопросы. А теперь, когда, казалось, многое решено, мы начинаем обсуждать все заново. В частности, о передаче здания горкома партии. Выступающий здесь т. Батурин сказал, что будем решать. Где был т. Батурин 11 и 13 июля, когда с трибуны шли предложения об использовании этого здания? Тогда вроде соглашались, а теперь раздумывают. Рабочий комитет по этому поводу сказал: «Семь с половиной тысяч коммунистов Междуреченска вправе решить, как быть со зданием».

Непонятно и с переходом на хозрасчет. Мы двое суток стояли на площади, чтобы министр решил вопрос. Наконец мы добиваемся этого. Все записано, подписано. А сейчас начинаем вновь обсуждать: переходить, не переходить. Тут надо сказать однозначно — другого решения быть не может! Не для того люди добивались своего, чтобы заволокитить все по кабинетам, утопить в согласованиях.

Объединение сейчас нам старается доказать, что мы не сможем без управленцев жить, надеется, что мы будем у них просить помощи. Но мы помощи просить не будем, а также мы не хотим, чтобы помощи просили у нас селяне в таком виде, как они сейчас выступили. Привыкли нам спускать цифры, сколько убрать гектаров картофеля, капусты, моркови. Почему представители колхозов и совхозов не могут приехать к нам и сказать: мы не можем убрать урожай, и вот почему. Товарищи председатели не занимаются новыми технологиями, привыкли пользоваться даровым трудом, именуемым помощью».

Т. Г. Авалиани, председатель совета рабочих комитетов Кузбасса:

«Если переходить на региональный хозрасчет и полную самостоятельность, то надо готовиться в рамках существующей системы. Но никто, начиная от предприятия и кончая облисполкомом, в полной мере к этому не готовится...

Требования были таковы: 30 процентов фактически выпускаемой продукции разрешить продавать за границу и внутри страны по договорным ценам. Это была бы уже модель и был бы, надо сказать, для Совета Министров СССР, на мой взгляд, очень желательный прецедент, как вывести один регион, второй регион на полный хозяйственный расчет, на рыночную экономику, без которой наше государство никуда не двинется. Постепенный выход на рыночную экономику — другого пути у государства нет. И чем дольше мы будем проводить эту операцию, тем больному будет все хуже и хуже. Тех, которые здесь присутствуют от Центрального Комитета, я бы просил вернуться к этому вопросу. Все, что мы делаем сейчас, половинчатое, в тех рамках, которые существуют, ни к чему не приведет. Я глубоко убежден в этом».

Н. Г. Литвиненко, председатель Беловского рабочего комитета:

«Я тот человек, в адрес которого несутся обвинения: мол, я принес миллионные убытки городу и Кемеровской области. Да, я тот человек, которому даже похлестче говорят, что я ударил в спину перестройке. Нет, товарищи, этих обвинений я не принимаю. И никогда их не приму. Миллионные убытки нашему народу принесли не мы, а те, кто на протяжении десятилетий не решал ни одного вопроса. Удар в спину перестройке тоже нанесли не мы, а те, кто решал.

Теперь я хочу поднять вопрос, почему мы оказались на площади, почему я здесь. Потому что никакой другой метод не помог. Сейчас идут обвинения: почему именно таким методом? Вас здесь сидит более пятисот человек. Хоть один пусть встанет и скажет, каким методом надо было действовать. Уговаривали? Уговаривали. Помогло? Нет. Требовали? Требовали. Помогло? Нет. Писали? Писали. Ничего не помогло. Может хоть один подняться и ответить? Нет. Тогда не надо говорить о методах. Мы сами понимаем, что это все из нашего кармана. А сюда я пришел потому, что хотел услышать от пленума Кемеровского обкома партии, как же нам быть дальше, как нам действовать, какие же положения, какие пункты решены, как они будут решаться, в какое время и каким способом. Мне надо идти к людям. Что я им скажу? Что вы здесь друг на друга сваливали, кто виноват, кто прав? Почему я не услышал отсюда, с этой трибуны, ни одного предложения, что же все-таки сделать? А люди ждут...

Теперь другое. Мне непонятен вопрос о положении коммуниста в забастовочном движении. Да, вышло постановление Кемеровского обкома партии о том, что звание коммуниста несовместимо с участием в забастовке. Я коммунист и руководитель забастовочного комитета, кроме того, я еще секретарь партийной организации. Не побоялся этого постановления и скажу, почему. Хорошо, что вся деятельность нашей партии направлена на службу народу. Почему же, скажите, я должен против народа идти как коммунист? Поднимите наши требования. Хотя бы один пункт против народа записан? Хоть один абзац какой-нибудь не во имя человека или во имя еще кого-то? Так почему же я, коммунист, должен идти против людей, почему я должен быть не с ними? Свой партбилет я ношу с гордостью и буду его носить. Пленум я прошу просто аннулировать то постановление бюро. Считаю, что оно было ошибочным».

Попробуем подвести некоторые итоги поисков ответа еще на один вопрос, поставленный в начале статьи,— о позициях сторон и о движении этих позиций. Даже простое сравнение первоначальных «междуреченских пунктов» с пунктами совместных протоколов и — дальше — с нынешней интерпретацией согласованных мер участниками забастовки показывает, что движение здесь несомненно и, похоже, далеко не завершено. За время командировки я побывал в четырех рабочих комитетах: областном, двух городских, шахтном. Знакомство весьма беглое для углубленных личностных характеристик, но достаточное для общего вывода: в комитетах собрались сегодня люди вполне серьезные, работают они много и без лишних страхов берут на себя ответственность в делах, которые официальные власти сплошь и рядом отодвигают в сторону. Да, конечно, это очень разные люди. Многие склонны к тому, чтобы все собрать в общий котел и переделить поровну. Есть, наверное, и крикуны, и карьеристы. Правда, такие, говорят, быстро отсеялись: народу ведь в комитетах мало, а дел прорва, и тут сразу становится ясно, кто чего стоит. Они учатся быстро, на практике овладевая умением, которое еще недавно так умиляло, а теперь так пугает наших народолюбцев,— умением обдуманно и на равных вести диалог на всех этажах управления и власти.

Ну, а позиция на тех этажах сидящих? Даже в самом сжатом виде представленные материалы пленума показывают, я думаю, что практически меняется она мало, если вообще меняется.

Пресс-конференция первого секретаря Кемеровского обкома КПСС А. Г. Мельникова (из фонограммы):

«Прямо скажу, чтобы предупредить любые вопросы, я знал, что решение о проведении конференции принято не будет. Но пошел на это сознательно. Почему пошел? Потому что актив тоже должен созревать постепенно. Как обгонять события, как обновлять, как вовлекать новые силы,— сразу это трудно воспринимается. Надо много пережить, много перечувствовать, многое взвесить. Ну, может быть, можно было еще поубеждать побольше, поговорить пообстоятельнее с секретарями партийных комитетов, с первыми секретарями... Для этого надо, естественно, долгое время и беседы один на один, но не всегда так сразу можно к пленуму подойти...

В о п р о с: Откуда появилось убеждение в необходимости созыва конференций?

О т в е т: Из всех событий, которые прошли. Появились новые люди, новые кадры, новые проблемы, новые задачи, новые аспекты. Поднялся уровень требовательности народа. К кому? К коммунистам, к партии. Видимо, не отражают партийные комитеты и некоторые работники того, что хотят люди. Сразу возникает вопрос: а что же сделать для того, как поставить людей? Вообще: как это можно сделать так, чтобы люди были абсолютно доверенные, пользующиеся абсолютным доверием масс? И мы пошли по нормальному пути: давайте соберем пленум и остро поговорим о том, какие события, какова оценка, как же реагировать должны партийные комитеты, советские органы на то, что говорили люди. Факт остается фактом: что бы мы ни говорили, как бы ни кивали (можно, конечно, сегодня все повесить на центр)... но ведь надо самим работать. Чем больше самостоятельности, тем больше ответственности. Надо себя больше нацеливать на работу. Я ведь не случайно отметил в докладе, что если что нам помешает, так это иждивенчество... А пленумы прошли как? По нормальной схеме. Послушали. Все нормально, все хорошо — все остались, все на месте. Никаких оценок острых не было, они и не могли быть, потому что формировался состав пленума,

горкомов по новой немножко структуре... но в общем-то... состав-то остался примерно такой же, в процентном отношении, в качественном, как и был. Я называл: рабочих мало, в основном аппарат, партийные и советские работники, хозяйственные руководители, областные руководители...

Вопрос: Каковы же пути обновления?

Ответ: А пути вот такие: надо раскрепоститься сейчас на волне демократизации. Если провести конференцию, избрать делегатов, придет та сила, которая сегодня вышла. И они же актив!.. Делегаты обсудят работу партийного органа... Я же не предполагаю всех переизбрать и избрать новых. Нет! Хорошие же люди! Но есть вот, которых надо добавить или убавить: этот не может, а этот может. Посмотреть, подкрепить горкомы и райкомы партии новыми людьми. Посмотреть на альтернативной основе и руководящие органы, и бюро, кого там держат, и с секретарей тоже спросить. А потом и к обкому так же подойдут, с такой же меркой...

Вопрос: Как к этой идее относятся в горкомах, в райкомах?

Ответ: Вот пример. Я был на конференции в Ленинском районе (Ленинск-Кузнецкий). Там возник вопрос; одни говорят: конференцию, другие: не конференцию. Проголосовали. 24 — за конференцию, 31 — против...[1]

Вопрос: Почему бюро обкома признало идею досрочных выборов в Советы поспешной?

Ответ: Не идея выборов, а решение поспешно. Потому что в этом решении, которое они (группа народных депутатов СССР и представителей забастовочных комитетов.— Ю. А.) приняли, не посоветовавшись, они написали: досрочно провести, а потом: создать положение в двухнедельный срок, назначить выборы и так далее. Надо было день подождать, посоветоваться...

Вопрос: Вы сказали о пленумах горкомов: прошли по нормальной схеме. А пленум обкома? По нормальной?

Ответ: По обычной схеме.

Вопрос: И решение тоже по обычной схеме получилось?

Ответ: Согласен. Удовлетворения нет... Я честно говорю: большего я и не ожидал. Может, это и тяжело говорить.

Вопрос: Вот был проект постановления. Из него сокращен абзац: «Необходимо помнить, что любые действия органов власти сегодня, как никогда, находятся под контролем масс в лице рабочих комитетов. Поэтому неисполнительность и бездеятельность наносят огромный ущерб делу и авторитету партии, не способствуют стабилизации политической, экономической и социальной обстановки в области». Еще абзац вычеркнут: «Одобрить принятые бюро обкома КПСС решения передать в ряде городов здания городских и районных комитетов партии лечебным и культурным учреждениям и соблюдении принципов социальной справедливости» и так далее. Еще абзац вычеркнут: «На деле обеспечить открытость партии к критике, к творческому обсуждению любых самых острых проблем...» Еще абзац — о пополнении партийных комитетов неординарными, творчески мыслящими, инициативными, деловыми людьми... Не кажется ли, что редакционная комиссия еще и поспособствовала тому, чтобы пленум прошел по обычной схеме?

Ответ: Редакционная комиссия, значит, оказалась такая.

Вопрос: В свое время бюро обкома приняло решение о недопустимости участия коммунистов в забастовках. Отменено ли оно?

Ответ: Решение о забастовках дублировало ранее принятые решения. Были соответствующие установки Центрального Комитета партии по этому вопросу, потому мы приняли его таким, какое оно есть. На том уровне, на каком мы понимали забастовки раньше, оно было оправданным. А потом оказалось оправданным участие в забастовках коммунистов. Я полагаю, что записанное в решении пленума положение об участии коммунистов в забастовке оправданно, оно отменяет предыдущие решения.

[1] По официальным данным, в Ленинске-Кузнецком из 45 предприятий бастовало 17, в том числе заводы; не работало более трети трудящихся.

Вопрос: Но поезд-то ушел?

Ответ: Поезд ушел, и что? У нас много поездов ушло. Что же, надо было отменить решение с первого дня? Дело не в этом. Оно было, оно существовало, первые три дня оно действовало — и мешало коммунистам включиться в забастовку. Мешало, да. И я в первый день не знал, как в этом деле поступать. Только на второй день, после двух ночей созрел, что надо все-таки оценки другие давать. Когда почувствовали, что от нас отгоняют участников забастовки, не дают с нами беседовать... только после этого вырисовывается концепция... Я думаю, мало пока кто принял такие решения, какие мы приняли... я не слышал нигде... В прессе — да, а решений нет. Всякие еще могут решения принять в этом ключе. Сегодня одни, а пройдет три-четыре дня, примут другие решения. Скажут: неоправданным было участие. Или: оправданно участие коммунистов, но неоправданно — партийных работников. И такое может быть...»

Наконец, последний вопрос. Чего можно ожидать, на что надеяться, чего следует и чего не следует опасаться?

Один из проницательнейших историков и убежденный революционер, П. А. Кропоткин, заметил однажды, что к бунту народ ведут отчаяние и нищета, к революции — надежда на улучшение жизни. Сегодня в Кузбассе половина трудящихся поражена хроническими заболеваниями, 87 процентов детей рождается с умственными или физическими аномалиями. В очереди на жилье стоят 235 тысяч семей. Словом, нищеты и отчаяния хватает. В то же время июльские и последующие события показывают, что у рабочих достаточно крепкая рука, чтобы управлять стихией, а созданные ими комитеты нащупывают конкретные пути выхода из кризиса.

Если наша перестройка действительно, а не на словах становится революцией (а похоже, что к этому идет дело), то полезно, наверное, вспомнить классические оценки революционной ситуации («...обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому»[1]) и главного вопроса любой революции. По Ленину, это вопрос о власти.

Чего же хотят «низы» и чего добиваются «верхи»?

Вот два, несомненно, главных пункта согласованных протоколов:

«1. Кемеровскому облисполкому подготовить до 1 октября 1989 года предложения о переводе Кемеровской области с 1 января 1990 года на региональный хозрасчет.

Совету Министров РСФСР рассмотреть эти предложения и после проработки представить Совету Министров СССР с последующим внесением их до 1 ноября 1989 года в Верховный Совет СССР.

2. Предоставить полную экономическую и юридическую самостоятельность шахтам, разрезам и другим предприятиям Кузбасса в соответствии с Законом СССР о государственном предприятии (объединении).

Особое значение в решении этого вопроса уделить предприятиям угольной промышленности. Минуглепрому СССР осуществлять реорганизацию существующих объединений в различного рода ассоциации, другие добровольные формы организации управления. Провести эту работу до 1 января 1990 года. Широко использовать различные формы собственности на средства производства — государственную, кооперативную, арендную, акционерную и другие.

Кемеровскому облисполкому организовать в области проработку налоговой системы на доходы предприятий и организаций. Минуглепрому СССР проработать этот вопрос по всем предприятиям угольной промышленности, имея в виду ввести в установленном порядке новую налоговую систему в порядке эксперимента с 1 января 1990 года».

Чего требуют «низы», совершенно ясно. Они требуют передачи им средств производства, права распоряжаться продукцией и свободы управления. Иначе говоря, они претендуют на собственность и на власть. А «верхи»? В сущности,

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 26, стр. 216.

они хотят сохранить за собой все хорошо известные нам функции — готовить предложения, уделять внимание, осуществлять реорганизацию, организовывать проработку. Это тоже ясно. Но возможно ли? Совершенно непонятно, например (и никто не смог мне этого объяснить), как будет действовать комиссия, оперативно созданная облисполкомом для реализации протоколов, хотя бы в осуществлении этих первых двух пунктов. В состав ее вошли люди, живущие и работающие в разных городах. Вполне очевидно, что ни о какой постоянной совместной деятельности их не может быть и речи. К тому же, как мне сказали, председатель комиссии сразу ушел в отпуск. То есть, насколько я понимаю, решение готовит не облисполком и даже не комиссия, а кто-то другой. Но кто? И не созреет ли по осени очередной, как выразился один шахтер, «плод испуга аппарата». Легко себе представить, насколько свободные ассоциации предприятий попытается создать Минуглепром, из цепких объятий которого шахтеры так и не сумели вырваться; но трудно даже вообразить, какую налоговую систему («в порядке эксперимента» и в «установленном порядке» одновременно!) способен проработать облисполком, который отказался от проведения досрочных выборов по той причине, что, как заявил его секретарь Н. И. Агеев: «У нас такого права нет».

В стремлении нынешних органов управления сохранить свои функции и практической невозможности сделать это и заключается, на мой взгляд, главная опасность сложившейся в Кузбассе ситуации.

Крапивинский инцидент — двухчасовая предупредительная забастовка в начале августа — заслуживает не столько сурового осуждения (или горячего одобрения), сколько пристального внимания. Что же, собственно, произошло? А произошло вот что. 24 мая облисполком принял решение (№ 166) «О приостановке работ по лесосводке и лесоочистке в ложе Крапивинского водохранилища». И работы действительно были приостановлены, и люди вывезены. Через несколько дней, однако, принятое решение было подменено другим — под тем же, заметьте, названием, номером и датой, но с добавлением еще одного пункта и приложением, позволяющими продолжать «лесосводку и лесоочистку». Людей вернули, работы возобновились. 18 июля последовало указание Совмина СССР о консервации строительства. Работы продолжались. Хотя зачем, скажите, сводить мелколесье в ложе водохранилища, которого не будет? 29 июля областной забастовочный комитет послал Н. И. Рыжкову телеграмму о том, что если положение до 1 августа не изменится, то «областной забастовочный комитет возобновляет забастовку с 3.08.89 г.». Кемеровские руководители прекрасно знали об этой телеграмме, но работы продолжались. Вопрос: кто больше всего приложил стараний для возобновления забастовки? Предоставляю читателю возможность самому на него ответить.

Описанный раньше эпизод с зарождением стачки на маленьком заводе железобетонных изделий в Анжеро-Судженске по сравнению с крапивинским конфликтом может показаться незначительным. К сожалению, это не так. При очевидной разнице в масштабах природа явления одинакова — стойкое, цепкое, железобетонное сопротивление определенного круга людей любым переменам в общественных, а значит, и производственных отношениях. Только что отшумели июльские грозы. Казалось бы — ну, грянул гром! Но они, как давно уже было сказано, ничего не забыли и ничему не научились. На одном из августовских селекторных совещаний министр угольной промышленности М. И. Щадов сообщает вдруг, что выполнение одного из пунктов согласованных протоколов отодвигается на месяц. Не советуется, не просит отсрочки, а сообщает, лично решив, что есть более важные пункты. Да, может, оно и так. Не сомневаюсь, что и отсрочку министру дали бы. Но кто же так поступает? А ведь не забыл, наверное, Михаил Иванович, как шел через площадь в Междуреченске... Оптимизм руководящих кругов вызвало то обстоятельство, что предупредительную забастовку поддержало всего 17 предприятий. Наивный оптимизм! Если не наигранный. На самом деле предприятий было почти вдвое больше, но дело даже не в этом. Мне рассказали, что кемеровский городской рабочий комитет, например, приложил массу усилий, чтобы шахтеры не встали. Но почему? Потому прежде

всего, что не было уверенности, что через два часа они возобновят работу. Вообще у меня сложилось впечатление (и для него, поверьте, есть реальные основания), что одна из главных забот рабочих комитетов — снимать накал страстей, гасить постоянно и повсеместно возникающие очаги недовольства.

В день отъезда из Кемерова, это было 15 августа, я зашел в областной рабочий комитет попрощаться. Потом вчетвером стояли возле подъезда облисполкома, где товарищам выделена комната. Обсуждали последние новости. Вчера в Белове целый день уговаривали железнодорожников.

— Чего же все-таки ожидать дальше? — спросил я.

— Кто бы знал,— ответил один из собеседников.— Вы же сами видели, чем мы занимаемся. Но если пойдет вторая волна, то это,— и он обвел рукой центральную площадь города,— все это она смоет...

В нашей печати все чаще возникает тема о возможности военного переворота, введения чрезвычайного положения, учреждения авторитарного режима и т. д. и т. п. Даже известные либералы, еще недавно ратовавшие за полную демократию, начинают ломать голову: как бы совместить эту самую демократию с «железной рукой»? Что ж, как говаривал не то Ликург, не то Солон: тирания, конечно, прекрасное местечко, жаль только, из него нет выхода. Но, возражают древним мудрецам нынешние: «Демократизация, как уже мы не раз говорили, вовсе не способствует реформам. Вот, допустим, реформатор выступает за введение рынка. Можно ли сделать это, опираясь на массы? Нет, конечно! 80 процентов населения его не примут».

До сих пор по простоте душевной я полагал, что введение рынка невозможно вообще. Ввести «военный коммунизм» можно, рынок — нет. Но — допустим. Допустим, есть некое объединение угольщиков. И оно вырывается из-под власти министерства (нет, не Минуглепрома СССР, это пока недопустимо, а, допустим, Министерства топливной промышленности РСФСР). Вырваться помогло то, что в течение нескольких лет объединение терпеливо налаживало прямые связи и заключало хозяйственные договоры (сегодня их, допустим, 194) с самыми различными предприятиями и объединениями другого профиля, то есть без шума переходило на оптовую торговлю. А год назад взяло у облисполкома в аренду свои, допустим, 14 шахт.

Что же из этого получилось — уже без всяких «допустим»? Зарплата в объединении «Облкемеровоуголь» на пятьдесят рублей выше, чем в среднем по Минуглепрому. В ближайшие годы ее собираются увеличить вдвое. Это можно было бы сделать и раньше, но, как не без резона считает генеральный директор Анатолий Павлович Зайцев, зарплату следует повышать по мере того и настолько, насколько ее можно обеспечить товарами. Значительную часть товаров для своих шахтеров объединение покупает за валюту, вырученную от продажи части угля из границей. Уголь нынче идет по цене от 32 до 45 долларов за тонну, и цены, как говорит Анатолий Павлович, «имеют тенденцию к повышению». А угля у нас, между прочим, много, и, пока мы скрупулезно подсчитываем убытки от забастовки, только на складах Кузбасса его лежит около 12 миллионов тонн, и при этом сюда везут бурый уголь из Красноярского края — для котельных. Но продолжим. На шахтах «Облкемеровоугля» — пятидневная рабочая неделя. Уже не первый год сюда закрыт прием рабочих. Во время забастовки возле одной из шахт на всякий случай выставили пикеты. Действительно, с чего бы здесь бастовать? «На наших шахтах все вопросы, которые записаны в протоколе, практически решены»,— говорит А. П. Зайцев. И вот ведь что самое интересное. Не восемьдесят, а, наверное, все сто процентов шахтеров даже и не подозревают при этом, что работают по правилам и живут по законам рынка. Если, конечно, считать, что рынок — это устройство экономики, а не базар с его бешеными ценами.

Мне могут возразить: «Ну, это частный случай». Да, к сожалению. Пока других таких примеров в Кузбассе я не знаю. Но ведь шахтеры, да и не только шахтеры, и добиваются того, чтобы сделать этот частный случай общим правилом. И тут неизбежно возникает вопрос о природе их требований.

Удивляет, с какой готовностью, с каким даже облегчением наша пропаганда подхватила тезис о том, что требования бастующих горняков — «чисто экономи-

ческие». Даже если бы это было так, что в том хорошего? В каком-нибудь другом Междуреченске какой-нибудь другой товарищ Черепов получит еще одну возможность спихнуть какие-нибудь другие претензии с плеч политического органа на плечи администрации предприятия или объединения, а та снова ответит: у меня средств нет — вот и все. Что из этого получается, мы теперь знаем. Надо бы все-таки разобраться: кому мы наследуем — жандармскому полковнику, мечтавшему на заре века ввести рабочее движение в русло «чисто экономических» требований, или тем, кто еще тогда весьма убедительно доказал, что отрывать экономику от политики бессмысленно и вредно. Да и с какой бы стати нам бояться политических требований рабочего класса? Тех же досрочных выборов, например. Кого подготовка к ним может отвлечь от насущных дел? Шахтеров? Металлургов? Химиков?

Не надо строить иллюзий. Ни тушенкой, ни мылом от горняков не откупишься. Не откупишься и деньгами. Ни тушенки, ни мыла, ни денег просто нет и скоро не предвидится. Следовательно, разрядки ситуации с этой стороны ожидать нельзя. Что же остается? Видимо, одно: заменить нищету и отчаяние надеждой.

Мы действительно много пропустили поездов. Не опоздать бы и на этот. По моему глубокому убеждению, возродить надежду можно, только дав людям главное из того, что они требуют,— власть и собственность. И не в порядке уступки или компромисса, как это происходит сейчас, а незамедлительно, окончательно и бесповоротно.

Борис Зайцев

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Борис Зайцев? Увы, так — со знаком вопроса: «Кто это?» — многим читателям придется отыскивать в энциклопедиях это громкое в начале века писательское имя, преданное у нас незаслуженному забвению с ярлыком «белоэмигрант». А принадлежит оно поэту прозы, крупному представителю русского зарубежья, сподвижнику и другу великого Бунина.

Борис Константинович Зайцев (1881—1972) без малого три четверти века вдохновенно служил русской литературе. Из писателей-изгнанников он внес в нее вклад, щедро открыв для нас, по словам Александра Блока, «пленительные страны своего лирического сознания: тихие и прозрачные». Он создал целую библиотеку книг, восхищавших самых взыскательных ценителей искусства слова. «Весь Зайцев» — это не менее семисот (!) названий произведений различных жанров. Пятьдесят зайцевских книг на русском языке и более двадцати на других языках описаны в библиографии Рене Герра (Париж, 1982). А кроме того, писатель опубликовал в журналах и газетах сотни эссе, очерков, статей, писем, дневниковых заметок, не вошедших в его книги, но заслуживающих внимательного изучения и переиздания, ибо в них отражен наш бурный XX век, отражен глазами человека умного и наблюдательного, неравнодушного участника многих важных событий литературной и общественной жизни России и русского зарубежья. В нынешнем году экспресс-изданиями выходят однотомники избранной прозы Зайцева сразу в трех наших столичных издательствах. А крупнейшее из них — «Художественная литература» — приступило к подготовке его собрания сочинений.

Журнал публикует сегодня неизвестные советскому читателю мемуарные очерки Бориса Зайцева. Его воспоминания об Андрее Белом впервые увидели свет в 1938 году в июльском номере парижского общественно-политического и литературного журнала «Русские записки», а очерки о Николае Бердяеве и Вячеславе Иванове публиковались в парижской газете «Русская мысль» (соответственно 3 июля 1962 г. и 19 сентября 1963 г.). В 1965 году Зайцев включил их в свою книгу «Далекое», вышедшую незначительным тиражом в Вашингтоне и готовящуюся сейчас к переизданию в «Советском писателе».

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Царицыно — дачное место под Москвой, по Курской дороге. Недостроенный дворец Екатерины, знаменитые пруды, парк вроде леса. Очень красиво. Сила зелени, произрастание, свежесть и влага. В Москве многие любили Царицыно. Были там и собственные дачи, или — кому особенно нравилось — снимали помещения из года в год у местных жителей, становились как бы летними обитателями Царицына.

— Борю Бугаева отлично помню,—говорила моя жена, в юности тоже царицынская дачница.

— Я была девочкой еще, мы жили в Воздушных садах, около дворца. Дача Бугаевых недалеко оттуда. Боря был светленький мальчик, лет двенадцати, с локонами, голубыми глазами, очень изящный. Прямо скажу даже—очаровательный мальчик. Любил рыбу удить в пруду, так и представляется мне с удочкой на берегу—пруды там огромные. Мать у него была бледная, красивая, отец—профессор в Москве, чудаковатый какой-то. За Борей присматривала гувернантка. Потом, много позже, я встретилась с ним в Москве, он стал студентом и оказывается поэт, пишет «Симфонии», «Золото в лазури»... Боря Бугаев оказался Андреем Белым!

Отец «Бори Бугаева» математик, крашеный старик с разными причудами—молва о нем шла однородная, вряд ли ошибочная.

Профессора этого не приходилось встречать. Мать Белого я немного знала: блестящая женщина, но совсем иных устремлений—кажется, очень бурных. Так что Андрей Белый явился порождением противоположностей.

На московском Арбате, где мы тогда с женой жили, вижу его уже студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем.

Особенно глаза его запомнились—не просто голубые, а лазурно-эмалевые, «небесного» цвета («Золото в лазури»!), с густейшими великолепными ресницами, как опахала оттеняли они их. Худенький, тонкий, с большим лбом и вылетающим вперед подбородком, всегда закидывая немного назад голову, по Арбату он тоже будто не ходил, а «летал». Подлинно «Котик Летаев», в ореоле нежных светлых кудрей. Котик выхоленный, барской породы.

Он только еще начинал писать. Учился на естественном факультете, печатался в «Скорпионе» (издательство), в журнале «Весы» под началом Валерия Брюсова. Считалось среди молодежи тогдашней, что он «необыкновенный» какой-то—поэт, мистик с оттенком пророчественности и символист (по другим «декадент»). Но не просто декадент, а всем обликом своим являет нечто особенное—не предвестие ли «новой религии»? Видели в нем нечто общее и с князем Мышкиным из «Идиота». Передавали, что в университете вышел с ним даже случай схожий: на студенческом собрании, в раздражении спора кто-то «заушил» его. Он подставил другую щеку.

Ранние его произведения быстро привлекли внимание—насмешливое у старших, сочувственное у молодежи. Лазурь бугаевских глаз в стихах «Золото в лазури» сияла почти ослепительно. Конечно, острей и духовней ощущал он свет, чем кто-либо. «Симфонии» показались необычайными и по форме—полулитература, полумузыка... Лес, кентавры, бёклиновское нечто в «Северной». В «Драматической» синие глаза московской красавицы, Владимир Соловьев, Евангелие от Иоанна—все это неслось в туманно-музыкальном вихре.

В то время и он и Блок только еще выходили из-под плаща Соловьева—в «Симфонии» Соловьев с «брадою» своей и в крылатке, развевающейся фантастически, «шествовал» над Москвой в утренних зорях, обещавших и Белому и Блоку некие откровения, «раскрытия».

Все это оказалось призраком, мечтой, на церковном языке «прелестью». И оба оказались—по-разному—но вроде одаренных лжепророков.

Как бы, однако, об этом ни судить, что бы ни говорить о Белом и Блоке в целом, юношеский образ «Бори Бугаева» оттиснут в памяти печатью романтическою—прозрачные, чистые краски в нем были тогда. И нечто певуче-летящее, с оттенком безумия.

* * *

В публике его сразу определили чудаком, многие и смеялись. Все газеты обошло двустишие из «Золота в лазури»:

Завопил низким басом.
В небеса запустил ананасом.

Это недалеко от брюсовского:

О закрой свои бледные ноги.

Но Брюсов был расчетливый честолюбец, может быть, и сознательно шел на скандал, только чтобы прошуметь. А у Белого это—природа его. Брюсов был делец, Белый—безумец.

Читал стихи он хорошо, в тогдашней манере, но очень своеобразно, как и во всем не походил ни на кого. Некоторые считали его гениальным.

«Литературно-Художественный Кружок» в Москве, богатый клуб тогдашний, часто устраивал вечера. Особняк Востряковых на Дмитровке отлично был приспособлен—зрительный зал на шестьсот мест, библиотека в двадцать тысяч томов, читальня, ресторан хороший, игорные залы. Брюсов был одним из заправил: заведовал кухней и рестораном.

На одном таком вечере выступает Белый, уже небезызвестный молодой писатель.

Из-за кулис видна резкая горизонталь рампы с лампочками, свет прямо в глаза. За рампой, как ржаное поле с колосьями, зрители в легкой туманной полумгле. А по нашу сторону, «на этом берегу», худощавый человек в черном сюртуке, с голубыми глазами и пушистым руном вокруг головы—Андрей Белый. Он читает стихи, разыгрывает нечто и руками, отпрядывает назад, налетает на рампу—вроде как танцует. Читает—поет, заливается.

И вот стало заметно, что на ржаной ниве непорядок. Будто поднялся ветер, колосья клонятся вправо, влево—долетают странные звуки. Белый как бы и не чувствовал ничего. Чтение опьяняло его, дурманило. Во всяком случае, он двигался по восходящей воодушевления. Наконец, почти пропел приятным тенорком:

И открою я полотер-рн-ное за-ве-дение...

В ожидании же открытия плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты — присел основательно.

Это было совсем не плохо сыграно, могло и нравиться. Но нива ощущала иначе. Там произошло нечто вне программы. Теперь уже не ветер—налетел вихрь и колосья заметались, волнами склоняясь чуть не до полу. Надо сознаться: дамы помирали со смеху. Смех этот сдерживаемо-неудержимый, веселым дождем долетал и до нас, за кулисы.

«И смех толпы холодной...»—но дамский смех этот в Кружке даже не смех врагов и толпа не «холодная», а скорее благодушно-веселая. «Ну что же, он декадент, ему так и полагается».

Все-таки...—какая бы ни была, насмешка ожесточает. И лишь много позже, с годами, стало ясно, сколько горечи раздражения, уязвленности скоплялось в том, кого одно время считали «князем Мышкиным».

* * *

В 1906—1907 гг. кучка молодежи литературной издавала в Москве журнальчик «Зори», а затем газету «Литературно-Художественная Неделя». Объединяли участников родственные черты—некое «русское» (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и не брюсовского духа. Из петербургских молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкий. Из московских—Белый.

Все это предприятие оказалось недолговечным, влияния имело мало, во многом было наивным. Все же след, светлый, в наших сердцах остался—искреннее увлечение юных лет, правда, некие «Зори».

Белый дал нам статью о Леониде Андрееве. Чуть ли не в том же номере появился какой-то недружественный отзыв о Брюсове.

Брюсов, конечно, разъярился. Белый был постоянным сотрудником «Весов» брюсовских—там была строгая дисциплина,—он тоже разъярился (иначе и нельзя было). Как, он, Белый, тогда подчиненный «магу» и «пророку» с Цветного бульвара, сотрудничает у нас?

Встретив где-то П. Муратова, нашего сотоварища, сотрудника по отделу искусства, набросился на него исступленно, поносил и его и нас в выражениях полупечатных. Князь Мышкин вряд ли одобрил бы их.

Муратов, вне себя, прибежал ко мне.

— Он всех нас позорит, оскорбляет...

А одновременно появилась и статья Белого в «Весах» против нас, совсем исступленная. Видно было, в каком он запале.

Нетрудно себе представить, что — при нервности и обидчивости юных литераторов — из этого получилось. Собрались у меня, решили отправить Белому ультиматум.

Написал его я, в тоне резком, совершенно вызывающем. Белого приглашали объясниться. Если он не возьмет назад оскорбительных выражений, то «мы прекращаем с ним всякие как личные, так и литературные отношения». Назначалось свидание в редакции, на квартире В. И. Стражева.

Труднее всего приходилось тут мне. Я был ближе других к Белому лично. Он просто мне нравился — изяществом, своеобразием, даже полоумием своим. Я считал его и большим поэтом, в спорах всегда и со страстью защищал его. Он со мной тоже был чрезвычайно приветлив и ласков. И вдруг — именно он... Если бы не Белый, было бы легче, можно бы не обращать внимания. Но он! За нехвалебный отзыв о Брюсове! Нет, и горестно, но и спустить нельзя.

В назначенное время собрались в кабинете поэта Стражева: кроме хозяина, Б. А. Грифцов, П. П. Муратов, Ал. Койранский, поэт Муни и я.

Звонок. Появляется Белый — в пальто, в руках шляпа, очень бледный. Мы слегка ему кланяемся, он также. Останавливается в дверях, обводит всех острым взглядом (глаза бегают довольно быстро).

— Где я? Среди литераторов или в полицейском участке?

Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили.

Первая же фраза задала тон. Трудно было бы сказать про свидание это, что «переговоры протекали в атмосфере сердечности и взаимного понимания».

— В таком тоне мы разговаривать не намерены. Или возьмите оскорбления назад, или же мы расходимся.

Сражение началось. Белый в тот день был весьма живописен и многоречив — кипел и клубился весь, вращался, отпрядывал, наскакивал, на бледном лице глаза в оттенении ресниц тоже метались, видно, он «разил» нас «молниями» взоров. Конечно, был глубоко уязвлен моим письмом.

— Почему со мной не переговорили? Я же сотрудник, я честный литератор! Я человек. Вы не мое начальство. Я мог объясниться, это недоразумение. А меня чуть не на дуэль вызывают...

Я не уступал.

— Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы возьмете назад слова о нашем сотоварище и о нас.

Он кричал, что это возмутительно. Я не подавался ни на шаг. Наконец, Белый вылетел в переднюю, я за ним, тут вдвоем у окна мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную кисти Айвазовского.

Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лично» по-прежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости «разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но «в глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы.

Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались «друговрагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. (Издали, после страшных прожитых лет, это кажется смешными пустяками. Но тогда переживалось всерьез.)

И уже много позже, в светлой, теплой зале Эрмитажа Петербургского, около Луки Кранаха случайно столкнулись — нос с носом. Прежние глупости растаяли. Белый засиял своей очаровательной улыбкой, чуть мне в объятия не кинулся. В ту минуту зимнего неверного дня, рядом с великой живописью так, вероятно, и чувствовалось. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбком песке можно что-нибудь строить. Нынче мог Белому человек казаться приятным, завтра — врагом.

Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам, и разные радиоволны на разное его направляли. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие.

Одно время это были «издатели». Все зло от издателей. У них тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником оказался Георгий Чулков. Белому представлялся он мистическим персонажем, как таинственная птица проносившимся над Россией, воплощавшим в себе... не помню уже что, но весьма не украшавшее. Много сердился тогда этот левый человек, тут в согласии с Пуришкевичем, и на евреев.

Не знаю, была ли у него настоящая мания преследования, но в б л и з и н е е он находился. Гораздо позже я узнал, что в 14 году, перед войной, ему привиделось нечто на могиле Ницше, в Германии, как бы лжевидение, и он серьезно психически заболел (книга Мочульского).

* * *

Вблизи Спасских ворот, наискосок вниз от памятника Александру II, была в Кремле церковка Константина и Елены. Она стояла уединенно, как-то интимно и поэтически, близ Москва-реки и стены, в осенении деревьев — к ней и добраться не так просто.

Одну пасхальную заутреню встречали мы в ней с Андреем Белым (уже после примирения). Ночь была сырая и туманная, палили пушки, толпа в Кремле, иллюминация — Иван Великий высвечивает золотым бисером, гудят «сорок сороков» торжественным, веселым гулом.

Белый был очень мил, даже почти трогателен — мы христосовались, побродили в толпе, а потом отправились к общему нашему приятелю С. А. Соколову («Грифу», поэту, издателю раннего Блока), разговляться.

Легко можно себе представить, что такое были розговены в Москве довоенной, даже не в Замоскворечье, а в доме литературно-интеллигентском: пасхи, куличи, окорока, цветные яйца, возлияния — все в размерах внушительных, в духе того веселого беспорядка, мирной сытости, что вообще уже стало легендой, а тогда стояло на краю пропасти.

У Грифа квартира была небольшая. В длинной и узкой столовой, за пасхальным столом все мы и разместились — литературная молодежь того времени. На одном конце стола Гриф, на другом жена его, артистка Лидия Рындина. Христосовались, смеялись, ели, пили. В середине, напротив меня, сидел Белый, за ним гладкая стена.

Сначала все шло отлично. Хозяева угощали, пили за гостей, мы поздравляли друг друга, уплетали пасху, куличи... Но в некий момент тон изменился. Белого стал задирать Александр Койранский — критик, художник, острослов — всегда он Белого не весьма чтил, а тут и вино поддержало. Белый начал волноваться, по русскому обыкновению разговор скакнул с пустяков к серьезному. Смысл бытия, назначение поэта, дело его... Койранский подзуживал, разговор обострился.

И вот Белый впал в исступление. Он вскочил, начал некую речь — исповедь-поэму:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Последняя строчка стихотворения этого (ему принадлежащего) и была, собственно, главным звуком выступления, тут же и Койранский и все мы умолкли. Белый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал горечь, незадачливость и одиночество жизни своей. Непонимание, его окружавшее, смех, часто сопровождавший —

Не смейтесь над мертвым поэтом:
Снесите ему венок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

. . . .

Пожалейте, придите;

Навстречу веником метнусь.
О, любите меня, полюбите,
Я, быть может, не умер,
Быть может, проснусь —
Вернусь!

Да, то же рыдательное, что и в лучших его стихах — будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что страннсй всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человеку почувствовать себя в потоке мировой любви, единения братского. А он как раз тосковал в одиночестве. Пустой вихрь жизни, раны болят, — но пустынность внутренняя вообще была ему свойственна. Нечто нечеловеческое было в этом удивительном существе. И кого сам-то он любил? Кажется, никого. А груз чудачества, монструозности утомлял.

Фигура его металась на фоне стены, правда, как надгробный венок в ветре. Вдруг он раскинул руки крестом, прижался к стене спиной, совсем побледнел, воскликнкнул:

— Я распят! Я в жизни распят! Вот мой путь... Все радуются, а я распят...

Расходились поздно, туманным утром. Быть может, Александр Койранский и не так был доволен, что распалил Белого.

* * *

Большая публика не принимала его, но восторженные поклонники у него были. Позже примкнул он к антропософскому движению — приобрел и там верных почитателей.

В те предвоенные годы вышли книги его стихов «Пепел» и «Урна». Как и «Золото в лазури» это, пожалуй, лучшее, что он написал. Некоторые звуки его стихотворений и теперь пронзают и будут пронзать. (Одно было посвящено мне: «Века текут...», но в позднейшем берлинском издании Гржебина он это посвящение снял, несмотря на встречу в Эрмитаже.)

Дал и романы: «Серебряный голубь» — детская и лубочная вещь, и «Петербург» — безвоздушная фантасмагория. Много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. Имя его приобрело известность, но довольно странную. Во всяком случае, боевую.

Вот небольшой образец этой «боевой» его деятельности.

Читает он в Литературно-Художественном Кружке. Начинаются прения, выступает среди других некий беллетрист Тищенко, тем известный, что Лев Толстой объявил его лучшим современным писателем. Этот Тищенко был человек довольно невидный, невзрачный, невоинственный. Как вышло, что он разволновал Белого, не знаю. Но спор на эстраде, перед сотнями слушателей, так обернулся, что Белый вдруг взвился и «возопиял»:

— Я оскорблю вас действием!

К нам, заседавшим наверху, в ресторане Кружка, известие это дошло вроде того, как в деревне передают, что загорелась рига.

— Борис, Борис, скорей, там скандал!

Бросились тушить. Но было уже поздно. Из-за кулис вовремя задернули занавес, отделив публику (Белым возмущенную) от эстрады. Зал кипел, бурлил. «Безобразие!». «Еще поэтами называются»...

На большой лестнице картина: спускается Андрей Белый, в полуобморочном состоянии. Кругом шум, гам. Бердяев и моя жена поддерживают его под руки, он поник весь, едва передвигает ноги. Одним словом Пьеро, и сейчас, как в «Балаганчике», из него потечет клюквенный сок.

Внизу его одели и увезли. Завтра дуэль. Вернулись мы из Кружка на рассвете, условившись с Сергеем Соколовым утром быть уже у Белого — секунданты не секунданты, а вроде того.

Часов в десять явились к нему в Денежный (близ Арбата, мы все жили в тех краях). Белый был действительно совсем белый, почти в истерике, не раздевался, не ложился, всю ночь бегал по кабинету.

Высокая, великолепная его мать спокойнее, чем мы и «Боря», отнеслась к происшествию. И оказалась права. Излившись перед нами как следует, Белый признал, что вчера перехватил.

Приблизительно говорилось так:

— Тищенко — ничего! Это не Тищенко. Тищенко никакого нет, это личина, маска... (Степун в блестящей статье о Белом называет самого Белого «недовоплощенным фантомом» и как бы сомневается в существовании его как человека.)

— Я не хотел его оскорблять. Тищенко даже симпатичный... но сквозь его черты мне просвечивает другое, вы понимаете... сила хаоса, темная сила, вы понимаете... (Белый закидывает назад голову, глаза его расширяются, он как-то клокочет горлом, издает звуки вроде м-м-м... — будто вот они, вокруг, эти силы.) Враги воспользовались безобидным Тищенкой... он безобидный. Карманный человек, милый карлик, да я даже люблю Тищенку, он скромный... Тищенко хороший.

Одним словом, окажись тут под рукой Тищенко, Белый кинулся бы его целовать, плакал бы на его груди. А через час мог опять возненавидеть, объявить носителем мирового зла.

По нашему настоянию Белый написал письмо-извинение, Соколов и передал его куда надо. До свинца дело не дошло. А о скандале... поговорили и забыли.

* * *

В самые страшные годы России вспоминается Белый более мирно.

Как будто ни с кем не ссорился. Увлекался антропософией, в Петербурге выступал в «Вольфиле», в Москве жил одно время во «Дворце искусств».

Этот «Дворец» — дом гр. Соллогуба на Поварской, у Кудринской площади. Старый дом прославлен «Войной и миром». Там, где Наташа носилась резвыми своими ножками, поселился поэт Рукавишников — его избрал главой «дворца» Луначарский. Во «дворце» читались какие-то лекции, выступали товарищи, кажется, была и столовая, кое-кто поселился. Среди них — Белый, куда и позвал меня к себе в гости.

Он всегда был, с ранних лет, левого устремления. Что-то в революции ему давно нравилось. Он ее предчувствовал, ждал. Когда она пришла, очень многое в ней принял. В те годы (20—21) всего был ближе к левым эсерам, разным «Скифам» (как и Блок). Белый не так страдал морально от революции, как мы, и уживался с нею лучше. Все же антропософия уводила его в сторону. Духовные начала движения этого уж очень мало подходили к уровню «революционной мысли», к калмыцкому облику Ленина.

Не без волнения шел я, в сумерках зимнего дня, по старым, благородным залам, комнатам, коридорам и закоулкам соллогубовского дома. Он построен «покоем» с боковыми крыльями, обнимающими просторный двор (подводы с вещами Ростовых, бегущих от Наполеона... Раненый князь Андрей в коляске своей... Великая слава России).

В больших окнах, до полу, мелькнул этот двор. Из залы можно было выйти на балкон перед колоннами, — а там дальше опять плакаты с расписанием лекций.

Белый встретил меня очень приветливо, где-то вдали, в своей комнате, выходившей окнами в сад. Он был в ермолочке, с полуседыми из-под нее «клочковатостями» волос, такой же изящный, танцующий, приседающий.

Комната в книгах, рукописях — все в беспорядке, конечно. Почему-то стояла в ней и черная доска, как в классе.

...Не то Фауст, не то алхимик, не то астролог. Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософию, на революцию. Может быть, с «убийцей Мирбаха» он говорил бы иначе, но со мной стал почти на мою позицию — тут помогала ему и его антропософия.

Теперь и доска оказалась полезной. Он на ней быстро расчертил разные круги, спирали, завитушки. Мир, циклы истории поспешно располагались по волютам спирали. Он объяснял долго и вдохновенно — во всяком случае, это было редкостно, менее всего заурядно, почти увлекательно. Белый вообще был отличный оратор-импровизатор, полный образности и красок. Но постройкой не владел — вообще всегда и м что-то владело, а не о н владел.

Разумеется, понял я, четверть, может быть — треть, самое большее.

Астролог же и эуритмик вытанцовывал неутомимо и убедительно. Надо даже сказать, что в соллогубовском этом доме не было в нем обычного исступления. Скорее фантастика успокаивающая. Снег синел в саду, скоро спустится зимняя московская ночь. Граждане выйдут воровать заборы. Иногда слышны будут выстрелы. Глаза Белого сияют, он откидывается назад, взор соколиный, в горле радостное клокотание м-м-м... На слушателя это хорошо действует.

— Видите? Нижняя точка спирали? Это мы с вами сейчас. Это нынешний момент революции. Ниже не спустится. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор.

Спираль долго еще выносила Россию на простор — море детских и юношеских гробов, море концлагерей, сотни тысяч погибших, раскулаченных... но мы с Белым в тот вечер искренне думали, что вот уже кончается Голгофа: наверно потому, что х о т е л и этого. Спираль же украшала желание.

* * *

В 1921 году отъезд Белого за границу, прощальный вечер у нас в Союзе писателей на Тверском бульваре, в Доме Герцена. Некая нелепость ранней полосы революции: правительство дало нам особняк, мы устроились там довольно основательно, коммунистов же в Союз никаких не принимали. Ни одного коммуниста у нас не было.

В напутственном слове Белому можно было еще сказать:

— Дорогой Борис Николаевич, передайте эмиграции, что литература в России жива...

Много прошло лет, а и сейчас чуствую, как спазма сдавила мне горло, надо было сделать усилие над собой, чтобы докончить:

— И никогда... никому... ни за что не уступит своей свободы.

Говорил я от лица Союза, как его председатель. Белый сидел за столом напротив меня — в зале стало мертвенно тихо. Прекрасные его глаза расширились, весь он напрягался, что-то пролетело, метнулось, будто живая птицеобразная душа без слов сказалась. А потом он вскочил.

— Да, скажу, скажу...

В ту минуту, быть может, так и думал. Но сомнения нет, что сев в вагон, все сразу же и забыл.

Через год встретились мы уже в Берлине, для нас в «новой жизни», для него это был эпизод: скоро возвратился он в Россию.

Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огрубил его. По всему облику Белого прошло именно с е р о е, берлински-будничное, от колбасников и пивнушек, где стал он завсегдатаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг, от эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выражение стало иное. Он походил теперь на незадачливого, выпивающего — не то изобретателя, не то профессора без кафедры. Характер сделался еще труднее. С одной стороны — был он антропософом и в этом направлении даже переделал (очень неудачно) свои прежние стихи, вышедшие в Берлине, строил даже в Дорнахе антропософский храм, Гетеанум. Потом вдруг накинулся на Рудольфа Штейнера с яростью:

— Я его разоблачу! Я его выведу на свежую воду!

И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучительной пустоты, решил опять бежать в Россию. (И опять я согласен со Степуном: что он любил собственно? Россия для него такой же призрак, как и все вообще.)

Его пустили.

На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:

— Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись Ей, и Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на эмиграцию, всех собак!

Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:

— Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас собак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я буду держать себя прилично.

Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о «берлинских друзьях» (с одним из

которых, Ходасевичем, успел поссориться еще в Берлине, на прощальном обеде в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в концлагерь мало кому хочется.

Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком диковинным и монструозным.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел...

Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар.

И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном «солнечными стрелами» нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.

Богоматерь как бы не покинула его — горестного, мятущегося, всю жизнь искавшего пристани.

1938—1963.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо-Песковском на Арбате.

Вечер. Сижу за самоваром один, жена куда-то ушла. В передней звонок. Отворяю, застегивая студенческую тужурку. Пришел Вячеслав Иванов с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он высокий, мягко-кудреватый, голубые глаза, несколько воспаленный цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление: мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама — его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал.

Смущенно и робко приветствую их — как мило со стороны старшего, уже известного поэта зайти к начинающему писателю, еще колеблющемуся, еще все на волоске... Учишься в Университете, только что начал печататься, выйдет из тебя что-нибудь или не выйдет, все еще впереди: 1905-й год!

Вячеслава Иванова знал я тогда очень мало, где-то бегло встречались, не у Чулкова ли, моего приятеля, «мистического анархиста»? Оба они принадлежали тогда к течению символизма, но и с особым подразделением — «мистического анархизма» (и оба кончили христианством: Чулков православием, Иванов принял католичество).

Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром — два странных гостя мои сидят в начинающихся сумерках — соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по теперешнему «авангардным», в искусстве. Я угощаю чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чая с куском сахара мог — и устраивал — некий симпозион. Да, было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он говорить любил, сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых, а то и болтунов — сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда с в о е, и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древнегреческие религии, разные Дионисы, философии того времени, вот где он как дома. Если уж говорить о родственности, то этот уроженец Подмосковья (был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда) — вот он-то и оказался праправнуком платоновых диалогов.

У меня, в сумерках арбатской комнаты, сейчас же начал на тему, более чем скромную: только что вышел в молодом журнале петербургском «Вопросы Жизни» мой рассказ небольшой «Священник Кронид». Рассказ импрессионистический, быстрого темпа, но все дело для Вячеслава Ивановича в имени, названии. Как только наскочил он на имя Кронид, так и понесся: тут и Юпитер, Зевс, громовержец и творец — утвердитель

стихий, земной жизни, природы, радости бытия здешнего и мощи... Такое, о чем я и в помыслах не имел, воспевая кряжистого и здоровенного Кронида, у которого пять сыновей, тоже здоровенных, священника благообразного, но и хозяина, отчасти даже помещика.

Нечего скрывать: ни о каких символизмах, ни о какой античности и возношении земной силы я не думал, когда писал эту нехитрую деревенскую поэмку (в прозе). Во всяком случае тогда, у себя за чаем, в своей студенческой тужурке, робко поддакивал известному поэту.

Кажется, подошла потом моя жена, заговорила оживленно с многоцветной Зиновьевой-Аннибал. Но остановить Вячеслава Иванова было трудно, и, начав с моего Кронида, он прочел нам целую лекцию — да какую! Так вот и превратился скромный арбатский вечер в небогатой студенческой квартирке в настоящий словесный пир. Но, конечно, на симпозионе этом говорил он один. И слава Богу! Куда нам за ним угнаться.

* * *

Жизнь же шла. Это был предвоенный предгибельный расцвет символизма, импрессионизма — немало до революции было «измов» в литературе и сама литература кипела. По-разному можно относиться к ней, но дух Мачтетов и Баранцевичей, провинцию восьмидесятых и девяностых годов она погребла бесповоротно.

Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение это предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве «социалистического реализма», не знаю. Я ни о чем не думал и ни от кого опасений не слыхал. А жили мы тогда литературою во всю.

Часто ездили с женой в Петербург. Там останавливались у Георгия Чулкова. Вячеслав Иванов был тогда как раз соратником его по «мистическому анархизму».

Были у него и «соборность», и разные другие превыспренности. Писал стихи — громкозвучные, тяжеловесные и в одеждах изукрашенных пышно. Вспоминается нечто вроде парчи, в словаре — славянизмы и торжественность почти высокопарная. Нельзя сказать, чтобы стихи его тогдашние особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них маловато, но родитель их стоял высоко, на скале. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для м у ж ч и н.

Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но конечно, по тогдашней моде на «особенное» считалось, что он живет «в башне», а сам он «мэтр» (сколько этих мэтров «невысокого роста» приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно, и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделать! В Москве Брюсов считался «магом» — этот маг заведовал отделом кухни в Литер. Кружке). Такое было время. «Я люблю пышные декадентские наименования», — говорил мне один приятель литературный в Москве.

Слова «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммсена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц-Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов и религии тех лет, и поэзию, литературу — да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.

Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! — тоже снобизм) и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот и не зря смотрели: от него действительно можно было чему-то научиться. Да и вообще, я уж об этом упоминал — собеседник он был исключительный.

Раз, в 1908 г., был я к нему приглашен н е на собрание, а как бы давалась аудиенция с глазу на глаз. Тогда только что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из-за нее он и позвал меня, через Чулкова.

Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет — и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой: спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувствовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею, действительно, живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что-то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспомнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, не обидного, сочувственного и не дифирамбического, видящего и свет и тени, так и осталось в душе.

Какая там «башня», какой «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов.

* * *

На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский, и еще море юнцов, художники «Мира Искусства». Читались стихи, разбирались — все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался.

«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Быстро все это пронеслось. Войны, революция все перебуравили. Подкрашенный Кузмин со своими Александрийскими песнями погибал в Петербурге в убожестве. Городецкий приспособился и проскочил, Вячеслав Иванов, Чулков перебрались в Москву, и уж там не до «башен» и снобистских собраний.

Жил Вячеслав Иванович на Зубовском бульваре, работал в каком-то литературном учреждении, кажется, «Лито» называлось. Луначарский, как более грамотный из «них», его поддерживал, покровительствовала и жена Каменева.

Как будто начинали сбываться давнишние его мечты-учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе — но именно только «как будто». Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда-нибудь «утечь».

На Зубовский бульвар жена моя носила молоко его грудному тогда сыну Диме (ныне известный французский журналист) — не так просто было и доставлять это молоко. Но сын, слава Богу, выжил, несмотря на соборность.

Здравый же смысл все-таки взял у «мэтра» верх: в 1921 г. Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 г. «утек» в Италию. Это гораздо оказалось прочнее, чем разные Азербайджаны и Баку. Да, Италия более подходящее место для Вячеслава Иванова, чем Кавказ.

В Риме он выступил с публичной лекцией по-итальянски. Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, завязались связи и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского Университета.

Тут долгое время никакой у меня связи с ним не было. Только раз, в тридцатых годах, я послал ему свою книжечку «Валаам». Его ответное письмо покоится теперь в Архиве Колумбийского Университета в Нью-Йорке. (А в отделе редких книг быв. Румянцевского Музея в Москве хранятся мои книги с надписями Вячеславу Иванову).

* * *

В 1949 году наш приятель — ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конквистадор и по жизни своей «Казанова» — нежданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.

— У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку, но вывезти не могу — проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.

Предложение заманчивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ницце — Анита из Мадрида, мы из Парижа, Казанова в Ницце уже заседал. Нас смущало при неблестящем складе быта нашего соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей и простой юной женщиной, сразу подружившейся с моей женой.

Началось наше blitz-tournée. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. Казанова то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местных казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино.

Во Флоренции оказалось, что денег в обрез. У нас с женой были обратные билеты. Я сказал Казанове:

— Поезжайте с Анитой, а мы вернемся.

Он даже рассердился.

— Я вам сказал, что довезу до Рима. Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но увы, можно будет остаться всего день.

Помчались. Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака в кабачке у Бернинииевой колоннады, поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин.

Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы.

Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом. Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.

Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность, и сюда вернулся неузнанным.

Теперь известный поэт, столп русского символизма доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова.

Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на «башне», все же в этом слабом, но «значительном» старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был и настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева.

Мы обнялись не без волнения, расцеловались.

— Да, сил мало. Прежде в Университет ездил, читал студентам, потом студенты у меня собирались, а теперь всего два-три шага сделать могу... Теперь уже не читаю.

Но велика отрава писательства. Через несколько минут он сказал мне, что хотел бы вслух прочесть новую свою поэму. «Это не длинно, час, полтора...» «Дорогой Вячеслав Иванович, у нас минуты считанны. Мы на один день в Риме. Нас в Excelsior'e ждет импресарио». «Ну, так я вкратце расскажу вам...»

Не помню содержания поэмы — нечто фантастическо-символическое, как будто связанное с древней Сербией — какой-то король... — но не настаиваю, боюсь ошибиться.

Для меня дело было не в поэме, а в нем самом, отчасти и в моей дальней молодости, в счастливых временах цветения, поэзии, Италии — тут же был символ расставания. Разумеется, бормотал я какие-то хвалебные слова. Как бы заря разливалась на старческом лице поэта, истомленном, полуушедшем. Все же — последний отклик былого. «Боевой конь вздрогнул от звука трубы».

Но минуты наши действительно были считанны. Ничего не поделаешь. Пробыли у него полчаса, обнялись и расцеловались. Оба, конечно, понимали, что никогда не увидимся.

Автобус мчал нас чрез Рим. Знакомые места, «там, где был счастлив», видениями промелькнули, и вот уже Quattro Fontane, Via Veneto, где жили некогда в пансионе у стены Аврелиана перед виллой Боргезе — и тот Excelsior, где нетерпеливо ждали уже нас Казанова с Анитой.

На другой день, рано утром, поезд уносил нас обратно, на север.

Месяца через два, летом, в римской жаре, Вячеслав Иванович скончался.

1963.

БЕРДЯЕВ

Никого нет! Все ушли.
Неизвестный автор.

Так давно все это было, а все-таки — было. Петербург начала века, журнал «Вопросы Жизни», огромная квартира, где обитал при редакции приятель мой Георгий Чулков — вроде редактора. Жил там и худенький Ремизов, в очках, уже тогда слегка горбившийся, волосы несколько взъерошенные — секретарь редакции. Издатель журнала скромный меценат Жуковский. Главными тузами считались Булгаков (еще не священник) и Бердяев, только что начинавший, но сразу обративший на себя внимание.

Мы с женой, наезжая из Москвы, останавливались у Чулковых (недавно скончалась и Надежда Григорьевна Чулкова, супруга его — Царство небесное!).

Георгий тогда кипел, действовал, проповедовал вместе с Вячеславом Ивановым свой мистический анархизм (позже пришел просто к христианству).

Вот в этих «Вопросах Жизни», где и сам я сотрудничал, встретились мы впервые с Бердяевым и его женой Лидией Юдифовной. Было это в 1906 году, в памяти удержалось первое впечатление: большая комната, вроде гостиной, в кресле сидит красивый человек с темными кудрями, горячо разглагольствует и по временам (нервный тик) широко раскрывает рот, высовывая язык. Никогда ни у кого больше не видал я такого. Очень необычно и, быть может, похоже даже на некую дантовскую казнь, но — странное дело — меня не смущал нисколько этот удивительный и равномерно-вечный жест. Позже я так привык, что и не замечал вовсе. (Не знаю, как относился к этому сам Николай Александрович: может быть, считал знаком некой кары.)

Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин — это не наш орловский или калужский человек. (И в речи юг: проблэма, сэрдце, станьция.) В общем, облик выдающийся. Бурный и вечно-кипящий. В молодости я немало его читал, и в развитии моем внутреннем он роль сыграл — христианский философ линии Владимира Соловьева, но другого темперамента, уж очень нервен и в какой-то мере деспотичен (хотя стоял за свободу). Странным образом деспотизм сквозил в самой фразе писания его. Фразы — заявления, почти предписания. Повторяю, имел он на меня влияние как философ. Как п и с а т е л ь никогда близок не был. Слишком для меня барабан. Все повелительно и однообразно. И никакого словесного своеобразия. Таких писателей легко переводить, они выходят хорошо на иностранных языках.

В нем была и французская кровь — кажется, довольно отдаленных предков. А отец его был барин южнорусских краев, от него, думаю, Николай Александрович наследовал вспыльчивость: помню, рассказывали, что отец этот вскипел раз на какого-то монаха, погнался за ним и чуть не прибил палкой. (Монахов-то и Н. А. не любил. Но не бил. И к детям был равнодушен).

* * *

Лента развертывается. И вот Бердяевы уже в Москве. В нашей Москве и оседают. Даже оказываются близкими нашими соседями. Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен — все это недалеко от Арбата, места Москвы дворянско-литературно-художественной.

Теперь Бердяевы занимают нижний этаж дома герценовского, Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахивая темными кудрями, картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и простодушный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице).

Иногда заходит к нам Лидия Юдифовна — редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Полная противоположность мужу: он православный, может быть, с некоторыми своими «уклонами», она ортодоксальнейшая католичка. Облик особенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого не похожий. Католический фанатизм! Мало подходит для русской женщины (хотя примеры бывали: кн. Зинаида Волконская).

Однажды, спускаясь с нами с крыльца, вдруг остановилась, посмотрела на мою жену своими прекрасными, прозрачно-зеленоватыми глазами сфинкса и сказала:

— Я за догмат непорочного зачатия на смерть пойду!

Какие мы с женой богословы? Мы и не задевали никого и никто этого догмата не обижал, но у нее был действительно такой вид, будто вблизи разведен уже костер для сожжения верящих в непорочное зачатие.

Николай Александрович мог приходить в ярость, мог хохотать, но этого тайного, тихого фанатизма в нем не было.

Много позже, уже в начале революции, запомнилась мне сценка в его же квартире, там же. Было довольно много народу, довольно пестрого. Затесался и большевик один, Аксенов. Что-то говорили, спорили, Д. Кузьмин-Караваев и жена моя коршунами налетали на этого Аксенова, он стал отступать к выходу, но спор продолжался и в прихожей. Ругали они его ужасно. Николай Александрович стоял в дверях и весело улыбался. Когда Аксенов ухватил свою фуражку и поскорей стал удирать, Бердяев захохотал совсем радостно.

— Ты с ума сошла, — шептал я жене, — ведь он донести может. Подводишь Николая Александровича...

Но тогда можно еще было выкидывать такие штуки. Сами большевики иной раз как бы стеснялись. (У нас был знакомый большевик Вуль, мы тоже его ругали как хотели. Он терпел, даже как бы извинялся. Потом свои же его и расстреляли).

* * *

И вот в полном ходу революция. Тут мы с Бердяевым гораздо чаще встречались — и в Правлении Союза Писателей (некоммунистического), и в Книжной Лавке Писателей — это была маленькая кооперация, независимая от правительства.

Мы стояли за прилавками, торговали книгами. Осоргин, проф. Дживелегов, Бердяев, я, Грифцов.

Дело шло хорошо. Мы скупали книги у одних, продавали другим. Осоргин, Грифцов занимались коммерческой частью. Мы с Бердяевым были «так себе», в сущности, мало нужные, во всяком случае, не деловые. Покорно доставали с полок книги, редко знали цену, спрашивали Палладу, красивую нашу кассиршу, она была вроде «Хозяйки гостиницы», все знала и все умела. (Жива ли сейчас эта Елена Александровна, или скончала дни свои в каком-нибудь концлагере, а то и просто в Москве? Если да, то мир тени ее!)

Мы жили дружно, по-товарищески. Но вот в этой самой Лавке довелось мне видеть раз огненность Бердяева.

Кроме нижнего помещения, была у нас и наверху комнатка и даже нечто вроде галерейки с книгами, напоминавшей хоры в залах старых домов.

Раз рылся я там в чем-то, искал книгу, что ли, вдруг снизу раздался громовой вопль Бердяева. Что такое? Перегнулся через решетку, вижу — Николай Александрович, багровый, кричит неистово на Дживелегова, а тот пятится, что-то бормочет смущенно... Проснулась кровь отцовская. Никаким монахом Дживелегов не был, ненавидеть его совсем не за что, но Бердяеву только недоставало костыля, чтобы получилось «action directe».

Оказалось, «Карпыч» сказал что-то игриво-обидное, но пустяки, конечно. Бердяев же взбеленился. Дживелегов поднялся ко мне на вышку несколько бледный.

— Ну, и характерец...

А через четверть часа взошел и Бердяев, уже успокоившийся, смущенный.

— Простите меня, Алексей Карпович, я виноват перед вами...

Это в его духе. Натура прямая и благородная, иногда меры не знающая.

Он перед этим написал книгу «Философия неравенства», против коммунизма и уравниловки, в защиту свободы, вольного человека (но никак не в защиту золотого тельца и угнетения человека человеком). Она печаталась частью в «Народоправстве», журнале Чулкова в Москве, в самом начале революции, когда такие вещи еще проходили. Книга-памфлет написана с такою яростью и темпераментом, которые одушевляли, даже поднимали дарование литературное: уж очень все собственной кровью написано. Замечательная книга (позже он почему-то ее стеснялся... Думаю, в позднейшей его европейской славе она не участвовала, для европейского средне-левого интеллигента слишком бешеная).

* * *

Революция шла, и мы куда-то шли. Разносил ветер кучку писателей российских по лицу Европы. Бердяев попал в группу высланных за границу в 22-м году, я с семьей по болезни был выпущен в Берлин, и вот снова мы встретились, под иным уже небом. Не только что встретились, а целое лето 23-го года прожили в одном доме, в Прерове близ Штральзунда (на Балтийском море). В одном этаже С. Л. Франк с семьей, в другом Бердяев с Лидией Юдифовной, в нижнем я с женой и дочерью. Так что над головами у нас гнездились звезды философии. С этими звездами жили мы вполне мирно и дружески. С Николаем Александровичем ходили иногда в курзал, я пил пиво, а Бердяев с моей женой разглядывали танцующих немцев, немок, хохотали, веселились — не помню уж из-за чего. (Странная вещь: Бердяев вспоминается очень часто веселым!).

Наверху сочинялись философии, внизу я готовил чтение о русской литературе (да и наверху, наверно, готовились: всех нас пригласил в Рим читать в Istituto per Europa Orientale проф. Этторе Ло Гатто — каждого по специальности).

Той осенью оказался в Риме как бы съезд русских: Вышеславцев, Осоргин, Муратов, Чупров (младший сын профессора. Тоже экономист), Бердяев, Франк, я, — каждый выступал перед публикой римской по своей части. (По-французски и по-итальянски.)

* * *

Италия мелькнула перед нами видением, как всегда для меня блаженным, но прочно, «навеки» поглотил нас Париж — почти всех тех участников римских бдений. История, страшные волны ее проносились над нашими головами в Париже. Николай Александрович обосновался в Кламаре, Вышеславцев, Осоргин, я, Муратов — в самом Париже.

Тут видели мы войну, нашествие иноплеменных, поражение сперва одних, потом других, появление советских военных как победителей — все, все, как полагается...

Эмиграция же пережила некое смятение, некие увлечения, несбыточные надежды.

С Бердяевым произошло тоже странное: и немолод он был, и рево-

люцию вместе с нами пережил, и «Философию неравенства» написал, и свободу, достоинство и самостоятельность человека высочайше ценил...— и вдруг этот седеющий благородный лев вообразил, что вот теперь-то, после победоносной войны, прежние волки обратятся в овечек. Что общего у Бердяева со Сталиным? А однако в Союзе советских патриотов он под портретом Сталина читал, в советской парижской газете печатался, эмигрантам брать советские паспорта советовал, вел разные переговоры с Богомоловым — кажется, считался у «них» почти своим.

В Россию, однако, не поехал. Но в доме у него в Кламаре гнездилось чуть не все просоветское тогдашнего Парижа.

Да, это были не времена Лавки Писателей в Москве и «одиночества и свободы». Одиночество было у тех, кто не ездил по советским посольствам, но и свобода осталась за ними.

«Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...»

Мы с женой не бывали больше у Бердяевых. (Любопытно, что и Лидия Юдифовна никак не уступила: к коммунизму осталась непримиримой. И вот если бы попала в тогдашнюю Россию, вполне могла бы принять венец мученический за непорочное зачатие. Слава Богу, не поехала.)

Здоровье Николая Александровича сдало — последствия давнего диабета.

Наша последняя встреча была грустной. Мы с женой шли по улице Кламара — навстречу похудевший, несколько сгорбленный и совсем не картинно-бурный Бердяев. Увидев нас, как-то прояснел, нечто давнее, от хороших времен Сивцева Вражка, Прерова появилось в улыбке. Подошел будто как прежде.

Нет, прежнего не воротишь! Жена холодно, отдаленно подала ему руку — да, это не Москва, не взморье немецкое с пляшущими немцами.

Он понял. Сразу потух... Разговора не вышло никакого. Поздоровались на улице малознакомые люди, побрели каждый в свою сторону. Может быть, тик сильней дергал его губы. Может быть, и еще больше он сгорбился. Может быть, мы могли быть мягче с ним. (Но так кажется издалека! Тогда слишком все было остро. Он слишком был с «победителями». Тогда трудно было быть равнодушным.)

* * *

В Россию он не попал. Книги его там под полным запретом. Я думаю! Очень он им подходящ!

1962.

Предисловие, публикация, подготовка текста Т. Ф. Прокопова

А. Лебедев

К ПРИГЛАШЕНИЮ НАБОКОВА

Опасения одних и надежды других, что на фоне всех нынешних разительных идеологических перемен и прочих начинаний, в шквале сенсационных разоблачений и отчаянных упований появление в нашей литературе Владимира Набокова пройдет сравнительно неприметно, не оправдались. Встреча с ним вызвала многочисленные, чуть не общесоюзные и — что особенно знаменательно — резко поляризованные в оценочной части отклики. Вместе с тем Набоков волею судеб обрел место в когорте вызволенных из небытия вчерашних теневых властителей наших теневых дум, в ряду самых ярких свидетельств нашей долгожданной и неожиданной гласности. Его произведения, вдруг оказавшись на страницах отечественной периодики, нашли новый контекст и новую выразительность в соседстве, к примеру, с «Платформой» Рютина («Юность») и «Манифестом Рассела — Эйнштейна» («Дружба народов»). У них появилась некая новая мощная идеологическая «подсветка», обнаружившая их ранее затененные смысловые объемы и грани. Знаменитые «пресловутые» набоковские бабочки из-под обложек бледных ксероксов вдруг слетели на листы массовых изданий, на «белые пятна» цвета пепла с кровью, и тут же принялись тестировать наше эстетическое чувство на предмет политического утилитаризма и заинтересованности в получении социального и прочих заказов. Но тем подняли куда более существенные вопросы. Можно, пожалуй, сказать, что в известных пределах Набоков ощутимо детонировал плюрализм нашей литературно общественной мысли. Вместе с тем он и сам оказался в известной степени пробным камнем этого плюрализма — подводным камнем. Тут еще пришлось очень кстати, что Набоков пока не входит у нас в ряд «классиков» или хотя бы «общепризнанных» — о нем можно говорить что угодно. Правда — и это обстоятельство с разными чувствами уже отмечалось в нашей критике — не очень-то ловко принимать в тычки едва расконвоированные книги. Но такое неудобство, как увидим, не беда.

Хотя Набоков традиционно толкуется как чуть ли не самый «литературный» из русских писателей, как «писатель для писателей», отношение к его появлению на «этих берегах» не ограничилось сферой собственно литературных пристрастий и интересов. Многие участники начавшегося обсуждения склонны держаться в рамках внутрилитературных тем и проблем, но речи их столь горячи, академическая терминология звучит столь свежо в интонации неподдельного запала, что кажется, будто Набоков помолодел. Порой даже слишком.

Что же касается именно литературной сферы, то отношение к Набокову определяется в конечном счете, наверное, прежде всего не частными моментами субъективно-творческой близости к нему того или иного писателя («набоковцев», как выразился в «Литературной газете» Ю. Давыдов), а его особым положением в мировом литературном процессе и местом в отечественной литературной традиции. Этот «одинокий король», согласно определению прельстившейся броской метафорой самого Набокова Зинаиды Шаховской, оказался способен претендовать — по решительному мнению иных наших современных авторов (в частности, В. Гусева и П. Паламарчука, но не только их) — на персональное творческое замещение того самого «пропущенного звена» («Но только оно и не было — не было-то, как считают эти же авторы,— пропущенным»!), которое соединяет высокую прозу «серебряного века» старой русской литературы с «незаказной» (если опереться на формулу И. Золотусского), «другой литературой» нового времени, которая только сейчас находит широкий доступ к читателю и тем самым становится предметом и элементом нашего нового общественного мышления, предвещая возникновение и «другой» теоретико-эстетической системы.

Оказалось, мы еще плохо знаем общество, в котором живем, а некоторые завершают жизнь. Далеко не в самые светлые минуты мне теперь кажется, что я жил при социализме — пусть «реальном». Но в иные минуты меня все еще искушает мысль о возможности «другого социализма», который существовал все это время и даже раньше где-то подспудно, как и «другая литература» (раз уж

мы ныне стали по разным поводам прибегать к этому откровенно предварительному и условному понятию).

Собственно говоря, сам феномен «несоцреалистической» литературы не сегодняшнее наше открытие. О ее существовании знал, к примеру, тот же Жданов, прямо противопоставлявший Ахматову и Зощенко «идеологическим работникам», неуклонно выводившим превосходство «метода соцреализма» над всяким иным искусством из телеологической презумпции превосходства «социализма вообще», над чем бы то ни было вообще. «Мы,—говорил Жданов,—очень хорошо знаем силу и преимущество нашей культуры. Достаточно напомнить потрясающие успехи наших культурных делегаций за границей, наш физкультурный парад и т. д.». Вслед за тем Фадеев писал: «Сколько ни перечитываешь постановление ЦК партии и доклад тов. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», не перестаешь поражаться тому, насколько метко был нанесен удар». И, расширяя зону поражения, называл вслед за Ахматовой и Зощенко имена других писателей: Пастернак, Платонов, затем Пильняк, Всеволод Иванов... Что же касается старой русской литературы, то даже небезызвестного в свое время Еголина корил: «нельзя соединять... Чехова — с Горьким. Горький — вообще зачинатель... главы». О Достоевском, понятно, и речи идти не могло. О Бунине и помнить не следовало. Набоков? Одно знакомство с его творчеством годилось разве для определения срока. Нет, я совсем не пытаюсь «протащить» мысль, что не Горький, а персонально Набоков явился последним классиком «старой» и истинным провозвестником «другой» литературы. И Горький. И, если угодно, Набоков. Искусство, как известно, идет одновременно многими путями. Его нельзя планировать — оно вообще непредсказуемо, как всякое творчество. И потому непредсказуемы открытия бесконечно обнаруживающихся истоков его бесконечно множащихся путей.

Что касается именно Набокова, то он, скажем, далеко не укладывается даже в собственно антисталинистскую направленность нашей передовой общественной мысли. Он лишь соотносится с этой направленностью в частных и производных элементах своего мировосприятия. В этой связи можно было бы согласиться с А. Долининым («Литературное обозрение»): «...Радуясь долгожданной общедоступности знаменитых набоковских текстов, нельзя не заметить, что они вписываются в свое новое окружение далеко не так легко и безболезненно, как, скажем, романы Платонова, Замятина, Гроссмана или Пастернака... Набоковские «арлекины» волей-неволей попадают в один ряд с произведениями, которые раньше не проходили через цензурные рогатки по причинам политического характера, и поэтому в нынешней ситуации от них ожидают прежде всего социальных идей и разоблачений, «прогрессивных» мыслей, правдивых отражений слабо известных нам исторических событий — ожидают как раз того, чего у Набокова нет и быть не может». Так-то оно так. Но в отличие от многих из его теперешнего литературного окружения, в Набокове есть нечто кардинально отличное от всего строя чуть ли не генетически укоренившегося в нас образа мыслей и чувств...

«Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то «баллотируются» или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, чтобы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку... В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве предстоящий сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре... Рай — это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи... Смерть и есть вот эта совершенно черная чернота! Но вот, постепенно приноравливаясь к ней, взгляд отделяет действительное мерцание от энтоптического шлака, и продолговатые бледноты, которые, казалось, плывут куда-то в беспамятстве, пристают к берегу».

Неподражаема эта «неомонтеневская» интонация, которая, как выяснилось, так влечет к подражанию, поддаваясь, однако, лишь имитации, от которой ускользает нечто истинно набоковское. Например, вся эта «игра» света и тьмы на границе окружающего наше сознание мира и мира нашего сознания, вдруг усыпляемого замаскированным под персонаж детского сна палачом из «какой-либо организации», готовой «энергично растворить» нас, пока из тьмы нашего беспамятства не возникают б е р е г а окружающего нас мира.

В послесловии к «Приглашению на казнь» (приведенный отрывок из «Других берегов» мог бы, пожалуй, послужить авторским эпиграфом к этому произведению Набокова) критик О. Хрусталева («Родник») выразила уверенность, что «прививка прозы Набокова еще скажется на нашей литературе, хотя сложно-разветвленный организм словесности может дать (и дает) негативную реакцию, полыхнув в ртутном столбике температурой повышенного неприятия. Но след оспинки на плече, образовав восьмерочный рубец вместе с пушкинской вакциной, похоже, останется навсегда».

И не беспокоя по этому случаю тень Пушкина, можно заметить, что вполне уже расхожая мысль о вакцинации нашей литературы Набоковым не случайна в своей несообразности. Знак непреодоленности некоего подсознательного недо-

умения. Ведь вакцинируют, чтобы вызвать невосприимчивость. Может быть, невразумительность метафоры отвечает двусмысленности самого феномена. В самом деле, для чего, собственно, «дан» нам сегодня Набоков? «Дар» его — «напрасный» и «случайный»? Ведь и впрямь, его проза, весь мир его творчества — отнюдь «не наши», совсем «другие берега». Это даже не «другая литература», сколь расширительно ни толкуй подобный термин, а с о в с е м «другая литература». Даже, предположим, ничего не ведая о том, каким именно годом Набоков датировал безвозвратную гибель единственно дорогой его сердцу России, наш редактор, натасканный в поисках аллюзий и подтекста, должен просто страдать, читая, к примеру, тот же приведенный выше отрывок из «Других берегов». Это же, несомненно, самая явная проповедь самого явного «воинствующего индивидуализма»! Дело тут не в каких-то там «реалиях» — такое и на дух не примешь!

Действительно, позиция з а щ и т ы Набокова, с которой сегодня выступают, как правило, не только старые его почитатели, но и те, для кого его появление в нашей литературе оказалось чудесным сюрпризом,— прямой ответ на каноническую для нас позицию о б в и н е н и я Набокова. Ныне маятник пошел в другую сторону. Старые обвинения Набокова не исчезли — не они ныне в чести. Они теперь лишь составная часть допустимого многообразия мнений об этом писателе. И хотя именно за ними стоит традиция «чисто марксистского», последовательно классового отношения к миру духовных ценностей, ими сегодня отмечена едва ли не нулевая отметка на нашей теперешней шкале этих ценностей. И дело тут не в капризах моды, а в очень глубоких процессах, определяющих неизбежность поворота нашего общественного сознания от фетишизации классового подхода, ориентации на «спасительный» рост социальных антагонизмов в мире, к поискам путей сохранения среды духовного обитания человечества во взаимозависимости ее идеологически разнонаправленных и политически взаимовраждебных тенденций...

В возникшем разговоре о Набокове Д. Урнов сразу же решил важную задачу, определив ту исходную нулевую отметку, ниже которой сама литературно-критическая и историко-литературная терминология уступает место словам, пригодным разве что в жанре «Приглашения на суд», как, не обинуясь, определил он смысл одного из своих выступлений по поводу Набокова. Д. Урнов имел в виду, надо полагать, шокировать читателя неизбежностью ассоциации с названием прославленного романа Набокова. Но как он сам-то сумел — если захотел — отвлечься от ассоциаций, которые в контексте всех нынешних разоблачений сразу же выводят воображение за пределы внутрилитературного ряда к той системе массовой д е к а п и т а ц и и (очень емкий набоковский «эвфемизм»), от мысли о которой сейчас не уйти?

«Мои суждения,— пишет критик, имея в виду свои оценки творчества Набокова,—покажутся, конечно (!—**А. Л.**), грубыми по форме и неверными по существу». Не в том даже дело. А в том, что такими суждениями нас, к о н е ч н о, не удивишь. Иное дело, что предписанная норма, обращаясь в идеологический раритет, оказывается способной привлечь общественное внимание лишь в столь эпатирующей форме. Но именно так старая — если не общепринятая, то общеобязательная некогда — позиция вновь обретает жизнь в качестве «вторичного сырья» для получения более, нежели не общепринятой ныне позиции. Конечно, удерживаясь в отношении к Набокову в пределах жанра «Приглашения на суд», критик совершает заодно и акт своеобразного литературоведческого самоотрицания. Но это уже, видимо, неизбежные «издержки производства».

В «круглом столе» «Литгазеты» В. Солоухин, жестче иных полемизировавший с Д. Урновым относительно суждений последнего об «аморальности», творческом ничтожестве и даже литературной безграмотности Набокова, не зря вспомнил статью, опубликованную некогда в том же печатном органе.

Содержание этой давней статьи определялось открыто выраженным в ней заданием: соответствующим образом подготовить читателя к возможному в ту пору присуждению Набокову Нобелевской премии, наперед скомпрометировав его. Задним числом, известно, это сделать бывает затруднительнее. Можно думать, что ныне иными критиками проявляется забота сходного рода: постараться предупредить литературный реванш Набокова за годы его принудительного забвенья. Подобные опасения преждевременны, если вообще не ошибочны в известном смысле. Да, мы получили «допуск» к Набокову. Но его «второе рождение» на «этих берегах» еще не совершилось, тем более не завершилось. Это процесс, а не акт. Хлопотать же о том, чтобы Набоков, вообще вся расконвоированная литература не сдвинули уставным образом затвержденные критерии художественности,— пустое дело. Однако не о литературном реванше и триумфе здесь речь. И суть тут в конечном счете не в том, что сам Набоков должен еще, согласно Нине Берберовой, создать себе «нового читателя». Это момент производный.

По глубокому смешению коренных нравственно-эстетических понятий с понятиями практически-политическими мы еще не вполне оставили мысль, что искусство вообще делится на социалистическое и «другое» — несоциалистическое, «наше» и «не наше». А при таком подходе к делу и можно сказать: хоть паршивенький, да «наш». Вместо того

чтобы иной раз согласиться: хоть «наш», да паршивенький. Подобного рода двойную бухгалтерию успел высмеять Луначарский, не сумев, однако, сделать с ней ничего иного. В известном смысле вся идея «соцреализма» (есть, стало быть, и реализм «несоциалистический») держится на этом двойном критерии. Очень примечательно, что наши «зарубежники» пишут ныне о Набокове лучше, чем «специалисты по советской литературе», если не выступают в роли последних.

Не надо думать, что идея двойного критерия в искусстве сама по себе несовместима с признанием приоритета нравственно-эстетических ценностей общечеловеческого характера и сама собой падает при одном только провозглашении такого рода приоритета. Нет. Достаточно лишь согласиться, что именно мы-то и являемся единственными «носителями» этих ценностей и что, стало быть, «наша литература, отражающая строй более высокий, чем любой буржуазно-демократический строй, культуру во много раз более высокую, чем буржуазная культура, имеет право на то, чтобы,— как утверждал тот же Жданов,— учить других новой общечеловеческой морали». Таково толкование общечеловеческих ценностей по Жданову. Да, «мы не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот». В *этом* пункте Набоков, наверное, согласился бы с Ждановым. И ответ на вопрос «С кем вы, мастера культуры?» не составлял для Набокова затруднений. Но если так, то, похоже, затруднителен он ныне для нас...

Более четверти века назад мне выпала вскоре забытая удача опубликовать в «Вопросах философии» статью о методологической несостоятельности расхожих обвинений Плеханова по поводу его «уступок» Канту в вопросе о «незаинтересованности» суждений эстетического вкуса. Иными словами, в защиту *этих* «уступок». Нет места углубляться здесь в то, как «разоблачение» означенных «уступок» (в порядке «волевого» толкования известных высказываний Ленина в «Материализме и эмпириокритицизме») сочеталось у нас в интересах политического утилитаризма и принудительного единообразия чувств с «разоблачением» остатков «меньшевиствующего идеализма» в эстетике, разгромом «теории и практики чистого искусства» и торжеством «идейности, партийности и народности» — трехчленной формулы, с демонстративной узнаваемостью заместившей в наших лозунгах и «призывах» аналогичную формулу царского министра Уварова. Но в пору, когда даже допустимость «реализма без берегов» оказалась крамолой, о какой-то там эстетической «незаинтересованности» речи уже не могло идти.. Сегодня пора сказать, наконец, что *искусство* вообще не знает никаких «берегов», кроме искусственно воздвигнутых. Но они не на бумаге. Они — из колючей проволоки, от которой труднее всего избавить собственную душу. Ведь и тут у нас — «граница на замке», а «ключник — злой разлучник»...

Можно, оценивая художественные достоинства Набокова, вынести за скобки его неприемлемые политические высказывания. Можно с известной условностью принять его заявления, что, скажем, «литература — это измышление», что «каждый великий писатель это великий обманщик» (поймавший тут Набокова на слове не услышит, вероятно, звука его литературной рампетки — слишком уж обычна была бы «добыча») и что — а и в самом деле! — «нет ничего более скучного, ...чем пускаться в чтение, скажем, «Мадам Бовари», с предубеждения, что это не что иное, как обличение буржуазии». Но если при всем том продолжать обращаться к искусству прежде и более всего в политических побуждениях, то и впрямь уместно будет оберечь Набокова от превратного истолкования, признав, что, как уже было однажды сказано, «мы пока не научились его читать». Пусть еще подождет у берегов наших нравственно-эстетических возможностей. Слишком уж далеко он от этих берегов оказался. А ведь «нелюдимо наше море...» Кстати, если мы сейчас бываем готовы видеть в нем некое связующее «пропущенное звено» в высокой традиции отечественной литературы, то даже еще некоторые из зарубежных критиков усматривали в его «измене» русской «Машеньке» с американской «Лолитой» *трещину* в «Золотой цепи», соединяющей Набокова с этой традицией. А наш В. Дудинцев сказал о Набокове так: «...Если бы он не писал «Лолиту», я бы очень его любил. «Лолитин» привкус — сладкий запах мертвечины... Отвратительный старик! Я смотрю на его портрет — он дал мне через «Лолиту» ключ к пониманию своего лица... Он обмануть меня не смог!» Вспоминается Д. Урнов.

Вообще весьма характерно, что — при всей полярности оценок Набокова — дело тут у нас ныне совсем не сводится к той несложной схеме, согласно которой голоса «за» и «против» делятся в прямом соответствии с той или иной общественно-политической устремленностью участников обсуждения. В некоей отдаленности от «злобы дня» есть тут, как видно, и опосредованная какими-то общими для нас представлениями сфера, в которой могут сходиться и из которой могут исходить мнения очень разных во всем прочем людей. И если отношение к Набокову все-таки остается «пробным камнем» для разных течений нашей общественной мысли, то, видимо, на достаточно глубинных ее уровнях. Там, где процессы протекают несколько иначе, чем на поверхности и вблизи «берегов», где и представления о «нашем» и «не нашем» берегах утрачивают прямой смысл, где и никаких «берегов» нет,— там основание набоковского айсберга. И очень примечательно, в частности, что, подводя итоги обсуждению Набокова за «круглым столом» в «Литгазете», С. Селиванова предложила собственно не итоговую, а как бы предварительную и промежуточную оценку его творчества, «протекающего,— как она сумела сказать,— меж двух берегов — русским и американским, берегов жизни, литературы, судьбы» — в пределах зоны своего рода нравственно-эстетической экстерриториальности.

Итак, перед нами — вся шкала представленных ныне оценок Набокова. От нуля (и даже ниже) до превосходных степеней. От «приглашения на суд» до приглашения на замещение некоего обнаружившегося зияния в цепи великой культурной традиции.

Особо — о позиции, занятой О. Михайловым, который в предисловии к первому у нас однотомнику Набокова сразу рекомендует его широкому читателю неким литературным фантомом — «неким мнимым солнцем на литературном небосклоне нашего столетия», тем объясняя, что «так неправдоподобно широк спектр оценок набоковского наследия — от безоговорочного восхищения до полного отрицания». Миражность Набокова, согласно О. Михайлову, объясняется, в свою очередь, тем, что Набоков «феномен языка, а не идей... Языка, оторванного от жизни и пытающегося колдовским усилием эту жизнь заместить... Отсюда и неудержимая тяга к нему всего выморочного». Можно, конечно, морально отрицать предмет своего исследования, но в какую моральную позицию ставит себя исследователь, отрицающий само наличие своего предмета? Критик в данном случае последователен, но слишком уж суров и несправедлив, оставляя одну выморочку для объяснения «неудержимой тяги» к предмету. Но если вполне серьезно, то все это очень выразительный пример выморочности того нашего канонического отношения к «не нашему» искусству, когда критику остается лишь всеми силами доказывать, что никаких духовных связей с его «предметом» он не поддерживает. Кстати, О. Михайлову не всегда это удается сделать убедительно... Впрочем, у всякого критика есть возможность вообразить себя — в рамках поставленной цели — героем своего героя. Появился у нас уже термин «набоковщина» (вспомним нашу пресловутую «достоевщину»!). Может быть, предисловие к однотомнику написано на *эту* тему?

Словом, приглашение Набокова на «эти берега» повлекло значительные сложности, их не одолеешь одним махом. По сути, разговор в большинстве случаев идет о трудностях и даже самой возможности перевода его на язык понятий и представлений, свойственных нашей жизни и внятных нам. Главная проблема состоит тут в формах и степени осуществимости своего рода *обратного перевода* Набокова на «почву» мыслей и чувств, которыми живет сегодня его «первая родина», *эти* его берега, с которых он волею судеб оказался «переведен» далече. Но у наших сегодняшних мыслей и чувств — своя драматическая история. Мы действительно «не те русские», на языке которых Набоков выражал свои мысли и чувства. Понятие «обратного перевода» в отношении Набокова обнаруживает в этой связи особый социально-исторический смысл и значение некоего важного прецедента.

Разумеется, «обратный перевод» в данном случае не может предполагаться, как *переистолкование* «не нашего» писателя в «нашем» духе и «на наш лад». Как это с привлекательным по теперешним временам неуспехом пытался вроде бы сделать автор предисловия к набоковскому однотомнику и как это постоянно делалось у нас по отношению к любым авторам, не подходившим под рубрику «стопроцентно наших». Адаптации смысла соответствовало купирование текстов. Я прекрасно помню пухлый том «избранного» Достоевского в пору, когда сам Достоевский находился у нас под идеологическим ударом,— это было как бы изданием для несовершеннолетних. Такие «избранные» кем-то тексты были нашими комиксами, травестировавшими мир духовных ценностей для масс в пределах нормированного потребления. Такое отношение к окружающему культурному миру определялось «непереводной» замкнутостью того, по выражению Ч. Айтматова, «идейного абсолютизма», в «крепости» которого «еще недавно мы пребывали» и который является необходимым духовным панцирем для всякой командно-репрессивной системы жизнеустройства. Нам здесь предстоит слишком многое вновь вернуть и соответственно ко многому вернуться — такой вот предстоит тут «обратный перевод». И все, что предстоит перевести на язык внятных нам понятий и представлений, потребует перевода этих понятий и представлений на язык оригинала. Ведь всякое купирование и адаптирование мировой культуры — купирование и адаптирование собственного культурного мира. Это несомненная манкуртизация страны. Во времени — путем отшибания исторической памяти. И в пространстве — путем изоляции от всякой «другой жизни» и «другой литературы». И если ныне однотомник Набокова оказался без «Лолиты», то совершенно на том же в известном смысле основании, на каком, скажем, «Избранный Достоевский» исключал «Бесов». Вмененная ранее извне норма вошла в плоть и кровь и может, видимо, обретать теперь самые разные идейно-политические применения, оставаясь на уровне подсознания.

Я думаю, что тот наш читатель, соответствующим образом подогретый казенной критикой, который готов встретить

«Лолиту» как некое событие «порно», едва ли дочитает роман до половины. Впрочем, вопрос о «порнографичности» романа — перифраз вопроса об истинности художественных достоинств Набокова. Хотя, конечно, и лишний (запоздалый) довод в пользу сомнений относительно «законности» допуска «всего Набокова» на «эти берега». Главное же при всем том заключено, думается, в следующего рода обстоятельстве: если в отношении к «Лолите» хоть в какой-то мере и до сих пор сохраняется еще некая напряженность, то связана она прежде всего не с романом Набокова, который и в этом случае оказывается своего рода лакмусовой бумажкой. Напряженность существует прежде всего в н а ш е м отношении к «теме и проблеме», которые имеют серьезный, хотя и совсем не литературоведческий смысл. Не Платон с его учением о божественном Эросе и не античный роман Лонга, не легенда о «первой жене» Адама приходят, конечно, на ум тем читателям «Лолиты», которые хорошо знают систему принудительного пуританства и испытали ее на своей шкуре. Эти читатели не имеют надобности обращаться к каким-либо литературным образам для оправдания своего естественного отвращения к подобного рода моральной пауперизации общества, предсказуемо вызывающей ту обратно направленную энергию нравственного чувства, которая в «Лолите» как раз и перешла границы, перед которыми ранее еще имело возможность останавливаться «высокое» искусство, но о существовании которых знало и к которым приглядывалось. Как, скажем, приглядывался к ним Достоевский, словно прикидывая «про себя» шаг, сделанный Набоковым именно тогда, когда принудительное пуританство предъявило себя в качестве единственной альтернативы моральному кризису «остального» человечества.

Коснувшись вопроса об истоках принудительного пуританства, я, впрочем, лучше процитирую одного нашего старого критика, от которого нас не случайно все-таки отучают — т. е. заставляют — читать и ценить со школьной скамьи.

«Духовенство, цензура, полиция, сам король — заботились совокупно о том, чтобы содержать народ в строжайшем порядке и чистейшей нравственности. Известно, что Фердинанд входил во все мелочи управления, и цензурная часть в самом обширном смысле была не последнею его заботою... Он, например, велел закрыть в Бурбонском музее картины и статуи, изображающие нагое тело... сам определял длину юбок театральных танцовщиц и издавал повеление, чтоб трико, в которое они одеваются, было зеленого цвета, так как это менее может раздражать воображение... Все это собственно не имело ни малейшего политического значения; но понятно, что, привыкши к такому режиму, общество и ни в чем другом уже не осмеливалось вольничать и предъявлять те или иные требования...»

Наверное, более примечательно, нежели забавно, что написано это ближайшим единомышленником того Чернышевского, который, сам, подвергшись некогда суровым обвинениям по части проповеди морального нигилизма, был столь зло высмеян Набоковым — словно специально для того опять-таки, чтобы представить сегодня чуть не самую серьезную тему для критиков, в панегирических тонах обращающихся к автору прославленного «Дара». Впрочем, иные критики теперь готовы смотреть на Чернышевского уже глазами Набокова, не успев даже определить своего отношения к последнему. Сегодня, похоже, худого слова у нас нельзя молвить уже не о Чернышевском, а, скажем, о Вл. Соловьеве. Хотя и сегодня редкий автор пожелает вспомнить, что, расходясь с Чернышевским по коренным вопросам миропонимания, Вл. Соловьев при всем том относился к нему с пиететом и без всякого чувства духовной несовместимости. Это, к слову, о том, на какие увертки приходится понуждать память, когда требуют от нее примеров для подтверждения внедренной в нас идеи «единственно верного пути», с какими бы именами эта идея ни связывалась в данный момент...

Конечно, вряд ли Чернышевскому в самом утопичнейшем из его утопичнейших «снов» могла пригрезиться система той неокальвинистской морали на коммунистической подкладке, при которой выяснение «морального облика» каждого было бы вменено каждому в гражданский долг и под знаменем борьбы с «морально-бытовым разложением» начался бы своего рода новый крестовый поход к сияющим вершинам. Хотя как раз имя Чернышевского и нашло в этой именно системе самое широкое применение. В подобной драме идей, отражающей драму людей, нельзя упускать ни одной из сторон дела.

Переход от самой поносной характеристики набоковской интерпретации Чернышевского к едва ли не прямо противоположной совершился в нашей критике быстро, хотя зрел долго. Этот переход не частный, не проходной момент в развитии всей нашей общественной мысли. Это, если угодно, некая веха. Важно понять ее истинное значение. Кстати, сам Набоков не заблуждался относительно значимости Чернышевского для судеб России, тема Чернышевского отнюдь н е с л у ч а й н о столь тщательно разработана в «Даре». Вполне, казалось бы, негативная оценка Набоковым Чернышевского н е с л у ч а й н о получает в романе столь многослойно опосредованное выражение, что в итоге вообще едва ли не ставится под сомнение самой необходимостью столь демонстративно мощной защиты. Набоков з а м а х и в а е т с я на Чернышевского, но в ту же секунду останавливает себя, обрывая жест, словно поднял руку для того, чтобы поправить манжету. Это не заминка — замысел. Пройти мимо этой «детали» никак нельзя.

Набоковский Чернышевский предстает центром притяжения, пересечения и взаимоотталкивания разнонаправленных идейно-эстетических, социально-психологических и иных традиций и потенций русской общественной жизни на историческом этапе, вместившем события, до самого основания потрясшие и затем перевернувшие весь ее ход. Если тут есть преувеличение, оно весьма характерно для Набокова. Но не только для него. Ибо не только, конечно, для Набокова Чернышевский в известной ретроспекции — исходная узловая фигура для всего последующего драматического хода русской жизни. Тут Набоков имел дело с некоей предзаданной концепцией, в пределах которой и судил о своем герое, вместе с тем поверяя своим героем эту концепцию.

Безусловно, второе «я» Набокова принимает на себя роль антагониста Чернышевского — героя произведения. Но в искусстве всегда между вторым «я» автора и им самим сохраняется некое пространство — сфера обитания читательского домысла. Это обстоятельство не учитывается теми, кто принимает дилемму «Чернышевский или Набоков» за предложенную Набоковым. Второму «я» Набокова понадобилось свое собственное второе «я» (третье автора!) в лице Годунова-Чердынцева, в свою очередь, ищущего санкцию для «приговора» Чернышевскому в мнении поэта Кончеева — того героя, во время воображаемой, т. е. н е с о с т о я в ш е й с я, встречи с которым набоковский антагонист Чернышевского должен был (бы) услышать приговор своим собственным суждениям о Чернышевском: «Вы иногда доводите пародию до такой натуральности, что она, в сущности, становится настоящей серьезной мыслью и, в этом плане, вдруг делает непроизвольный перебой, который является уже собственной ужимкой... Вы порой говорите вещи, рассчитанные главным образом на то, чтобы уколоть ваших современников, а ведь вам всякая женщина скажет, что ничто так не теряется, как шпильки,— не говоря уже о том, что малейший поворот моды может изъять их из употребления...» На что Федор Константинович должен был (бы) ответить: «Вы очень хорошо определили мои недостатки... и они соответствуют моим претензиям к себе».

Даже для Виктора Ерофеева, статью которого о «метароманe» Набокова опубликовал, демонстрируя плюрализм, журнал, возглавляемый ныне Д. Урновым, Набоков и Чернышевский — «два антагониста, два полюса». И автор не испытывает влечения ни к одному из них.

У Чернышевского было много оппонентов и противников. В том числе и достойных. Неужто Набоков просто решил удлинить их ряд, рискуя в нем «энергично раствориться»? Или у него был тут какой-то с в о й резон? Уж больно свежо чувство неприязни к Чернышевскому у его героя. Уж больно осмотрителен сам автор, приближаясь к Чернышевскому. Словно вступает на чужой берег, где неточный шаг грозит бедой. Уж больно живым предстает на страницах его романа Чернышевский, словно речь идет о ж и в о м противнике. Этот образ мог бы нанести большой урон канонизированной нашей пропагандой фигуре «непосредственного предшественника» русских марксистов-ленинцев, если бы только эта фигура не была скомпрометирована той же самой пропагандой в несоизмеримо большей степени.

«Наша партия устами Ленина и Сталина неоднократно признавала огромное значение великих русских и революционно-демократических писателей и критиков... Чернышевский, который из всех утопических социалистов ближе всех подошел к научному социализму и от сочинений которого, как указывал Ленин, «веяло духом классовой борьбы»,— учил тому, что задачей искусства является, кроме познания жизни, еще и задача научить людей правильно оценивать те или иные общественные явления... Лучшая традиция советской литературы является продолжением лучших традиций русской литературы XIX века, традиций, созданных нашими великими революционными демократами... Как можно пренебречь ими, как можно допустить, чтобы ахматовы и зощенки протаскивали...» и т. д.

Это — из доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Подобным же способом Чернышевский оказался вовлечен в борьбу с «космополитизмом» и иные аналогичные кампании. В глазах широких читательских масс Чернышевский представал «в одном ряду» с Ждановым, а Жданов — продолжателем Чернышевского... Набоковский Чернышевский в этом смысле совсем не «просто клевета», как о том сообщали нам, когда самого Набокова не давали и в руках подержать. Это — п р а в д а о Чернышевском по Жданову. Это правда о нашем отношении к т а к о м у Чернышевскому. Дал ли какой-то повод сам Чернышевский? Или идеологи неокрепостничества просто обернули слабости Чернышевского своей силой, трагедию великого антикрепостника — своим торжеством?.. «Дар» вышел, «как назло», в 1937 году, когда у нас шла большая охота на людей, а на спичечных этикетках, конфетных обертках, целый день по радио, с трибун — Пушкин. 100-летний юбилей со дня гибели поэта сумели обернуть на пользу «конкретным гуманистам» ГУЛАГа. Так сказать, Пушкин — с нами! Как сказочный царь Мидас, к чему ни прикасался, все обращал в золото, так сталинизм, к чему ни прикасался, все обращал в дрянь и грязь. Если не мог присвоить...

Я позволил здесь себе повторить отчасти некоторые из тех соображений отно-

сительно судьбы наследия Чернышевского, которые мне довелось высказать еще в 60-х годах на страницах «Нового мира», а недавно несколько расширить в «Вопросах экономики» Гавриила Попова. Здесь я счел возможным вновь обратиться к ним, поскольку тема Чернышевского у Набокова не решается в пределах казенной системы понятий и заданных представлений о Чернышевском. И ничего не меняется оттого, что, сохранив эту систему, мы лишь как бы переворачиваем ее, оставив на месте все те ложные альтернативы, из которых она и состоит. Идя теперь в оценке явлений культуры «от обратного», можно зайти очень далеко, так и не выйдя за пределы традиционного «или — или». Скажем, Чернышевский или Набоков. Словом, вновь: с нами или против нас! Идя «от обратного», вообще никуда, кроме исходной точки, не придешь. Поэтому путь «от обратного» ретрограден. Он бесконечен в своем топтании на одном месте. Так работали лошади на старых подъемных устройствах. Чтобы, без конца двигаясь по кругу, они не сходили с ума, им завязывали глаза — возникала иллюзия движения вперед.

Виктор Ерофеев считает, впрочем, что «чистый» Набоков не лучше «нечистого» Чернышевского. Так сказать, на свой лад один другого стоит. Такой вот получается «отрицательный плюрализм», или «плюрализм отрицания». Он стóит иной нетерпимости. Уж лучше, выходит, обоих сбросить с «нашего» берега, чем брать на душу выбор жертвы. Как мало, оказывается, у нас места под солнцем. Слаб наш Боливар. И к тому же как своеобычно у нас бывает затесано чувство эстетической справедливости и меры!.. И Набокова можно отдать, лишь бы Чернышевского не стало?

Неразличение революционно-демократической традиции и ее фальсификации в духе ждановщины не могло, конечно, не иметь весьма существенных последствий. Тут оказались «задействованы» важнейшие проблемные узлы всего нашего общественного сознания. Сам же Набоков и подвел нас к соответствующему проблемному ряду всем содержанием своего творчества, а не только, конечно, в «Даре». Да, Набокову претило привычно поощряемое у нас стремление «откликнуться» на злобу дня, претила политизированность искусства. Это так. Но мысль, что Набоков — «писатель для писателей» и далек от острейших проблем эпохи, представляется весьма странной. Возможно даже, что она в какой-то мере внушена самим же Набоковым в качестве некоего «условия игры» — приглашения к доказательству от противного... Так или иначе, но ныне Набоков предстает одним из наиболее актуальных писателей, несмотря на весь свой аполитизм или, быть может, именно благодаря своему аполитизму. Да, Набоков не писал о многом из того, к чему более полувека было «приковано внимание» самых известных наших писателей — тех, которых «проходят» и сейчас в школе, на которых воспитывалось у нас не одно поколение. Но что же из этого следует? Что же из этого следует сейчас, когда многие из наших самых известных писателей вновь пишут и будут еще писать о том же, наново переписывая написанное другими в течение более полувека? Набоков не исписал томов ни о коллективизации, ни о самой идее коллективизма — едва ли не ключевых темах всей нашей литературы: Не было у него такой «темы». Он был очень, конечно, индивидуалистичен. И потому именно он может оказаться столь привлекателен для нас сегодня, когда становится ясно, что именно в фетишизации идеи коллективизма, в практике тотальной коллективизации всего и всея и заключены теория и практика о т ч у ж д е н и я л и ч н о с т и от всего, что только может быть насильно отчуждено, от всего, что делает личность личностью, дает ей внутреннюю независимость и выбор средств к существованию. И тут существует некое двуединство — материальная самостоятельность человека, определяющаяся отношениями собственности, и его внутренняя духовная свобода, неотделимая от его гражданских прав...

В отношении Набокова к его Чернышевскому есть нота, на которую почти не обращают внимания: досада. Набокову иной раз явно становится словно бы досадно за своего героя — такого несуразного и неудачливого, нелепого, что ли. За этой интонацией кроется чувство, которое так и остается не выраженным в тексте,— тень чувства, след мысли. Что-то здесь словно томит автора. Как может томить и даже мучить «воспоминание о совершенной оплошности, о грубости, которую мы себе позволили, или об угрозе, которой мы предпочли пренебречь». Это сказано Набоковым по иному поводу, но очень подходит и к этому случаю. Впрочем, сам же Набоков, как помним, достаточно сказал о едва ли не предзаданной самому себе односторонности в истолковании своего героя, указал на эту предзаданность, тем отделяя ее от своего авторского «я». Но почему же нам-то заказано подумать над тем, скажем, что «антропологизм» Чернышевского, его «теория разумного эгоизма», которыми нам все уши прожужжали в школе, проникнуты духом «эмансипации личности» — противоположным вменявшейся нам идее «самоотверженности», «самозабвенности», «самоотдачи» и прочим подобным прелестям, которые Чернышевский называл «сапогами всмятку», но которые обрели у нас силу магических заклятий и непреложность воинского приказа! Да известно ли вообще общество, в котором местоимение, давшее столь точное название антиутопии Замятина, употреблялось с таким всесокрушающим размахом! «Единица — вздор, единица — ноль». Именно. Культ личности предполагает фетишизацию масс, ибо в ней находит свою идеологическую санкцию — санкцию на о б е з л и ч и в а н и е общества. «Индивидуализм» лишился понятийного содержания и стал политическим ярлыком. Когда собственность «коллективизировалась», «власть коллектива» стала исключительной формой присвоения собственности. Именем «коллектива» вершилось все. Личность стала тем набоковским Цинциннатом, которого мы так хорошо знали еще до Набокова,— она оказалась общественно предосудительна и беззащитна в своей узнаваемости. Бросаясь в глаза, она колола их. Как помнят мои сверстники и люди старших поколений, угроза «отрыва от коллектива» чуть не с детства висела над каждым. «Противопоставление коллективу» и было «индивидуализмом», считаясь вполне достаточным основанием для возбуждения преследования в общественном порядке — репетиции «приглашения на казнь». Сам с молодых ногтей был воспитан в этой «вере». Известен механизм торжества постулатов «духа коллективизма» и идейно-государственной необходимости над всем частным и личным. От «персонального дела» до «дела» шел накатанный путь. И тут был свой резон: поскольку «коллективизм» стал синонимом органического конформизма, постольку нонконформизм стал органически присущ личности...

Более полувека назад Грамши сделал характерное замечание «по поводу так называемого «индивидуализма», то есть по поводу взглядов каждого исторического периода на позицию индивидуума в мире и исторической жизни». Он сказал, что следует «проанализировать предрассудки против индивидуализма». Потому, в частности, что «то, что ныне называется «индивидуализмом», ведет начало от культурной революции, последовавшей за средневековьем (Возрождение и Реформация)... Это переход от трансцендентной мысли к мысли имманентной».

Заключая одну из своих самых, на мой взгляд, принципиальных статей («Знамя», 1989, № 1), Н. Шмелев предлагает подумать о том, как нам теперь выходить из нашего положения. «Движение истории, как известно,— пишет он,— от века опиралось на две силы — коллективизм и индивидуализм. Силой коллективизма, хотя и с коэффициентом полезного действия не выше, чем у паровоза Стефенсона, мы еще кое-как овладели или, точнее, овладеваем. А как быть с индивидуальным стремлением к успеху? Или так и пойдем по истории, ковыляя на одной ноге? А далеко ли, позволительно спросить, мы в таком случае уйдем?»

Извека было так. И не из соображений комфортности исторического движения. Позволю заметить, что Стефенсон в нашем с вами случае вообще ни при чем. Ибо предание анафеме индивидуализма обнаруживает фальшь нашего «коллективизма» — эта «пара понятий» неразрывна, любая из ее составляющих вообще утрачивает смысл вне соотношения с другой, вне этого единства. То, на чем мы «шли»,— лишь имитация «коллективизма». Мы шли путем беспрерывной принудительной к о л л е к т и в и з а ц и и всего и всея, путем казарменного, как мы теперь говорим, социализма. А казарма отнюдь не синоним коллектива. И дошли. Но, спрашивает Н. Шмелев, действительно, «что делать, дорогие сограждане? Делать-то что?» После всех наших страстных заверений, что ничего иного нам «не дано», кроме, как всегда, «единственно верного», подобный вопрос звучит особенно выразительно.

Иные авторы сейчас спешат заверить нас, словно свечкой застолбить новую тему, что все беды наши произошли исключительно от нашей «боголишенности». Стоит на место Маркса вернуть того (Того), кому (Кому) и надлежит на этом месте быть, как, скажем, рухнет «соцреализм» (словно недостаточно только перевести его на «хозрасчет»), а заодно и все остальное в нашей жизни устроится наилучшим образом. Предлагается начать некий попятный поход — от имманентного к трансцендентному. Грандиозное начинание, между прочим... Ни на минуту не позволяя себе усомниться в совершенной чистоте помыслов наших новообращенных, нельзя вместе с тем не поразиться, как они сумели в заботах о судьбах идей отвлечься от судеб людей, возможности новых жертвоприношений. Ведь религиозный мотив в современном мире слишком тесно связан, в частности, с национальным. Как можно отвлечься, переступая из сферы чисто духовных исканий в сферу общественных рекомендаций, суметь не подумать о неисключенности ситуации, когда вновь окажется надо «пожертвовать тысячи людей, развитие целой эпохи какому-то,— как писал в свое время Герцен, имея в виду подобные рецепты выхода из кризиса и отчаяния,— Молоху государственного устройства, как будто оно и вся цель нашей жизни... Думали ли вы об этом, человеколюбивые христиане? Жертвовать другими, иметь за них самоутверждение слишком легко, чтоб быть добродетелью». Неужто и впрямь нет у человека «заботы беспрерывнее и мучительнее», по словам Достоевского, «как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться»? Дайте отдышаться, пожить с в о е й жизнью и своим умом!

Впрочем, с точки зрения чисто личностной, есть тут еще и момент внутреннего выбора каждого. Т а к о й выбор суверенен. И хотя не нов тоже, но без него, как видно, не обойтись, когда человек потрясен в былых устоях, ищет новых путей, когда «старые боги умерли», а душа жаждет.

«После таких потрясений живой человек не остается по-старому. Душа его или становится еще религиознее... и человек вновь зеленеет, обожженный грозою, но-

ся смерть в груди,— или он мужественно и скрепя сердце отдает последние упования... Что лучше? Мудрено сказать... Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает все. Другое ничем не обеспечено, зато многое дает. Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений». И далее: «Мы столько жили сами, столько видели да столько жили за нас наши предшественники, что, наконец, нам непростительно увлекаться, думать, что достаточно возвестить... миру евангелие, чтоб сделать из него демократическую и социальную республику, как это думали *красные* апостолы»...

Это — из писем Герцена «С того берега», того именно произведения, которое возникло в состоянии «духовной драмы», пережитой автором, как известно, после событий 1848 г. в Европе и падения в ту пору многих былых его упований. Оттого-то, видно, и не в чести у нас многие десятилетия было это герценовское произведение. Духовный кризис и идейная драма идеологически зазорны при насаждавшемся тогда строе мыслей. Словно они не постигают всякого, в ком жив ум и не уснула душа. Словно не коснулись они, к примеру, ни Маркса на исходе его юности, ни Ленина на исходе его жизни... Но вот что касается кардинального и вновь актуального вопроса «обращения к вере», то тут Набоков, похоже, оказывается все-таки ближе Чернышевскому и Герцену, нежели иным современным авторам с их поисками всеобщего спасения, «если я правильно понимаю эти странные вещи,— как говорил Набоков,— в религии». Слишком Набоков интеллектуалистичен, слишком скептик и слишком антиутопичен, если можно так выразиться. Воистину, «одинокий король» — даже «царство Божие» ему не светит и не греет его.

Только вот трудно как-то взять в толк, от каких таких наших богатств вздумалось теперь, ухватившись за самим же Набоковым предложенный некогда в качестве самохарактеристики изящный шахматный термин-образ, дразнить его «одиноким королем»? Словно *этот* литературный король голый, а наш — при полной амуниции. Словно *он* одинок и сир, а мы — коллективисты — как всегда «в гуще», обуты, одеты, сыты и «нос в табаке». Словно *он* бездомен и неприкаян, а мы с вами — совсем иное дело. И откуда только взялась у нас эта «толпа бескоренных людей», как выразился не столь давно замечательный эстонский писатель Арво Валтон («Родник», 1988, № 11), о творчестве которого нам бы всем стоило больше знать. И разве случаен у нас ныне такой разлив ностальгии — даже к уютно адаптированному его варианту в стиле «ретро» стала все больше примешиваться рвущая душу нота!

«Тут начинается тема бездомности,— глухое предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям» — эти набоковские строки можно было бы поставить эпиграфом к статье о нем. И к истории жизни миллионов его сограждан на «этих берегах». Тут есть очень глубокая связь... Но вот уже О. Михайлов в заголовке своего предисловия к набоковскому однотомнику переиначивает «одинокого короля» на «короля без королевства» (опять пригодилась З. Шаховская). Изящный условно-романтический образ-символ оборачивается кивком на проблему идеологического подданства Набокова — нет у него ничего, нет своей «земли», нет «почвы», ступить на которую он мог бы без приглашения. Но разве наше отчуждение от орудий и средств производства, от его плодов, от окружающей среды и определения форм взаимоотношений с ней, от системы управления собственной страной, от возможности выбора собственной точки зрения на окружающий мир, от связей с этим миром и возможности сравнения его с «нашим» — разве все это и кое-что еще иное вкупе не равносильно в известном смысле потере отечества и разве совершенно безосновательно острое чувство этой потери, которым охвачены у нас очень широкие слои людей? Набоковская ностальгия — тоска по его *бывшей* родине, которая, как он сам понимал, безвозвратно утонула в историческом времени, словно Атлантида, сохранившись лишь в памяти. Но об этой ностальгии у нас и ныне даже говорят иногда со странной интонацией какого-то снисходительного «понимания», словно *наша* тоска по *несбывшейся* родине, не оставшейся даже в памяти, дает на то основание. Конечно, есть выход из ностальгической тоски: в самоутешении утопией. Между ностальгией и утопией самоутешения существует действительная внутренняя связь — они могут переходить друг в друга. Но позавидовать ли теперь тем, кто от ностальгии по несбывшемуся перейдет к утопической эйфории новых упований? Впрочем, есть еще один выход из ностальгического отчаяния — оно так же может стать духовным тупиком сладостной отравы самозабвения, как и отправной точкой для нового развития. Тут отступать некуда — позади ностальгии одно забвение. А великое отчаяние способно иной раз рождать не меньшую энергию, нежели великая мечта. И тогда ностальгия может стать созидательной силой, способной творить новые духовные и иные ценности жизни. Набоков пришел к нам не с пустыми руками и не с пустой душой — он показал на деле, как все это совершается средствами искусства. И именно в этом, думается, смысл того, что сказала о Набокове талантливая Н. Берберова: в нем «все мое поколение было оправдано... он ответ на все сомнения изгнанных и гонимых»... Но не одно ее поколение было в нем обнадежено. И не «замешенной на парадоксе эстетической утопией», как недавно выразились публикаторы одного из

набоковских эссе, поленившиеся, видимо, дочитать предлагаемую ими публикацию до конца: «мы наблюдаем,— говорит Набоков,— как художник строит свой карточный замок, и видим, как карточный замок становится замком из прекрасной стали и стекла».

«Карточные домики» Набокова — из стекла и стали. «Прием обнажения приема», которым владел и который любил, согласно В. Ходасевичу, Набоков, избавляет от сомнений в этом. Потому они и оказались попрочнее иных железобетонных конструкций, монолитная поверхность которых держалась на «секретах мастерства», к неустанному овладению коими призывали «инженеров душ»...

Возможно, как считает, к примеру, Л. Гинзбург, сейчас «Набоков преувеличен... Он не гений». Он просто «большой писатель; он великолепен». Возможно. Примечательно, что сейчас, как бы в порядке прикидки, разные критики выдвигают в качестве лучших самые разные его произведения. Одни — «Приглашение на казнь», иные — «Подвиг» или «Другие берега», Л. Гинзбург — «Лолиту». Так формируется профилирующее представление об этом писателе. Публикуя в «Новом мире» одну из пьес Набокова, С. Залыгин отметил «дар предвидения», которым был наделен ее автор. «Карточные домики» Набокова представляют в этом смысле особую ценность — поразительно крепко сделанные макеты опасно хрупкого состояния нашего нынешнего мироздания. Как писал очень высоко ставивший Набокова Дж. Апдайк, это, если угодно, «научная фантастика в лучшем смысле слова».

Дело в том, что Набокову оказался внутренне внятен драматизм особенного нынешнего поворота, излома времени, приближения его к какой-то красной черте, предвестие чего он успел почувствовать «в едва заметных явлениях, в особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого,— но солнце было все еще правдоподобно, мир еще держался, вещи еще соблюдали наружное приличие». Теперь многие считают, что дело дошло до края. Сегодня можно, конечно, считать, что «даром предвидения» запросто владеет всякий пессимист, как раньше им владели те «исторические оптимисты», к которым Набоков отродясь не принадлежал. Но был ли он пессимистом в расхожем смысле этого слова? Можно ли сегодня считать пессимистом писателя, который, обладая таким чутьем на трагические знаки и признаки бытия, не терял надежду: «прокатят века,— школьники будут скучать над историей наших потрясений, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется — в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество». Конечно, это очень скромный оптимизм. Будем надеяться, что он не преувеличен.

Авторы многих статей о Набокове почему-то очень хотят передать впечатление от того, каким он представляется им по фотографиям. Иные видят в них улику, почти разоблачение «истинного лица» писателя. Чаще всего говорят, впрочем, о лице, чем-то напоминающем, как было однажды замечено, «лицо последнего римлянина»... С тех пор, когда в руки ко мне впервые попали те самые ксероксы Набокова, он представляется мне писателем будущего. Вернее — связывается с мыслью о будущем. Достаточно отдаленном — тем, которое не будет «дано нам в ощущениях». Возможно, это будущее имел в виду и сам Набоков, когда он — уже достаточно известный писатель — заклинал: «Сохраните эти листы,— не знаю, кого прошу, но: сохраните эти листы,— уверяю вас, что есть такой закон, что это по закону, справьтесь, увидите! — пускай полежат,— что вам от этого сделается? — а я так, так прошу, последнее желание,— нельзя не исполнить. Мне необходима хотя бы теоретическая возможность иметь читателя, а то, право, лучше разорвать. Вот это нужно было высказать». Набоков «высказал это» устами своего Цинцинната, который «встал, разбежался — и головой об стену, но настоящий Цинциннат сидел в халате за столом и глядел в стену, грызя карандаш...». И потому Набоков смог оставить эти строки, адресованные каким-то неведомым читателям. Речь, очевидно, шла о таких отдаленных временах, которые ему и нам трудно тогда было и вообразить. Речь шла явно о совсем «другой жизни», на *этих* берегах, куда он смог бы вернуться своим «бесплотным представителем». Но вот — В. Набоков на *этих* берегах. И жизнь тут — *эта*, люди — *эти*, а не какие-то неузнаваемые — несуетящиеся, неиздерганные и ровно-доброжелательные. И одеты мы, прошу прощения, скверно, лица у нас усталые и несветлые, и живем в массе своей кое-как, и проклятые наши очереди, а очнувшееся, как от толчка в переполненном вагоне, духовное многоголосие опасно не обеспечено материально, и совсем нет еще никакой уверенности... А между тем Набоков — в журналах, газетах, по радио, в книгах, готовится издание его четырехтомника. Есть тут, что ни говори, нечто обескураживающее и даже отчасти как бы призрачное, «набоковское». Это тревожит, но и поддерживает, питает не такой уж, по нашим меркам, «скромный» оптимизм, который в конечном счете оказывается связан с мыслью, что школьники иных веков смогут еще покорпеть над историей наших потрясений.

Чтя вождя и армейский устав

Вечер. На берегу озера Он и Она.
Она *(мечтательно)*: **Солнце село...**
Он *(вздрагивая)*: **Нет! Это уж слишком!**

Анекдот тридцатых годов

«Если все читать, жить некогда»,— твердят наши сограждане, утомленные обилием интересных публикаций. И все же появление в журналах прозы Владимира Войновича не прошло незамеченным. Многие ждали этого события, особенно предвкушая выход в свет романа о солдате Чонкине. Вопреки всем запретам похождения русского Швейка, по воле случая вступившего в борьбу с «неким Учреждением», давно заслужили известность в литературных кругах. Те, кому удавалось раздобыть изданного за рубежом «Чонкина», успели создать ему репутацию необыкновенно дерзкой и смешной книги.

Однако нынешние читательские отклики оказались куда более разноречивыми. Кто-то шлет в редакцию «Юности» взволнованные письма, признаваясь, что читает Войновича, смеясь и плача, потому что это «сама наша жизнь». А кто-то недоумевает, для чего понадобилось печатать роман, где герои — «какие-то дебилы», события — чушь несусветная. По сути, почти то же говорят специалисты, спорящие по поводу «Чонкина» в «Литгазете».

По мнению А. Ланщикова (ЛГ, 18.01.89), журнал «проявил нравственную неразборчивость», публикуя роман, где в человеке выявляется «лишь скотское», да к тому же «нет ничего остроумного и смешного». С этим не соглашается И. Золотусский: он вспоминает, как когда-то смеялся без удержу над книгой Войновича, и видит ее главное достоинство в том, что автор не побоялся «выставить под лучи смеха» кровавого тирана и «одно из самых трагических событий эпохи: войну». Однако эта горячая защита не всех убеждает. Д. Урнов в той же «Литгазете» (8.02.89), возвращаясь к разговору о «Чонкине», настаивает: все плохо, «ни одной по-настоящему смешной фразы». Каждое слово критика дышит раздражением против зарубежных славистов и отечественных почитателей Войновича, любящих этого автора, как представляется Д. Урнову, просто назло его гонителям. «Репутация В. Войновича только повышалась по мере борьбы с ним, достигавшей, как нарочно, обратных результатов»,— досадует критик. У него даже вырывается горькая жалоба: теперь «хоть лопни, возражая» этим упрямцам, они готовы пренебречь эстетическими соображениями, лишь бы не дать в обиду «преследуемого» автора.

Меня подобный пафос, признаться, озадачивает. Допустим, что Д. Урнов прав и жажда загладить вчерашние несправедливости сегодня еще мешает иным из нас быть беспристрастными. Да неужели это такой непростительный грех? После того как отечественной критике столько раз случалось льстить и лгать ради демагогических целей, из корысти, из страха, право, смешно бояться, что она потеряет невинность, если в великодушном порыве перехвалит кого-то из «возвращенных» писателей.

Чем ополчаться на них, поборникам высокой художественности лучше бы вспомнить, что с дутыми писательскими авторитетами прошлого далеко еще не покончено. Коли воевать, так с ними: и чести больше, и пользы. Когда критик решается сокрушить вельможного литературного имярек с его миллионными тиражами и могущественными связями, подобная задача оправдывает наступательный пыл. Но так нападать на Войновича, у которого ни власти, ни продажных приспешников и всего-навсего две журнальные публикации, то же самое, что двинуть на одинокого Чонкина регулярные части. Если автор романа не более чем посредственный прозаик, мимолетный баловень моды, маститым критикам не о чем хлопотать. Но если сам Д. Урнов готов «лопнуть», доказывая, что Войнович не Гоголь, одно это заставляет предположить, что речь идет о достаточно нетривиальном явлении нашей словесности.

Впрочем, в одном я готова согласиться с Д. Урновым и А. Ланщиковым. Мне произведения Войновича тоже не кажутся особенно смешными. Можно понять разочарование читателя, который берется за эту прозу в надежде, что она его распотешит. Ему вряд ли удастся

Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Роман-анекдот в пяти частях. Юность, № 12, 1988, №№ 1, 2, 1989; Путем взаимной переписки. Повесть. Дружба народов, № 1, 1989.

нахохотаться всласть над унизительными невзгодами и нелепыми подвигами Чонкина, над перипетиями злосчастной женитьбы Алтынника из повести «Путем взаимной переписки». Наблюдательность писателя остра, но и горестна, ирония не дает повода забыть, что его персонажи, эти обездоленные, обездоленные бедолаги, живущие, словно в бредовом сновидении, мучаются по-настоящему. Наяву. Войнович неистощим в изобретении комических ситуаций, но слишком сострадателен, чтобы смешить, по слову Золотусского, без удержу.

Убеждена, что критик, говоря так, не кривил душой. Недаром он обмолвился, что читал «Чонкина» давно. Именно в ту пору, когда роман прослыл уморительной и бесстрашной сказкой и те, кому он попадал в руки, только смеялись, но не плакали над ним. Стало быть, изменилось время. Сегодня Войнович читается иначе. Противникам писателя кажется, что они нашли самый неотразимый довод: роман-анекдот должен быть смешным, им невесело, следовательно, это провал.

А я вспоминаю анекдот про солнце, что село в тридцать седьмом году. Как он вам, читатель? Вы надрывали животики? Сомневаюсь. Судя по собственной реакции на этот маленький шедевр народной фантазии, могу скорее предположить, что вы нервно хмыкнули и тяжело вздохнули. А современники хохотали! Пересказывали друг другу эту кошмарную, ни на один язык Земли не переводимую шутку и смеялись, хотя знали, во что им может обойтись такая потеха. Вопреки известному афоризму они, смеясь, не расставались с изжитым прошлым, а превозмогали удушье настоящего.

В истории русской сатиры такое уже бывало. Первые читатели Гоголя хохотали над страницами, которые гораздо чаще побуждают нас грустить и размышлять. Напрасно писатель сетовал, что мир не видит его слез: потомки поняли и разделили скорбь великого сатирика. Но для современников потрясающее открытие, что над их бедами и низостями можно смеяться, поначалу заслонило все. Вот почему подсказанное Д. Урновым сравнение романа о Чонкине с «Повестью о капитане Копейкине» не кажется мне убийственным для Войновича. Положа руку на сердце: кого ныне смешат мытарства Копейкина? Они вызывают совсем другое чувство, и это не означает, что Гоголь устарел.

Важно понять, что сатира Войновича заслуживает подхода серьезного и непредвзятого. Перед нами проза мастера, умеющего оригинально использовать и артистически сочетать элементы разных литературных традиций. Нравы его героев грубы, представления дики и примитивны, быт убог, но приемы художника свидетельствуют об изощренной профессиональной культуре. И неправда, что Войнович видит в человеке скота. Он даже в скотине умеет разглядеть неповторимое живое существо, достойное симпатии и милосердия. Не его вина, если кабан Борька и мерин Осоавиахим более человечны, чем палач Миляга или доносчик Гладышев.

Да, Войнович пишет о людях, условиями тоталитарного режима превращенных в озлобленную, запуганную и жадную толпу. Однако заметим: у него эти люди подчас действуют в ситуациях, повторяющих самые героические и трогательные коллизии русской и мировой классики и фольклора. Приведу два примера, хотя их гораздо больше. Недотепа Чонкин, посланный в село Красное стеречь останки разбитого самолета и в суматохе начала войны забытый на этом никому не нужном посту, на свой лад переживает все приключения сказочного простака Иванушки. Смирный и доверчивый, Чонкин берет верх над врагами, казалось, неуязвимыми — капитаном Милягой и его подручными. Бездомный, он обретает кров и добрую подругу Нюру. Презираемый, получает в финале невиданную награду — орден из генеральских рук. Но тут сказке конец: орден у него тотчас отбирают, а самого тащат в кутузку. Позвольте, да это же пародия на одну из самых эффектных сцен «Девяносто третьего года», знаменитого романа Гюго с его грозной патетикой и торжественными размышлениями о путях истории и трагизме человеческого удела. Ироническая проза Войновича ориентирована и на эти проблемы. За плечами низкорослого красноухого Вани Чонкина много литературных предков, среди которых бравый солдат Швейк не самая важная фигура.

Секрет замысла Войновича в том, что Чонкин, вопреки своей невзрачности и лукавым авторским замечаниям, герой отнюдь не пародийный. В густо населенном мире романа, где жестоко извращены понятия достоинства, чести, долга, любви к отечеству, еще живо одно истинно человеческое чувство — жалость. Оно живет в груди Чонкина, худшего из солдат своего подразделения, сожителя почтальонки Нюры, главаря мифической банды, взявшей в плен людей Миляги и разгромленной полком под командованием свирепого генерала Дрынова.

Объявленный государственным преступником, Чонкин далек от вольномыслия. Он и вождя чтит, и армейский устав уважает, да так, что готов лечь костьми, охраняя вверенный ему металлолом. Только беспощадности, популярной добродетели тех лет, Чонкину бог не дал. Он всех жалеет: Нюру и своих пленников, и кабана Борьку. Даже Гладышева, который пытался его застрелить, Чонкин пожалел. За это и поплатился. Наивному герою Войновича невдомек, что доброе сердце — тоже крамола. Он со своим даром сострадания воистину враг государства «и лично товарища» Миляги, Дрынова, Сталина...

Кстати, Сталин лично в романе не присутствует. Это своего рода волшебное слово из тех, что в мире страха и обмана значит больше, чем реальность.

Если в начале времен «Слово было Бог», то здесь, изолгавшееся и обездушенное, оно предстает как дьявол или по крайности как мелкий шкодливый бес, чья прихоть самовластно распоряжается судьбами персонажей.

Роман построен так, что слово становится причиной всех решающих поворотов действия. Чонкин по наущению стервеца Самушкина задает политруку роковой вопрос, верно ли, что у Сталина две жены. Плечевой распускает гнусную сплетню о Нюре. Гладышев строчит донос на соседа. Председатель колхоза Голубев по телефону докладывает секретарю райкома, что Чонкин «со своей бабой» арестовал группу оперативников, а Ревкину слышится — «со своей бандой». Сотрудники органов, предвкушая расправу над старым сапожником Моисеем Соломоновичем, с ужасом обнаруживают, что фамилия их жертвы — Сталин. Непреклонная коммунистка Аглая Ревкина предполагает, что у ее мужа возникли «нездоровые настроения». Миляга в минуту растерянности невпопад выкрикивает: «Да здравствует товарищ Гитлер!» Жизнь и смерть героев романа зависят от слова, прозвучавшего или написанного, недослышанного или перевранного. От слова, которое, на глазах утрачивая свой первоначальный действительный смысл, получает взамен иррациональное могущество заклинания.

Разумеется, оно относительно. Уже в романе о Чонкине, где слову подвластно столь многое, от переименования села Грязного в Красное, а Фроськи Гладышевой в Афродиту ни то, ни другая краше не становятся. Повесть «Путем взаимной переписки», действие которой происходит несколькими годами позже, рисует царство выхолощенного слова. Алтынник и Людмила, когда разговорятся, особенно нестерпимы. Их болтливость — симптом чудовищной душевной глухоты. В повести действуют люди толпы, звучат те же речи, какие слышишь в очередях и электричках. Они так привычны и так бессодержательны, что мы почти не замечаем их. А Войнович, прислушавшись, различает в этом тусклом недобром пустословии черты страшной нравственной деградации. Так говорят люди, умеющие делать из жизни ад. Им для этого никакого Сталина не нужно. Но писатель, спускаясь в душную преисподнюю их бытия, подчас еще находит в себе силы улыбнуться и пожалеть этих героев. По мне, это невероятное душевное усилие художника стоит дороже, чем осмеяние тирана. Говорил же, помнится, Стендаль, что комедия, высмеивающая супрефекта, умирает вместе с ним.

Ирина Васюченко

Самостояние

«Здравствуй, друг! Знаю, что читаешь ты медленно, поэтому пишу тебе не торопясь»,— шутка старая и немудрящая, но бог весть почему запомнившаяся. А недавно узнал я, что ие такая уж это несуразица, что есть в ней своя логика, на которой можно основать ни мало, ни много, а принцип взаимоотношений писателя с читателем, и вообще человека с человеком. Вот, пожалуйста, текстовое подтверждение: «Солянов прочитал письма медленно, как они и были, видимо, написаны, и ему серьезно понравилось в себе самом то, что читал он их без усмешки и пренебрежения,— что ж, что ошибки, зато как признаки дает! Молодец старик!» Это из рассказа Юрия Стефановича «Женьшень», а Солянов — герой автобиографических произведений этого прозаика, так что и о медленном чтении, и о признаках тут неспроста.

Стефановича я знаю уже пятнадцать лет, и сдается мне, что пишет он долго и трудно, а печатается крайне редко. На удивление редко. За все эти годы в литературной периодике встретил лишь несколько его рассказов. Первые две книжки (а по сути — одна, но развернутая под двумя обложками) вышли, когда автору было уже сорок четыре года.

И не новичок ведь (писать начал в середине шестидесятых), и то, что у нас именуют обычно «жизненным опытом», тоже имеется — строил ЛЭП на Сахалине, учился на биофаке МГУ, ходил с экспедициями по Приморской тайге. Есть опыт, навык, умение, свой стиль, своя тема. Чего же ради так долго хранил рассказы и повести в столе?

Не сказать, чтоб его произведения были в прежние годы из числа «непроходимых». Конечно, потребовалась бы некоторая «доработка» (тут высветить, там затемнить, кое-что вычеркнуть, коегде дописать). Да, господи, чего здесь хитрить: заведуя отделом прозы литературного еженедельника, а затем редакцией издательства, можно было найти способ опубликоваться с минимальными потерями. Значит, не захотел потерь даже минимальных, значит, решил, что

Юрий Стефанович. Голос. Рассказы. М., Молодая гвардия, 1988; Натуральная школа. Повесть и рассказы. М., Советский писатель, 1988.

пристойнее вовсе не выступать, нежели поступиться хоть словом. Значит, сам решил — о том и речь. Прав ли оказался? А тут смотря как судить.

Приведу суждение критика: «...Опубликованный в «Новом мире» рассказ Ю. Стефановича «Последний день бича Плецкого» мог бы в шестидесятых годах имя автору сделать, но сегодня это уже дальние «зады» и, как говорится, кто не успел, тот опоздал».

Что до имени — то бог с ним: бывают и безымянные таланты и именитые бесталанности. А вот о «задах» стоит поговорить особо. Нетрудно возразить: дескать, литература не состязание в скорописи на заданную тему и уж тем паче не состязание в скоропечатании; кто первый сказал «Э-э» пристало выяснять лишь Добчинскому с Бобчинским; и вообще, много успевших, да мало успешных — так всегда бывает. Возразить критику не сложно, однако есть в его суждении доля истины, пусть всего лишь долька, но и без нее истина неполна. Сказанное свидетельствует об оценке литературы с точки зрения литпроцесса, литпотока. А в нем и впрямь важно застолбить тему, хотя бы обозначить ее, сделать пусть крохотный, но первый шажок, а потом другие продвинутся еще на пядь — так и пойдет. Процесс движется в сторону прогресса, следовательно, прогрессирует и художественное сознание общества. С точки зрения литпроцесса из «задержанной прозы» интерес представляет лишь то, что несет откровенную новизну — тематическую, стилевую, информационную. О бичах уже написано, о деревенских старухах тем более, о детстве и подавно — значит, «зады».

А все-таки, выйди рассказы Стефановича в конце шестидесятых, стало бы имя автора популярным? Вряд ли. Его проза не та, что проглатывается залпом. Она для медленного чтения. Бичи бичами, тема темой, но по сути это рассказы не познавательные, не открывающие нечто неведомое, а, скорее, узнавательные, заставляющие читателя вспомнить уже виденное, прочувствованное, пережитое. И притягивает она именно основательностью анализа переживаний, тщательностью описаний, точностью передачи всех душевных состояний. В прозу Стефановича надо еще вчитаться, надо еще захотеть принять предложенные автором отношения «на «вы», но хорошо, строго, по-мужски, как-то определенно и с достоинством». Нужно еще привыкнуть к его ботанической манере беспрестанно размышлять над всякими мелочами и подробностями, будто прожилки на листьях и рисунок на стебле в лупу разглядывает, а тем часом опускает целые куски из биографии героя, всячески избегает остросюжетных эпизодов, от всего смачного и злачного отворачивается и вообще целомудрен не по нынешним временам («о женщинах, Леонидыч, мы плохо не говорим»). С непривычки создается впечатление, что в прозе Стефановича за деревьями (да что там — за листочками и прожилками) леса не видно. Но, повторяю, пообвыкнуть надо, и тогда увидишь и лес, и сопки, и небо, вовсе не в алмазах, а в самых что ни на есть доподлинных звездах.

И все-таки обилие подробностей его захлестывает. Он, похоже, и сам это чувствует и относится к этому не без иронии. Жанр коротких заметок и наблюдений — «Мгновений», «Затесей», «Камушков на ладони», «Зерен» — ныне распространен. Сами авторы обычно относятся к нему с уважением. У Стефановича же все заготовки, наброски и мини-эссе объединены под названием «Листы для гербария». Не зерна, которые еще прорастут, а гербарий — нечто уже засохшее, хоть и красивое, иногда чрезмерно: «Шел со скоростью мягко падающего снега. На плечах, на шапке лежало немного зимы», или «Драже из мелких птичек в кроне дерева». Однако, думаю, не случайно первые «листы» такого гербария подверстаны в книге прямо вслед за рассказом, который кончается словами: «...Боже мой, какое все это пустозвонство...»

И все-таки ключевые слова в прозе Стефановича — «определенно и с достоинством». Он вовсе не певец своего поколения и, уж конечно, не глашатай его принципов (всякая декларативность, даже намек на нее чужды этому писателю), но он почувствовал нечто такое, что больше всего угнетало, скажем, и меня, и, насколько я знаю, моих друзей-сверстников. Почувствовал и стал искать, как противостоять этому угнетению. И нашел, кажется, то же, что и большинство из нас. Потому-то и притягивает меня к прозе Стефановича это честное зрение художника.

Угнетала, гнетет какая-то беспрестанная сумятица чувств, слов, поступков, какая-то двусмысленность прав и обязанностей, положений и условий. Все с подкладкой, все навыворот, все со смещенным центром. Какая уж там ясность или определенность, если старая крестьянка усвоила в жизни лишь одну мудрость: «Хуже нет — наперед загадывать». И так до седых волос с самого детства. В рассказе «Тутовый шелкопряд» Солянов вспоминает, как давнымдавно жили они на юге и выкармливали гусениц. Те прожорливы были — страх. Нужен тутовник. Отцу выдали справку — филькину грамоту,— дающую разрешение рубить тутовник в чужих садах. Да кто ж пустит-то? Плевать хотели люди на скрепленное печатью право не считаться с чужими правами. И помнит Солянов злость и обиду своих старших братьев, которых такая бумажка, узаконивающая воровство, не спасала от плети колхозного объездчика. И не столько на объездчика злость, а на идиотизм положения, в котором пацаны принуждены и быть, и чувствовать себя ворами, а скотина на коне — тот самый объездчик.

будь он неладен, вправе ощущать себя защитником государственного добра.

И мастер Голубев из повести «Снега» отлично знает, что «рацуха» (рацпредложение), сочиненная в тресте, приведет к тому, что по весне все опоры ЛЭП завалятся. Ну, да то ни для кого не секрет. Но пока они завалятся, и Радченко премию за «рацуху» получит, и Корсаков с бригадой подзаработают, и трест в именинниках походит. А когда авария случится — найдут на что ее списать, чай, не маленькие, выкрутятся. Но во всех случаях и себе, и другим сумеют доказать, что они герои и передовики, а он, Голубев, «собаке пятая нога».

Вот эта тотальная неопределенность не только раздражала, она была еще и просто оскорбительной, она унижала достоинство. И тут что по начальству жаловаться, что в жилетку плакаться близким — все без толку. Опору можно было найти только в себе самом. Самостояние. И тогда, как бы ни проседала почва под ногами, есть шанс выстоять. Укрепиться в себе, преодолев страх (рассказ «Голос»), измену («В дождь»), одиночество («Женьшень»). Укрепиться и выстоять. Два «сквозных» героя в книге Стефановича — Солянов и Плецкий. Солянов устоял. Плецкий — погиб, рухнули внутренние устои.

Герои Стефановича не бойцы. У них — и то не у всех — хватает сил отстоять себя, отстоять свои убеждения, но вот сил, чтобы настоять на своем, у них недостает. Так? Так!!! Не борцы они за общественные интересы, за благо народное.

Ну, уж коли на то пошло, то давайте честно спросим себя: а само-то общество знает свои интересы, сам-то народ ведает, в чем его благо? Да и каждый из нас? Даже и сегодня — ведает?

Думаю, что мы не исключение из остального человечества. Думаю, что древняя мудрость — «Познай себя» — и про нас писана, а посему самоуглубленность нам ныне нужна не менее, чем демократия. Какие там свободные выборы, если сама проблема выбора для людей, внутренне не определившихся, — это же интеллектуальная и душевная каторга, хуже любой автократии.

«Определенно и с достоинством» — идеал, к которому стремятся герои Стефановича. Определись, обрети внутреннюю самостоятельность — и тогда обретешь достоинство. Не бойся заглянуть в себя, «есть целый мир в душе твоей»...

Е. Сергеев

Судьба Отечества решилась

Год 1812-й в истории России был омрачен невиданным разорением страны, причиненным наполеоновскими полчищами. И одновременно год этот ознаменован высочайшим подъемом патриотического духа русского общества, пробуждением национального самосознания. Историческая судьба Отечества стала судьбой общенародной.

Наша историческая наука накопила немало ценнейших исследований Отечественной войны 1812 года: работы Е. Тарле, А. Манфреда, А. Тартаковского, Б. Абалихина и В. Дунаевского и др. Но необходимо отметить, что схемы, навязанные исторической науке идеологией сталинизма, долгое время затрудняли воссоздание объективной картины этой войны, столь многое определившей в истории Российского государства.

В минувшем году вышел в свет новаторский по своей природе — и по концептуальной направленности исследования, и по объему впервые включенного в научный обиход или уточненного фактического материала — труд известного историка Николая Троицкого. Его книга привлекает проблемностью содержания, постановкой актуального по сию пору вопроса о соотношении национального и социального начал в историческом процессе. В какой мере исторически меняющееся, но присущее общественному сознанию всех формаций чувство патриотизма — «одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» (В. И. Ленин), — свободно от социального, политического, идеологического содержания? Можно ли толковать это чувство как некую абстрактную категорию («патриотизм без эпитетов»), независимо от того, кто, когда и зачем выдвигает ее своим программным лозунгом, объявляет идейным знаменем?

Русская литература — Федор Глинка и Жуковский, Владимир Раевский и Рылеев — оставила множество свидетельств, позволяющих оценить общенародный подъем 1812 года как патриотический. Разве не об этом знамениты пушкинские строки из десятой главы «Евгения Онегина»:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?

Но этот подъем — знаменательный урок истории! — сопряжен с тем, что пробудил в обществе, вызвал к социально активной жизни новые силы, которые наиболее полно и последовательно выразили возросшее национальное самосознание русских людей.

Обобщая множество собранных и систематизированных фактов, Н. Троицкий приходит к убедительному выводу о том, что, отражая французское нашествие, русский народ осознал себя как «самостоятельную и решающую силу... Он не был ответствен за отсталость и реакционность царившего тогда в России режима, не имел в отличие от своих хозяев ни агрессивных, ни реставраторских намерений и не собирался нападать на чужие страны, но уж коль чужеземцы пришли с мечом топтать русскую землю, он поднялся на защиту **о т е ч е с т в а** и повел с захватчиками справедливую **о с в о б о д и т е л ь н у ю** войну».

Вместе с тем, доказывает Н. Троицкий, развивая положения, изложенные К. Марксом в статье «Революционная Испания», «национальный характер» Отечественной войны 1812 г. отмечен глубокими противоречиями. Ибо, если вести речь не о жизненном многообразии индивидуальных судеб людей, а об их социальной типологии, — и «в этой национальной, освободительной, справедливой войне «верхи» и «низы»... защищали от общего врага не одно и то же отечество: дворяне боролись за отечество самодержавно-крепостническое, за свои богатства и привилегии, монопольное право на эксплуатацию собственного народа, сохранение в стране феодального режима; народ — за отечество, свободное от самодержавно-крепостнического гнета, т. е. не только за национальное, но и за социальное освобождение, против феодализма».

Национальный подъем «низов» обрел столь широкий размах, «отодвинул на второй план и как бы заслонил собою корыстные расчеты «верхов», и по крайней мере с 14 июня по 14 декабря 1812 г., т. е. с того дня, когда французы вошли в Россию, и до того, как вышли из нее, «дух возрождения» как отличительная черта Отечественной войны 1812 г. решительно преобладал над «духом реакционности».

Вместе с тем, убедительно полемизируя со стереотипами исторического мышления в оценках как общего хода войны 1812 года, так и ее отдельных событий, Н. Троицкий решительно настаивает на своем выводе о том, что ни в преддверии 1812 года, ни на непосредственном рубеже его царская Россия «вовсе не была тогда лишь объектом и жертвой наполеоновской агрессии. Она тоже стремилась по крайней мере к европейской гегемонии и прилагала для этого много усилий в коалиционных войнах 1799—1807 гг.». Потому и в войне 1812 года первой ее причиной «было столкновение претензий Наполеона на мировое господство с гегемонистскими, хотя и меньшего, европейского масштаба стремлениями царизма. Второй по значению причиной был конфликт между Францией и Россией из-за континентальной блокады».

Адрес авторской полемики — идеализация внешнеполитического курса русского самодержавия, укоренившаяся в советской исторической науке под прямым диктатом Сталина (вспомним его «спор» с Энгельсом в защиту царизма!) и продолжающаяся в кризисную пору застоя. Тем прежним неисторичным позициям Н. Троицкий последовательно противопоставляет свой взгляд на события, свое понимание их причин и следствий. Так, твердо настаивает он, царская Россия, деятельно участвуя в коалиционных войнах против наполеоновской Франции, выступала не только против бонапартистских претензий на мировое господство, но осуществляла своего рода «крестовый поход» в поддержку «всех тронов», «всех корон», добивалась возврата от завоеваний Великой французской революции к старому феодальному миропорядку. Проиграв первые коалиционные войны, вынужденно подписав унизительный Тильзитский мир, царизм и в канун Отечественной войны 1812 года, и в ходе ее не оставлял надежд на реванш. На западных границах страны он намеревался восстановить Королевство Польское с последующим присоединением его к России, а на юго-востоке Европы — обратить непременно к своей «стороне» славянские народы Балкан, пообещав им независимость и даже «установление славянского царства».

Другой наглядный пример авторской ломки сложившихся стереотипов, принципиального отхода от них — восстановление доброго имени М. Б. Барклая де Толли. В исторической литературе послевоенного времени опять же «с легкой руки» генералиссимуса Сталина воцарилось непомерное возвеличивание фельдмаршала Кутузова в явный ущерб его ближайшим боевым сподвижникам.

Между тем не подлежат сомнению крупные военные заслуги Барклая, особенно в тот начальный период войны, когда он командовал русской армией. Не будем забывать, что, будучи военным министром, сменившим в 1810 году Аракчеева, он успешно организовал и возглавил всю подготовку к будущей войне. В доказательство этого Н. Троицкий приводит новые данные о деятельности русской разведки через дипломатические каналы. Рост военного арсенала, перевооружение армии и наращивание ее боевой мощи под руководством энергичного военного министра — факторы, также «работавшие» на будущую победу.

Утверждение Сталина: «Кутузов как полководец был, бесспорно, двумя головами выше Барклая де Толли» — тем легче воспринималось призывом к отрицанию за последним каких бы то ни было исторических заслуг и полководческих достоинств, что упало на почву, отчасти уже подготовленную дореволюционной историографией. Академик Е. В. Тарле подчеркивал, что агитация против Барклая шла сверху, имя генерала окружалось клеветой и наветами. «Подвиг

Н. А. Троицкий. 1812. Великий год России. М., Мысль, 1988.

Барклая де Толли велик, участь его трагически печальна и способна возбудить негодование в великом поэте», — воскликнул Белинский. Отступление русской армии — дело «не свободного выбора, а суровой необходимости», — считали Маркс и Энгельс, тщательно разбирая начало войны. Опираясь на документы, соотнося с ними суждения современников Барклая и его позднейшие оценки, Н. Троицкий определяет истинное место полководца в истории России. Его научная позиция во многом близка пушкинскому пониманию решающей роли обоих командующих в войне 1812 года: «Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов».

Один из весомых аргументов в пользу такого понимания — обоснованные исследователем преимущества плана борьбы с Наполеоном, предложенного Барклаем, в сравнении с планом прусского генерала Карла Людвига Августа Фуля, находившегося на русской службе. Согласно ему, первая армия, которой командовал Барклай, должна была занять укрепленный лагерь в Дриссе между двух дорог — на Петербург и Москву, прикрыв их от наступающих французов, а второй армии Багратиона предписывалось действовать во фланг и в тыл противника. Вторгшийся в Россию Наполеон попросту обошел Дрисский лагерь, посрамив тем самым бездарного стратега. К счастью, Барклай де Толли имел свой план военных действий, который выгодно выделялся среди двадцати других планов, представленных в русский генеральный штаб. В этом плане реализовывались идеи записки «О защите западных пределов России», которую он как военный министр представил Александру еще в 1810 году. Записка предусматривала в случае вторжения Наполеона «искусным отступлением заставить неприятеля удалиться от операционного базиса, утомить его мелкими предприятиями и завлечь вовнутрь страны, а затем с сохраненными войсками и с помощью климата подготовить ему, хотя бы за Москвой, новую Полтаву». Не так ли и вышло все в основном в реальном ходе боевых действий 1812 года, хотя, естественно, М. И. Кутузов, принявший командование от Барклая де Толли, внес в план предшественника необходимые коррективы, обогатил его своей оригинальной, неповторимой стратегией?

Хотелось бы, однако, в пределах развиваемой исследователем темы получить более обстоятельное представление о стратегических замыслах Кутузова, услышать ответ на вопрос, который со времен русской дореволюционной и вплоть до современной советской, а также зарубежной историографии 1812 года остается дискуссионным. Имел ли Кутузов при назначении его главнокомандующим собственный план войны или разрабатывал его непосредственно по ходу меняющихся событий? Многое, думается, позволяет предпочесть первую версию целенаправленных боевых действий по заранее намеченному плану, который главнокомандующий держал в глубокой тайне, не доверял даже самым близким советникам из генерального штаба.

Отдавая должное кутузовскому маршброску Можайск—Москва—Подольск—Тарутино, Н. Троицкий не склонен видеть в нем боевые операции, которые предусматривались и планировались задолго до их свершения.

И в самом деле, казалось бы, трудно запрограммировать загодя все те выигрыши, которые принесло русской армии блистательное осуществление тарутинского маневра. Кардинально изменив в пользу русских стратегическую обстановку, он в перспективе обеспечивал Кутузову наступательную инициативу. Французские же войска оказывались блокированными в Москве, спасительный для них выход к таким крупным экономическим и военно-стратегическим центрам, как Тула, Калуга, Брянск, становился невозможным. Воистину счастливый разворот событий, но обеспеченный не «везением», а глубоким предвидением и уникальным полководческим даром. В этом убеждает, например, письмо главнокомандующего дочери, где он заклинает ее уехать из Тарусы, то есть из-под Калуги, ибо туда может приблизиться «театр войны». Письмо написано в начале августа 1812 года. Следовательно, уже тогда Кутузов обдумывал стратегию противодействия Наполеону, в том числе и его намерению выйти на Калужское направление. Преградить же путь туда, вернуть агрессора на старую Смоленскую дорогу, разоренную, опустошенную французами при наступлении, стало возможным лишь благодаря марш-маневру, к которому Кутузов прибег после Бородина.

«Агония наполеоновской мировой монархии длилась необычайно долго. Но смертельную рану всемирному завоевателю нанес русский народ в двенадцатом году». Этим словам Е. В. Тарле, самого выдающегося, как справедливо отмечает Н. Троицкий, историка Отечественной войны 1812 года, созвучен исследовательский пафос рецензируемой книги...

Н. Минвева

«Потому что не волк я по крови своей...»

Перед нами две книги избранных работ Н. И. Бухарина, впервые собранных вместе через полвека после его гибели. Изданные разными издательствами, они ни в чем не повторяют друг друга и являются фактически двухтомником. В большей или в меньшей степени в них представлены все сферы разностороннего теоретического наследия Бухарина — экономиста и теоретика нэпа, полемиста и идеолога, философа, организатора науки и даже литературного критика.

В сборнике, изданном Политиздатом, собраны произведения, относящиеся к периоду активной политической деятельности Бухарина, совпадающему с десятилетием его работы в Политбюро (1919—1929). Книга, подготовленная «Наукой», знакомит нас с другим Бухариным — опальным политиком, чей интеллектуальный потенциал направлен на решение научных и культурных проблем.

Откроем последнюю по хронологии работу Бухарина. Прежде чем прочесть первую страницу, поразмыслим над датой ее написания.

Август 1934 года. Бывший член Политбюро и бывший главный редактор «Правды», бывший член Президиума Исполкома Коминтерна, бывший ведущий идеолог партии, Н. И. Бухарин делает доклад на I съезде советских писателей. Через три месяца будет убит Киров, с которым Николай Иванович был дружен, и 22 декабря «Известия» (он пока еще главный редактор) печатают статью Бухарина «Суровые слова». В ней говорится: «Любая «оппозиция» и любой уклон («левый», правый, право-левацкий, националистический) при настаивании на ошибках, при продолжении борьбы неизбежно приводит к разрыву с партией, к разрыву с советской легальностью, к контрреволюционной роли соответствующих групп и людей». Оборвем цитату, потому что переписывать слова о фашистском перерождении лидеров оппозиции и их неразоружившихся сторонников (почти каждого из них Бухарин хорошо знал лично) тяжело и сегодня. В январе 1935 года Зиновьев, Каменев и большая группа бывших оппозиционеров были обвинены в соучастии в убийстве Кирова и приговорены к разным срокам заключения. В 1936 году руководители так называемого троцкистско-зиновьевского центра были расстреляны, а еще через два года это же негодное оружие с еще более нелепым добавлением о «троцкистско-бухаринской банде» было обращено против самого Бухарина.

Н. И. Бухарин. Избранные произведения. М., Издательство политической литературы, 1988; Избранные труды. Л., Наука, Ленинградское отделение, 1988.

За три месяца до доклада Бухарина, в мае 1934 года, за антисталинское стихотворение был арестован и сослан другой хороший знакомый Бухарина — поэт Осип Мандельштам. Свидетельствует вдова поэта Н. Я. Мандельштам: «Всеми просветами в своей жизни О. М. обязан Бухарину. Книга стихов 1928 года никогда бы не вышла без активного вмешательства Николая Ивановича, который привлек на свою сторону еще и Кирова. Путешествие в Армению, квартира, паек, договоры на последующие издания, не осуществленные, но хотя бы оплаченные, что очень существенно, так как О. М. брали измором, не допуская ни к какой работе,— все это дело рук Бухарина... В тридцатые годы Николай Иванович уже жаловался, что у него нет «приводных ремней». Он терял влияние и был, в сущности, в глубокой изоляции. Но от помощи О. М. никогда не открещивался и только ломал голову, к кому бы обратиться и через кого действовать». (Н. Мандельштам. Воспоминания. Издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1970.)

Причиной ареста Мандельштама, о которой уже хорошо знал Бухарин, было знаменитое стихотворение о «кремлевском горце». Поэтому имя опального поэта, творчество которого Бухарин высоко ценил, им в его докладе «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР» не было даже упомянуто.

Такова была политическая и психологическая атмосфера, в которой происходило выступление Бухарина. Докладчик говорил об особенностях поэтического языка и поэтического мышления, ссылался на опыт мировой поэзии и философии. Приводил имена и цитаты: Гумилев и Белый, Бальмонт и Брюсов, Гегель и Кант, Аристотель и Шопенгауэр, Якобсон, Жирмунский, Потебня. Словом, по выражению М. Булгакова, «забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек».

После подробного разговора о поэтике и истории поэзии, после оценки творчества ряда современных поэтов Бухарин в докладе делает попытку обоснования метода соцреализма применительно к поэтическому творчеству. После общих слов о том, что «философской предпосылкой социалистического реализма является диалектический материализм», перечисления его основных признаков — романтичности, лиричности и антииндивидуалистичности — следует многословное определение нового литературного направления: «Социалистический реализм есть метод поэтического творчества и стиль социалистической поэзии, изображающий действительный мир и

мир человеческих чувств, стиль, отличающийся от буржуазного реализма и по содержанию объектов поэтического изображения, и по своим стилевым особенностям». Кроме этого, «социалистический реализм отличается от простого реализма тем, что он в центре внимания неизбежно ставит изображение строительства социализма, борьбы пролетариата... Точка зрения победы пролетариата есть, разумеется, конституитивный признак всего творчества социалистического реализма, его «общественный смысл».

Велик соблазн высокомерного взгляда на эти мысли Бухарина. Но, по-видимому, урок все же в другом. Если уж человек такого масштаба, как Бухарин, ощущающий себя в мировой культуре, как в собственном доме, решился на определения подобного свойства, значит, сама идея классового подхода к общечеловеческим ценностям — тупиковый путь.

Здесь уместно поставить вопрос (попытка ответа на такой вопрос, в сущности,— цель любой рецензии): кому и зачем нужны сегодня более чем полувековой давности труды Н. И. Бухарина? Политические и научные работы принадлежат своему времени и, как правило, устаревают быстро. Для обращения к текстам давно минувшей эпохи мало ореола недавней полузапретности или нынешней моды — здесь нужны более веские основания. Итак, актуален ли Бухарин сегодня?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. И нет его потому, что для холодного, взвешенного, спокойного отношения к нашей истории время пока не пришло. Это еще не зажившая, кровоточащая рана. Объективная, «академическая» оценка теоретического наследия Бухарина — дело будущего. Но все же, говоря, что разрабатываемая Бухариным во второй половине двадцатых годов политическая программа была реальной альтернативой сталинизму, отметим очевидное. Причиной того, что верх одержал Сталин, явились не только его жестокость и беспринципность. Полной объективности не будет и тогда, когда мы вспомним трудней шие политические и экономические условия этого неравного поединка, а также личные качества самого Бухарина, его мягкость и неспособность к политическому лидерству. Для того чтобы понять реальность, надо признать, что сама политическая концепция Бухарина и «правых» была во многом непоследовательна и противоречива.

Суть того, что мы называем сегодня «новым мышлением», есть приоритет общечеловеческого подхода перед классовым. Признание этого очевидного факта оплачено дорогой ценой. Конечно, это система ценностей другого времени, она трудноприменима к революционным и переломным эпохам. Но забвение этих ценностей, пренебрежение ими хуже умножения на ноль в арифметике — оно не только сводит на нет весь позитивный капитал, но и придает ему обратный знак.

Все ли сделал Бухарин как теоретик, чтобы в рамках своей эпохи найти оптимальный синтез классового и общечеловеческого, традиционного и революционного? Думается, что нет, хотя здесь им было сделано больше других. В пору пребывания у власти Бухарин явно уделял проблемам «базиса» (экономической политики) больше внимания, чем проблемам «надстройки» (социалистической демократии, права и т. п.). В последний период своей жизни Бухарин, увы, внес свою лепту и в создание того неправильного соотношения между наукой, идеологией и политикой, которое позднее воплотилось в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Политик (не в лучшем значении слова) часто брал в Бухарине верх над идеологом, а идеолог — над ученым. Методологические подходы, развиваемые Бухариным, критиковал еще в двадцатые годы Питирим Сорокин (см. «Социологические исследования», 1988, № 6). (Кстати, полемику между Бухариным и Сорокиным, а также между Бухариным и академиком Павловым, не вошедшую в рецензируемые сборники, было бы интересно прочесть и широкому читателю.) Но это было столкновение разных подходов, от которых наука только выигрывает. Если же сравнить некоторые положения Бухарина тридцатых годов с тогдашней страшной действительностью, то это уже столкновение неверных утверждений с фактами, от которого наука только проигрывает.

Ряд книг и статей Бухарина, сыгравших важную роль в свое время, сохранили свою актуальность и сегодня. Это работы по обоснованию рыночной экономики, по планированию научных исследований, по марксистской философии. Раньше многих других он распознал опасность фашизма и как мог пытался предостеречь от нее.

Главной работой Бухарина по теории нэпа остается книга «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз», бывшая фактически основой партийной политики в 1925—1927 годах. Известный историк, меньшевик Б. И. Николаевский, встречавшийся с Бухариным в Париже в 1936 году, так записал его рассказ об этой работе: «А эта брошюра как раз наиболее интересная,— заметил Бухарин.— Когда я писал, то включил в нее мои разговоры с Лениным о статьях, им опубликованных, и о тех, которые еще не были им написаны. Я пытался в этой брошюре ограничиться только передачей мыслей Ленина так, как он их мне излагал. Там не было, конечно, цитат. Мое понимание мыслей Ленина отражалось в том, как я писал. Это было мое изложение мыслей Ленина, как я их понимал. Главным пунктом его завещания была мысль о том, что есть возможность придти к социализму, не применяя больше насилия против крестьянства, которое тогда составляло более 80% населения России... По мнению Ленина, применение силы к крестьянству возможно было только в определенный момент, только в период гражданской войны, но ни в коем случае не должно становиться постоянным методом отношения советской власти к деревне. Это было главной мыслью Ленина и стало центральным пунктом брошюры «Путь к социализму» [1]. (Цит. по Введению к книге: Н. Бухарин. «Путь к социализму в России». Избранные произведения. Нью-Йорк, Омикрон Букс, 1967.)

Несколько слов о составе и научно-справочном аппарате сборников. Конечно, они заслуживают положительной оценки как первый опыт научного издания работ Бухарина в нашей стране. Хотя, например, можно только пожалеть об отсутствии в сборнике «Политиздата» работы «Экономика переходного периода», которая входит в хронологические рамки книги. Диалектика развития экономических взглядов автора стала бы более понятной читателю — он смог бы сравнить «левого» и «правого» Бухарина. (В своей автобиографии, кстати, Бухарин назвал эту работу в числе важнейших.) В целом ряде случаев вызывают недоумение подготовленные Институтом марксизма-ленинизма комментарии к работам Бухарина. Так, например, не являются объективными биографические справки о целом ряде исторических лиц: Л. Троцком, Н. Крыленко, Г. Зиновьеве, Л. Каменеве, В. Молотове, К. Ворошилове и других. Не соответствует истории ческой реальности и освещение отдельных событий, например, XII съезда партии. Практически полностью отсутствуют необходимые, на мой взгляд, концептуальные, содержательные комментарии. Зато дано множество второстепенных сведений, которые при необходимости можно найти в любом словаре: справки о А. Смите и А. Бергсоне, Б. Муссолини и Л. Корнилове, Г. Гейне, В. Брюсове и И. Северянине, и даже дано объяснение слова «деструктивный».

Сборник, подготовленный издательством «Наука», сопровожден обстоятельным послесловием М. Г. Ярошевского. В нем дан подробный анализ почти всех бухаринских работ, в том числе и весьма спорных, с которыми, однако, у автора в основных пунктах практически нет разногласий. Среди приводимых им биографических деталей есть неточности: Ленин не скончался на руках у Бухарина. Но последний действительно во время роковой болезни Ленина был его наиболее частым собеседником и первым узнал о его смерти.

У пережитой нами трагедии несколько причин, тесно связанных друг с другом. Сегодня, в переломный для нашего общества период, их анализ имеет особое значение. Среди этих причин не последнее место занимают субъективные: настроения разных слоев общества и психология политических лидеров.

Пытаясь понять суть этих явлений, два десятилетия назад прозаик Юрий Трифонов и философ Юрий Карякин на материале XIX века изучали те же проблемы, которые с новой силой встали в XX веке: проблемы темпов общественных изменений и соотношения целей и средств при их осуществлении.

Названия-определения книг Ю. Трифонова и Ю. Карякина — «Нетерпение» и «Самообман» — две стороны одной медали. Нетерпение — страсть любой ценой приблизить желанное, следовательно, неразборчивость в средствах; оправдание преступных средств высокой целью — самообман.

Что же касается нравственного облика Николая Бухарина, который в последнее время не раз печатно очерняли люди, достаточно хорошо известные своей безнравственностью, то сам Бухарин никогда не считал себя праведником. Он занимался трудным делом в трудное время. Представление о его «трудах и днях» сможет теперь составить читатель. Но одно можно сказать твердо. Мы перечитываем эти работы сегодня не в последнюю очередь благодаря тому, что автор их мог бы повторить вслед за Мандельштамом свой отказ по-волчьи выть — «потому что не волк я по крови своей»[2].

Владимир Чеботарев

---

[1] Одобрение Лениным насилия по отношению к крестьянству вообще (даже в период гражданской войны) — неточность Николаевского. У Ленина речь шла только о временных мерах по отношению к кулачеству.

[2] Пользуюсь случаем поблагодарить Р. А. Медведева за предоставленную возможность ознакомиться с рукописью его книги «Н. И. Бухарин. Последние годы жизни» и высказанные замечания.

«Срочно явиться в контору к товарищу Леонарду»

«Несколько лет назад на Ваганьковском кладбище появились на многих могилах колья, вбитые в землю, и на них дощечки с одинаковыми призывами: «Срочно явитесь в контору к товарищу Леонарду!». Вскоре таблички с тем же призывом расползаются по стране, появляясь даже на кладбище в далеком провинциальном городке С., куда судьба заносит героя повести «Угар». Здесь с ним случается несколько «почти реальных» событий, вследствие чего в воображении его (а может, в реальности?) возникает картина грандиозного шествия мнимых «покойников», отовсюду направляющихся в столицу и терпеливо дожидающихся своей очереди на прием к неизвестному товарищу Леонарду. Венчает сию «эпохальную» панораму этикетка на спичечном коробке, где достаточно достоверно нарисован «трелевочный трактор «ТБ-1» с надписью на флаге «200 лет С-кого тракторного завода».

Странный мир повестей И. Крупника — это мир, где вязким «раствором» обыденности крепко и навсегда спаяны реальность и фантастика, где сущность всякого действия состоит в опровержении законов логики и диалектики. Это мир, в котором уже нет ничего страшного, ужасного, но нет и ничего святого: человека в этом мире уже ничто не может удивить, но ничто не может вызвать и негодования, переживания, сострадания. Это мир, в котором человек уже не хочет быть человеком.

Можно заявить, что мир этот абсурден, но он слишком узнаваем, чтобы притвориться несуществующим, абстрактным литературным экспериментом. И в то же время мир этот действительно экспериментален.

И. Крупника интересует — что стоит за всем этим, что является скрытой пружиной, вызывающей к жизни то припадочную эпидемию бдительности («Хромой бес в Обыденских переулках»), то истеричные кампании «образумления», когда все, очнувшись, начинают мучительные, тягостные, но такие сладострастные поиски «врагов» («Жизнь Губана»)? — «И началась самая увлекательная охота — охота на человеков!»

Ответ писателя парадоксален — СКУКА, казавшаяся совсем недавно незыблемой и неизбывной, скука нашего существования, тотальная бессмысленность и безмысленность его. Над героями незримо витает тень Передонова, и повесть «Хромой бес в Обыденских переулках» перекликается не с романом Лесажа, но с повестью Сологуба. И печать неискоренимой, вечной передоновщины — везде, на всем: «Кое-где на сквере под деревьями еще сохранился снег, только с черными разводами грязи и потому непохожий на снег. Да и сами березы не были похожи на известные каждому человеку березы...

Все в буграх и наплывах, как будто их облепили засохшей грязью, все расплывшиеся, корявые, с растопыренными, черными, обломанными сучьями, клонились влево и вправо стволы».

В нашей истории стал реальностью непостижимый, невероятный переход от исторической драмы к тихому и пошлому «застойному» абсурду. «Быт — это каторжная тачка, которую тащит за собой психология» (О. Мандельштам). Были годы, когда эта каторжная тачка все более претендовала на то, чтобы выглядеть локомотивом истории. Но что же тогда происходило с «психологией», сознанием людей, лишенных нормального быта во имя ложных мифов?

Сущность проблемы, поставленной «новыми временами», заключается в обретении правды в виде готовой к употреблению формулы. Да, это возможно, более того — это даже поощряется. Но в таком случае мы получим все же только формулу правды. А ведь «слова наши, как известно,— давно ничего не означают» («Угар»). Полная правда невозможна вне контекста времени, ее породившего. «Восстание покойников», которое «почудилось» (?) герою повести «Угар», происходит под лозунгом, призывающим явиться к неизвестному Леонарду, место обитания которого не установлено, но сущность этого восстания — в ином: «Мяса! — почему-то кричали тетки.— Мя-са!»

Так нужна ли нам **формула правды?** И какая формула покажет, насколько отделилось от нас наше прошлое, насколько мы срослись с ним? И, главное, если мы отречемся от него, вновь ничего не жалея и ни с чем не считаясь, по живому обрежем этот «шлейф», то что же от нас останется? «Страха не будет. И вины не будет. Господь Бог пришел не к праведникам. Мы победили мир. Господь Бог пришел к подонкам» («Начало хороших времен»).

Время затормозилось, иногда кажется, что случившееся с нами — уже навсегда, что история уже пронеслась мимо. Ну что же: «Народная мудрость... недаром гласит: если зайца долго бить, он даже научится спички зажигать» («Жизнь Губана»). Однако вместе с осознанием невозможности хирургического излечения от прошлого пришло ведь и понимание того, что больше так нельзя — задохнемся. Пришла чисто физическая потребность в глотке свежего воздуха. Но очень многие вполне достойные люди уже не могут таким воздухом дышать — привыкли к углекислому газу. Не здесь ли сущность основного конфликта эпохи? Этот конфликт — сюжетный стержень книги.

Преобладающая интонация авторской речи — ирония. Мы слышим мягкий, спокойный голос человека, с ужасом и бессилием взирающего на фатальную подчиненность человеческого в человеке пошлой абсурдности быта.

У И. Крупника: «...человеческая важность все еще признается в природе. (Например: когда хотят отогнать от чего-нибудь птиц, втыкают неподалеку в землю нечто похожее на человека)» («Жизнь Губана»).

Люди обнаруживают вдруг, что всю жизнь жили не так. Но к чему подвигнет нас проснувшаяся жажда разума и разумности, во что она может вылиться? Будем помнить, что человеческому стремлению к разумности существует обывательская альтернатива — «жить как все. Разумно». Так что же значит **разумность?** В чем еще обнаружим мы разум? Сверхзадача книги И. Крупника состоит именно в попытке определения этого понятия — **разу́мность**, попытке, основанной и на жизненном опыте писателя, и на нашем историческом опыте.

Ведь, собственно говоря, все, что когда-либо происходило с нами, происходило — по крайней мере согласно преобладавшей точке зрения — по критериям необходимости, разумности, целесообразности. Поэтому главная наша задача в том, чтобы не допустить повторения лжи, подмены одной лжи другой ложью. Иначе мы вновь рискуем обрести свое законное место в нескончаемой очереди к вечному Леонарду.

Петр Лелик

г. Львов

Илья Крупник. Начало хороших времен. Почти реалистические повести. М., Советский писатель, 1989.

ГЭС — египетская пирамида?

Энергетики с большим уважением относятся к экономисту Николаю Шмелеву, но никак не поймут, с какой целью в своей статье «Либо сила, либо рубль» («Знамя» № 1, 1989 г.) он утверждает: «...возможны у нас такие нелепости, не имеющие под собой никакого экономического оправдания, как... бредовые планы строительства в испытывающей нехватку самого необходимого стране около 90 крупных гидростанций, по экономической сути своей мало чем отличающихся от египетских пирамид».

Вот так одним росчерком пера им был положен крест на развитие всех гидростанций страны. Дело же обстоит совершенно не так.

Интерес к использованию гидравлической энергии остается во всем мире чрезвычайно высоким. Возможность получить чистый, бестопливный, возобновляемый и надежный источник электроэнергии, каковым является гидроэлектростанция, выражается в мировой практике тенденцией постоянного увеличения установленной мощности ГЭС, составляющей в настоящее время около 23 процентов всей установленной мощности электростанций. За последние 15 лет объем мировой выработки электроэнергии на ГЭС и ГАЭС увеличился на 755 миллиардов киловатт-часов. За этот же период, в силу того, что позиции опережающего развития электроэнергетики в нашей стране утеряны, ввод мощностей на советских ГЭС уменьшился вдвое.

Обратим внимание на такой факт: по прогнозу Мировой энергетической Конференции к 2020 году выработка электроэнергии на ГЭС во всем мире удвоится. По уровню использования гидроэнергоресурсов СССР отстает от промышленно развитых стран. Если, например, в США освоено 48 процентов всех гидроресурсов, в Канаде — 50, в Японии — 62, в Швеции и Италии — 74, а во Франции — 90, то у нас только 12.

Это тем более обидно, что экономически эффективный гидроэнергетический потенциал нашей страны, который, увы, плохо используется, очень высок и по подсчетам, составляет более 1 миллиарда 100 миллионов киловатт. К 2000 году планируется поднять уровень использования гидроресурсов страны, но и тогда наше отставание от перечисленных выше стран будет ощутимо, мы сможем освоить лишь 35 процентов гидроресурсов страны. В этом случае выработку на ГЭС надо поднять до 380 миллиардов киловатт-часов.

Это наши планы к концу второго тысячелетия, но для того, чтобы их осуществить, надо в течение 17 лет обеспечить строительство 67 гидростанций с вводом всех или части мощностей на той или иной ГЭС. Энергетика — это основа развития экономики страны, она оказывает огромное влияние на качество быта людей. Работая на постоянно возобновляемом источнике — воде, гидроэнергетика, в частности, является самым чистым в экологическом плане производством. Гидроэлектростанции страны вырабатывают в год 220 миллиардов кВ/ч электроэнергии, сокращая при этом необходимость добычи 120 миллионов тонн угля, предотвращая его сжигание, которое чревато соответствующими экологическими последствиями, поскольку требует и расхода кислорода.

За счет гидроэнергетики достигается немалая экономия трудовых ресурсов — до 500 тысяч человек в год. Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях высокоэффективно, прибыль от их эксплуатации составляет 2,8 миллиарда рублей, и она в основном направляется в государственный бюджет. Если себестоимость электроэнергии ГЭС в среднем по стране составила 0,152 копейки за киловатт-час, то себестоимость электроэнергии на ТЭС (включая и АЭС) почти в шесть с половиной раз выше. К тому же прибыли от работы гидравлических электростанций достаточно для финансирования их строительства в объеме, который в три раза превышает фактический. Строительство гидроузлов позволяет решить задачу комплексного использования рек в интересах энергетики, ирригации, судоходства, водоснабжения, борьбы с наводнениями.

В стране создана обстановка гласности и демократии. Наша общественная мысль в лице видных экономистов, писателей и публицистов все сильнее и сильнее поднимает свой голос против бесхозяйственности, экологической опасности, экономической безграмотности, приведших к тому, что наш народ, живущий в стране с огромной территорией и богатой природными ресурсами, пока не нашел себе места среди народов с высоким и здоровым уровнем жизни, социальной благоустроенностью. Энергетики разделяют эти правомерные тревоги, ибо нельзя затормозить дальнейшее развитие негативных тенденций в экономике, не зная правды о реальном положении дел в стране. В то же время необходимо сказать, что в публикациях такого рода ярко выражена определенная тенденциозность, одностороннее освещение положения, не учитывающие конкретных исторических условий принятия тех или иных народнохозяйственных решений. Отрицается все положительное, что достигнуто страной и народом после Октябрьской революции. Эти публикации претендуют на истину в последней инстанции и создают негативное общественное мнение к вопросам развития промышленности и энергетики в частности. Есть такие высказывания, которые, кроме слухов и недоверия, ничего не вызывают. Весьма полезно, на наш взгляд, очистить критику гидравлических электростанций от потока дезинформации — самого вредного, что может быть в дискуссии. Например, заведующий лабораторией биосферных явлений АН СССР Ф. Шипунов считает, что канал Москва — Волга был бредовой идеей 30-х годов, что гидроэнергетика уничтожает нашу великую культуру, что сибирские ГЭС якобы не загружены, что их энергия не нужна, что энергия Братской ГЭС тратится на освещение министерских коридоров и что пора спустить водохранилища Волжского каскада, как это сделали американцы на реке Теннесси. Вносятся и другие необоснованные и необдуманные требования.

В Вене, по инициативе СССР и США, создан международный институт системного прикладного анализа. В программе института изучение и разработка рекомендаций по крупным региональным проблемам на Земле, по проблемам питания, топлива, освоения регионов. На симпозиум в Вену вылетала делегация СССР, которую возглавляли академики Гвишиани А. М. и Аганбегян А. Г. Здесь рассматривался вопрос о практике создания в СССР новых территориально-промышленных комплексов (ТПК) и, в частности, автором данной статьи был сделан основной доклад «О формировании Братско-Усть-Илимского территориально-промышленного комплекса (ТПК)», вызвавший большой интерес. Особенно поразили слушателей невероятные темпы создания ТПК и освоения Сибири, о чем я говорил в докладе. Например, промышленный потенциал ТПК за 20 лет вырос в несколько десятков раз. Экономическая эффективность тут выше в 2 раза, чем в других регионах страны, население ТПК за тот же срок выросло почти на 270 тысяч человек. Все это было сделано на базе дешевой электроэнергии, вырабатываемой Братской ГЭС. И речь на этом симпозиуме шла совсем не о спуске водохранилища гидростанции на Теннесси, как это утверждает Ф. Шипунов, призывая спустить водохранилище Волжского каскада, а о создавшейся сложной экономической ситуации. Регион Теннесси расположен на территориях нескольких штатов США, в каждом свои законы, преследующие интересы штата, а не интересы населения, проживающего в этом регионе. Противоречия капиталистического общества привели к исключительно бедственному положению проживающего здесь населения, началась его активная миграция. Все попытки правительства США как-то поправить положение результатов не дали; единственное — незначительно была повышена заработная плата трудящихся.

Что касается Братской ГЭС, то эта прекрасная гидростанция выработала за годы своей эксплуатации 536 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, себестоимость которой одна из самых низких в стране. Благодаря ГЭС здесь создан

новый город Братск с населением почти в треть миллиона человек. Люди проживают в жилых домах, обеспеченных современным инженерным оборудованием, в городе создана большая сеть объектов социальной инфраструктуры, имеются все виды транспортной связи с другими регионами страны.

Для того, чтобы подтвердить сказанное о Братской ГЭС и энергетике, приведу мнения тех, кто посетил станцию в разное время и оставил записи в книге отзывов.

«Ваша ГЭС всегда оставляет огромное впечатление, как источник питания социалистической промышленности. Спасибо. А. Н. Косыгин».

«Конечно, я восхищен... Нельзя не восхищаться, видя это великолепное сооружение — символ великой обновленной России! Очень хотелось бы, чтобы увидели все, что здесь есть, русские мужики и, особенно, вологодские — мои земляки — и убедились, поняли, что в этой плотине и их труд, их мужество, терпение. Что те лишения, которые выпали на их долю, не пропали даром: Родина стала еще сильнее! Писатель Сергей Викулов, 11.08.71 г.».

«Всегда, если хандришь, болеешь или когда не ладятся дела, надо приезжать сюда — и все будет в полном порядке. Валентин Распутин».

«Братская ГЭС — олицетворение могущества родины Октября, трудового братства советских народов, это яркое воплощение ленинского плана электрификации России, который берет свое начало с первенца ГОЭЛРО — Волховской ГЭС... Всегда помните: энергия электрическая — это энергия ускорения нашего развития, энергия дел, на которые нацеливает XXVII съезд ленинской партии. Л. Н. Зайков, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС».

Возвращаясь к дезинформации, связанной с гидроэнергетическим строительством, хотел бы обратить внимание на тот факт, что в последнее время много говорится о затоплении земель. Документально установлено, что водохранилищами ГЭС в настоящее время затоплено 6,2 миллиона гектаров земли, в том числе сельскохозяйственных угодий — 3,1 миллиона га, из них пашни 0,8 миллионов га. Эти затопления составляют около 5 процентов от общей площади земель, изъятых под несельскохозяйственные нужды с 1926 по 1986 год.

Сравним площади, затопленные при создании водохранилищ ГЭС в промышленно развитых странах. По отношению к территориям этих стран в СССР и в США они составляют 0,32%, в Канаде — 0,6, в Швейцарии — 0,31, в Испании — 0,415%. Какого-то перехлеста, как видно из приведенных цифр, в части затопления в СССР нет.

Зато в информации для широкого читателя такой перехлест имеется. Например, уважаемый энергетиками писатель С. П. Залыгин, рассуждая о гигантских гидроузлах на Енисее, поведал читателю, что площадь затопленных водохранилищами земель (напомню наши данные — 6,2 миллиона га) равна ни больше ни меньше — всей территории Франции, хотя известно, что ее территория более 55 миллионов гектаров. Согласитесь, цифры несопоставимые...

У читателя невольно возникает вопрос: где же правда? Если это искажение, то почему оно допускается? С какой целью?

Выше были изложены цифры высокой эффективности гидроэлектростанций. Известно также, что повышение уровня электрификации народного хозяйства на один процент повышает общественную производительность труда на 0,5 процента. Учитывая, что производительность общественного труда — это самое главное, самое важное для выживания нашего строя, и что электрификация — это еще и главнейшая предпосылка решения социальных вопросов, в том числе и повседневного быта всего народа, поставленная задача роста электрификации страны должна стать всенародной, требующей поддержки и всех уровней руководства и всего народа.

А что на деле? Время идет, а проект Постановления Совета Министров о развитии гидроэнергетики, разработанный Минэнерго СССР по поручению директивных органов, около года лежит в аппарате Совета Министров СССР практически без движения.

Причина этому, на мой взгляд, в создании зачастую необъективного мнения

в прессе о гидроэнергетическом строительстве. Если Н. Шмелев утверждает, что не надо строить гидроэлектростанции, то директор Всесоюзного НИИ гидротехники имени Б. Е. Веденеева, кандидат технических наук Б. Карталев считает гидростанции альтернативой тепловым и атомным станциям, утверждая, что тепловая энергетика в недалекой перспективе себя изживет, что развитие атомной энергетики ему представляется проблематичным из-за повышенной опасности и проблем захоронения радиоактивных отходов.

Мнение, скажем прямо, весьма сомнительное, а главное, легковесное,— одним росчерком пера Б. Карталев кладет крест на развитие тепловой и атомной энергетики.

Надо себе отчетливо представлять: в ближайшие две-три пятилетки из-за истощения запасов органического топлива произойдут значительные изменения в структуре сырья, потребляемого ТЭС. Резко уменьшится доля нефти и газа в производстве электроэнергии и будет отдано предпочтение более квалифицированному потребителю. Стоимость освоения новых месторождений газа и нефти требует больших капитальных вложений. Уголь же в стране есть, его запасы составляют порядка 7 триллионов тонн, то есть половину мировых запасов. Вот почему доля потребления на энергетику угля возрастает и к 2005 году может достичь 44 и даже более процентов.

Все это даст новый толчок развитию тепловой энергетики, а в ближайшие пятилетки повысится и доля выработки электроэнергии на тепловых станциях.

В XIII пятилетке, в частности, предусматривается ввести около 50 миллионов киловатт новых мощностей на тепловых электростанциях, то есть в два раза больше, чем на атомных, и в три-четыре раза больше, чем на гидравлических станциях.

Что касается развития атомной энергетики, то здесь действительно сложились определенные трудности из-за того, что повышены требования к их безопасности. Нужны проекты нового поколения, они разрабатываются и, безусловно, будут выполнены. Приостановку активного строительства атомных станций в нашей стране надо рассматривать как дело временное и вместо того, чтобы ставить крест на развитии атомной энергетики, надо оперативно и умело решать вопросы, связанные с безопасностью АЭС. Мир продолжает строить атомные электростанции. По данным американской прессы, к концу 1987 года в мире на АЭС в стадии строительства находилось 96 блоков и намечалось построить еще 92.

За последние пять лет я дважды побывал во Франции в качестве председателя советско-французской рабочей группы по энергетике. Во Франции, где плотность населения велика, сегодня более 70 процентов всей электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. В СССР же ее доля составляет лишь 13 процентов. Французские энергетики активно заняты следующим поколением атомных станций на ядерном топливе. Два года назад я побывал на сооруженном французами атомном блоке «Супер-Феникс» нового поколения (на быстрых нейтронах) мощностью 1,25 миллиона киловатт. Это — будущее атомной энергетики. Одним словом, мир не бросил атомную энергетику.

Сегодня энергетический потенциал страны значительно возрос. В 1988 году выработка электроэнергии составила более 1,7 триллиона киловатт-часов. Для лучшего восприятия этого масштаба необходимо указать, что, скажем, в 1948 году, когда принималось решение о строительстве Куйбышевской ГЭС, мощность всех советских электростанций составляла 19,6 миллиона киловатт, а выработка электроэнергии приближалась к 100 миллиардам киловатт-часов. Страна сидела на керосине и при лучине. Но и сегодня, несмотря на успехи, мы по производству электроэнергии на душу населения находимся на 20-м месте среди промышленно развитых стран Запада.

Отмечу как явление положительное, что в последнее время практикуется широкая гласность и обсуждение с общественностью разрабатываемых проектов электростанций. Многие предложения принимаются при дальнейшей доработке проектов. Энергетики заинтересованы в минимальных экологических издержках

при строительстве крупных гидростанций, внимательно рассматривают проблему строительства ГЭС на малых реках. Сегодня в работе около 40 таких проектов.

Но нельзя не сказать и об альтернативных источниках энергии. Правильно ставится вопрос о том, что наряду с традиционными источниками электроэнергии необходимо освоить и нетрадиционные, где использовалась бы энергия ветра, солнца и морских приливов. Минэнерго СССР занимается их созданием и эксплуатацией. И все же в обозримой перспективе (до 2000 года) доля производства электроэнергии нетрадиционными способами будет невелика и не превысит одного процента от общей ее выработки.

Все это говорит о том, что надо принимать экстренные меры по строительству традиционных источников получения электроэнергии, в том числе гидростанций. Продолжающаяся затяжка со строительством новых ГЭС поставит народное хозяйство страны в исключительно сложное положение. Наскоком проблему не решить. Строительство крупных электростанций требует времени, 10—15 и даже более лет, а гидроэлектростанций — до 20 лет.

Сегодня гидроэнергостроительство в стране смещается в горные малообжитые районы, в зону вечной мерзлоты, в регионы, не пригодные для сельскохозяйственного освоения. Благодаря принимаемым мерам по сокращению ущерба удельные затраты от затопления земель водохранилищами ГЭС постоянно снижаются.

Если в 1960 году удельное затопление на миллион киловатт-часов выработки составляло 60—80 гектаров, то теперь эти цифры уменьшены в 8—10 раз. По целому ряду гидростанций еще и еще раз пересмотрены технические решения. Так, учитывая коллективные обсуждения проекта, требования сохранения национальных интересов эвенкийского народа, природоохранные, социальные, экономические и другие проблемы, полностью пересматривается проект Туруханской ГЭС.

В новом варианте предусматривается снижение мощности этой ГЭС с 20 до 7 миллионов киловатт, сокращение площади затопления — в 4,3 раза. Вместо 10 тысяч человек планируется переселить всего полторы тысячи. После доработки проект будет представлен на широкое обсуждение.

Если говорить о Средне-Енисейской ГЭС, то тут вместо одной станции мощностью 6 миллионов киловатт рассматривается строительство каскада из трех ГЭС мощностью каждой по 2 миллиона киловатт, что позволит снизить площадь затопления более чем в два раза. Таким же образом рассматривается и целый ряд проектов других гидростанций.

Сегодня трудно объяснить главные мотивы, которыми руководствовались перед войной, да и после нее, осуществляя планы Великих строек, затапливая земли при создании водохранилищ, особенно равнинных. Однако теперь уже ясно, что эти решения принимались без учета ущерба, связанного с затоплением.

Известно, что из десяти самых крупных по площади затопления водохранилищ мира три находятся в нашей стране. Два — в средней полосе, третье место по площади затопления занимает Куйбышевское водохранилище и шестое — Рыбинское.

Площадь Рыбинского водохранилища при более глубокой и тщательной проработке могла бы быть существенно уменьшена. Многие негативные последствия создания водохранилищ не являются их органическим недостатком, как это считают некоторые, и могут быть существенно уменьшены или даже полностью предотвращены при разработке природоохранных мероприятий, их своевременном осуществлении и правильной эксплуатации водохранилищ.

Сегодня вокруг энергетики идут нескончаемые дискуссии. То в одном регионе страны, то в другом требуют запретить дальнейшее строительство АЭС, ГЭС, ТЭЦ. Отмечу, что многие противники дальнейшего строительства указанных объектов энергетики даже не утруждают себя мыслью: а что же будет с народным хозяйством? С бытом людей? Кто же и какими средствами обеспечит страну электроэнергией? Однозначного ответа нет, зато значительное количество строек энергетических объектов приостановлено, подготовленные проекты постановления по активизации развития энергетики длительное время лежат без движения. Между тем положение в энергетике становится все хуже и хуже. Только за минувшие десять лет по отрасли «Электроэнергетика» недовыполнено строительно-монтажных работ на сумму более 2 миллиардов рублей, и по этой причине потеря генерирующих мощностей составила 30 миллионов киловатт.

Для обеспечения темпов развития народного хозяйства, определяемых проектом Концепции экономического и социального развития СССР на период до 2005 года, с учетом предусмотренных ею мер по экономии электроэнергии годовая выработка электроэнергии должна быть доведена к 2005 году до 3200—3300 миллионов киловатт-часов. Получение такого количества электрической энергии может быть обеспечено только резким увеличением установленной мощности электростанций.

Общая мощность электростанций, которые необходимо построить за 15 лет, составит 250 миллионов киловатт. Для этого в XIII пятилетке нужно ежегодно вводить в действие по 19 миллионов киловатт новых мощностей и до 24 миллионов — в XIV. В текущей пятилетке среднегодовой ввод энергетических мощностей составит 9,5 миллиона киловатт, и поэтому в предстоящие 15 лет темпы строительства электростанций необходимо увеличить в 2,5 раза. Задачи ответственные, масштабные, требующие большого напряжения сил, большой организованности. Надо сказать прямо: Минэнерго СССР собственными силами с такой задачей не справится. Объем строительно-монтажных работ вырастет с 8 миллиардов рублей до 15—16 миллиардов; освоить такие средства нам самим не под силу. Нужно масштабней привлекать к строительству энергетических объектов общесоюзные и республиканские строительные министерства страны.

Серьезные проблемы стоят с изготовлением оборудования для энергетических объектов. Машиностроительный комплекс страны тормозит ввод энергетических мощностей: вместо 14,7 миллиона киловатт, намеченных к вводу в прошлом году, из-за срывов поставок оборудования введено лишь 7,5 миллиона, из-за чего на 1989 год пришлось корректировать план, он снижен вдвое против предусмотренного заданиями пятилетки.

По техническому уровню обеспечения энергетики мы отстали от передовых образцов на 10—15 лет. По таким показателям, как экология, автоматизация, надежность, отставание тоже немалое. Проблем очень много. Нужно решать вопросы экономии энергии, в том числе и при ее передаче. Однако нетрадиционные источники не могут восполнить потребности в электроэнергии. Вывод один: строить надо электростанции всех типов, полностью учитывая возможные экологические последствия, стараясь свести их до минимума или не допускать вовсе. Строить во имя жизни, а не вопреки ей. Между египетской пирамидой и гидростанцией разница великого масштаба.

Александр Семенов,
заместитель министра
энергетики
и электрификации СССР

Истоки гигантомании

В феврале 1952 года меня, тогда главного инженера Норильской энергосистемы, по приказу МВД «перебросили» на Куйбышевскую ГЭС, «великую стройку коммунизма», как ее тогда называли, где я работал заместителем главного инженера «Куйбышевгидростроя» по энергетике. Эта теперь прославленная, широко известная строительная организация, сооружавшая миллионный Тольят-

ти, АвтоВАЗ, машиностроительные, химические и другие предприятия, в то время делала свои первые шаги.

Куйбышевскую ГЭС построили в баснословно короткие по современым представлениям сроки. Работы были начаты в конце 1950 года, весной 52-го приступили к сооружению перемычек, ограждающих котлован будущей ГЭС, а 14 октября 1957 года станцию, проектная мощность которой была по тем временам невиданной — 2,3 миллиона киловатт, — ввели в эксплуатацию.

За 5 лет было выполнено 193 миллиона кубических метров земляных работ (до 50 миллионов кубов перелопачивали тут за год!), уложено 7 миллионов кубометров бетона и железобетона (19,05 тысячи кубометров в сутки!), забито сорок пять тысяч тонн металлического шпунта. Замечу, что при существенно меньших объемах работ, например, Красноярскую ГЭС возводили более пятнадцати лет, а Саяно-Шушенскую строят уже свыше двадцати...

На Куйбышевской ГЭС были побиты все рекорды сооружения подобных объектов. Однако это стало возможно не благодаря, скажем, высокой механизации, а тому, что работала здесь целая армия заключенных, численность которой достигала, по приблизительным, увы, подсчетам, ста тысяч человек.

Жизнь, однако, полна парадоксов, и, оглядываясь назад, я вижу, что при чудовищно аморальном способе сооружения гидроузла его энерго-экономическое обоснование базировалось на честном расчете: Куйбышевская ГЭС была предназначена для питания электроэнергией Москвы и области, республик Поволжья, Урала, и потому-то в комплекс затрат, кроме гидроузла, входили и несколько тысяч километров дорогостоящих, тогда еще первых в СССР линий электропередач в четыреста киловольт в Москву и на Урал. Подобного объективного учета затрат в электрическую систему, связанных со строительством крупных ГЭС, сейчас, увы, нет. Более того, ведомства порой готовы доказать недоказуемое, для того чтобы протащить проект, который сулит несомненные выгоды исключительно самому ведомству.

Чтобы не быть голословным, остановлюсь на одном из таких «проектов века», который буквально «пробивает» Минэнерго СССР при поддержке Бюро Совмина СССР по топливно-энергетическому комплексу и союзного Госплана, — об ускоренном строительстве около ста крупнейших ГЭС по всей нашей великой стране. Предусмотрено прежде всего сооружение гигантских станций в Сибири — Среднеенисейской и Осиновской ГЭС на Енисее, затем — Туруханской на Нижней Тунгуске и Катунской на Катуни.

Государственные экспертные комиссии, несмотря на ведомственное давление, многие проекты ГЭС не рекомендуют к утверждению. Однако ни один из этих проектов, несмотря на их экономическую и экологическую необоснованность, не отвергается, как это следовало бы сделать, а отправляется на доработку — для наращивания бросовых затрат. Так, экспертная подкомиссия Госплана РСФСР, членом которой я состою, год назад доказала энергетическую и экономическую необоснованность, несостоятельность строительства Катунской ГЭС, — в Сибири и без того созданы очень крупные излишки никогда не используемой мощности ГЭС. Вышеупомянутый бесспорный факт опровергнут не был, но при этом руководство экспертизы сумело протащить заключение о доработке проекта по экологическим показателям, как будто после этого изменится энергетическая, да и экологическая ситуация.

В июне этого года на совместном заседании трех экспертных комиссий Госплана, Госстроя и Госкомприроды РСФСР принято, наконец, решение отклонить проект строительства Катунской ГЭС и прекратить подготовительные работы на этом объекте. Но рекомендация экспертов, увы, не последняя инстанция, и пока идут проволочки, Минэнерго СССР, пользуясь обстановкой безответственности и поддержкой отраслевых отделов на всех уровнях государственного аппарата, включая Бюро Совета Министров СССР по топливно-энергетическому комплексу, тихой сапой ведет подготовительные работы на Катунской и Туруханской ГЭС, создает опорную производственную базу для завершения строительства супергигантского каскада ГЭС на Енисее, величайшей реке планеты.

Доводы сторонников форсировать строительство ГЭС в Сибири практически одни и те же. В высокоразвитых странах, утверждают они, в таких, например, как Голландия, Франция, уровень использования потенциальных гидроэнергоресурсов и удельный вес ГЭС выше, чем в СССР. ГЭС, доказывают сторонники их строительства, вечновозобновляемые источники электроэнергии. Их использование экономит топливо. ГЭС, говорят они же, высокоманевренные источники, позволяющие с большой скоростью мобилизовать свои пиковые мощности. Электроэнергия на ГЭС имеет низкую себестоимость — тоже их глас. Прибыль, образуемая за счет разницы между действующими волевыми тарифами на электроэнергию и себестоимостью, доказывают они, способна окупить затраты на строительство новых гидростанций. Еще сторонники ГЭС, отстаивая свои интересы, утверждают, что тепловые станции не выход из положения, ибо газодымовыбросы этих станций наносят крупный ущерб природе и человеку.

И, наконец, последний их аргумент: гидростанции имеют особое значение при создании новых территориально-производственных комплексов. Тут они ссылаются на пример Братской ГЭС.

Что ж, попробуем разобраться с этими доводами.

Да, в Европе чрезвычайно высок уровень использования потенциальных гидроэнергоресурсов и удельный вес ГЭС выше, чем в СССР. Но если говорить о Сибири, где планируется возводить новые ГЭС, их удельный вес здесь и без того чрезвычайно высок — более 55 процентов. И это несмотря на то, что Сибирь имеет уникальный альтернативный источник электроэнергии — Канско-Ачинский угольный бассейн, который располагает практически неограниченными запасами самого дешевого в стране угля и, добавлю, наиболее чистого в экологическом отношении. Надо сказать, что зольность здешнего угля составляет около 10%, то есть в 3—5 раз ниже, чем зольность углей, используемых в стране. Следовательно, если в Сибири строить не ГЭС, а ТЭС на канско-ачинских углях, то при любом уровне очистки газов теплоэлектростанция, работающая на этом угле, будет в 3—5 раз экологически чище, чем станция, работающая на других углях.

Здесь самое время сказать о другом — о том необратимом ущербе, который наносят природе ГЭС.

Общественность наконец-то подняла голос в защиту Байкала, заявив и о том, что в трагедию прекрасного озера внес свою лепту наряду с другими ведомствами и Минэнерго. Впрочем, только ли Байкал пострадал от диктата этого гигантского министерства? Гибнет в Сибири тайга, я это знаю не понаслышке, а по тому, что сам, потомственный сибиряк, красноярец, вижу, бывая на родине.

Антон Павлович Чехов, путешествуя в прошлом веке на Сахалин, писал, находясь в Красноярске: «Сильна и непобедима тайга, и фраза: «Человек — есть царь Природы» — нигде не звучит так робко и фальшиво, как здесь. Если бы, положим, все люди, которые живут теперь по Сибирскому тракту, сговорились уничтожить тайгу и взялись бы для этого за топор и огонь, то повторилась бы история синицы, хотевшей зажечь море. Случается, пожар сожрет лесу верст на пять, но в общей массе пожарище едва заметно, а проходят десятки лет, и на месте выжженного леса вырастает молодой, гуще и темнее прежнего!»

Нет, не мог великий писатель предвидеть, какой ущерб нанесут тайге гидростроители в XX веке! Рукотворные моря Братской, Красноярской, Усть-Илимской, Саяно-Шушенской ГЭС уничтожили сотни тысяч гектаров сибирской тайги. А. П. Чехова восхитил Енисей; он удивлялся, «что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна». Но, увы, того Енисея уже нет! Царь природы, оказавшись без царя в голове, успешно укротил могучую реку. Когда-то гравийно-песчаные пляжи этой реки заполняли отдыхающие Красноярска. Теперь же мертвая вода, спрессованная стометровой толщей Красноярского моря, перемолотая лопатками турбин, течет через Красноярск жалкой узкой лентой, река не прогревается, постоянная ее температура плюс семь градусов, — солнце бессильно ее прогреть! Изменился тут и климат. Даже в сорокаградусные зимние морозы Енисей не замерзает, как прежде, а течет еще 300 километров после Крас-

ноярска, наполняя глубокую пойму реки непроходящими густыми туманами, насыщенными ядовитыми газодымовыбросами гигантов цветной металлургии и химии, которые под стать своей кормилице — гигантской Красноярской ГЭС.

Казалось бы, какие еще доводы нужны, чтобы гидростроители остановились и одумались. Но нет! Что им печальная судьба Байкала или Енисея, если во главу угла ставится ведомственный интерес? Когда заходит речь об экологии, гидростроители выкладывают свой козырь об экономии топлива, мол, ГЭС — это вечновозобновляемый источник электроэнергии, не требующий затрат на топливо. Верно, топлива ГЭС не требует. Но в той же Сибири угля хватит на многие сотни лет. За это время наука даст новые источники энергии. В Сибири же следует беречь не уголь, а биосферу, тайгу, заливные луга и пашни, которые «благодаря» ГЭС навсегда уходят под воду и, какими цифрами ни прикрывались бы гидростроители, рассуждая о том, что если раньше больше земли затапливалось, то теперь меньше, этот разговор несерьезен: земля — это земля, и ничем ты не восполнишь ее утрату.

Да, слышу я возражения, но теплоэлектростанции, за которые вы ратуете, тоже наносят ущерб природе. Газоочистка на наших ТЭС несовершенна, тут возразить мне нечего: выбросы твердых частиц в 10 раз, а окислов серы и азота в 2—3 раза больше, чем на станциях такого же типа в капстранах. Эту проблему надо решать и решать ее немедля, независимо от темпов строительства ГЭС, ибо тепловые станции и сейчас, и на видимую перспективу остаются основными источниками электроэнергии. Из двух зол надо все-таки выбирать меньшее, раз уж так у нас сложилось, а если говорить о ГЭС, то они наносят природе просто необратимый ущерб, который стократ тяжелее, и ярким примером того, как гидростроительство пагубно влияет на природу, является Братская ГЭС, которую энергетики подают едва ли не как свое самое большое завоевание. Но сперва отступление.

Строительство в Сибири тепловых электростанций на дешевых углях стали сворачивать в конце 50-х. Тогда развернулось поточное строительство ГЭС в Сибири, в Закавказье, Средней Азии, на Кольском полуострове и дальнем Северо-востоке и Востоке. Все это было более чем странно. В 1958-м, выступая на торжественном банкете, посвященном пуску Куйбышевской ГЭС, тогдашний руководитель партии и страны Н. С. Хрущев высказался против строительства ГЭС. Он указал на дороговизну и станции, и линий сверхвысокого напряжения для передачи их мощности, на безвозвратные потери заливных лугов и пашен на средней Волге, на экономические преимущества тепловых электростанций. Высказался он и за рациональное использование богатейших топливных запасов страны.

Однако ведомства пошли против установки главы правительства. Как же это вышло? Что за этим фактом скрывается? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо сделать экскурс в еще более отдаленное прошлое.

Куйбышевская ГЭС (ныне Волжская ГЭС им. В. И. Ленина) была последней великой гидротехнической стройкой, которая была заложена и в значительной мере осуществлена ГУЛАГом НКВД при жизни Сталина. За плечами этого зловещего ведомства остались сооруженные на костях заключенных великие каналы: Беломорско-Балтийский, Москва—Волга, Волга—Дон, с соответствующими гидроузлами, водохранилищами и ГЭС — Угличская, Рыбинская, Цимлянская. На гидротехнических стройках ГУЛАГа была выпестована плеяда гидростроителей и проектировщиков. Их-то взоры и устремились в Сибирь — на могучие реки Ангару и Енисей, где можно было занять огромные массы бесплатной рабсилы — зэков. Пишу об этом не понаслышке, ибо в те годы я вновь оказался в эпицентре событий, когда по решению Секретариата ЦК КПСС меня в сентябре 1957 года с Куйбышевской ГЭС перевели в Красноярский совнархоз для работы главным инженером Красноярской энергосистемы. В Красноярский край мы прибыли практически на голое место. Здесь, начиная с нуля, казалось бы, все можно было делать строго рационально, добиваясь максимального эффекта при минимуме затрат. Именно этому принципу соответствовал первоначальный проект Объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири, выполненный ленинградским отделением института «Теплоэлектропроект». В соответствии с этим проектом намечалось строительство рассредоточенных в центрах электропотребления ГРЭС, а также строительство и расширение большого числа ТЭЦ на местных углях в городах и промышленных центрах Кузбасса, Новосибирска, Иркутской области и Красноярского края.

Не нужно быть профессионалом-электроэнергетиком, чтобы понимать разумность первоначального проекта развития ОЭС Сибири. Да, но если следовать этому разумному плану, рассуждало ведомство, как тогда быть с гигантской армией гидростроителей и проектировщиков, которые, набрав инерцию еще в печальные времена ГУЛАГа, не желали остановиться в своей деятельности?

Тогда-то и удалось ведомству протащить идею формирования строительства Братской и Красноярской ГЭС. Сюда прибыл И. Т. Новиков, только что назначенный заместителем министра электростанций, цель визита которого была в том, чтобы заручиться согласием руководства края строить ГЭС. Именно он и осуществил поворот в стратегии развития энергетики. Именно с его участием началось форсированное строительство Братской ГЭС, которая была расположена аж в 600 км от ближайшего потребителя, что уже тогда сулило массу проблем. Но не для И. Т. Новикова, вдруг назначенного министром строительства электростанций.

Мы не поймем до конца мотивы тех, кто намеревается реализовать гигантскую программу строительства новых ГЭС, если не зададимся вопросом: в чем же истоки подобной гигантомании, откуда все это пошло?

Ни министр строительства электростанций И. Т. Новиков, который находился под покровительством своего друга детства по Днепродзержинску и однокашника по Днепродзержинскому металлургическому институту Л. И. Брежнева, в ту пору кандидата в члены Президиума и секретаря ЦК КПСС, ни первый его зам П. С. Непорожний, доктор технических наук в области бетонных и арматурных работ на речных гидротехнических сооружениях, не смогли бы «пробить» идею создания сразу двух крупнейших в мире сибирских ГЭС — Братской и Красноярской,— если бы не поддержка их идей со стороны сектора энергетики ЦК КПСС, а также ведомственной научной мысли, что и привело к безраздельному строительному диктату.

Минэнерго СССР, обеспечив выгодную для себя расстановку сил в Госплане и других правительственных органах (в 1962 году И. Т. Новиков был назначен заместителем Председателя Совета Министров СССР, Председателем Госстроя СССР — сработала протекция «земляка» — Л. И. Брежнева; на место же Новикова назначили П. С. Непорожнего), взяло на вооружение такую политику: «не противопоставлять ГЭС и ТЭС». Дескать, и те, и другие нужны стране. Однако строительство самых крупных в мире ГЭС тут же стало на поток, а строительство ТЭС резко пошло на убыль. В течение двадцати лет — с 1965-го по 1985-й мощность всех электростанций Объединенной энергосистемы Сибири (ОЭС) увеличилась в три раза. 70 процентов мощностей ввели на ГЭС и только 30 на ТЭС.

Стоит ли этому удивляться, если всему виной был чисто ведомственный расчет, помноженный на ведомственные же амбиции. Мощные и сверхмощные ГЭС требуют гигантских капвложений. Материалоемкие и дорогостоящие дальние и сверхдальние линии электропередач тоже дают возможность ведомству отхватить крупный кусок от пирога госбюджета. ГЭС стало больше всего там, где их было удобнее и выгоднее для Минэнерго строить, независимо от того, эффективны они там или нет. Гидростанции росли, как грибы после дождя, потому что дорогие и не требующие особой квалификации земляные работы в кратчайшие сроки поднимали валовые показатели министерства на небывалую высоту. Строить же тепловые станции было и сложнее, а самое главное — дешевле. Поэтому ведомственная наука, ярким представителем которой был всесильный институт «Гидропроект им. С. Я. Жука» (того самого Жука, который был главным консультантом Сталина по гидротехническим стройкам печальной памяти

ГУЛАГа НКВД), делала все, чтобы доказать, с одной стороны, высокую эффективность гигантских ГЭС, перекрывающих реки, уничтожающих землю и природу, а с другой — всеми силами обосновывая нежелание энергетиков заниматься ТЭС. До 1963 года (время ввода в эксплуатацию Братской ГЭС) все приросты нагрузок Сибири покрывали с высокой эффективностью тепловые электростанции. Непосредственно в центрах промышленных и городских нагрузок строились крупные ГРЭС на дешевых местных углях — Беловская, Темь-Усинская, Южно-Кузбасская, Назаровская, Ирша-Бородинская, две Иркутские и крупные ТЭЦ во всех сибирских городах и промышленных районах. Ежегодные вводы мощностей на этих электростанциях покрывали приросты нагрузки потребителей Сибири. В этих условиях мощность, введенная на Братской ГЭС, оказалась просто-напросто излишней. Из-за отсутствия потребителей на месте эта ГЭС первое время вообще осуществляла холостые сбросы (потери) гидроресурсов. Пришлось сверхударными темпами строить 2500 километров сверхдальних линий электропередач, капиталовложения в которые составили порядка 400 миллионов рублей, то есть почти столько, сколько было вложено в саму Братскую ГЭС. Ее мощность передали в Иркутск, Красноярск и Кузбасс, но не для полезной работы, а для разгрузки и замещения мощности действующих по всей Сибири тепловых электростанций, после чего резко упала экономическая эффективность работы всех ТЭС Сибири. Крупные новосибирские тресты «Сибэнергострой» и «Сибэнергомонтаж» Минэнерго СССР остались без портфеля заказов — их просто принесли в жертву гидростроительной гигантомании. Отменено было затем строительство и ряда ТЭЦ. Для теплоснабжения соответствующих предприятий и жилых массивов срочно начали сооружать электрические бойлеры общей мощностью в два с лишним миллиона киловатт. В результате сибирские энергосистемы лишились надежной электрической мощности ТЭЦ. Что это значило, я поясню на примере Кузбасса. Здешние электростанции работают на лучшем в стране энергетическом угле. В начале 60-х годов Кузбасс — крупнейший индустриальный центр страны — был и самым крупным потребителем электроэнергии в Сибири. Именно поэтому большую часть излишней мощности, введенной на Братской и Красноярской ГЭС, передали в Кузбасс, ибо там существовала возможность принять ее за счет разгрузки собственных крупнейших тепловых электростанций. За одиннадцать лет (с 1964 по 1974 год) коэффициент использования установленной мощности ТЭС Кузбасса снизился до 50% (85% было в 1964 году). За тот же отрезок времени тепловые электростанции Кузбасса недодали стране более 80 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Замороженные среднегодовые мощности и основные промышленно-производственные фонды на ТЭС достигли соответственно 1,5 миллиона киловатт и 300 миллионов рублей. По Сибири в целом эти потери были в два раза больше. Поток электроэнергии из Братска в Кузбасс (расстояние 1200 километров) не иссякает и по сей день. Он нарастал за счет ввода Красноярской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС. В ближайшее время еще более увеличился за счет ввода Богучанской ГЭС. Прямые потери в этом рукотворном транзите ежегодно составляют 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, на что впустую расходуется миллион тонн Канско-Ачинского угля и 10 миллионов рублей.

Все это позволяет делать вывод: Братская ГЭС была попросту не нужна. Очевидным было несоответствие по тому времени мощности этой ГЭС и потребности Сибири в энергии. Тогда-то и обосновали мертворожденную идею — одновременно с ГЭС воздвигнуть так называемый Братский энергопромышленный комплекс. Гигантский алюминиевый завод и лесоперерабатывающий целлюлозный комбинат, которые планировалось тут построить, должны были оправдать производство дополнительной энергии. Общеизвестно, что по стране капиталовложения в электроэнергетику составляют в среднем 8 процентов от капиталовложений в промышленность. Поэтому для сооружения одновременно с Братской ГЭС промышленного комплекса, способного реализовать всю мощность этой ГЭС, на каждый рубль а энергетику надо было вложить как минимум 12 рублей в промышленный комплекс. Для выполнения этой задачи в Братске потребовалось сконцентрировать астрономические капиталовложения и ресурсы, переселить сюда людей, численность которых соответствовала населению всей Иркутской области. Что это было? Заблуждение дилетантов? Или авантюра во имя занятия гигантской армии проектировщиков гидросооружений и гидростроителей? Как бы то ни было, тот же разорительный Братский промышленный комплекс после ввода в действие Братской ГЭС сооружался еще полтора десятка лет, а на тепловых электростанциях Сибири в это время были заморожены огромные мощности.

Такова печальная история Братской ГЭС, которая символизировала долгие годы социализм. Если бы электроэнергия могла ржаветь, в Сибири высились бы ржавые тысячетонные горы...

Казалось бы, этот печальный пример должен был бы поубавить пылу у гидроэнергетиков, ан нет. Разве проект строительства новых ГЭС не доказывает тот факт, что инерция мышления гидростроителей не преодолена, что гигантомания, цель которой — узковедомственный расчет, по-прежнему не дает им покоя.

Но, может быть, я излишне категоричен? Ведь если верить гидростроителям, без новых ГЭС в Сибири мы не сможем развиваться динамично, да что там развиваться, вообще в трясину застоя вернемся? Что ж, попытаюсь разобраться и с этим.

По опубликованным экспертным оценкам, народнохозяйственные потери в Сибири зимой 1982—1983 годов превысили 2 миллиарда рублей из-за того, что в Ангаро-Енисейском бассейне многие годы продолжался маловодный период, в результате чего суммарная выработка энергии на ГЭС Сибири упала катастрофически. Уже через два года в многоводном 1985 году выработка на сибирских ГЭС поднялась так высоко, что большое количество энергии было сброшено вхолостую, а тепловые элекстростанции разгружены.

Из-за колебания водности рек Сибири дополнительные потери на здешних ГЭС будут всегда. Однако потери будут и независимо от стихии — из-за нерационально высокого удельного веса гидростанций на территории региона. Вот факт: суммарная мощность энергосистемы Сибири по отчету за 1987 год — 41,5 миллиона киловатт; максимум нагрузки, которая здесь достигалась, лишь 26,2 миллиона киловатт... Следовательно, 15,3 миллиона киловатт не принимало участия в покрытии нагрузок, что омертвило около 4,5 миллиарда рублей фондов в основном на ГЭС.

Да, ГЭС — это высокоманевренные источники, позволяющие быстро мобилизовать свои пиковые мощности в случаях особо высокой нагрузки или аварийного отключения энергоблоков — с этим нельзя не согласиться. Но в той же Сибири, где хотят строить новые ГЭС, уже создан избыток пиковой мощности на гидроэлектростанциях, новые там просто не нужны. Что предлагает Минэнерго? Наращивать неиспользованную пиковую мощность, чтобы затем передавать ее через Урал в Западную часть СССР! Вот где будет развернуться! Четвертая часть энергии будет теряться в пути, «питая» провода ЛЭП, но разве это важно ведомству? Разве ему важно, что проект переброски энергии за 4—5 тысяч километров обойдется народу и стране в копеечку? Первый участок такой линии Экибастуз—Тамбов длиной в 2400 километров строится, несмотря на очевиднейшую нецелесообразность этого проекта. Если эту линию продлить до того же Братска (еще на 2,5 тысячи километров), доработать все нерешенные технические и экономические проблемы, то в Тамбов из Братска поступит около 4 миллионов киловатт мощности. Много это или мало? Эта мощность будет составлять около 1,5 процента от суммарной мощности электростанций в европейской части СССР. Надо ли это? Стоит ли игра свеч, если капвложения в такую электропередачу составят 2,5—3 миллиарда рублей; затраты и капвложения были бы в 1,5—2 раза ниже, построй мы здесь ТЭС на экологически чистых технологиях. Подобные технологии дешевле было бы даже закупить на Западе, чем тянуть дорогостоящие 1500-киловольтные линии из Сибири через Урал.

Чем только не оправдывают гидроэнергетики свои претензии на ведомст-

венную монополию! На ГЭС, утверждают они, низкая себестоимость электроэнергии... Действительно, на первый взгляд так оно и есть: прибыль, которую получают за счет разности между произвольно завышенными тарифами на электроэнергию и ее себестоимостью, способна окупить все затраты на самое разорительное строительство ГЭС. Однако прибыль эта совершенно не отражает реально создаваемые на ГЭС ценности, она не учитывает высокой капиталоемкости гидроэнергии. Гидроэнергетики попросту дезинформируют и дезориентируют общественность, громогласно хвалясь вышеуказанной прибылью,— если правильно учитывать все затраты и потери на ГЭС, то срок окупаемости станции достигнет 20 лет при нормативном сроке в 8,3 года...

Они же приводят в заблуждение общественность, доказывая, что без ускоренного строительства гидроэлектростанций нам не преодолеть отсталость в производстве электроэнергии, отставания от Запада.

Изучая динамику роста электропотребления Японии, США, других высокоразвитых стран, мы увидим, что постепенному снижению темпов роста электропотребления в 1975—1985 гг. предшествовал крутой подъем темпов в 1960—1970 гг. Именно в этот период там осуществлялся очередной этап НТР, а в Японии, в частности, совершалось так называемое японское «экономическое чудо». Энергосберегающая технология в эти страны пришла вместе с полной механизацией, роботизацией, автоматизацией и компьютеризацией. То есть из производственных и технологических процессов исключили человека — творца, увы, бесхозяйственности и расточительства. Это именно так, ибо человек не способен, к сожалению, контролировать и корректировать дозировку расхода материальных энергетических ресурсов в точном соответствии с оптимальной потребностью производственных и технологических процессов. Только совершенные машины и аппараты, управляемые микропроцессорами, компьютерами, ЭВМ, могут обеспечить современную технологию энергопотребления. Мы же по-прежнему ориентированы на участие в этом человека. Взять наши «энергетические программы». В них 70% прироста потребности в энергоресурсах ориентируют покрывать... за счет их экономии. Что, опять призывы к экономии? Призывы типа «уходя, гасите свет» у нас существовали всегда, и их «эффективность» общеизвестна. Необходимо прежде всего прекратить производство ненужных вещей, излишних количеств металла, тракторов, комбайнов, любой неходовой продукции, которая копится на складах. Нужно менять структуру производства. Волевые призывы к экономии энергоресурсов закладывают отставание в планы производства энергоресурсов, «программируют» кризис и дальнейшее торможение научно-технического и социального прогресса, застой, наконец.

Чтобы нам не остаться на обочине истории и обеспечить ресурсосберегающую и энергосберегающую технологию, необходимо осуществить научно-техническую революцию в сферах производства, обслуживания (сервиса), быта, создать социальные условия жизни наших людей, достойные современной цивилизации, а для этого потребуется резкое увеличение темпов роста электропотребления.

Вирус ведомственной гигантомании в нашей стране, к сожалению, живуч. Это подтверждается и тем, что, несмотря ни на какую критику, гидростроители всеми правдами и неправдами пробивают новые и новые проекты «преобразования природы». Что ж, за великие программы и стройки века, начиная со сталинских времен, ведомства всегда брались со рвением, зная, что это импонирует высшему руководству страны. Так возникли проекты канала для столицы пяти морей — Москвы, великие и величайшие ГЭС, снегозащитные лесонасаждения. Так родились проекты освоения целины, строительства БАМа, поворота вспять рек и не уступающая по дерзости идея переброски через всю нашу необъятную страну электрической мощности из Сибири.

Может быть, пора покончить с этим? Мы уже так много потеряли в этой гонке за престижем, что скоро и терять уже просто будет нечего.

И. Никулин,
профессор,
заслуженный энергетик РСФСР

Советуем прочитать

Последний год жизни Пушкина. Переписка, воспоминания, дневники. Составление, вступительное слово и примечания В. В. Кунина, М., Правда, 1988.

Хронологически это издание является продолжением двухтомника «Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками», вышедшего в свет в 1987 г. Продолжением — и завершением, ибо повествуется здесь о последнем годе жизни поэта... Трагическая аура неизбежно окутывает все события, о которых идет речь, но общая тональность книги не становится ни мрачной, ни фатальной. Ведь посвящен сборник, по словам его составителя, «не смерти Пушкина, а именно жизни его в 1836—1837 годах».

В книге читатель найдет разнообразные документы, воспоминания друзей и современников, деловую и дружескую переписку поэта, охватывающие 13 самых загадочных месяцев его жизни. Узнает об издательской деятельности Пушкина, связанной с «Современником», о предыстории создания «Романа о Пугачеве», борьбе поэта с цензорами, несостоявшихся дуэлях и наконец о темной истории анонимного пасквиля, приведшего к трагической развязке возле Черной речки. В отличие от известного труда П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», недавно переизданного, данный сборник не ставит перед собой цели специального исследования обстоятельств дуэли с Дантесом. Представленный на его страницах скол эпохи максимально разнообразен и широк, расстановка действующих лиц и прихотлива и естественна, как сама Муза поэта. История написания знаменитого «Памятника» соседствует с фактографией бытовых забот Пушкина, его взаимоотношений с женой и друзьями. Живой человек встает со страниц книги — поэт, журналист, муж и отец, русский дворянин...

Д. С. Лихачев. О филологии. М., Высшая школа, 1989.

О любви в Библии сказано, что это «Песнь Песней»... Возможно, по аналогии емко и точно называет Д. С. Лихачев филологию: «связью всех связей». «Любовь к слову», как буквально переводится с греческого «филология», не является привилегией лишь тех, кто так или иначе связан с литературой и искусством. Филология нужна всем, потому что все пользуются языком. Слово связано с любыми формами бытия, с любым познанием Вселенной.

Филологию нельзя рассматривать только как науку, утверждает автор, внесший немалый вклад в развитие литературоведения,— в книге мы найдем его статьи об истории русской литературы с X по XVII в., о стиле и стилистических направлениях, точности литературоведения, значении принципа историзма при анализе литературного произведения. Филология шире, как высшая форма гуманитарного образования она включает в себя и объединяет разные области культуры. Не будучи хотя бы в небольшой степени филологом, нельзя считаться интеллигентным человеком. Ибо что такое интеллигентность, спрашивает автор? «Осведомленность, знание, эрудиция? Нет, это не так! Лишите человека памяти, избавьте его от всех знаний, которыми он обладает, но если он при этом сохранит умение понимать людей иных культур, понимать широкий и разнообразный круг произведений искусства, идеи своих коллег и оппонентов, если он сохранит навыки «умственной социальности», сохранит свою восприимчивость к интеллектуальной жизни — это и будет интеллигентность».

Задаче воспитания «умственной восприимчивости» к иным культурам и вообще к другим людям посвящена книга академика Д. С. Лихачева, вобравшая в себя статьи последних 20 лет.

Звезда, № 6, 1989.

Июньская книжка журнала целиком посвящена 100-летию со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой.

Среди авторов—Осип Мандельштам и Иосиф Бродский, Никита Струве и Георгий Адамович, Борис Анреп и Л. Н. Гумилев, люди, многие годы знавшие Ахматову, и те, кто видел ее лишь однажды. Здесь же — наиболее полная редакция сохранившихся воспоминаний Ахматовой о Мандельштаме, ее стихи и переводы, письма. Статья К. Азадовского и Б. Егорова о компании борьбы с космополитизмом в Ленинграде, разгроме талантливых кадров отечественной филологии — отдаленном последствии культурной политики, начавшейся с постановления ЦК КПСС 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это постановление сыграло печальную роль в судьбе Ахматовой. И, конечно, «творцы» его представить себе не могли, что сорок с небольшим лет спустя директива сия будет отменена как ошибочная, а юбилей Ахматовой станет подлинным праздником поэзии не только в нашей стране, но и во всем мире.

Собрание посвященных Ахматовой воспоминаний — достойный реквием ее памяти. «Она так долго прожила, что дни теперь при всем своем разнообразье способны, вероятно, только разве то повторять, что делали они при ней» (Иосиф Бродский).

А. В. Чаянов. Краткий курс кооперации. Томское книжное издательство, 1988.

«Само слово — «Кооперация» стало теперь одним из самых ходовых слов в нашем обиходе... В любом газетном листе вы

встретите его десятки раз, им пестрят страницы книг, его произносят на собраниях, конференциях и съездах...» Эти строки с полным правом можно отнести к сегодняшнему дню. А между тем они взяты из работы известного экономиста 20-х годов Александра Васильевича Чаянова, которая посвящена проблемам истории сельской кооперации, ее развития в СССР.

Более полувека прошло со времени выхода книги в свет. В двадцатые годы труд этот был широко популярен, его читала вся трудовая Россия. Среди литературы, которую Владимир Ильич Ленин затребовал во время работы над статьей «О кооперации», была и работа Чаянова...

Конечно, механизм сегодняшней кооперации отличен от кооперации 20-х годов, однако внутренние принципы здесь во многом схожи.

«Естественность развития экономической жизни, дух хозяйской сметки, расчета, понятная и доступная, скажем так, экономическая арифметика, которыми заполнены страницы книги, будут полезны кооператору и арендатору, хозяйственному и партийному работникам, студенту»,— говорится в предисловии к изданию.

Инна Хаимова. На полпути к себе. Повесть. М., Советский писатель, 1988.

Жизнь современной женщины. Что мы знаем о ней? Довольна ли она существованием? Счастлива ли? К чему стремится? На что надеется? Об этом писали многие. Каждая эпоха дает свои ответы на эти вечные вопросы.

В первой книге Инны Хаимовой мы встречаемся с ничем не выдающейся женщиной, человеком обычной судьбы. И в этой «обычности» ее незащищенность от социальных болезней общества, искажающих внутренний мир человека. Все же героиня повести находит в себе силы встать на путь нравственного выздоровления, узнает цену подлинного счастья.

В небольшом по объему произведении автор обращается ко многим проблемам, определяющим судьбу наших современниц.

ОТ РЕДАКЦИИ

Приступая к публикации мемуаров Н. С. Хрущева, редакция журнала знала, что публикатор, С. Н. Хрущев, один-два отрывка передаст «Огоньку». Однако этих отрывков вскоре стало три, четыре, пять.., и выяснилось, что С. Н. Хрущев вообще намерен публиковать мемуары в разных вариантах одновременно в нескольких журналах. Мы не считаем такую практику допустимой. В связи с этим журнал «Знамя» от дальнейшей публикации мемуаров отказался. Приносим извинения нашим читателям.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 08.08.89. Подписано к печати 12.09.89. А 05560. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 980 000 экз. (1-й завод 1—629 842 экз.). Заказ № 1069. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.